



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

5-6 (522)

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Елена Михайлик. «А что у вас там говорит звезда, отзываясь другой звездой?» <i>и др. стихи</i>	3
Татьяна Риздвенко. Рассказы с Аней.....	8
Дмитрий Замятин. Сезоны. <i>Стихи</i>	21
Кусчуй Непома. Дистанция (удаленная форма жизни). <i>Повесть</i>	27
Ирма Гендернис. Второй хлеб. <i>Стихи</i>	52
Сергей Морейно. Два идиота из поселка рыбацкий <i>и др. рассказы</i>	59
Дмитрий Смагин. Голова застряла в кастрюле. <i>Стихи</i>	81
Никита Орлов. Грёзы о фиговом саде и прочие истории.....	86
Сергей Трафедлюк. Совершенно летние стихи.....	122
Алексей Леонтьев. Последнее желание скуфа. <i>Рассказ</i>	128
Юрий Гудумак. Мерцательная топография илистого водоема Камболи <i>Стихи</i>	130
Владимир Морозов. Легкий свет. <i>Стихи</i>	140
Андрей Ладога. Любви не хватит на всех (Похоронная гитара В. А. Шукшина). <i>Рассказ</i>	145

ПЕРЕВОД

Юн Столе Ритланн. Из двух книг <i>Перевод с норвежского Нины Ставрогиной</i>	148
--	-----

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Во всяких приключениях. <i>Продолжение</i>	158
--	-----

NON-FICTION

Григорий Беневиц. Оксфорд. <i>Отрывки из книги мемуаров</i>	219
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Александр Марков. Радикальная филология Сергея Завьялова и Гораций <i>О кн.: Квинт Гораций Флакк. Оды и эподы / Перевод и комментарии Сергея Завьялова</i>	242
Евгения Либерман. Стихотворения, поднятые с пола <i>О кн.: Андрей Сен-Сеньков. Стихотворения, прочитанные руками</i>	246
Алексей Мошков. Мартин Иден не умирает, или Новый романтический герой <i>О кн.: Павел Селуков. Пограничник: роман</i>	247
Андрей Пермяков. Говорить прозой <i>О кн.: Алексей Голицын. Небесные оркестранты Поволжья</i>	250

Елена МИХАЙЛИК

А что у вас там говорит звезда, отзываясь другой звезде?
Углерод, кислород, неон, азот, кремний, железо, хром.
Как химия мозга, как города, кораллы в теплой воде
производят каждый будущий год – и тот, что случится потом.

Астрологи правы (и при барышах) – только ходом светил и жив
наш мир, состоящий из света звезд и их посмертных даров:
ритм в пульсометре и ушах диктует лунный прилив,
древний взрыв сделал прочными кость и мост, и непрочной – розу ветров.

Отзываясь звезде, навстречу летят ничьим осадочным сном,
офицерик этот – два века назад,
на немецком тот – столетье назад,
и Домбровский в шестидесятых, рядом, подряд,
уже на совсем родном.

А у нас поменялись давленье и ветер, по заливу, ругаясь, пошел трамвай.
Перестали работать карты созвездий, соцветий и маршруты подземных стай.
И не то чтобы глобус попал под автобус и реальностью сделался Меркатор,
просто раньше был фикус – а нынче лотос, и готовили – бигос, но в миске – логос,
у оркестров музыка раскололась и смещается до сих пор.
Но и раньше (сирень горит ли, парит ли, чем сладка, почему вокруг)
точно так мы и жили – на рифме и ритме, мир ошупывая на звук,
как летучие мыши (сбой в эхолоте означает крушение, мираж, разрыв),
создавая законы прямо в полете, как саперы – прав, пока жив.
Ну, тревожный ветер, а не твoroжный, ну, по жилам – кровь, а не газ,
но доехать до дома – еще возможно, если цел словарный запас.

А в нашем полушарии – благодать:
если лес горит – так там эвкалипт, он самостоятельно, без обстрелов берет, горит,

Елена Михайлик родилась в Одессе, окончила филологический факультет ОГУ. С 1993 года живёт в Сиднее, преподает в университете Нового Южного Уэльса. Доктор философии. Стихи и статьи публиковались в антологии «Освобожденный Улисс», журналах «Арион», «Воздух», «Дети Ра», «Новый мир», «Новое литературное обозрение». Премия Андрея Белого в номинации «Гуманитарные исследования» (2019). Автор четырех книг стихов. В «Волге» стихи публикуются с 2013 года.

размножается пожаром из года в год.

Если вода – это дождь идет в города, тоже сам по себе, его никто сюда не ведет.

Если воздушный фронт разбрасывается черепицей или двойным кирпичом, то страховка включает ремонт, но самое главное – люди тут ни при чём.

В общем, удобно – специалисты давно придумали, как дышать,
(в этих обстоятельствах и вообще), как плыть. Налаженный быт.

Кстати, со всем остальным: просыпаешься утром – и в этом часовом поясе
не нужно ждать и гадать,

можно сразу же посмотреть, кто цел, кто убит,
кто внезапно возник посреди страницы, живой, несколько лет спустя,
с обугленной головой.

В остальном между молекулами (или системами) этого небесного рукава
внезапно потеряна связность – пропадают частицы, не добивают прожектора.

Но почти наверняка для завтра отыщутся неточные – но слова.

Нашлись же вчера.

я молотилка сеялка и веялка
супрематилка греялка и реялка
носилка и кормушка языка
ловушка погремушка

как из наших из ворот потрохом наоборот
вышел тигр, сожрал евфрат – и никто не виноват

уловилка чего-то там вокруг издалека
дробилка новостей на облака
подземного пожара лесопилка
разомкнуты разведены края
всегда на долю речи отстоя
от власти сделать воду настоящей
внутри дыры внутри зонта гори
по времени впадая извне
не прекращаясь как пандорный ящик

как на нашей-то луны есть часы заведены
как закончится завод так закончится завод

нет место нет глагол случайность свет
но инструмент пока не съет не немт.

Русалка плывет по волне голубой, озаряема крупной луной.

Художник лежит под опорой моста, любясь движеньем хвоста.

Сменилась давно парадигма на дне, биология нынче в цене.
Плавучим покойникам, радость моя, положены хвост, чешуя,
двойное (в основе – железо и медь) дыхание, чтоб плавать и петь,
способность питаться, желанье летать, отменные голос и стать.
В реке (по причине оптовых смертей) становится больше детей,
и скоро потянется клин под водой на юг, где планктон молодой
качается щедро на плотной волне, для роста пригоден вполне.
Художник рисует на глине маршрут – волны прочтут и сотрут...
Он скоро и сам по кусочкам сплывёт (прибывает разлив что ни год)
цепочку питания делить с клыкачом... а Лермонтов здесь ни при чём,
сюжет изменился и (тоже) сгинул на юг, его полихеты клюют,
и рыба, встречая зубастых гостей, не знает, за что это ей.
Когда возвратятся (нет, не волшебство), не вспомнят уже никого.
А то, что поют – так, что плавится лёд... так кто ж на реке не поёт.

Явилась артель «Напрасный труп» к артели «Напрасный труд»,
(дождь придет, когда сможет)
узнать – кто наибольший душегуб из тех, кто работал тут.
Сорок дней и сорок ночей сводили они баланс,
дошли до ничьей и обратились в Академию де Сиянс.
(Дождь придет, когда сможет.)

Академия наук объективна как Босх, но задача ее непростая.
В пользу первой артели есть перекоп, очевидный как пасть кита.
Вроде, все экономят, никто не зверь (ну почти) или как его, троглодит...
но в любом конфликте побочных потерь – хоть плотину ими пруди
(дождь придет, когда сможет).

И по первым прикидкам, напрасный труд не приносит большого вреда,
ну что-то по капле и по ведру протрачено не туда...
Но отвернешься на пять минут и под кумулятивным давлением льда
без еды и прививок ускоренно мрут изумленные города.
Без сводок погоды, стратиграфии плит, сопромата, анализа рыбьих стай
такой убыток по миру стоит, что война – это просто рай.
(А дождь придет, когда сможет.)

Академия сияет как урановый срез, укладывает данные в штабеля
и требует гнева господня с небес, чтобы начать с нуля.
А сверху ни гнева и ни чудес, лишь по облакам недобрая рябь,
гоморрский огонь как явление исчез и пересохла хлябь.

Астроном, проверив, который час (наверху и внизу, и совсем в ночах), с омерзением подытожит:

«Придется самим, у них как у нас. Исчерпаны связь и боезапас.
Дождь придет, когда сможет».

Стоматология – воистину царица искусств,
наши зубы куда послушней нам быть могли бы,
но они начинали свою биографию как кожные органы чувств
у доисторической рыбы.

Этот чуткий рецептор, внимательный словно глаз,
эта радуга смыслов, уловленная сквозь воду...
но природа не спрашивает ни зубы, ни рыб, ни нас,
а работает с тем, что выдала ей колода –
а потом тасует колоду.

Миллионы лет, еще миллионы лет,
перекрестные клавиши утратили ритм, значенье,
перестали петь и чувствовать соль и свет, могут только скрипеть и гореть в ответ
на недолжное обращенье.

Где-то в памяти воды, где-то в толще плит,
лишь осколки экзоскелета биолог сыщет...
если новый орган чувств беспробудно спит, а при встрече с миром и морем ноет,
скулит, болит...
осмотрись, проверь – чем он теперь ядовит, и каких живых научился рвать,
превращая в пищу.

Боярыня Морозова любит гулять по утрам,
где заливают розовым рассветную границу
и, не описан прозою, летает небесный хлам –
сойдет загадать желание или кому-нибудь присниться.

Механика мироздания, голубые станки небес
как тесто лепятся на бегу, на честном слове и дофамине,
но с боярыни станется придержать очередной процесс
и побыть вороною на снегу в этой большой картине.

У Третьяковки ветер сердит, ни лотошников, ни сигарет,
мороженный «Рабочий кредит» теряет текст по крупице.
Инсургент из Вологды поглядит на пылающий снежный след
и сложит палец к пальцу, салютуя безумной птице.

Забубенная казенная, мотив как нож прихватив,
беспардонная буденная идет как ночной прилив.
Время ежится, сутулится, теряет авторитет –
да, уже на нашей улице, и улицы больше нет.

И откуда лихорадочно стекают в лесок, в песок,
персонаж в очках с тетрадкой выходит наискосок,
вот звезда стоит колючая, горит резной палисад...
выжить, видимо, не получится – получится описать.
А четка законная крошит и в нечет, и в чет,
и считает, что законная, что в истории подкована –
а она опубликована, целиком опубликована и в тетрадке живет.

Он в тот вечер заказал помидорный салат с базиликом, не с василиском.
Не потому, что второй крылат и питание связано с риском –
просто хотел овощей поджечь, на калории не налегая.
А потом накладка. И... этот – здесь. Свежевылупился. Моргает.
Прикупил лягушек, перепелиных яиц, три учебника: для родителей,
ветеринарный и по речевым дефектам,
и рэй-бенковский обруч для глаз (на заказ, для птиц), с искусственным
интеллектом.
Двадцать лет спустя, тот на работу – и был таков, возвратился через сутки,
гружёный, черный,
И сказал, что без запасных очков больше он из дома пером не дернет.
Он налаженный терминал заказчику пер (надо ж делать таким громоздким) –
и случайно «Рей-Бэн» разгрохал об светофор над большим перекрестком.
День пошел совсем наперекосья – путал все, не помнил расклада,
без бегущей строки говорил не этак, чинил не так, приземлялся куда не надо.
И еще парад... тут сам Азраил без подсказок маршрут не сложит.
(Никого он в камень не превратил. Не желал. Хотя знал, что может.)
За обедом – разбив четыре стекла, залетев к варягам и грекам –
перепутал что-то, сводя салат, принесли, а тот – с человеком.
Да, забрал, куда ж посреди зимы? Переноску, еду, посуду...
Может, вырастет чудищем, как и мы? Ведь бывает на свете чудо.

Еще гуляет гомон беспризорный в общественных местах,
но светофор уже показывает чёрный на всех мостах.
Сотрудники ГАИ не понимают: куда на этот свет?
(ну вообще, оно с людьми бывает –
заходят в бар ольмек, ацтек и майя – а бара нет).
Потом найдут, отстроят службу тыла, фокстрот и снегопад.
И лишь в воде отражено – как было. Да, краем глаза, видишь, так и было – трамвай,
брусчатка, липа, запах мыла – один фотон назад.

Татьяна РИЗДВЕНКО

РАССКАЗЫ С АНЕЙ

1.

Зачем нам Дима

У входа Новую Третьяковку я увидела однокурсника Дима. Высокий красавец, он, конечно, немного полинял, как и все мы, но очертаний не утратил и был вполне узнаваем.

Я стояла за ним в очередь через рамку. Дима меня не заметил.

Чем я и воспользовалась.

Мерзкая черта: случайно встречая знакомых, стараюсь себя не обнаружить. Скрыться, расвориться. Почему? Ну, не хватает ресурса. Я всегда тороплюсь. А случайная встреча требует остановиться, включиться, поболтать. А ты, а ты...

Выбиться из графика и трафика.

Ты интроверт, говорит дочка.

Говноверт.

Вообще-то я договорилась встретиться подругой. Настроилась на уютный поход, радость взаимопонимания, удовольствие совместных наблюдений.

А потом – пойдем в кафе и всласть наболтаемся. Ведь сто лет не виделись.

Аня была уже на месте, я опаздывала. В Третьяковку на Крымском текли люди. Холодным октябрьским вечером они шли на свет искусства. Смотреть выставки – удовольствие не самое простое, и тем не менее.

Я сдала пальто в гардероб, успела накрасить губы, и только после этого выудила Аню из музейного магазинчика.

Мы пошли к кассам. Я была уверена, что Дима давно наверху, но тут он меня окликнул.

Более того:

– Вы куда?

Татьяна Риздвенко родилась в 1969 году в Москве. Окончила худграф Московского педагогического университета. Была художником по росписи фарфора, преподавателем живописи, журналистом, копирайтером, руководила литературной студией для подростков в Доме Щепкина. Живёт в Москве. Стихи, проза, рецензии печатались в журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Арион», вестнике современного искусства «Цирк "Олимп" + TV», поэтических антологиях. Автор пяти поэтических сборников. Предыдущая публикация в «Волге» – «Ротонда-трип. История одного проекта» (2021, № 11-12).

- На Митурича.
- И я на Митурича! Идем вместе?

Мы изобразили оживление. Верней, я изобразила, а моя подруга Аня по-настоящему радушный и приветливый человек. Она всегда с удовольствием знакомится и легко корректирует планы.

Дима подождал, пока мы купим билеты. Высокий, сутуловатый, в темном, он стоял у подножия долгой лестницы, но Аня повела нас к лифту. Дима-художник (вообще-то мы все трое художники) рассказывал о выставках, которые он здесь в последнее время посетил.

Возмущался, что не издают каталогов.

Лифта пришлось подождать. А потом случилось смешное.

На втором этаже подсади три нарядные дамы с бейджиками. Дима продолжал ворчать, мол, Третьяковка не издает каталогов.

– А ничего, что мы сотрудники Третьяковки? – весело сказала одна из женщин и указала на свой бейдж. – Всё мы издаем! Есть каталог Митурича!

– Я не видел, – возразил Дима.

– А вы бы спросили, – парировала она. – Мы всегда издаем каталоги, когда выставка. А когда развернутая экспозиция – не издаем.

Мы с Аней разулыбались. Дамочки были симпатичные, примерно наших лет. Они ехали на открытие выставки казахского искусства. «Ваш зал – следующий», – подсказали служительницы искусства.

Решили идти напрямиком к Митуричу, ни на что не отвлекаясь и никуда не сворачивая, но немедленно зацепились за Малевича. А потом зависли в залах сурового стиля. Дима в нем хорошо разобрался, проявлял компетентность.

Его волнение заражало.

Так мы втроем поймали первую волну. С Аней и Димой мы учились в художественных вузах, а до того в художественных школах, и были примерно ровесники.

Нас сделали на одном конвейере. Это трудно объяснить, но в чем-то мы были удивительно похожи. Одинаково чувствовали и воспринимали – в некоторых ситуациях.

А именно на выставках и в музеях.

Втроем мы зависли у картины Виктора Иванова. Это был групповой портрет советских художников в легендарном кафе «Гресо». На столе перед мужчинами стояли пять стройных бокалов с красным вином. По виду и позам мужчин, по не гармонирующим с ними бокалам было понятно, что герои картины воспитывались на других напитках.

Наверняка автор не хотел такого эффекта, но чувствовалась скованность людей, впервые выбравшихся за границу. Они сидели в прославленном и даже символическом месте. Гоголь писал здесь «Мертвых душ», и что-то пил Байрон, а де Кирико заходил на аперитив. Кафе было основано в 1790-м году, а картина написана в 1973-м, без малого через двести лет.

Художники Зверьков, Жилинский, Коржев, Оссовский и сам Виктор Иванов тесно сидели за маленьким столиком исторического кафе, на красном бархатном диване. В странной задумчивости, в тишине. Нетронутые стояли перед ними пять бокалов.

А мы стояли перед картиной в странном оцепенении.

Вокруг расстилался зал Виктора Иванова. Я совсем не знала этого художника, а Дима знал, ходил на его выставку. Работы Иванова меня неожиданно тронули, хоть я и не поклонница сурового стиля.

Чем-то похожий на Попкова, но иной, – качественный художник, честный, профессиональный, со своими темами, выразивший время, хорошо знавший историю мировой культуры.

– А с Попковым мы оба из Мытищ, – произнес вдруг Дима, указывая на висящих в отдалении «Строителей Братска». – Недавно мытищинские художники посещали его могилу, а я не смог. Работал в тот день.

– Вставай, – я кивнула на картину, – сниму тебя со строителями Братска.

Высокий Дима притулился сбоку, но я велела стать посередке, он странно развел руки, и я сфотографировала его на фоне Виктора Попкова.

Мы немного потоптались у работ скульптора Цаплина. Рифмуясь с фамилией, Цаплин был анималист, причем хороший. Собственно, чему тут удивляться. В Третьяковке висят только хорошие художники.

Потом мы застряли у картин Юрия Злотникова. Справа по ходу висело ранее полотно «Улица Горького», я сняла на его фоне Аню, злотниковскую ученицу.

Следом потянулись лианозовцы. Немухин, Рабин, Краснопевцев. Работы Льва Кропивницкого. Юной и наглой выпускницей худграфа, решившей стать журналисткой, я ходила ко Льву Евгеньевичу брать у него интервью. Ну, как ходила, меня привел мой друг Володя Тучков. В мастерской на Старой Басманной, в знаменитой мансарде, нас усадили за стол. Угощали рисом по-хански, а все шутили, что «по-хамски». Выяснилось, что я пишу стихи. Маэстро, как его все называли, попросил почитать. Льву Евгеньевичу понравилось, так два моих стиха вошли в «Мансарду», литературно-художественный альманах Кропивницкого. Когда спустя какое-то время я пришла за авторскими экземплярами, Кропивницкий болел, а вскоре умер.

Тогда же я познакомилась, а потом и подружилась с художницей Олей Зыряновой, музой Кропивницкого. Оли не стало прошлой весной.

– Как интересно, – сказала Аня. – И странно... Ходим по Третьяковке, по постоянной экспозиции, а кое-кого из этих художников мы знали лично.

Меж тем добрались до выставки казахского искусства. По случаю открытия было оживленно, софиты жарили, а знакомые нам дамы из лифта давали интервью молодым телевизионщикам. Мы аккуратно помахали им, кураторши в ответ улыбнулись.

Полыхнуло синим: добрались до Митурича. Выставка была оформлена в ярко-синих цветах мая и Мая.

Мы сразу разбрелись, даже разбежались, хотя до того держались группкой. Хорошее искусство требует интимности. Важно смотреть его поодиночке, а потом сличать впечатления.

Мы двигались, сталкиваясь и снова разлетаясь, как нейроны. Вдруг я заметила, что Дима обсуждает картины с симпатичной молодой особой. Услышала ее умную реплику. Странно, меня это задело. Дима пришел на выставку с двумя привлекательными женщинами – нами, и вот еще и с третьей разболтался...

Какая удивительная... что? Общительность? Открытость? Коммуникабельность? Да, пора признаться, чужая спокойная раскованность меня задевает... Триггерит.

Но я отвлеклась. Выставка доставляла наслаждение. Не зря мы на нее стремились и примчались в последние дни работы. Май Митурич – художник высочайшего класса, а хороший вкус не дал ему впасть в майстризм, в самоупоение. Чувствовались ум и самоирония.

Стиль его сравним с иероглифическим письмом. Мастер, конечно, знал об этом. Авторская подпись-печать кораллового цвета была стилизована под японский иероглиф. На выставке имелось несколько иллюстраций к хокку.

– А ведь это все руками, – внезапно сказал Дима над моим плечом. Мы стояли у стенда с книгами Митурича, обложки которых он рисовал и писал сам. – Компьютеров, как известно, не было.

Может показаться, что Дима тут капитан очевидность – но не мне, учившейся вместе с ними на Худграфе. Мы застали пытку антиквой, вычерчивали буквы, специализация – учитель изо и черчения...

Вдоволь напившись синего майского Митурича, мы уже могли общаться и обсуждать увиденное, снова сойдясь в троицу. С Аней мы использовали Диму для фотографирования нас вдвоем, принимали изящные позы на синих банкетках, а Дима снимал, отходя и приседая. Обычно приходится просить об этом посторонних людей. Удобно, когда есть кто-то свой.

Тем более, художник.

Засобирались назад. У нас с Аней был план поболтать в музейном кафе.

- Мне как-то не хватило, – сказал Дима.
- По-моему, идеальный объем, – возразила я. – И не устали.
- Очень хочется кофе, – заключили Аня.

Навстречу шли принаряженные восточные люди. На казахскую выставку, догадались мы.

- Ну, мы в кафе, – объявила я, когда мы добрались до гардероба.
- Я с вами, – сказал Дима. – Только возьму из куртки карту, и догоню.

Повеяло святостью. Или беспечностью... Кто сдает в гардероб деньги и документы?

В кафе нам повезло захватить отличный круглый стол. Я села сторожить, Аня отправилась за кофе. К нам присоединился Дима с картой, которая, слава Богу, не пропала.

На столе сделалось тесно от кофе и еды.

К тому же Дима принялся выгружать из рюкзака пластиковые контейнеры.

– Осталось после смены. Виноград мытый. Колбаса, лаваш, ешьте.

При виде колбасы у меня загорелись и вновь потухли глаза. Фантомные боли ЗОЖевца.

– Где ты работаешь, если не секрет? – я отщипнула виноградину.

Дима всыпал в свой капучино несколько пакетиков сахара.

– У меня две работы. Предложили объект охранять. График хороший, трое через трое. Платят более-менее. Нормально, меня устраивает. И еще в керамической мастерской...

Я пила кофе и переваривала услышанное. Про керамику я знала по FB, это была видимая часть Диминой жизни. Обручальное кольцо у него было надето не на той руке. Значит, разведен. Работает охранником. На выставки ходит после смены... Домой не спешит.

Нет, любые работы хороши, всякий труд почетен. Поколение дворников и сторожей шло и ушло перед нашим. Но после худграфа он мог бы подвизаться графическим дизайнером. Иллюстратором. Преподавать в вузе или в художке. Мало ли работ, связанных с изобразительным искусством...

Дима меж тем рассказывал про еще одну свою работу. Два года подряд он занимался рисованием с девочкой-инвалидом. Ее родители нашли Диму на профи.ру, и как-то они поладили, Дима и девочка. Ведь два года регулярных встреч – это очень много.

Инвалидность была связана с физическими ограничениями. И с ментальными.

Родители над ней тряслись, рассказывал Дима. Все для девочки делали. При этом в семье подрастала еще одна дочка, младшая. Умница, красавица, отличница. Чемпионка по фигурному катанию. А родители старались только для старшей...

– Вот у меня брат инвалид, – буднично произнес Дима. – Маме не надо было рожать второго ребенка, врачи запрещали. А она родила. Инвалид детства. У него все работает... как сказать... ну, на сорок процентов. И наши родители тоже все всегда для него делали... Старались, вкладывали. А он вырос бездельником. Хотя работать может. На простых работах. Курьером.

– А... а с кем он живет? – спросила я, слегка опешив. – Кто за ним... ухаживает?

– Я, – сказал Дима. – Мы вместе живем. Пока жив был отец, тот его пинал, заставлял работать, шевелиться. А сейчас брат целыми днями плюет в потолок. Пенсию получает. По монастырям ездит. Паломничества... Какая вкусная здесь «картошка», – заметил он, доедая крошечное коричневое пирожное.

Вот тебе и Дима, любитель искусства. Дима с лавашом и виноградом. Едущий после работы на Крымский вал посмотреть Митурича. Неплохо сохранившийся, высокий, спокойный. С большими хрящеватыми ушами. Привлекательный.

– Так, давайте виноград доедим, – сказал он. – Не оставлять же. Девчонки, берите.

– Я не могу, – сказала Аня. – у меня гастрит.

Мы разделили с Димой оставшийся кишмиш, получилось по горсти на брата.

Из Третьяковки вышли сроднившимися. Расходиться не хотелось.
Мы будто сплели вокруг себя теплый невидимый кокон и стояли в нем.

– Ты с нами? – спросила я. – Мы до Парка Культуры.
– Я до Октябрьской, – плечом показал направление Дима.

...Будто от Октябрьской до Мытищ было сильно ближе, чем от Парка Культуры...

Улыбнулись друг другу, я потрогала Диму за рукав, и мы разошлись.

2.

Встреча во вторник

Мы с Аней снова договорились встретиться. Аж на следующий вторник, а был еще только четверг, – такой горизонт планирования.

Выбрали пойти на выставку художника Немухина в Третьяковке на Крымском – географически туда же, куда ходили в прошлый раз и где встретили Диму.

Потом, разумеется, собирались засесть в кафе и потрещать. В этой трескотне заключался отдельный соблазн наших встреч.

Значит, на вторник была запланирована встреча, а в понедельник мне позвонил Глеб – неудачно, во время другого разговора.

Притом, что я очень редко говорю по телефону.

Глебов звонок я сбросила, он набрал вторично.

Занята позв ч 20 мин, написала я

Но, конечно, все уже поняла. И немедленно перезвонила.

Худшие мои предположения сбылись. У Глеба умер отец. Он сильно болел в последнее время. Когда похороны? Завтра. Если я смогу... наверное... скорей всего... конечно, я приду.

Поддержать друга, потерявшего отца.

Встреча, Немухин, Третьяковка и кафе таким образом отменялись.

Ане я тут же написала, что иду завтра на похороны.

И она сразу ответила, что присоединится.

Дружба тонкое дело... Не всегда, но часто, когда люди дружат, круги их равномерно перемешиваются. И друзей становится в два раза больше.

Так мой давний друг Глеб подружился с Аней. Это произошло не автоматически, простым перемешиванием во время денрожденных встреч, и не потому, что они живут на одной станции метро. А путем взаимной симпатии и вследствие родства душ.

...Мы с Аней встретились на метро улица Народного Ополчения, обе приехали раньше времени. Вызвали такси. Дул ветер, летела в лицо снежная крупа: идеальная похоронная погода. Добрались до Саям Адила. Искали на территории больницы морг и ритуальный зал, как обычно, расположенные на задах.

По дороге встретили трех растерянно озирающихся женщин.

Тоже ищите морг, участливо спросила Аня. Они отпрыгнули от нас – оказалось, им нужна была поликлиника.

Сбор похоронных гостей в конторе морга... что я вам буду рассказывать. Нет на свете ничего печальней и томительней.

И будничней. Единственный туалет – без зеркала, плохая примета? – работает на износ. Партии провожающих сменяются: вы нас не пропустите? Мы уже уезжаем на кладбище. Конечно-конечно, о, взаимопонимание братьев по несчастью, политес печального места.

У гроба Глебова папы я рыдала в три ручья, подтирая пальцем тушь. Не потому, что я профессиональная плакальщица с повышенной чувствительностью и отзывчивой эмоциональностью. И могла бы этим подрабатывать. Просто впервые за 35 лет я увидела моего друга плачущим. Сутуленный, с серым лицом, каким он вышел из конторы ритуального зала, от плача Глеб даже порозовел.

Притом отношения его с отцом не были радужными. Тысячу раз нет. Но, переживание потери, эта последняя близость...

Через 15 минут четверо высоких мужчин, похожих на актеров или конферансье, накрывают твоего папу крышкой. Аккуратно и сноровисто привинчивают ее.

Все! Папа и лежащие в ногах у него цветы – много, хотя провожающих всего семеро – упакованы в гроб, обтянутый атласом шоколадного цвета...

Плакали только я и Глеб. Нежная и мужественная его подруга сказала, глядя на умиротворенное лицо покойника: спасибо за любовь всей моей жизни.

Как красиво сказала! И правдиво – Надя действительно обожает моего друга, души в нем не чают.

А первым взял слово Глеб. Меня поразило, что обращался он к отцу, а не к нам, провожающим. Обычно об усопшем говорят в третьем лице: был, оставил, создал.

Папа, в завершении своей короткой речи сказал Глеб, я хочу, чтобы ты знал, я люблю тебя.

Сомневаюсь, что Глеб говорил отцу что-то подобное при жизни. Сентиментальные признания не в чести у мужчин поколения, которому мы с ним принадлежим. Сейчас люди более чувствительные, нежные, открытые, проговаривающие.

Содрогаясь от жалости, я гладила Глеба по рукаву серой куртки. Аня корректно стояла за родственниками, а всего, повторюсь, нас было семеро. Очень пожилая мама Глеба давно не выходила из дома.

...Когда пять лет назад ушел мой папа, на его похороны собралось человек тридцать. Ядро составляли туристы, как мы их называли, – дружная команда байдарочников, в которой папа состоял больше пятидесяти лет. Когда у родителей завелась я, оба они уже принадлежали к этой славной компании, в которую моя мама вошла двадцатитрехлетней. Папа, старше на ее семь лет, был там старожилом и основателем.

Туристы задавали тон на похоронах. Было много воспоминаний, и почти все забавные. На поминках они согрели нас. Мы смеялись. Дым костра создает уют... Но до поминок еще надо было доехать.

Звучали надгробные речи, а до того, по-нашему с сыном решению, запустили через колонку «Синий троллейбус» Окуджавы. Одна из самых любимых папиных песен, она очень его отражала – старого москвича, родившегося на Малой Бронной, инженера, романтика, шестидесятника, человека начитанного, тонкого, по-настоящему интеллигентного.

В этой же логике папин гроб был обтянут синим атласом. Безвкусно? Я не знаю. В плену горя, вынужденной деловитости, необходимости быстрых решений, мы шли на поводу у прямых ассоциаций.

Такие вещи же не продумывают заранее...

Над папиным гробом звучало:

*Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний, в случайный.*

*Последний троллейбус, по улицам мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье, крушенье.*

И папа в своем синем троллейбусе тихо уехал, дело было в крематории Николо-Архангельского кладбища. Пока мы находились в зале прощаний, выпал снег, выбелив окрестность, до того серо-черную, несмотря на февраль. Интересно, что мироздание хотело нам сообщить? Что значила эта примета?

Тридцать провожающих загрузились в несколько транспортных средств и двинулись на поминки в кафе «Старый город». Хорошо помню все связанные с этим организационные усилия. Приведшие к неплохому результату, душевным проводам, уютным, дружным поминкам.

Через четыре года мы поминали маму в этом же кафе, прекрасно себя зарекомендовавшем. Друзья, стесняясь, признавались мне, что не могут забыть того поминального пира, замечательно вкусного. Так вот, к моменту маминого ухода кафе было отремонтировано, модернизировано и переименовано. Теперь оно называлось «Red». Кормили здесь все так же вкусно. Набили руку на проведении поминок...

Сейчас, при полном отсутствии видимых изменений, кафе называется «Дубай».

..Вышли отведенные нам пятнадцать прощальных минут. Усталый немолодой мужчина в халате, работник морга, напомнил забрать фото усопшего. На нем Глебов папа походил на артиста Никоненко в молодости – и на моего друга.

Кстати, четверо из семерых провожающих были родственники, родовые черты проявлялись заметно, бросались в глаза. Это были немолодые красивые люди разной степени поблеклости.

..Мы вышли из зала прощаний вслед за гробом. Церемонные черные мужчины в белых перчатках точно рассчитанным движением вдвинули его в катафалк. В Митинский крематорий Глебова папу сопровождала агент, молодая женщина с профессионально-участливым лицом. Она вручила Глебу папку с документами, негромко проинструктировала; микроавтобус тронулся.

Родственники почему-то отказались ехать на поминки. Вчетвером – я, Аня, Глеб и его подруга Надя – переместились в кафе близ Новослободской. Этому предшествовала странно умиротворяющая, убаюкивающая поездка в такси; только Глеб на переднем сидении судорожно вздыхал, или разыгралась его старинная астма. Самое тяжелое осталось позади, все негромко переговаривались, а я жадно рассматривала дневную, трезвую, буднюю Москву. Поездка воспринималась как внезапный отдых, передышка. Я не напрасно смотрела в окно, обнаружила неизвестный мне Пыхов-Церковный переулок с высоченной красно-копченной колокольней необитаемого вида – вот так трофей.

Мы вышли у «Джонджоли» на Новослободской. Здесь было малоллюдно, мы выбрали уютно и укромно расположенный столик на втором этаже. Как только веселый, даже слегка развязный официант принес меню, мне прилетела в ватсап срочная редактура, работа. Я отсела, сразу укулилась чужим текстом с его мыслями и странностями, все остальное стало посторонним и мешающим. Это могло бы показаться неприличным, если б не камерный, дружеский характер поминок. Все мы просто смылись с работы на похороны, пользуясь прелестями аутсорса.

Аня сделала заказ за меня. Тыквенный суп, хинкали и... Что будем пить? Конечно, водку.

Магия поминок заработала еще до того, как подняли стопки. Вспоминали усопшего, лично не знакомого только Ане. Пили не чокаясь, а потом уже чокаясь, за дружбу и за каждого из нас.

Я вспомнила, что отец Глеба любил готовить. В семье этим занимался именно он. Правда, чего-то особенно вкусного и выдающегося я не помнила. Но ведь готовить это не только про изыски, но и про ежедневную рутину.

Но я напрочь забыла, что по образованию он был пищевой технолог, профессиональный кулинар. Работал в кафе. Сменил специальность: отрасль была тогда криминогенной и опасной. Пошел по экономической линии.

Вчетвером мы сидели за столиком в «Джонджоли», все в черном, посередине отпотевал графинчик. Если бы рядом оказался хороший художник, он рассмотрел бы в этом мотив. Пожалуй, композиционно и сюжетно нас можно было бы срифмовать с работой художника Иванова из предыдущего рассказа. Там советские художники сидели, замерев над бокалами красного в римском кафе «Греко». У нас стопки не стояли без дела, а то и дело взлетали.

Вскоре появилась еда. Она была неплоха, но водка царила и перетягивала внимание на себя. Девушка Глеба закусывала сметаной, подсоленной прямо в ложке. Наверное, зря я не последовала

ее примеру, потому что водки оказалось чуть больше чем нужно. С другой стороны, нам требовалось опьянеть. Воспоминания становились теплей, глубже. Кафе к вечеру наполнилось, пошумело, все столики были заняты, но наша маленькая компания сидела в собственной капсуле тепла, уюта, взаимной приязни.

– Знала бы ты, как я ревновала, – сказала вдруг Надя с пьяноватым задором. Она сидела рядом с Глебом и весело смотрела на меня. – Как ревновала!

– Кстати, Надя! Ты собиралась рассказать нам про свою дочку и ее операцию, – напомнила я. У меня не было задачи отвлечь девушку Глеба, переключить ее внимание. Мы были спонтанны как дети. И Надя рассказала, как ее дочь вскоре после родов вдруг почувствовала себя плохо... как вдвоем с зятем они выхаживали малышку, пока ее молодой маме делали операцию на желчном пузыре. И как, молодцы, они со всем справились.

Вот вам красивая деталь, девушка моего друга – молодая бабушка. Юная бабушка, кто целовал... Кто-кто – Глеб!

Надя посмотрела на часы. Пора ехать, – напомнила она моему другу. Им предстоял второй этап поминок, с Глебовой мамой.

Мы расстались у Новослободской. Глеб и его девушка свернули налево в метро, а мы с Аней направо, в сторону Миусской площади. Решили пройтись.

Итак, как и планировалось, мы увиделись с Аней во вторник, только сценарий оказался другой. Человек предполагает, а Бог располагает, любила повторять моя мама.

Сытые, умиротворённые, с чувством выполненного долга, мы с Аней шли уютными улицами, болтая обо всем на свете. Мы отдали дань смерти и были в этот момент полны жизни даже сильнее чем обычно. Контрасты, тени, рефлексы – художники – мы с ней понимали, как это устроено.

Будто специально нам встретился магазин «Передвижник», товары для художников. Зайдем, попросила Аня. Внутри оказалось уютно и увлекательно, приятная теснота из множества вдохновляющих предметов. У художников и тех, кто к ним примкнул, текут слюнки в таких местах.

А вот писатели – чем нужно наполнить магазин для писателей? Назвать его можно было бы в той же логике... «Серапионовы братья». Но что продавать в таком магазине, чтобы писатели, входя сюда, теряли разум и наполняли корзинки и тележки товаром... каким?

Не книгами же?

Словно разделяя мои сомнения, с антресоли, куда вела деревянная лесенка, смотрели гипсовые головы мыслителей, богов, полководцев. Вольтер, Сократ. Дидро. Будда. Гаттамелата, Колеоне. Венера и Давид стояли плечом к плечу, подставка к подставке. Знакомые все лица. Для выучеников художек и выпускников художественных вузов это были родные люди.

Мы с Аней купили по маленькой, но недешевой ерунде, она специальный карандаш для набросков, а я очередной, наверное, уже сотый блокнот. Вообще-то он для зарисовок, но я буду в нем писать.

Создатели будущей сети супермаркетов для писателей «Серапионовы братья» должны взять на вооружение блокнотики всех размеров и установить стенд с ними прямо у касс. Ибо делать записи в заметках на телефоне или, хуже того, в компьютере давно уже дурной тон. Но чем же им наполнить остальное пространство магазина?

Не справочниками же по писательскому мастерству?

...Как ни хотелось нам расставаться, у Пушкинской это пришлось сделать. Мне пора было домой, Аня собиралась пройтись по Тверской к ее началу и сесть там на свою красную ветку. Мы как птицы садимся на разные ветки, бормотала я, усаживаясь на своей фиолетовой – между полной красиво одетой дамой и буйно-кудрявым подростком в наушниках.

Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро, пела группа «Високосный год» голосом твоей первой любви, – рано ушедшего талантливой Ильи Калининкова. Впрочем, название группы, развалившейся сразу после смерти ее лидера, будто бы уже содержало в себе возможность такого исхода...

3.

Подумаем, сделаем кружочек и вернемся

Следующая наша встреча случилась уже в новом году. Заложник аутсорса и домашний сиделец, я просилась на люди, на выставку, но Аня переела выставок. Она предложила альтернативу, компромисс между искусством и шопингом, – ярмарку на Кузнецком мосту, в доме художника, который в остальное время работает выставочным залом, а в предпраздничное торгует всякой праздничной чепухой с намёком на подарки. Подарки не любые, а с артистическим душком, и публика там не абы какая, а околхудожественная, с претензией.

Типа нас.

Прямо у входа гостей встречали шапки. Они застали меня и Аню врасплох – мы вошли с мороза, обнажили головы и не успели обжиться в тепле. Шляпки и шапки всех видов и мастей лежали, высились на специальной подставке. Сидели на головах примерявших их женщин. Аня померила кубанку и моментально стала главной в этом шляпном закутке. Головные уборы идут ей, Аня и без них-то звезда, а вместе они сила.

Женщины стали поглядывать в нашу сторону, продавщица приняла охотничью стойку, но не торопилась. Мы начали хаотично и азартно мерить шапки, кепки, токи, и они были нам к лицу, или это особенность ярмарочных зеркал, магия таких мест.

Мы ничего не планировали покупать, но почувствовали острую, нестерпимую потребность в головных уборах. Тем более что зимы осталось еще на неделю, а март у нас сами знаете какой. Аня окунула черноволосую кудрявую голову в изумрудную папаху из каракульчи, и зал на Кузнецком просиял от ее красоты.

Шапка стоила осязаемых денег.

– Натуральный мех! Берите, – интимно понизила голос подкрававшаяся продавщица. – Мехов уже больше не будет! В этом году торгов не было. Берите, это последние.

Мы с Аней не мехозависимые, но после таких прогнозов нам стало страшно.

Помните воспоминания Тэффи, Москву 1918 года, атмосферу конца света?

«На углу, в москательной хозяйка продает кусок занавески. Только что содрала, совсем свежая, прямо с гвоздями. Выйдет чудесное вечернее платье. Вам необходимо. А такой случай уж никогда не представится. Берите бархатную портьеру, только что сорвали. Совсем свежая, еще с гвоздями...

Ужасно не люблю слово “никогда”. Если бы мне сказали, что у меня, например, никогда не будет болеть голова, я б и то, наверное, испугалась».

Мы еле убежали от шляпной предсказательницы. Обещали подумать, сделать кружок и вернуться. Я поняла магию шляп и шляпок. Живучесть шляпного предпринимательства. На шляпках разминалась великая Шанель... Сколько времени мы провели у темноватого зеркала в шляпном углу? Полчаса, час, эпоху?

Потом мы стали жертвами пальто, особенно я. Я отбивалась – у меня уже есть пальто. Сопротивления было отчаянным, но опытная продавец ворковала, окидывала меня взглядом – вы у нас... 44, 46? ... померить, только померить, никто не заставляет покупать, позвольте я вам застегну... подтяну... расправляю... Зеркало предъявило страшно довольную собой элегантную леди... стоимость пальто уже не казалась астрономической. Эта вещь согрела мое самолюбие... мы еле улизнули.

В следующий капкан угодила Аня. Снова шапки, они охотились на нее, нападали, напрыгивали. Приманками выступили ушанки, ярко-розовая и цвета лайма, – они не хотели слезать с Аниной головой и очень шли ей, но гибрид папахи и берета из искусственной норки взял вверх. Шапка была классная, с легчайшей придурью и сверкающей брошкой чуть выше лба. Аня представала в ней сахарной боярышней с пушистыми ресницами и розовыми щеками, и продавщицы замерли в неподдельном восхищении. Но не так мы были просты, чтобы взять и купить. Обещали подумать, сделать кружочек и вернуться, но наживка была проглочена.

– И ведь не дорого! Я в продуктовом магазине меньше 2 тысяч не оставляю, – уговаривала себя Аня. Я не возражала. Мы шли мимо оправ, чудо-чаев, украшений, кашемировых маек, талисманов, волшебных масел, юбок-брюк, джемперов, перчаток и нескончаемой косметики.

Следующий омут искушений оказался подстроен для меня. Нижнее белье, похожее на выброшенные на берег медузы... подобное носила моя бабушка, самая элегантная женщина в мире, похожая на Маргарет Тэтчер, но намного красивее.

Никакой глупой эротики, тесноты, обтяжек. Простор для тела и воображения, сдержанные 50-е, но, конечно, не в советском исполнении, прекрасное ретро... Бантики... Разумеется, моя строгая бабушка не прохаживалась при внуках – нас у нее было четверо – в белье. Как вам такое могло прийти в голову? После бабушкиной смерти мы с мамой разбирали ее платяные шкафы, содержащиеся в идеальном порядке, с мешочками апельсиновой цедры, – и там встретили это ангельское белье, нисколько не нарушившее цельность моего представления о бабушке. Скорей, эта находка преподала урок самоуважения мне, в ту пору 23-летней выпускнице столичного вуза.

...Аня аккуратно утянула меня из бельевого чертога, и мы пошли дальше.

Многие торговцы на ярмарке казались смутно знакомыми. Полуартистическая среда, околотворческое предпринимательство, близкие сферы. Здесь было много художественных женщин – тип, мне очень понятный и совершенно не близкий, но именно в логике одноименных частиц. Среди бесконечного текстиля, бижутерии и косметики мы наткнулись на пищевой отдел. Гора сладостей, делающих вид, что они полезные и безгрешные, завладела Аниным вниманием. Она интересовалась сладостями без сахара – кажется, это оксюморон, но продавец, проявляя недюжинное знание ассортимента, повела ее по лабиринтам своего товара.

Я тоже не скучала. Я изучала развал военных пряников – а как еще назвать кондитерские изделия с пушками, дронами, винтовкам, ракетами и пулеметами, искусно напечатанными на белой и розовой глазури. Стоили в канун 23-го эти пряники недешево. Остроумно – съедаешь полезную сладость на праздник, и дом не загромождаешь, и здоровье не портишь, и дань отдаешь, календарный политеч соблюден. Я порадовалась за чью-то маркетинговую смекалку. Обещав подумать, сделать кружочек и вернуться, мы с Аней вернулись – да, за шапкой.

Она была на месте. Сделанный из искусственной норки, головной убор казалась живым существом. Его следовало класть не в пакет, а в коробку с просверленными дырками, с запасом еды в качестве приданого – что там едят искусственные норки? – и точком соломенной подстилки. Аня перевела деньги даме-продащице, они наговорили друг другу кучу любезностей, вплоть до... «Знаете, у вас такое лицо... как бы это сказать?... удивительно доброе!» «Инна Григорьевна К? А у меня сына зовут Григорием, в честь дедушки». «Григорий – самое красивое мужское имя, и лучшее для отчества. Мой папа до старости был удивительно мужественный, галантный. Знаете, ему было уже 90, но он всегда вставал, когда – мне приходили подружки... сидеть при дамах?»

На прощанье едва не расцеловались. Воодушевленные, мы с трудом вырвали себя из цепких пряничных лап ярмарки. В гардеробе Аня надела обновку, а вязаный берет пошел в освободившийся пакет. Мы выпорхнули на заснеженный Кузнецкий. Центральную часть улицы занимало... как назвать этот элемент городского дизайна? вытянувшееся во всю длину загадочное сооружение... из фанеры или ДСП... крепость? вал? – украшенное елками, шариками, бантами, скамейками... громоздкий и довольно несуразный праздничный монплеизр. К конструкции высокими слезавшимися горами был прибит снег, что невольно дополняло идею вала или крепости. Несмотря на пятницу, народа на улице было немного. Рядом играл на гитаре и пел, и хорошо пел, уличный исполнитель, одинокий аки перст. I am the passenger – вырывались изо рта бессмертные строки и клубы пара, и гасли в снегопаде. Никто не окружал адепта Игги Попа, а если что и падало в его кепку, то только хлопья снега. Как всегда, я запоздало пожалела, что нет с собой бумажных денег.

Было двадцать второе февраля две тысячи двадцать шестого года. Предстояло двадцать третье, за ним неизбежно следовало двадцать четвертое ноль второе, новая отечественная дата, будто специально подогнанная к соседнему дню по принципу тематической общности. День рождения моей свекрови... семейный, когда-то очень уютный и вкусный день. Теперь от слов двадцать четвертое февраля на сердце ложилась тоска, собирался ком тошноты... Такая симптоматика срабатывала не у всех, из-за чего постепенно или резко развалилось много прекрасных дружб и родственных связей.

Через четыре дня эту дату затмит новая... двадцать восьмое ноль второе двадцать шестого, но мы пока этого не знаем. С хорошенькой Аней в ее новой арт-норке аккуратно, чтобы не поскользнуться на брусчатке и не грохнуться, мы бредем в сторону Неглинки. Мы осматриваемся и придумываем, где бы нам потрещать.

Дмитрий Замятин

СЕЗОНЫ

размазана по низким небесам
вставая в паз(зл)
весны бог весть какой
печаль течёт сквозь перелесков
пасмурные
пальцы

из слуховых глушизн
из воздуха люлёй
сквозь ломкий серебрящийся апрель
расхристанный нестройный *ветроград*
сосной и псиной пахнущие дали
неудержимы заклинания стаканов
обратно в тело упадёт озноб
и меди блеск на греческих царях
им нет пути к твердыням илиона
в серо-хрущатых сладостных хрущобах

щебетом вязким
голубизны
шербет

май на ветру
задыхаясь

Дмитрий Замятин родился в 1962 году в г. Свердловск 45. Окончил географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, докторантуру Института географии РАН. Кандидат географических наук, доктор культурологии. Как поэт и эссеист публиковался в журналах «Новое литературное обозрение», «Новая Юность», «Воздух», «Волга», «Урал», TextOnly, «Зеркало», «Новый берег», «Крещатик», «Парадигма», Роеіса, альманахе «Артикуляция» и др. Автор пяти поэтических книг, Лауреат Премии Андрея Белого (2011) в номинации «Гуманитарные исследования», а также Международной отметины имени Даида Бурлюка (2018). Живёт в Москве.

мая
белый пиджачок
хохолок одиночества
холодок

невесома
одуванчика
вечность

сомы
ризوما

света укроп
в заката рассоле
влажные
рельсы

неба губы
в бруснике

затенён
затаён
окон
кокон
рассечён

воздух бездыханный
вспух
стрекозой сетчатки
слух

сквозь полуснов прерывистую сень
боярышника контрабандный
запах

с случайным спит дождём
лиственной лоснясь лесной
окна открытая
озябшего
слеза

бустрофедон дождя
небес останки
запахал

в городе горячем как сон
нежной каторгой
кутерьмой
маслянисто-бесстыдна малина
после дождя

как юг
тѣла
олово

устало-
белесо

молоком
тело дотла
пролилось

нойз полуденный
(д)ревностью полнит тайно
время тает у нас во рту

нёбом схвачен
вечер
нагой

тёмно-розовы
апейрона
сосцы

в придорожной обочине
пчёл копошение
жёлто-
желанно

фетром
розовым
дышат
рассвета
лососи

словно древние спазмы
метафор
ветвей неуклюжие
дронты

грусть электричек
в предплечье
снов

я дни высокие открыл
цикад слюда
и золотые пустыки
экспресса тускло-потусторонний промельк

по землям нераспаханным
к кочевьям скифов

вечера
медно-копчён
ковчег

златом взломан
по синему

на горизонта тающем тросе
свет
альбатросом
тонущий

угрем выгнувшись
в зябкой воздуха бязи
неба мигрень

прохожих зеницы
демисезонны

темноты стада
продрогшими дее-
причастьями

в переулках глухих тревоги
партизан городских
травелогии

упала ночь в твои ресницы
умершие меняются
погода снится
чуть холодеющим
синицы
эхом

в дальнем краю
откуда мороз аквилонами дышит
небо бежит постоянно вокруг

здесь на самой заре
вороны яростны

скамеек селёдки
скользки

снова скукожатся дни
холод придёт в вавилон

ветром дочиста
горизонты
вымыты

галки гогочут с холма
к тучевым зияющим плавням
взывая

альми стенами вечер
ночи керамика
гулка

снег бесшовный
незаписанный сон о солнце
серебристою рифмой мариин
тишина машин шелестит

на кусте снегирей
невесою гирей
синергия

день
пропитан
осипшим светом

скользящая стойкость
к осыпям снов
сны становятся
первым
снегом

Кусчуй НЕПОМА

ДИСТАНЦИЯ (удаленная форма жизни)

Повесть

Паяльникова бесило, что жена, встав с постели, прикладывала ладонь к его лбу. Ну что за привычка!

«Она б еще мне зеркальце ко рту подносила!» – зло думал он.

Про зеркальце он подумал в машине, когда смотрел в зеркало заднего вида. В белесой пурге едва видны были фары шедшего следом автомобиля.

Видавший виды рено вез Паяльникова домой. Вез через пробки на мосту возле Кировска, через вдруг начавшуюся метель. Три с лишним часа сложной дороги, Паяльникову казалось, что он не успеет. Савельев, который вел машину, хоть временами и давил на газ, но осторожничал, опасаясь идти на обгон из-за плохой видимости. Его старый рено обогнали более молодые и резвые машины.

– Ничего, Андрей, – бормотал Савельев, – доедем, успеем...

Паяльников то и дело переговаривался по телефону с Наташей, социальным работником, которая была сейчас при матери. Ночью мать упала с кровати, и Наташа, открыв утром дверь квартиры, нашла ее на полу с гематомой на бедре. С трудом уложив ее обратно на кровать, она вызвала скорую. Потом позвонила Паяльникову, сказала, мол, так и так. Хорошо что Савельев, одноклассник Паяльникова, собрался сегодня ехать на малую родину. Паяльников уговорил его сдвинуть время отъезда. И вот они вдвоем сейчас мчались через пургу в Тихвин.

– Совсем плохо, – говорила Наташа, – врачи ничего не делают. Они ее на выписку отправляют, говорят, вызывайте такси и везите. А как ее на такси, она же не ходячая...

И Паяльников слышал в трубке Наташин голос, обращенный в сторону: «Дыши, дыши же, родная».

– У нее судороги временами, она дышит тяжело... Они, оказывается, даже анализы у нее не взяли. Только теперь, когда у нее судороги стали, забегал персонал... На КТ повезли, невролог распорядился. А в выписке КТ написано, что сделано, а не сделано на самом деле.

Паяльникова трясло от этого репортажа, но злость не могла сократить расстояние или хотя бы прекратить метель. Нет, мать выдержит, выкарабкается. «Она почти шестьдесят лет была со мной, – думал он, – а до этого еще тридцать пять без меня, такие так просто не сдаются». У нее была... почему была, есть... трудная долгая жизнь. Она не может так просто взять и прекратиться. Все будет хорошо, успокаивал себя Паяльников.

Пять лет назад – и это дежавю какое-то, – было все то же самое: упала, ушиблась, адская боль в спине и ногах. Казалось, все, она не выберется, но потихоньку через пару месяцев встала на ноги, пошла.

Савельев крутанул руль, пытаясь обогнать фуру, но тут же вдавил педаль тормоза, резко встрогнулся обратно в ряд. Паяльникова тряхануло.

Кусчуй Непома (Михаил Петров) родился в 1966 году в Рыбинске. Окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета, аспирантуру. Переводчик испаноязычной литературы. Переводы выходили в издательствах «Амфора», «Азбука», «Симпозиум», «Наука». Автор сборников «Иоахим Воль, передвигатель шахматных фигур» (Луганск: Шико, 2011) и «Треугольник случайных неизбежностей» (Луганск: Шико, 2013). В «Волге» публиковалась проза (2014, 2016, 2017, 2020, 2024). Живет в Санкт-Петербурге.

«Ну вот, этого еще не хватало. Мертвый я ей совсем не буду нужен», – думал Паяльников. Он вспомнил те несколько месяцев пандемии, которые по сыновнему долгу, отложив все рабочие дела, теряя заработок, посвятил матери...

– Когда же я схожну! – говорила мать, с трудом переворачиваясь на бок. – Зачем человек живет? Чтобы так мучиться?

– Перестань, мама, – Паяльников не выносил эти разговоры. Он знал про ее нелегкую жизнь, скукоженную, сжатую со всех сторон тисками: войной, голодом, дистрофией, нелюбимой работой, недолгой семейной жизнью, затянувшейся болезнью мужа, отца Паяльникова, и им, самим Паяльниковым, поздним ребенком. Но ему все же верилось, что не только из страданий состоит жизнь, любая жизнь. Из радостей тоже, пусть из маленьких, не таких частых, как хотелось бы, но все же радостей.

– Ну скажи, ведь было что-то у тебя хорошее в жизни, – пытал он.

– Ничего не было. Ничего хорошего, – говорила мать, подпирая голову рукой.

– Как же так. Ты девяносто лет прожила, и неужели не было ничего хорошего.

– Ничего! – отрезала она.

Андрей надеялся, что хоть отца, ушедшего целую вечность назад, она вспомнит добрым словом. Как же – поздний брак, неожиданная партия, было же в этом что-то приятное. Должно было быть. Но семейная жизнь вышла короткой, а если вычтешь восемь лет отцовской болезни, то совсем крошечной по сравнению с ее нынешними годами. Незаметной даже.

– Ничего хорошего не было.

Это звучало приговором.

В редких воспоминаниях о жизни, в которые она пускалась под настойчивыми вопросами Андрея, и в самом деле не было ничего светлого. Детство – война, юность – голод и измождение, молодость – работа на износ, а потом все время недолады: денежные реформы, съевшие выплаты за без вести пропавшего в сорок первом отца, а потом материнские накопления, инфляции, дефолты и деноминации. Пенсия разве что, хоть и непозволительно маленькая, была чем-то стабильным.

– Лучше бы умерла я в детстве, зачем мать меня выходила.

Андрей хотел было возразить: чтобы меня родить, ведь тогда бы не было меня. Но промолчал. Он поправил подушку. Мать пока еще не вставала, и встанет ли вообще, Паяльников не знал. Сейчас первой задачей была госпитализация, но ее как раз и не случилось – пандемия, все двери присутственных мест закрыты, а больница – тем паче – забаррикадирована насмерть.

Пандемия

– Мама, доктор пришел, – сказал Паяльников, подходя к входной двери.

У доктора была фамилия. И была она Аминов. Имя с отчеством Паяльников выговорить не мог. Фенил Пронизолонович какой-то. Или Ацетат Натриевич.

– Андрей... – позвала из комнаты мать.

Паяльников нажал на кнопку домофона.

– Андрей!

– Мама, что?

– Говно пошло.

Доктор Аминов. Бодрый, весь такой скользкий, как облизанная карамель, подтянутый, в джинсах в обтяжку, курточка легкая не по погоде с воротником стоечкой, с медицинской повязкой, из-под которой блестели жаждой жизни и окончания рабочего дня мелкие черные глазенки. Ему пришлось ждать на кухне, пока Паяльников менял подгузник. Непредвиденная задержка, доктор Аминов поглядывал на часы, вываливая их из-под рукава жестом – широким, будто вырванным из семафорной азбуки – такой моряки с одного судна рассказывают что-то своим коллегам с судна другого.

Доктор Аминов отделался парой вопросов, попросил бумагу с ручкой и размашисто начертил курс лечения. Прочитал написанное, встал.

– А уколы кто будет делать? – спросил Паяльников.

– Вы.

– Я... нет. Я не умею.

– Тогда не знаю.

Доктор Аминов протиснулся в коридор и, сбегая по лестнице, сказал:

– У нас нет медсестер. Пандемия.

Передохли, что ли, подумал Паяльников, пандемия у них...

– Что за доктор такой! – сказала мать. – Выписал бы укол.

– Он тебе выписал два укола, – Паяльников пытался разобрать написанное доктором АМИНОВЫМ.

– Одного хватило бы. Чтобы заснула... Навсегда.

– Мама!

– Врач он или кто!

– Врач, а врач лечит, а не...

– Это и есть лечение. А то нахрена он такой врач нужен.

Паяльников видел в окно, как доктор Аминов вскользя в машинку с красным крестиком на капоте. Какое нелепое все-таки существо, подумал Паяльников, этот доктор.

Мать рассуждала про лечение, избавляющее от страданий, справедливое лечение, про врачей, настоящих врачей, внимательных и заботливых...

Паяльников не слушал. Он застыл у окна, смотрел на мокрый снег, такой неприятный в конце апреля. На покрытого снегом работника ЖКХ, кромсающего кусты жужжащей пилой. На Галю, дворника, орущую благим матом на раскидывающих срезанные ветки пацанье. На квадратный двор, знакомый с детства, а теперь чужой... И ведь в том, что доктор Аминов такой, виноват не сам доктор, а он, Паяльников. Это он нелепое существо, он. И никто другой. Потому-то теперь и пандемия.

Месть

– Мама, что будешь на ужин? – Паяльников остановился в изголовье постели. Мать лежала на боку, на большой подушке голова ее казалась маленькой, незаметной, как будто и не было ее, а был только странный рисунок наволочки.

– Опять есть... Сколько же время?

– Уже семь.

– Время летит со свистом в ушах...

Так она говорила раньше всякий раз, подчеркивая скоротечность своей долгой жизни. Теперь же скоротечность эта была совсем иная, других масштабов, еще скоротечнее, чем ранее.

– Опять есть... Не хочу я есть.

– А я картошку варю, – Паяльников сел напротив. – Может, сосиску хочешь?

– Нет, не надо.

– А чего хочешь?

– Ничего не хочу. Сдохнуть хочу.

– Творог есть. С ряженкой тебе дам, хочешь?

Мать пожевала губами, как будто творог был у нее уже во рту, и она взвешивала на весах, на одной чашке которой был творог, на другой сдохнуть. Творог перевесил.

– Ладно.

Намятая в миске творог с ряженкой, Паяльников подумал: как ни звучит это парадоксально, но выходит, что я как будто мщу ей.

Когда он приезжал к ней (на побуку, говорил сосед с первого этажа), оставался у нее на неделю, еда в него поступала каждые четыре часа. Такая была материнская забота.

«Опять есть», – бубнил Паяльников. Но расстраивать мать отказом не решался. Мало ли в ее жизни было неприятностей, а тут еще я, почти не бывающий у нее... Мать готовила одни те же блюда, десятилетиями, с самого детства. Паяльникову было все равно, что есть. Каша – так каша. Котлеты – так котлеты. Ежики – так ежики. Тушеная картошка – так тушеная картошка. И обязательно первое в обед: суп, щи, в крайнем случае куриный бульон. Все равно. Если б не частота приема пищи. Впрочем, он быстро привыкал и безропотно проглатывал в положенное время котлеты, супы, каши, картошку, не успевая не то чтобы почувствовать голод – не успевая избавиться от сытости. Утренний сон прерывался завтраком. Завтрак был готов, а потому – пора просыпаться и вставать.

И сейчасная его забота о матери походила на месть. Мечь, переходившая по наследству. Мечь! Я мщу! Сам того не осознавая... Ладно, не перегибай палку, Паяльников. Не мудрствуй лукаво. Ты заботишься о ней. Заботишься. В этом доме так заведено. И неважно, кто кого кормит. И кто кого будет кормить потом. Хочешь или не хочешь – ешь, рубай.

Логический тупик

Паяльников открыл входную дверь, вошел. В дальней комнате разговаривали. Паяльников мог бы еще на лестнице понять, что к матери поднялась соседка Валентина – в их почтовом ящике в отличие от соседних не торчала рекламная газетенка. У Валентины – единственной из соседей, с кем мать поддерживала отношения, – были ключи от квартиры.

– Сил нет больше жить, – слышал Паяльников из коридора голос матери. – И сил нет умереть. Дайте таблетку, чтоб сдохла...

– Нет, скажешь тоже, – говорила в ответ Валентина. – Сдохнуть когда – это не твое собачье дело. Твое собачье дело – жить. Боль приходит, боль уходит. Живи.

– Невозможно больше это терпеть. И за ради чего терпеть? Как будто что-то будет у меня еще. Сзади-то не было ничего хорошего, а тут спереди будет – ага, на-ка выкуси.

Паяльников поставил пакет с продуктами на пол и уже было открыл дверь на лестничную площадку, чтобы тихонько уйти, однако вспомнил, что в пакете сверху лежал херес. Подумают, что он пьет. А он не пьет. Выпьет, конечно, бутылку, дня за четыре. Разве это пьет? Но маме этого не объяснишь. И Валентине не объяснишь, у нее дочь, здоровая баба, не работает, а вино пьянствует, для нее это как красная тряпка.

Осторожно на цыпочках Паяльников прошел на кухню, спрятал херес в пенал, оставил на табурете пакет и вышел из квартиры.

Он не хотел мешать разговору. Соседскому. Хотя такой разговор, вредный по сути, неправильный, надо бы прерывать на корню. Но прерви он вредный разговор, и соседка уйдет, а это нехорошо, потому что лишать мать хоть малейшего общения это плохо, неправильно. Вот такой логический тупик. И так нехорошо, и по-другому скверно. Одно успокаивает, что они могут и переменить тему, поговорить о чем-то ином, мало ли. Могут. Конечно, могут.

Паяльников вышел из подъезда, побрел бесцельно по улице, шурясь на заходящее солнце. Заложил руки за спину, так почему-то было легче бесцельно идти. Выгляжу я странно, подумал, никто здесь так не ходит. Так могут разве что прогуливаться старики. Но стариков сейчас на улице не было. Было эхом отдающееся вдали объявление через громкоговоритель с просьбой оставаться дома во избежание риска заражения. Молодые же скачут, катаются на велосипедах, роликах, досках – им ни объявление, ни зараза нипочем. А он, Паяльников, со своей этой неспешной походкой, с руками за спиной, походил на бездельника-философа какого-то. А я и есть бездельник, подумал он. Может, эта чертова пандемия и дала необходимую паузу, чтобы приехать. Без работы, без трудовых обязательств спокойно ухаживать за матерью.

С одной стороны, он должен исполнять сыновий долг, потому что так заведено. А с другой стороны, его присутствие только усугубляло ситуацию. Мать не хотела быть обузой, а то, что она теперь обуза, она хорошо понимала. И не просто обуза, какая-нибудь абстрактная, а обуза соб-

ственному единственному сыну, которого она всегда ограждала от любых неприятных ситуаций. И наверняка и на смертном одре он скажет что-то типа: ты только ради бога водку не пей на моих поминках. И собственная беспомощность перед ним расстраивала ее еще больше. «Боже мой, дожила, стыдоба!» А отсюда еще большее желание покончить со всем этим. Разом. Вот такой обусловленный метафизически логический тупик, как сказал бы Савельев, давний приятель Паяльника и любитель высоких штилей. Обусловленный метафизически логический тупик. Тупик логический, метафизически обусловленный. Когда не быть рядом – плохо и просто невозможно. А быть рядом – еще хуже, хоть и возможно.

Глубинные ганглии

Паяльников откупорил бутылку хереса. Достал из кухонного пенала граненую рюмку. Лет ей было больше, чем ему, Паяльникову. Архаичные советские граненые девайсы под водку. Не то чтобы он испытывал ностальгию по своему недолгому советскому прошлому. Он никогда не пил из граненых рюмок. Когда они были под боком, он был мал еще для подобных экзерсисов. А когда стал годе для них, то таких рюмок не оказалось в эпсилон-окрестности его интересов.

Паяльников нашел их на кухне материнской квартиры. Перевернутые ножкой вверх, они стояли на полке кухонного пенала. Паяльников достал их, рассмотрел со всех сторон и заключил, что они необычайно хороши. И пить из них херес ему сейчас казалось привлекательным. Удивительным. Щекочущим глубинные ганглии, как бы сказал любитель высоких штилей старый знакомец Савельев (Савельев называл это даблгэ). Равно как эти глубинные ганглии щекотало ношение носков от разных носочных пар. На одной ноге, скажем, бордовый, а на другой – темно-синий. Или на одной – светло-серый, а на другой – черный. Сказать внятно, зачем носить разные носки, Паяльников вряд ли мог. Так вышло. Был бы помладше, сказал бы – прикольно. Но он был человеком с пятидесятилетним стажем жизни, взрослым. А потому выудил из актуального ширпотребного многообразия слово «протестный». Принадлежность к протесту тоже щекотало его даблгэ. Но что это за протест? Против себя самого, против всего, что его окружало, против всего, что не окружало? Маленький такой протест, малозаметный под штанинами и ботинками. Неказистый.

Как-то мать обратила внимание на разность носков. И раздраженно указала сыну на эту глупость:

– У тебя что, носков нет? В комодке носки, ни разу не дёваннные, возьми.

Паяльников не хотел носки из материнского комода, хоть они были ни разу «не дёваннные». Ему хотелось те носки, что были у него на ногах, разношерстные, разномастные.

В этот раз матери до носков Паяльника не было никакого дела.

– Что мне об носках твоих беспокоиться, – сказала она, скосив взгляд на ноги сына, – когда мне на себя-то уже все равно.

Паяльников не поверил. Даже если настанет самая крайняя степень, в которой забота о себе исчезает как ненужный факт существования, даже в таком случае в сторону сына-то она непременно выдаст свою заботу. Может, это и держало ее на этом свете.

Рука сама в «дикси» потянулась к знакомой массандровской бутылке. Хоть и стоил херес здесь немало, а нынче в условиях карантина и самоизоляции, уничтожающих человеческую жизнь более изощренными методами, чем какой-то там вирус, это было еще не разумно с финансовой точки зрения. Однако Паяльников, стоя в социально-дистанцированной очереди в кассу, ни на секунду не усомнился в своем решении. Херес в его ситуации был не просто херес, это была связь с прежним миром, который остался с той стороны стекла автобуса, увезшего Паяльника ранним утром из Петербурга в городок на окраине Ленинградской области. Возвращение блудного попугая, думал Паяльников, глядя на мелькавшие рекламные щиты, какая пошлость, скажите на милость, какая пошлость...

И сейчас, сидя на кухне и цедя из рюмки херес, Паяльников понимал, что такой же пошло-стью, несмотря на глубинные ганглии, был и этот самый херес. Потому что связь с миром, в котором осталась светлая, как он считал, сторона его жизни, после двух недель пребывания вне его, казалась ему пошлой.

Открытка

Под 9 мая на имя матери пришло письмо. Губернатор области, называя по имени-отчеству, поздравлял с годовщиной Победы. От всей души, подвиг вашего поколения, вы выстояли и победили, сила регионов в нерушимой связи, бережно храним память, здоровья, счастья, долгих лет жизни, над головой...

– Ну и на кой мне его поздравления? – сказала мать, когда Паяльников торжественно прочитал послание. – Что мне с него? Ишь, какую открытку отгрозал!

Открытка в самом деле была дорогая: большая, плотная, глянцевая, с историческим фото: девушка-регулирующая на фоне разбитого Рейхстага, перед дорожным указателем «Лейпцигер Плац/Министерство внут. дел».

После подписи-факсимиле губернатора, похожей обликом на рыбий скелет, шел номер 46056. Видимо, столько раз секретарша приложила факсимиле к открыткам, множа губернаторову подпись. Паяльников представил, как на следующий день губернатор гордо мажет опухшую руку кремом, чтобы уменьшить трудовой отек.

– Лучше бы докторов организовал. Ходили чтоб к пожилым и интересовались их здоровьем. А то открытку. Подтереться и то неудобно.

– Ну, мам... Он же хотел как лучше.

– Прости, сын. Опять говно пошло.

Потом она рассказывала про день Победы. Настоящий и единственный, без открыток, без подписей, без слов. Был теплый день. Ей было тринадцать. Откуда пришло известие об окончании войны? Наверняка из радио, из черной говорящей тарелки. Откуда ж еще? Сама она этого известия не слышала. Но вдруг по улицам побежали люди. Они бежали с ошалелыми глазами и кричали «Война кончилась! Война кончилась!» Обнимались, целовались, снова бежали и снова кричали. Кто-то бежал на вокзал, куда прибывали эшелоны с демобилизованными, надеясь хоть в этот волшебный день встретить тех, кого уже отчаялся увидеть.

Даже несносная соседская девица, тощая как глиста, которая все эти годы при виде матери и ее брата дразнилась: «Жид, жид, на веревочке бежит!» – она тоже хотела обниматься и целоваться, но мать тогда с достоинством отстранилась. Обида была велика. И не столько сам факт дразнилки был обиден, сколько то, что их называли «жидами».

– Какие же мы жиды, – говорила мать с возмущением, – мы на евреев нисколько не похожи, мы русские, мы Венедиктовы.

Вот и весь день Победы. И через семьдесят пять лет пришла открытка, первая, с поздравлением: от всей души, подвиг вашего поколения, вы выстояли и победили, сила регионов в нерушимой связи, бережно храним память, здоровья, счастья, долгих лет жизни, над головой...

Паяльников не сказал матери, что вместе с открыткой вытащил из почтового ящика счета на оплату ЖКХ и услуг газовой службы. Эпидемия, карантин, самоизоляция, день Победы – это все как-то преходяще, а дракон хочет жарать.

С коня да под землю

Паяльников метался между звонками в скорую, МЧС и яичницей. Сколько времени придется провести в больнице, он не знал. Надо было что-то съесть. Весь день скакал как конь ретивый, времени на поесть не было. Неожиданный приход врача, сработала жалоба, поданная в коми-

тет по здравоохранению, сдвинулись какие-то шестеренки, казавшиеся мертвыми жерновами, система захрустела, провернулась на пол-оборота. И дала добро на госпитализацию, в которой отказывала две недели – пандемия, плановых госпитализаций нет, только инсульты-инфаркты, вы ж не умираете.

– Давно бы отправилась в мир иной. Зачем мучиться? – мать ворочалась, не находя удобного положения тела, чтобы не было так больно.

– А что там, в ином мире? – Паяльников присел на стул, сложил руки на груди.

– А там ничего. Ничего там нет. Ничего не будешь чувствовать: ни себя, ни в себе, ни в ком другом.

И, снова кряхтя, она поменяла позу.

– Но вы должны отдавать себе отчет, – врачаха была дипломатично суха, – что в больнице некоторые отделения закрыты на карантин. Вы понимаете?

Паяльников пожал плечами. Понимает он. Конечно, понимает.

– Вот направление на госпитализацию. Но скорая приедет, как только вы решите вопрос спуска пациентки к машине.

И теперь нужно было свести в единой точке пространства-времени МЧС и скорую. И там и там бригады на выездах, когда освободятся неизвестно. Звонки-звонки. Яичница. Звонки-звонки. Яичница. Ответные звонки. Опять яичница. Но вот наконец – пожарная машина с мигалками, следом скорая.

Мгновенно в квартире стало тесно. Эмчаэсники в пожарной амуниции, разве что без пожарных рукавов. Два врача: девушка, маленькая, вся в красной спецодежде, и мужик в синем, с длинной хипстерской клинообразной бородой, вылезавшей снизу из-под маски. Все это походило на какое-то телевизионное шоу, устроенное на радость скучающим на самоизоляции соседям.

Паяльников боялся, что мать возьмет и выдаст сейчас своё сакраментальное «говно пошло». Но она только сложила руки на груди и переводила взгляд с одной фигуры на другую в ожидании решительных действий. Носилки, лестница, машина, спасибо друг другу, до свидания – и две машины покинули двор.

– Много вызовов? – спросил Паяльников девушку-врача, пока скорая катила в больницу.

– Много.

– Каких? – Паяльников нехитрым вопросом пытался выведать эпидемиологическую обстановку.

– Всяких, – ответила девушка. – С температурой, с улицы кого-то подбираем.

– Э... в смысле праздник?

– У некоторых круглый год праздник. Вызывают, помогите до дома добраться.

Девушка посмотрела на Паяльникова, и тому показалось, что через маску она уловила аромат вчерашнего хереса.

Медицинская каталка везла мать внутрь большой больницы. С другой скорой сгружали парня в тельняшке и камуфляжных штанах. Он держался руками за окровавленную голову. В приемном отделении сидели еще двое, поломанных карантинном и самоизоляцией, с синими лицами и гипсами на конечностях.

Мать лежала на каталке с лейблом Paramount bed, наполовину укутанная пледом, в зеленой кофте, черных рейтузах и серых носках, с беретом на голове и неподвижно смотрела на потолок. Зрелище, подумал Паяльников, нелепое какое-то. В самом деле.

– Ну и чего ж они не идут? – бубнила.

На соседней каталке, окруженный родственниками, стонал старик. Его пытались перевернуть с одного бока на другой, ему было больно. Паяльников встал сбоку от матери, чтобы не видеть чужую боль, свидетелем которой он невольно был.

– Долго мне здесь еще лежать?

– Они уже были, брали анализы, – сказал Паяльников. – Скоро снова придут. Бумаги, наверно, оформляют.

– Думала, с коня да прямо под землю. А вот нет. Хрен вам. Мыкайся теперь ползком, ни ноги, ни головы не поднять. И тебя мучаю, и других. Могла бы – померла, да не помирается. Живой не ляжешь.

Пол покрашу на кухне, подумал Паяльников, глядя как Paramount bed с матерью исчезает в лифте. В руках у него остался материнский берет. Он увидел свое отражение в стеклянной двери. Нелепо, в самом деле.

Он шел по темной улице, где-то орала «День победы». Паяльников думал, что когда-то, может, тоже окажется вставленным в Paramount bed. Нет уж, лучше с коня да под землю.

Джексон-Водкин

К полу на кухне Паяльников приступил утром. Четыре с половиной квадратных метра – не слишком большая площадь для подвига. Но все же. Вычистил, вымыл, распахал всякую предметную сущность по углам. Сбежал в хозяйственный за крыльями, компактными, с улучшенными лёгкими качествами...

Паяльников зависал на кухне в полуметре от пола, держа в одной руке банку с краской, в другой – кисточку. Думалось ему, что он такой Петров-Водкин перед «Натюрмортом с селедкой» или Джексон Поллок перед «Люцифером». Краска нашлась под ванной. Паяльников сам когда-то, лет пятнадцать назад, туда поставил шесть банок, имея в мыслях грядущий трудовой порыв. Но время шло, а обострение трудового энтузиазма всякий раз сменялось трезвостью суждения: красить пол, думал Паяльников, это ж надо всю мебель выносить, снимать старую краску, скрести, вымывать – геморрой такой, мама не горюй.

А тут – раз и, наплевав на все технологические регламенты, он висел Петровым-Паяльниковым или Джексон-Водкиным над кухонным полом и водил кистью туда-сюда. Красить сегодняшний пол краской пятнадцатилетней давности – в этом было то самое щекотание глубинных ганглиев, о которых говаривал интеллектуальный эстет Савельев. То есть красить сегодняшний пол краской, которая жила и была, так сказать, в гуще событий пятнадцать лет назад, это как намазывать на булку масло, стыренное путешественником во времени в веках советских или покоренья Крыма. Кому тут какой интерес, если у одного жизнь уже прошла, с завычками и приключениями, а у другого она заморожена. Вот так и он – мотался тридцать лет, общаги, казармы, квартиры, а вернулся сюда, где вырос, а тут – бац, краска под ванной. Вот и водишь кистью туда-сюда, размазывая свое прожитое на свое же непрожитое. Такая Аргентина-Ямайка...

– Какая боль! – вдохновенно пел Паяльников. – Какая боль!..

Вот это странное сочленение, воссоединение и мезальянс, эта боль и щекотали глубинные ганглии Паяльникова. И отдаваться этой щекотке было столь увлекательно, что Паяльников выкрасил незаметно пол в кухне. Докрасив последнюю пядь, Паяльников замочил кисть в уайт-спирите, убрал остатки краски под ванну, сжег крылья, как сжигают мосты, и только потом понял, что оставил на кухне все: тарелки, ложки, вилки, кастрюли, заварку и все прочее, что привычно было использовать для приготовления и поглощения еды. Вот дурак, заключил Паяльников, глядя на доступную бутылку хереса.

Не закрыл он и окно на кухне, и теперь сквозило.

– Окно закрой, я ж простужусь, – говорила недавно мать.

– Ты боишься простудиться?

– Зачем мне лишние хворобы?

Паяльников шелкнул шпингалетом. Мать отвернулась к стенке.

Раз боится лишних хвороб, думал Паяльников, значит, умирать не собирается. Мысль казалась трезвой.

Он на кухне потягивал херес, а заодно и эту мысль. Которая по мере изъятия хереса из бутылки превращалась из трезвой в какую-то вымороченную.

Мать жила привычками, выработанным ежедневным из года в год повторением одних и тех же бытовых формул и ритуалов. Конечно, были перемены в жизни, одни ритуалы уходили, заменялись другими, изначальные формулы трансформировались в следующие. Которые тоже жили долго, пока не заменялись еще чем-то. Иные ж оставались навсегда – несмыаемые потоком времени. Как например, мыть руки и лицо после прихода с улицы, что в условиях ныне случившейся пандемии было весьма кстати. Или варить на завтрак геркулесовую кашу, или обязательно иметь на обед суп, класть вещи строго на одни те же места. На любой поверхности, по ее мироощущению, не должно быть ничего лишнего, что не соответствует текущему занятию. Эти примитивные формулы-ритуалы упрощали жизнь. Долгую, сложную жизнь, в которой было больше неурядиц и несчастий. Такие формулы въедаются в человека и становятся ровень с инстинктами выживания, впечатываются в схему обмена веществ, встраиваются в матрицу простых движений, запечатлеваются в ДНК и передаются потом по наследству. Такое наследство Паяльников ощущал в себе: безотчетное наведение порядка, каша на завтрак, дурацкое правило «дают – бери, бьют – беги», что-то там еще. И это не могло передаваться как «культурно-эпидемиологический код» (еще одно словечко из лексикона интеллектуального эстета Савельева), потому что Паяльников ушел из дома в семнадцать, и виделся с матерью лишь эпизодически...

Забота про лишние хворобы – это еще одна формула жизни. Даже если ты собрался умирать. Как и другая – сосуществование с болью. Пару лет назад вызванный Паяльником из Петербурга врач-геронтолог говорил ему:

– Долго живут те, у которых вечно что-то болит. А те, у которых долго ничего не болит, умирают рано. Человек свыкается с болью. Приучается существовать с нею. И чем раньше это происходит, тем больше вероятность, что он проживет дольше. Вот появилась боль, он свыкся с нею. Завтра появится другая, но человек уже знает, что это такое. И с ней он свыкается. Приходит третья, четвертая, пятая... И каждая новая воспринимается легче. Человек приспосабливается к ней. Научается жить с нею.

Мать тогда, полная подозрений, спросила после ухода врача:

– А это точно был врач?

Она не привыкла, что врачи с ней разговаривают. Привыкла, что доктора, не глядя и тем более не прикасаясь к ней, будто боясь заразиться старостью, выписывали ей очередные таблетки или пилюли и отправляли восвояси. А этот вдруг говорил, задавал вопросы, терпеливо выслушивал, снова спрашивал. Так врачи не поступают, решила мать. А значит, он не врач, а вообще не пойми кто. Корочки-то он не показал! Кого ты мне привел!?

Паяльников посмотрел на бутылку хереса. Если я когда-нибудь скажу, глядя на рюмку хереса, что я не хочу этого самого хереса, то это значит только то, что я его с большим удовольствием выпью. Какие сложные глубинные ганглии, завернутые в невыносимый культурно-эпидемиологический код, Аргентина-Ямайка, Джексон-Водкин. Говорят, что пол, на котором Поллок писал свои нетленные полотна, продали за безумные деньги.

Родник

Где-то смерть моя заблудилась? – говорила мать, сидя на кровати.

Мать выписали из больницы через две недели, скорая за четыреста девяносто семь рублей сорок пять копеек довезла их с Паяльниковым до подъезда.

– Ползем понемножку, – кряхтела мать, с трудом поднимаясь по ступенькам. – Параллели и меридианы планеты пятками кроем.

– Сами по лестнице идем, – Паяльников суетился рядом. – Мы молодцы.

– Молодцы как соленые огурцы. Набитые таблетками и промытые капельницами.

Капельницы да больничные коридоры, видать, сделали свое дело, теперь она могла сидеть на кровати.

– Где-то смерть моя заблудилась? Где ж она бродит?

Паяльников представлял старуху с косой, которая стоит у подъездной двери и никак не может найти ключ от домофона. Скрюченные артритом пальцы безрезультатно тыкаются в кнопки, а в ответ лишь – эррор.

– Родниковой воды вусмерть перепилась, что ли? Где ж ты, где?

Где-то смерть ее заблудилась... Заблудилась.

На родник нужно было идти пешком. Транспорт туда не ходил. Через микрорайоны, мимо спортивного комплекса, потом выйти на дорогу, ведущую к реке, спуститься по крутому берегу, перебраться на другую сторону по подвесному мосту, под которым билась на камнях мелководная речка, подняться по деревянным мосткам. Два километра туда, два обратно. Можно было доехать на велосипеде, но велосипеда у Паяльникова не было.

Родник этот Паяльников помнил с детства. Он был здесь всегда, из пригорка торчала труба, из трубы текла вода, все просто. Народу сюда ходило много. Трубу и мостки, ведущие к ней, не раз облагораживали, кто брал на себя эту заботу, Паяльников не знал. Но всякий раз когда он летом приезжал к матери, он шел к роднику, больше от безделья, словно бы на экскурсию. Проверить, бежит ли вода. Вода бежала, родник был вечным, как и вечным был людской поток к нему.

Паяльников с полторалитровой бутылью в руках медленно брел к роднику. Где-то смерть ее заблудилась... Кто еще к кому заблудился. Вот так же и он когда-то будет ждать. Где ж ты заблудилась? Поселится здесь, в маленьком городке, живущем другим ритмом, другой сменой дня и ночи, зимы и лета. Возьмет в привычку (он и прежде представлял себе этот ритуал, но чисто гипотетически, в гордой отрешенности от своего старого мира) каждый день ходить к роднику. Да, каждый божий день. Встал, позавтракал, исполнил утренние дела и в путь, к роднику. Повесить на себя такую обязанность – словно бить поклоны, читать мантры или молитвы, прося мироздание повернуться к тебе лицом, ожидая божьей благодати. Каждый день, брать с собой бутылку и идти. Летом в жару, в жужжанье насекомых и пение птиц, в дождь, когда капли отчаянно бьют по мосткам. В осеннюю слякоть палой листвы, когда ноги скользят по грязи на речном склоне. Зимой, когда запросто можно поскользнуться на подвесном мосту, когда смотреть на бурлящую в промывах реку холодно до костей. Весной, среди потоков воды и снежной кашицы. Каждый день, с бутылкой. Два километра туда, два километра обратно. Целый год. Чтобы смирить себя, чтобы постичь что-то, и когда завершится этот цикл, тогда откроется тайное знание, придет благодать, нирвана, прочее.

Паяльников шел по качающемуся подвесному мосту. Навстречу ехал велосипедист, разъехался, мост качнулся, Паяльникова толкнуло на перила. Удержался, лишь на мгновение ощутил падение... Каждый день. Целый год. Все правильно... Приносить полтора литра. Каждый божий день полтора литра. А на другой год брать с собой литровую бутылку, еще через год пол-литровую. Потом стакан. Или кружку. Ложку. Наперсток. Ведь дело не в воде. Что в ней особенного? Чем она отличается от той, что продают в магазинах? Едва заметным привкусом? И все?

«Разве дело в ней?» – думал Паяльников, ожидая своей очереди прильнуть к источнику святой воды, воды прозрения.

«Разве в воде собственно дело?» – думал он, наполняя бутылку.

Разве во всем этом дело?

В чем во всем этом?

Полторалитровая бутылка с родниковой водой стояла на подоконнике. Неделю Паяльников смотрел сквозь нее в окно, законная реальность переливалась, искажаясь, дразнясь.

«Бесовство какое-то», – думал Паяльников и не шел больше на родник. Нет, он не хотел этой истины, этой благодати, не созрел, не выносил в себе осознанную необходимость, не пристроился к мировому знанию, не взрастил в себе ростки ненадуманной веры. Не пожил еще широко, полной грудью. Чтобы остаться здесь и ждать смерти.

Где-то смерть моя заблудилась...

Тетрадь

«Андрей, при каждом выходе из квартиры бери бери ключи от квартиры, а то может захлопнуться дверь произвольно, замок верхний такой. Хоть даже выходишь на лестничную площадку. Андрей, если я умру дома, то нужно сразу вызвать скорую по 03 по мобильному 103 и полицию по 02 по мобильному 102...»

И это двойное «бери бери», явная описка, но в голову лезет болезнь, болезнь недостатка витамина бе-1. Бери-бери-бе-1.

Паяльников проснулся рано, без пяти шесть. Солнце било сквозь реденькие шторы, а во дворе, гулко согласно архитектурной мысли советских градостроителей, уже иерихонски гудели голоса, били молотками каблуки, адски скрежетали двигатели автомобилей. Сон приходил поздно, уходил рано...

Паяльников потянулся за телефоном, но рука нащупала на столе тетрадь.

– Я тебе все в тетради записала, – не раз говорила мать. – Все... Куда звонить, к кому обратиться, где моя одежда, на какой полке, сберкнижка... Все...

Сон больше не шел. Паяльников листал тетрадь, зеленую школьную, на восемнадцать листов, на обложке надпись «Андрею от мамы прочитать». Страницы тетради мимо клеток были заполнены округлыми материнскими буквами.

«Они составят акт о моей смерти...»

Да, вот именно так – о моей смерти. Выходило, подумал Паяльников, что смерть могла оказаться и не ее. А чьей-то еще. Которая могла тоже быть рядом. И фиксировать нужно только определенную смерть – ее, а чужую пускай фиксируют другие или в другой раз. Смерть, она не одна для всех, а персональная, с особенностями, со своим идентификационным номером, запахом, вкусом, цветом, или бесцветием, но тоже своим, личным, неповторимым. Стилистические издержки приносили какой-то особый смысл.

«Они скажут как отвезти в морг, куда позвонить. Везде нужно платить деньги, конечно. В морге на 2-м этаже платят за услуги. В морг нужно ехать на автобусе сойти на детской поликлинике. Там налево идет дорожка в морг...»

Как будто сошлись крайние точки жизни – морг и детская поликлиника, – а всю середину выкинули за ненадобностью. На вопрос, мама, а что-то ты можешь вспомнить из жизни хорошего, ведь девяносто лет, мать рубила коротко, не трата время на раздумье-вспоминание: ничего. Вот и выходило так: детская поликлиника – морг.

Паяльников раньше никогда не трогал тетрадь, хотя мать во всякий его приезд: я там тебе все написала, что нужно сделать, когда я умру. Паяльников кивал, но к тетради не подходил. Страх, суеверие... Личное суеверие: брать такие вещи нужно только когда уже все. Но тогда зачем он взял сейчас? Утренний дурман спутал географию. Однако ж можно было положить на место. Зачем открыл? Неужели все? Паяльников прислушался. За дверью тишина. За дверью спала мать.

«Загс находится в 4-м микрорайоне дом 40, где и браки регистрируют. Там с угла есть дверь и надпись это высотный дом, где раньше был магазин подарков». Трогала подробность инструкций, любовно вписанных в тетрадь, забота о нем, Паяльникове, чтобы ему было не слишком хлопотно хоронить ее.

«Народу на прощании, наверно, почти никого не будет. Так что на прощание долгое время не заказывай. У меня припасен узелок с вещами, т.е. одежды какую нужно. К этому узелку возьмешь платье трикотажное рябинокое. Оно висит в шифоньере, а узелок на нижней полке в серванте. В морге спросишь когда приносить одежду».

Шелест метлы, усиленный акустикой двора. Паяльников прервал чтение. Показалось, что вот так приходит смерть. Не тихой, с косой через плечо, старухой, а вот так – с метлой: вжих, вжих, вжих... Паяльников снова прислушался: из другой комнаты не доносилось ни звука.

«На кладбище тоже должны дать справку о моем захоронении. Что где тебе будет неясно, спрашивай». Спрашивай, у кого? У нее. Она ответит. Обязательно. Паяльников почему-то ни на минуту не сомневался. Ответит.

Казалось, каждая запись в тетради откупала у смерти секунды, дни, недели, года. Это был буд-то заговор от смерти, ее успокоение: смотри, моя дорогая, я о твоём приходе забочусь, и одежду подобрала, и обувь, и распоряжения все написала, и номера телефонов выложила в ряд, чтобы легко, без натуг, без хлопот, без лишнего шума исчезнуть из этого мира. Завещание – месяц, а то и два. Про сберкнижку – месяц от силы. Про коммунальные услуги (квартиру не продавай, плати не копи) – еще неделя. Про пенсионный фонд – день-два. Про того, кто будет копать могилу – тут варианты, может, год, или даже два, а может и неделей ограничится. Про узелок – года три, не меньше. Про платице рябинокое – и пять, может.

«У новой люстры лампы в плафоне вкручивать не более 60 вт в каждый плафон. Так сказали в магазине. Включать по отдельности. Так сказал электрик». Это и десятилетие отхватит.

Из-за двери послышался вздох, тяжелый старческий вздох, от боли, от нежелания возвращаться из сна в немощное, полное боли, тело.

Таких тетрадей было три. Они лежали одна на другой. На всех: «Андрею от мамы прочитать». А внутри полная копия. «Андрей, при каждом выходе из квартиры...» Почерк только в каждой следующей был все более угловатым и нескладным.

Три копии

Три одинаковые тетради с надписью «Андрею от мамы прочитать», копии друг друга, отличавшиеся только дряхлеющим почерком. Три копии духовного завещания. Он и сам привык делать три копии. Так было принято в том технологическом процессе, в котором он в силу своих профессиональных устремлений участвовал. В цифровую эпоху три копии сохраняли массивы данных от случайной потери. Три копии, разнесенные по разным углам. Три копии, обязательные, как смена дня и ночи. Потому Паяльников не был удивлен, увидев три тетради.

А может, и Паяльниковых тоже было три копии? На такой же самый случай повреждения? Каким-то непостижимым образом мать произвела на свет три идентичные копии своего сына Андрея Паяльникова. И эти копии потом были согласно технологическим рекомендациям разнесены в пространстве. Одна копия оставлена в Рыбинске, где он родился, другая – находится в Выпозово, где они жили потом два или три года, третьей – позволено было уехать в Ленинград и потом остаться в Санкт-Петербурге. Все разумно. А то вдруг случится какой катаклизм, который повредит Паяльникова? Тут Паяльников рисовал себе широкий ассортимент возможных бедствий: вирусная эпидемия, революция, падение метеорита или кирпича, очередной приступ немощи государства, вторжение микоидов-инопланетян, нашествие гигантской саранчи, смертоносная дислексия, необратимая деградация сочинительных союзов, цунами, извержение вулкана, наконец, да мало ли что. Впрочем, цунами и извержение вулкана были маловероятным событием среди родных осин, но для красоты момента пусть будут в списке. Словом, при всем при этом вероятность того, что останется неповрежденной хотя бы одна копия Паяльникова, была значительно выше.

Тут фантазия Паяльникова непроизвольно обострилась: а почему бы не расширить географию рассредоточения копий. Пускай один Паяльников будет находиться в Буэнос-Айресе, другой – в Пекине, а третий... третий... Майами или Сиднее, или Милане с Барселоной... И те, другие, Паяльниковы, генетически связанные с первой копией, безусловно, обогащали бы и ее своим знанием, видением, и вообще прочувствованием мира. Не зря же ему иногда снится Буэнос-Айрес, прочие страны, в которых он никогда не был. Сны – и так-то путанная реальность, а между копиями они путаются еще легче. Но мысль о других копиях, которым были доступны другие страны, в которых Паяльникова никогда не был и вряд ли будет, вдруг стала ему невыносима. Почему другим копиям достаются лучшие места? Почему не ему? Он ведь первая копия. А они...

Но кто сказал, что первая копия он, а не они? Может, он самая что ни на есть третья копия, брошенная. Которая всегда под рукой, и хранится на полке в шкафу, рядом с пачкой чая и бульонными кубиками?

А если эти копии нужны не только для резервного хранения его, Паяльника? Может, они функционируют одинаково и параллельно в одном пространстве-времени. И когда Паяльникова-копия-один здесь нет, то есть Паяльников-копия-два или Паяльников-копия-три. Эта мысль ублаживала чувство вины, потому что к жившей тридцать лет одиноко матери он долгое время приезжал раз в год на десять дней, валялся на диване, ел, пил и спал, да гулял в тоске, всеми силами приближая день отъезда. Да, хорошо бы так и было, подумал Паяльников, откупоривая еще одну бутылку хереса. И тогда я могу спокойно возвращаться в Петербург, мать здесь не пропадет, мои две другие копии позаботятся о ней.

Со второй бутылкой хереса многое выглядело в тройном копировании.

Гидравлический удар

Это была изоляция. Изоляция с матерью в квартире. Изоляция квартиры в подъезде. Изоляция подъезда в доме. Изоляция дома в городе, изоляция города в стране и страны в мире. Изоляция мира от вселенной. И как всякая изоляция, она приводила в действие странные целепологающие механизмы. Мать лежала практически не вставая, и чтобы не слышать ее горькие мысли о чудодейственном уколе, приносящим миру, а вслед за ним и стране, городу, дому, квартире избавление от неё, матери, Паяльников искал повод задержаться на кухне.

Вода плохо уходила из раковины. Упражнения с вантузом, кротом и сантехническим тросиком не приводили ни к чему. Но если раньше Паяльников философски смотрел на то, как вода набирается в кухонной раковине, отмечая в себе медитативное превосходство над этой неловкостью мира, то теперь появился повод подойти к проблеме с научно-технической составляющей своего высшего образования.

Была в этом засоре какая-то философская мысль, которую интеллектуальный эстет и любитель высоких стилей Савельев, безусловно, оформил бы более изящно, а Паяльников во всем этом видел лишь неказистую метафору собственной жизни. Вместо бурлящего потока мутное стоячее болото – недожитая жизнь. Недожитая жизнь, которая стояла болотом в раковине, ожидая, что ее доживут, полнокровно, полноприводно, полноразно.

– В жопу эту недожитую жизнь, – ворчала мать, отправляя восвояси каких-то там свидетелей, то ли Иеговы, то ли еще чего. – Жизнь вечную предлагают. Мне эту-то жить не дожить, не знаю как, идите вы ко псам.

Свидетели Иеговы шли ко псам с предложением жизни вечной. А она закрывала дверь и смотрела на фотографию сына.

Теперь сын ее, Паяльников, сидя на кухне, размышлял над тем, где же находится в недожитой жизни то самое узкое место, которое не позволяло этой жизни случиться во всей своей полноте и широте.

При определенном напоре, строил Паяльников логическую цепочку размышлений, вода не собирается в раковине. Значит, определив расход, при котором вода перестает уходить из раковины, можно узнать объём воды, заполняющей систему, а учитывая диаметр труб, вычислить потом и длину заполнения, то есть фактически узнать, где в коммуникациях засор. Впрочем, для отработки такой схемы нужно ещё знать, с каким расходом вода уходит через засоренную часть трубы.

С помощью трехлитровой банки и секундомера, а также используя два разных напора воды при разной степени открытости крана, потратив на это полдня, Паяльников нашел неизвестную величину... Засор оказался в ста десяти метрах от кухонного слива. В ста десяти! Безусловная ошибка в расчетах или экспериментальных данных, или вообще в модели мира, ведь сто десять метров – это на другой улице, в другом районе, в другом городе, в другой стране, на другой планете, вселенной, в другой жизни. Может, даже дожитой.

Паяльников не очень-то огорчился неудаче, отметив в очередной раз в себе медитативное превосходство над неловкостью мира. И обратился к вантузу, с помощью которого можно было решить проблему недозрелости жизни.

– Квинтилий Вар, верни легионы, – бубнил он, посылая в стометровую глубину коммуникаций гидравлический удар.

Савельев вышел из придорожного кафе, неся в картонке пару стаканов кофе, а под мышкой пакет. Он остановил машину, сославшись на усталость: еще немного – и он заснет, не хотелось бы, чтобы навсегда. Поэтому нужно было взбодриться. Заправка с кафе подвернулось вовремя.

– Бери, бери, – сказал он, протягивая Паяльникову бумажный стакан с кофе. – Тебе это тоже не помешает. И сосиску в тексте держи. Небось, не жрамини с утра.

Он угадал, Паяльникову было не до еды, да и сейчас чувство голода не появилось. Запах кофе, однако, бодрил.

– Ты знаешь, я давно ловлю себя на мысли, – проговорил Савельев, откусывая сосиску в тесте, – что начиная с какого-то времени я примеряю чужую смерть на собственную шкуру. Как джинсы в магазине, как шляпу, как любую одежду. Зашел в примерочную и примерил.

Паяльников посмотрел на него. Сказал каким-то не своим, глухим голосом:

– Поехали, а?

– Ладно, – Савельев отложил сосиску на заднее сиденье, вставил стакан в держатель. – Дернем.

Какое-то время ехали молча. Метель не унималась. Это выводило из себя.

– На нас натягивают будущее как гондон на детородный орган, – проговорил Савельев, глядясь в метель, бьющую снежной россыпью в лобовое стекло.

Паяльников не слушал его. Наташа прислала фото из приемного покоя больницы, и Паяльников вспомнил, как в прошлый раз, когда мать оказалась там, лежа вот на такой же каталке, она не узнала его, Паяльникова. Он ей показался каким-то мужиком, маленьким и ушлым, который с непонятными намерениями крутился возле нее, старухи.

– А он мне говорит, – рассказывала мать потом, – я твой сын. Какой ты мне сын, говорю. А он: с которым ты живешь. А я ему вру: я с мужем живу. И у меня есть уже сын. Отстань Христа ради. А он куда не уходит. И одет он не по-больничному. Не из их братии. Странный такой. Что он ко мне пристал, не знаю. Про пенсию чего-то спрашивал. Так я ему и сказала! Ему говорю: домой я собралась, открой дверь. Дверь открыта, он мне говорит. Будь человеком, помоги подняться. Куда ты поднимешься, у тебя ноги едва ли ходят. Откуда он про ноги мои узнал? Откуда они все знают? А сам пониже моего сына. Вот на этого похож, на Зеленского. Вылитый он.

– Мама, этим человеком был я. И я не похож на Зеленского.

– Ты? – мать не верила. – Вот как тебя сейчас видела... Что ж это, выходит, у меня галлюцинации были?

– Не знаю, – Паяльникову было неприятно такое сравнение. – Если только телевизором навянные, – сказал он.

А сам подумал: всякий человек за свою жизнь просто обязан хоть раз увидеть галлюцинации.

– Ты меня не слушаешь? – в сознание Паяльникова вплыл голос Савельева.

– Что?

– На нас натягивают будущее как гондон на детородный орган, говорю...

– Кто натягивает? – переспросил Паяльников, стараясь скрыть свое раздражение, сейчас Савельев его раздражал.

– Это метафора, – сказал Савельев. – Проехали с орехами. И с метафорой тоже.

– Смешно, – сказал Паяльников. – Умрешь – не встанешь.

Умрешь не встанешь

Умрешь – не встанешь, – говорила мать всякий раз, выражая ироничное отношение к чему-либо, поведению соседей, к примеру, или членов правительства. Паяльников настолько привык к этой фразе, что давно воспринимал ее паразитной присказкой. Но теперь, когда мать слегла, это «умрешь-не-встанешь», стало чем-то иным. Как бы сказал интеллектуальный эстет и любитель высоких штилей Савельев, метафизическим посылом потусторонних ценностей. Умрешь – не встанешь, очевидная истина, которая волей-неволей, видимо, из-за контекста обращалась зомби-апокалипсисом, причем именно для самих зомби, которым уже не встать и не отправиться на поиски носителей свежих сонных артерий.

Умрешь – не встанешь...

Вот и я, думал Паяльников, придет время, буду лежать на промятом диване и опалять иронией окружающую мир. Но это, надеюсь, будет не скоро. Потому что порода у нас такая, стонущая, но долгоиграющая. Может, именно потому что стонущая. Может, именно потому что умрешь-не-встанешь. Так что у меня впереди еще лет сорок.

Временной отрезок в девяносто лет, который он себе отмерил, исходя из своей стонущей, но долгоиграющей породы, явился ему вдруг индикатором в машине времени. Которой он, как и всякий долгоиграющий человек с действующей функцией памяти, по сути и являлся. В самом деле, уже произошло столько событий и несомненно еще произойдет, мир изменится до неузнаваемости, а я буду свидетелем этих изменений. Как масштабных, так и мелких. Вот как, например, мать, она Сталина помнит, босоногое довоенное детство, в котором не было ни телевизоров, ни холодильников, ни телефонов, в котором вещи переходили по наследству от старшего к младшему, перекраивались, перелицовывались, переделывались, перестраивались. А потом раз – и человек в космос полетел! А потом раз – и перестройка случилась, переделка, перелицовка, перекройка. И холодильников-телевизоров-телефонов как грязи. А потом раз – и не стало страны, в которой она родилась и жила, а холодильник-телевизор-телефоны остались. А потом раз – и еще что-то, уже не понять что, а потому и не упомянуть.

Умрешь – не встанешь, словом. Вот так и он, Паяльников – хочешь не хочешь, а долгоиграемость обязывает – станет свидетелем первой, а то и второй или третьей производной от нынешнего стремительно меняющегося мира. И холодильники-телевизоры-телефоны отомрут (и не встанут), а появится что-нибудь другое. Которое тоже отомрет и не встанет. Все изменится, до неузнаваемости, еще сорок лет и... Ну, пожалуй, не все... Что-то кольнуло, нанеся ущерб футуристической картинке мироздания. Не все... Пожалуй, все так же президент будет поздравлять с очередным наступающим годом, обещая окончательную победу над текущим вирусом, предвещая скорое окончание текущей пандемии и прекращение выборочного карантина. Все также он будет свеж и опрятен, конкретен в своих жестах, и галстук у него будет идеально подобран. Правда, будут титановые суставы, керамические зубы, пластиковые кости, отпечатанные на 3D-принтере, аккуратный ливер на клипсах, внутри бегать будут разные виды нейроплазмы, образчики совершенных нанотехнологий. И на очередной видеоконференции с народом, вот с такими же паяльниковыми, вдруг снова прозвучит каверзный вопрос: «А сможет ли когда-либо искусственный интеллект стать президентом?» И ироничный голос ответит: «Надеюсь, что нет. Он же искусственный! Право слово, умрешь-не-встанешь!» Аплодисменты, восторженные возгласы. А к старику Паяльникову, лежащему на промятом диване, придет тетка-социальный работник, зайдет в комнату в рваных бахилах и пожеванной маске, дистанционно переключит кнопку в чипе на рейтинговую передачу «Мешки ворочать», и под клекот сногшибательной истории про семейную пару, состоящую из двух с четвертью членов, поставит на стол пакет с цифровым молоком и хлебом, уберет пиксели со стола и привычно поморщится, выгребая из-под Паяльникова обычное, а не нано, говно.

Умрешь – не встанешь. Умрешь – не встанешь. А встанешь – так умрешь.

– Слушай, сын, а вы что, после того как я сдохну, в самом деле не станете донашивать за мной вещи? Там кофта не дёванная совсем. Выкинете, что ли?

Выход на радугу

– У нас кошка заболела, – сказал Паяльников.

– Снеси ее к врачу, пусть укол сделают, – ответила мать, с трудом переворачиваясь на другой бок.

– Мама, она живая.

– Живая... Я тоже живая – и что? Мне никто укола не предлагает. Что я, хуже кошки?

– Нет, – Паяльников незаметно закатил глаза.

– Снеси кошку к врачу. Это только животное. Пойми: просто животное.

Голос матери звучал уверенно, она чувствовала свою несомненную правоту.

– Мама...

– Просто животное. Что тут такого! У нас когда-то кошка тоже заболела. Моя мать, бабка твоя, взяла и отнесла ее к ветеринару. Пять рублей, сказал. Укол – пять рублей. Деньги большие по тем временам. Но уколет – и все дела. Дала она пятерку, а ветеринар ей: кошку подержите. Вот уж хрен вам с маком, ответила мать и пошла из кабинета. Хрен с маком! Чтобы я за свои же пять рублей еще и держала!

Кошка стала прятаться под ванной, и Паяльников понял: все, скоро. Она выползала из укрытия – с каждым разом все с большим трудом, – ее кормили, уже из шприца, давали лекарство, которое снимало боль и одновременно приносило сон, другое – которое улучшало аппетит. Длинношерстная, она и сейчас казалась грациозной кошечкой, но коснись ее – выпирающие кости, тающие мышцы, и – шишка на холке. Она укладывалась в любимой позе сфинкса, только передние лапки с каждым разом расставляла все шире – сфинксу все тяжелей становилось ровно держать свое тело. И взгляд становился все более непроницаемым. Членистоногое ело ее изнутри. И в последние дни – особенно интенсивно. И было удивительно, как еще несколько дней назад черная стрела пролетела над плечом Паяльникова со стола на диван. А теперь...

Потом шел рассказ про другую кошку. Почти семейная легенда, мистическая, достойная Го голя. Ее Паяльников слышал неоднократно. Дело было в сорок первом, прабабка Паяльникова уколола палец рыбьей костью, заражение крови, к врачу не пошла, отстаньте, сказала, от меня все. И через несколько дней умерла. Рыбьи кости, они такие.

– Мы ее положили на кровать, – рассказывала мать увлекаясь, – прикрыли простыней, а сами ушли звать врача, телефонов тогда ведь не было. А когда вернулись, то простыня откинута, причем так аккуратно, будто кто простынь специально снял с лица и ровно подложил под руку. А на груди у бабки сидела кошка и лизала загноившийся палец. Она шарахнулась от нас, словно сумасшедшая заорала не своим голосом. Гноя из пальца насосалась – вот с ума и сошла. Убежала на чердак, орала там неделю, а потом и сдохла.

Паяльников пытался представить себя кошкой. Что бы и как бы он чувствовал? Понимал ли, что конец близок? Удивлялся бы не весть откуда взявшейся немощи? Мирился бы с потерей аппетита? Терпел бы пищу из шприца? Пил бы, беспомощно тычась мордочкой в плошку? А потом его бы тошнило – и что? как?

Дай мне силы и кошачьей мудрости, думал Паяльников, принять неизбежное. Чтобы вот так же, когда придет его, Паяльникова-человека, час, выползть из-под ванны, шатаясь, плестись на кухню, не принимая боли, стукаться о дверной косяк, покорно принимать пищу, устраиваться у батареи в позе сфинкса, шуриться на исчезающий мир. Чтобы вот так же с невозмутимым и принимающим все взглядом встретить окончание жизни.

– Жизнь – это лабиринт, – сказал интеллектуальный эстет и любитель высоких штилей Савельев. – И у всех уходит разное время, чтобы выбраться из него.

– У людей – может быть, – ответил ему Паяльников, – а у кошек?

У кошек нет мыслей, нет, ни философских, ни обычных – никаких. У них, наверно, нет и воспоминаний. Или есть, но только они – как прозрачные кирпичики в стене. Как калка привычного мира, с которой они сравнивают теперешнее и сейчас. И чувства у кошек особые, не похожие на человечьи, они рождаются на кончиках вибрисс. И мир у них изначально гелиоцентричен, солнце это они, кошки, и радуга – это от их сияния.

Ночью Паяльникову приснилась радуга. С радуги, спустив хвосты, смотрели кошки. С любопытством, с вызовом, с пониманием, ласково, нежно, непроницаемо. И среди кошек на радуге сидел он, Паяльников, невесомый и лучистый. И было в этом невесомой лучистости ощущение легкости бытия. А под радугой сидел Савельев, любитель высоких штилей, и был он какой-то каменный, будто застывшее воспоминание. И, сидя на радуге среди кошек, Паяльников подумал, что нужно позвонить Савельеву и сказать, что жизнь у кошек – тоже лабиринт, но для них выход из него – в радугу.

– Ну вот кошке можно, – говорила мать, – за пять рублей и все дела, но ей не дают. И мне не дают, хоть за сколько. Я прям как кошка. Ну что за жизнь такая, кошачья.

Паяльников вспомнил про сон. И хотел было сказать про радугу. Однако смолчал. Радуга – кошкам, подумал, а людям что?

Кошка ушла на радугу через несколько дней.

– Два кило ноль пять, – сказал мальчик в крематории, принявший кошкино тельце. Стоимость услуги зависела от массы тела.

Не в коня кобыле хвост

Паяльников отошел от ноутбука. Вышел на балкон. Попытка работать удаленно, когда на улицах городов страны свирепствовал вирус, выглядела нелепой. Работа эта не затыкала никак дыр в бюджете, служила только для поддержания рабочего тонуса и не давала совсем зарыться в больничных делах.

Паяльников закурил. Перед ним с высоты третьего этажа с детства знакомый двор. Четыре пятиэтажки – все разные, построенные в разное время – образовывали стороны квадрата, внутри которого – пара детских площадок, дорожки-кустики, несколько скамеечек под чахлыми березами и обязательная по нынешним временам парковка. Во времена его, Паяльникова, детства, все было то же самое, только выдержанное в угловатом советском стиле. И вместо парковки – пара гаражей, выделенных инвалидам Отечественной войны.

Сейчас же все было красочно и чересчур беспечно, как будто с уходом с цирковой арены артринного социализма наступил прекрасно гибкий мир, отягощенный конкурентным благолепием. Хотя, безусловно, все было не так. И кому, как не Паяльникову, это было знать.

На одной из скамеек тыркались в телефоны трое мальчишек лет по двенадцать. В их возрасте Паяльников тоже с пацанами проводил время на скамейках. Телефонных разве что не было.

Паяльников с очередной затяжкой вытянул из памяти стародавнее мальчишеское развлечение. Они с Пашкой Савельевым, нынешним интеллектуальным эстетом и любителем высоких штилей, как-то вдруг стали сочинять истории про происхождения дворовых мужиков, которых они сами же наделили кликухами: Плешь, Полифем, Леопольд.

Плешь по очевидной причине лысой головы. Полифемом – из-за странной способности мужика собирать в кучу глаза. Леопольдом был неопрятного вида дядечка с запутанной шевелюрой, походившей на львиную гриву.

«Писательство» началось не сразу. Поначалу они просто издевались над своими «героями», сами же ржали над своими идиотскими шутками.

– Плешь, выходи! – орал Савельев.

– Пле-е-е-ешивый! – тоненьким голоском подвывал Паяльников.

И Плешь как по волшебству появлялся на балконе четвертого этажа. Паяльников с Савельевым прыскали со смеху.

Кому первому пришла в голову мысль что-то писать, ни Паяльников, ни Савельев уже не помнили. Однако оба помнили тетрадку в клетку, в которой они по очереди выписывали, как им казалось, смешные приключения, которые непременно заканчивались смертью героев: кто-то кончал свои дни в зубах акулы, кто-то выпадал из окна, сбивая перильца всех балконов. Кто-то еще как, Паяльников уже не помнил. Смеху и удовольствия было, пожалуй, больше, чем от воплей на весь двор:

- Леопольд, выходи!
- Выходи, подлый трус!
- Полифе-е-е-е-ем! Глаз на жопу ты зачем!

Можно считать эти писательские начинания безвинной шалостью, Паяльников и считал бы, если бы не одно обстоятельство. Герои историй после их «залитературивания» стали умирать на самом деле. Они умерли в короткий промежуток времени и, конечно, совсем не так, как им приписали Паяльников с Савельевым. Мало ли способов у смерти. Вплоть до того, про который судачили бабки на скамейках, – повесился в ванной, ай-я-яй! Такого юная фантазия, быстро костенеющая в тисках соцреализма, не могла родить.

Именно по этой причине Паяльников и перестал считать те литературные начинания безвинными. Как будто винил себя в безвременной кончине реальных людей.

И сейчас Паяльников курил, вспоминая оторопь, в которой он пребывал, когда в очередной раз слышал во дворе похоронный марш.

А вдруг он, Паяльников, прямо сейчас тоже становится героем какой-нибудь нелепой истории, сочиняемой, скажем, вот этими мальчишками, что тыркаются в телефоны? Вдруг она тоже заканчивается веселенькой смертью в стиле кровь-кишки-распидорасило?

Он рассказал об этом на следующий день Савельеву, интеллектуальному эстету и любителю высоких штилей.

– Ты всерьез думаешь, что пропиши тебе сейчас смерть на бумаге, ты непременно завтра сыграешь в ящик? – спросил тот, входя штопором в пробку, отделявшую их от хереса.

– Ты знаешь, что такое карма?

– Я сегодня объявление на остановке видел: «Беру борзыми щенками». И телефон. И все, больше ни слова.

– Взял?

– Что?

– Телефон.

Савельев положил клочок бумаги с номером телефона. Потом разлил херес по стаканам.

Паяльников поставил телефон на громкую.

– Алло! – откликнулся мужской голос.

– Алло!

– Что, есть?

– Что есть?

– Щенки борзые?

– Нет, но хотелось бы знать, за какие услуги вы...

– Если нет, то идите в другое место гештальт закрывать.

Паяльников запил разговор хересом.

– Мощно, – сказал он, переваривая.

– Гештальт надо закрывать с хорошо прочищенными чакрами, иначе не в коня кобыле хвост, – сказал любитель высоких штилей Савельев и налил еще хереса.

– Пле-е-е-ешь! – донеслось откуда-то снизу.

Паяльников невольно зачесал челку назад, прикрыв как мог чуждую его сознанию лысину.

Добро и зло

– Собственно наличие зла и добра – это иллюзия, – говорил, увлекаясь, интеллектуальный эстет и любитель высоких штилей Савельев. Паяльников восседал на табурете посреди кухни под низко спущенной потолочной лампой. Он занял эту стратегическую позицию, чтобы слышать, что происходит в комнате. Мать там смотрела телевизор, и не хотелось пропустить момент, когда она заснет. А уловить этот момент можно было только по одному. Мать никогда не смотрела долго одну передачу. Изображенное в телевизоре ей быстро надоедало, и она переключала канал. А поскольку телевизор работал громко, то переключение каналов отчетливо были слышно на кухне. На кухонном столе стояла початая бутылка портвейна.

– Удобная в практическом смысле одномерная шкала, – продолжал развивать мысль Савельев. – Но если разобраться... Вот аналогия. Есть термометр, который измеряет температуру. Снизу, если мы имеем в виду вертикальный столбик, холод, сверху – тепло. Но мы живем в каждый отдельно взятый момент времени не в целом измеряемом интервале температур от, скажем, минус пятидесяти до плюс пятидесяти, а в ограниченном, определяемом текущими обстоятельствами. Вот сейчас сентябрь, и наш интервал от плюс шести до плюс шестнадцати. То есть плюс шесть это холодно, а плюс шестнадцать тепло. А если мы вдруг в этот момент окажемся где-то на севере Якутии или в ноябре, то наш интервал будет другим: от минус пяти до плюс десяти. И уже плюс десять будет тепло, а в прошлом интервале это был холод. Относительно? Да. Потому что суть температуры, а она отражает состояние тепло-холодно в данном интервале, характеризуется согласно молекулярно-кинетической теории степенью хаотичности движение частиц, составляющих систему. То есть это суть температуры и состояния тепло-холодно. То есть нет никакого тепло и холодно. А есть степень хаотичности движения. Понимаешь?

Паяльников пожал плечами. Его интересовало больше не интеллектуальное эстетство любителя высоких штилей, а телевизор в комнате, который стал уменьшать частоту переключения каналов.

– А теперь к добру-злу. Аналогия полная. Остается только найти ту суть, которая в случае тепла и холода является степенью хаотичности движения. Но вернемся теперь к интервалу измерения. Как он определяется, чем ограничен. В случае с температурой это более-менее понятно. Это географические границы. Мы же не можем быть одновременно в мае, январе и сентябре. Это временные границы, мы не можем существовать одновременно в мае, январе и сентябре. Это примитивно, но тут есть еще факторы. Скажем, где-нибудь на Кубе, где круглый год одинаковый температурный режим, интервал сужен, но постоянен. Прочее. А в случае добра-зла? Что это за интервал?

Паяльников снова пожал плечами.

– Я бы сказал, что это масштаб личности. Чем больше масштаб личности, тем шире интервал. Или наоборот. Какой-нибудь Иисус или Будда имеет интервал если не максимально широкий, то близкий к этому. А вот что заменит степень хаотичности движения нашей температурной аналогии? Не знаешь? А я тебе скажу, – Савельев поднял палец вверх. – Это... – Он выдерживал мхатовскую паузу. – Это энтропия! Мера беспорядка материи.

Паяльников подскочил с табурета – телевизор перестал переключать каналы.

– Если ты увеличиваешь энтропию в системе, – крикнул ему в спину Савельев, – ты движешься в сторону общепонятнейшего зла. А если уменьшаешь, то...

Вопреки ожиданиям Паяльникова, мать не спала. Она лежала на подушках, рядом на одежде – лентяйка. Телевизор казал какое-то политическое ток-шоу с интенсивно разбрасывающими слова синеватыми (телевизор немного синил) героями.

– Говно пошло, – сказала мать мрачно.

– Что, опять? – спросил Паяльников принохиваясь.

– Не у меня. Вон там, – она кивнула в сторону телевизора.

И выключила его.

– Вот мать твоя сейчас уменьшила энтропию в системе, – сказал любитель высоких штилей Савельев, надевая башмаки. – Не Будда, конечно. Но что-то типа того.

Он посмотрел на прерванную философскими выкладками бутылку портвейна, которая, в отличие от матери Паяльников, энтропию системы своей прерванностью увеличивала. Вздохнув, Савельев вышел.

Большой взрыв

– В любой непонятной ситуации поднимай цены, цитируй Стругацких и занимайся сексом, – сказал любитель высоких штилей и интеллектуальный эстет Савельев. – Если ты делаешь это одновременно, то ты достиг истинного дао.

– А если нет непонятной ситуации, дао засчитывается? – спросил Паяльников.

Интеллектуальный эстет Савельев взял паузу, выпил и закусил. Они сидели на кухне, на столе убывала бутылка портвейна, за окном мартовское солнце терзало вдруг постаревший снег, в телевизоре красочно рождалась Вселенная. Паяльников краем глаза смотрел, как миллиарды лет назад выплывались из сингулярности звезды и галактики, а молодые ученые, отчаянно жестикулируя, как рэперы на камеру, объясняли, что тут к чему.

– Это не истинное дао, увы, – наконец произнес интеллектуальный эстет Савельев. – Это даже без живописного вида дна бутылки понятно.

– Понятно, – согласился Паяльников. – В любой непонятной ситуации поднимай цены, цитируй Стругацких и занимайся сексом, – пропел он как мантру и добавил: – И учи датский язык.

– Почему датский? – любитель высоких штилей Савельев замедлил движение ко дну бутылки.

– А ты знаешь, как по-датски апельсин?

– Нет.

– Апельсинен. А тарелка будет талеркн. Картофель – картофелн. А свинина – свинекёт.

– Свинекёт? – переспросил Савельев.

– Свинекёт.

– Свинекёт?

Миллиарды лет иссякали, как божественный напиток из бутылки.

– Ну это свинство какое-то!

– Вот и я про то же. Не порк, не карне де сердо, не швайнефляйш, в конце концов, а свинекёт!

– Уже подумываю не включить ли датский в истинное дао, – сказал Савельев.

На пороге кухни тихо появилась мать Паяльникова. Увидев бутылку на столе, она спросила:

– Паясничаете?

– Нет, телевизор смотрим.

– Ну-ну. В любой непонятной ситуации ложись ногами к эпицентру, – сказала она и заковыляла в туалет, отмеряя шажками величину истинного дао.

Бада-Бум! – сказал Большой взрыв.

Вожди

– Мама, ты никому дверь незнакомому не открывай, – говорил Паяльников, чистя картошку, маме хотелось пюре. – Мошенников сейчас навалом.

– Да пока я до двери доползу, всякий мошенник плюнет триста раз. Дверь потом отмывай.

– Все равно не открывай.

– Что я, дура?

Паяльников дочистил картошку, заглянул в комнату. Мать сидела на кровати, беззубым гребешком расчесывая волосы.

– Тут наемдни просыпаюсь, глаза открываю и вижу: мужик передо мной стоит незнакомый. Я испугалась, но со страху и сказать-то ничего не могу, не то что сделать. А он смотрит на меня,

а потом говорит: здравствуйте. А я молчком молчу. Только потом поняла, что это сон. Под самое утро, подлец, приснился. Кто он, не знаю, в глаза не видела. Перепугалась. И встать-то потом долго не могла. Будто приклеилась к кровати.

– Дрянь дело, – сказал интеллектуальный эстет и любитель высоких штилей Савельев, вытирая салфеткой губы. – Дрянь.

Они с Паяльниковым сидели в беседке на улице и ели шаверму. Хрустели цикады, заглушая отрыжку и прочий человеческий метаболизм. Было хорошо, тепло и красиво. Только вот шаверма была неудачная, как и жизнь Паяльникова.

– Сравнить жизнь с шавермой – тот еще философский дискурс, – сказал Савельев, – но ты прав: надо же ее с чем-то сравнивать.

– Кого с чем? – Паяльников выпал из шавермы. – Жизнь с шавермой или шаверму с жизнью?

Савельев посмотрел на Паяльникова как на деепричастный оборот, почему-то не выделенный запятыми. И вот теперь, когда шаверма была съедена, Савельев сказал, что дело дрянь.

– Почему дрянь? – спросил Паяльников.

– Знаешь, ты ее предупреди, чтобы не разговаривала во сне с незнакомцами.

– Почему?

– Потому что к твоей матушке приходил посланник смерти. Если б она ответила бы ему...

И интеллектуальный эстет Савельев смачно, по-цикадовски цыкнул языком.

Вот Паяльников и завел это непростой разговор про незнакомцев. Но мать восприняла его по-своему.

– Знаешь, – сказала она, – мне вообще снились все руководители страны. Все. Сталин снился, Хрущев, Брежнев, Путин и тот... это... снился. И Ленин... Странно, я ведь их никогда в глаза не видела. Ну ладно, этих в телевизоре показывали. А Сталина откуда? А Ленина? Я его не видела. В Москве была. А его не видела. Очередь стоять на Красной площади сил не было. Мелкие не снились, Маленковы, кто там еще был, нет, не снились. А эти, большие, снились...

– Тоже здоровались? – спросил Паяльников.

– И здоровались, и каким только бесом не плясали. Но я им не открыла.

Мать подмигнула. И Паяльников увидел ее улыбку.

– Хреновые у нас вожди были, – заключил интеллектуальный эстет и любитель высоких штилей Савельев, – раз им даже во сне не открывают.

Война-лень-декабрь

– Знаешь, – говорил Паяльников, – вчера я стал ровно на один день старше отца. Такие дела.

Они с интеллектуальным эстетом и любителем высоких штилей Савельевым сидели в гараже. В гараже Савельева. Гараж, впрочем, плохо сочетался с интеллектуальным эстетством и любительством высоких штилей. Но другого сочетания на сегодняшний вечер не предполагалось. В гараже не было автомобиля. Зато здесь было светло и тепло, плюс пара пластиковых стульев, стопка старых колес и фанерный щит поверх, на котором одиноко стояла бутылка хереса.

Они только что раскидали лопатами огромный сугроб, который закрывал гаражные ворота. У Паяльникова не было перчаток, руки его околели на морозце. И теперь он, глядя на херес, усиленно тер ладонями друг о друга.

– Ну и как? – Савельев выставил пластиковые стаканчики. – Чувствуешь теперь себя как-то иначе?

– Совершенно. Как будто я теперь проживаю не только свою жизнь, но и жизнь отца, недожитую им. Странное ощущение. На все смотрю как бы с двух точек зрения. С моей собственной и с отцовской. Думаю, как бы он прожил это мгновение, а это как...

Интеллектуальный эстет Савельев философски цыкнул зубом.

– Все переменялось, – говорил Паяльников. – Ответственность какая-то другая. Не знаю даже, смогу ли, сдюжу...

Савельев посмотрел на Паяльников, словно оценивая, сдюжит ли.

– Неожиданно.

– Что неожиданно?

– А то неожиданно, что у меня точно так же, только все наоборот. Будто кто-то другой вместе со мной проживает мою жизнь, снимая с нее сливки, а мне оставляет какие-то ошметки. Это вот... как этот гараж. Гараж есть, а автомобиля в нем нет. Квартира есть, а женщины в ней нету. Работа есть, но кайфа от нее не получается словить. Голова есть, а мыслей в ней дельных с гулькин нос. Словом, жизнь вроде есть, но ничего в ней достойного нет.

– У одного лишко, а другому вышка.

Паяльников посмотрел на интеллектуального эстета Савельева глазами отца. Савельев показался малозначительным. Паяльников сменил оптику. Сказал:

– Чем не повод для срача?

– Со всей философской глубиной явления, – согласился Савельев.

В кармане Паяльникова завибрировал телефон. Звонила мать. Спрашивала, где он. Паяльников рассказал про сугроб. Пересказав вкратце трудовой подвиг, заключил:

– Вот такой у нас тут мир-труд-май.

– Это у вас там мир-труд-май, а у нас – война-лень-декабрь, прокряхтела мать. – В магазин зайди, сметаны купи, а то в доме полная разруха.

– А чего мы тут откапывали? – спросил Паяльников, открывая дверь гаража.

– Убедиться, что за зиму здесь никакого ландо не образовалось, – ответил Савельев.

Гараж Паяльникову тоже сейчас показался малозначительным, малозначительными показались и замерзшие руки, и недопитая бутылка хереса, и сугроб. Да и сам он, Паяльников, тоже. Сметана, пожалуй, еще имела какую-то ценность. И мать, безусловно, мать. Война-лень-декабрь.

Тетрис

– Тетрис уходит из России, – сказал интеллектуальный эстет и любитель высоких штилей Савельев.

Они с Паяльниковым сидели на автобусной остановке. Ехать никуда они не собирались, просто здесь, в отличие от остального мира, не дул ветер и грело солнышко.

– В самом деле? – спросил Паяльников.

– Да. Теперь пиздец будет. Хаос. Все рухнет.

– В самом деле?

– Да вот, посмотри, – и Савельев показал на подошедший автобус. В него впахивалась человеческая масса. Паяльников причмокнул, но посла любителя высоких штилей не догнал.

– Вот как они будут уминаться в автобусе, если тетриса в России не будет?

Паяльников попытался представить. Получалось фигово. Или это только казалось.

– На тетрисе у нас все держится. Вот как заполнять себе голову компактно информацией? Как продукты в сумку укладывать? А огурцы в банку? А как госдуму набивать? А как...

Савельев перечислял, а Паяльников думал: «А чем мне каждый вечер занять?»

Когда Паяльников вернулся домой, мать спросила:

– А куда ты, сын мой дорогой, дел мои коробочки, которые я под кухонный стол столько лет складывала.

Это коробочки из-под воймикса, аккуратно сложенные одна в другую, чтобы их обилие заняло минимум пространства в квартире, Паяльников выкинул, посчитав с подачи интеллектуального эстета Савельева их наличие в сегодняшнем дне окаменелым анахронизмом.

– Мама, тетрис из России уходит, – попытался оправдать свой поступок Паяльников.

– Тетрис, он, может, и уходит, так черт с ним, а коробочки верни взад. В них, может, жизнь моя.

Очень Большой Взрыв

– Из церкви вышла девушка, – говорил Паяльников. Они с интеллектуальным эстетом и любителем высоких штилей Савельевым сидели на балконе, провожая глазами лето. – Ей было лет двадцать, и была она беременна, месяце на шестом...

– Почему ты все переводишь в цифры? – спросил Савельев. – В минуты, метры, килограммы, в проценты, части целого. Это такой привет из цифровой эры?

Паяльников пожал плечами. В самом деле какая разница, какой месяц и сколько точно рублей он выгреб из кармана после того, как девица попросила денег.

– Мне сегодня продавщица в универсаме сказала, что Большого Взрыва не было. Она сказала, – в голосе интеллектуального эстета Савельева слышалась осенняя грусть, – что его не было, а потому Вселенная существует вечно. Какие-то данные нового телескопа.

Для Паяльника этот факт не был столь фатальным, как для любителя высоких штилей Савельева, но тем не менее он сбил Паяльника с мысли.

– И что теперь, звездце? – спросил он.

Савельев пожал плечами.

– Сын, – раздался из комнаты голос матери. – Вы с трубой на кухне заканчивать будете. А то времени нет.

– Сейчас, – ответил Паяльников.

– А ты знаешь, она права, – кивнул в сторону комнаты Савельев.

– В смысле?

– В том смысле, что времени нет. Мы привыкли измерять все цифрами. К примеру, возраст Вселенной – 14 миллиардов лет, а вот оказывается, времени нет. Чем ближе к Большому Взрыву, тем медленней оно течёт, и к моменту его – останавливается. Теория относительности, мать ее. И потому вопрос, а что было до Большого Взрыва, не имеет смысла. То есть он был, но был бесконечно давно, тогда, когда времени не было, все сходится. Завтра обрадую Машу.

– Какую Машу?

– Продавщицу из универсама. Я у неё иногда фарш покупаю.

Внизу, прямо под балконом, заорали до этого мирно беседовавшие тетки.

– А тебя е...т моя жизнь! Какого х...я ты лезешь в мою?!

– Да потому что ты лохушка, лезешь то к одному блядуну, то к другому.

– Да ты сама, блядь, лохушка.

И так далее и тому подобное, уходя в бесконечность, куда-то к Очень Большому Взрыву.

– Какой прекрасный был вечер, – сказал любитель изящных штилей Савельев, – и тут неожиданно всплыл культурный слой. Пойдём трубу на место ставить.

Кьеркегор

– Их брак был счастливым и спокойным, – прочитал Паяльников. – Регина и Фредерик даже читали друг другу вслух отрывки из сочинений Кьеркегора.

Читать друг другу вслух отрывки из Кьеркегора – это такой экзистенциальный эквивалент к «умерли в один день», – подумал было Паяльников, но его недоразвитую мысль прервал голос матери.

– У нас новое кладбище открыли, – мать выложила на кровать платье, – там, ближе к танку.

Паяльников хотел было возразить: мол, ты чего, мать, тебе ещё жить и жить, и не думать, что там поближе или подальше к танку, однако смолчал.

– Но меня похорони на старом, рядом с отцом. Там место есть. Вот в этом платье. И шарфик этот ажурный на шею повяжи.

Она выложила поверх платья чёрный шарфик.

– Хорошо, – покорно сказал Паяльников.

– Про новое-то я узнала, потому что Шурочка умерла. Ты помнишь Шурочку? Она во втором подъезде жила. Маленькая такая, сухонькая.

Паяльников Шурочку помнил с детства. Она и сорок лет назад казалась ему маленькой и сухонькой старушкой.

– Помню, как-то подходит ко мне и говорит: я могу за тобой ухаживать, только ты мне квартиру завещай. Вот даёт, квартиру ей. За мной ухаживать захотела! А сама первой меня свернула. Лежит теперь на новом. И ведь младше меня, а свернула.

– Новое открыли, новое кладбище... – интеллектуальный эстет и любитель высоких штилей Савельев подпер голову ладонью, пальцы смяли кожу на виске, отчего интеллектуальный эстет стал походить не на любителя высоких штилей, а на Пикассо на одном известном фото. А по глубине застывшей в глазах мысли – так вообще на Сёрена Кьеркегора.

– Вот, казалось бы, все едино свернёмся, а старое или новое кладбище нас примет, нам не все едино. Как тут не читать друг другу отрывки из Кьеркегора?

Он снял лицо с руки и стал обычным Савельевым, экзистенциальным эквивалентом интеллектуального эстета и любителя высоких штилей.

– Молоко тоже сворачивается, – процитировал то ли Кьеркегора, то ли еще какого одухотворенного философа Паяльников. Вышло глупо.

– Во всех цивилизованных странах, чтоб ты знал, – говорил Савельев, всматриваясь в метущийся в свете фар снег, – давно практикуют такую процедуру. Весь чиновничий аппарат разделен там на три категории. Первый – высший уровень, топ-менеджеры, как их называют. Потом средняя звено и низшее. И так вот, каждый отчетный период... ну, год, три года или пятилетка, у кого как... методом тыка выбирают трех чиновников. По одному из каждой категории. И публично их умерщвляют. Отбирают совершенно случайным образом. Чиновник может быть вором и подлецом, может быть прилежным исполнителем воли народной – это все не имеет значения. Случайный выбор – и ты на эшафоте. Голова с плеч, электрический стул, инъекция радости, прочее. Можно назвать это ротацией кадров, обновлением, новой кровью. И фокус в том, что чем выше категория, тем больше вероятность, что чиновник попадет под процедуру. Что-то в этом есть. Но мы страна не цивилизованная. Как думаешь?

Паяльников пожал плечами, скрывая свое раздражение от болтовни Савельева.

– Ты не думай. Я ведь просто треплюсь, чтобы не заснуть, эта метель меня изводит почище новостной ленты.

– Я не думаю. – Паяльников снова пожал плечами.

– А заодно чтобы тебя отвлечь. Хорошо б сейчас пятьдесят граммов коньяку.

– Пятьдесят? – Мыслями Паяльников был не здесь. Он снова посмотрел на присланное Наташей фото из приемного покоя. Мать на каталке, укрытая пледом. На лице кислородная маска. Фото обнадеживало. Значит, она там под присмотром. А это хорошо. Она выкарабкается. Не может быть иначе.

– Ровно столько мне достаточно, чтобы привести себя в равновесие с миром. А то без пятидесяти коньяка я его перевешиваю.

Савельев глянул на Паяльникова.

– Все будет хорошо, – попытался он успокоить друга, выходило неловко, – не может быть иначе. Потерпи, осталось километров десять.

В восемь они с Савельевым въехали в город. Метель не утихала. Савельев, напрягая последние силы, довез Паяльникова до приемного покоя больницы. Они вместе подошли к стойке, Паяльников спросил про мать.

– В первой палате по коридору, – опустив глаза, сказала медсестричка в розовой униформе.

Они прошли к первой палате. Там на каталке укрытую пледом, опутанную проводами, под идущим цифрами экраном Паяльников увидел свою мать. Кислородная маска съехала набок, обнаженная рука сияла пятном размазанной крови. Наташа стояла рядом, придерживая руку матери, та пыталась сорвать с пальца пульсоксиметр.

– Не надо, родная... – успокаивала она. – Андрей приехал, посмотри, Андрей приехал.

Мать, как показалось Паяльникову, чуть подняла голову. Но что она могла видеть через кислородную маску – какое-то жалкое подобие Паяльникова.

– У нее снова судороги начались, – сказала Наташа, удерживая как могла руки.

Паяльников до сих пор стоял не шевелясь, а теперь тоже попытался удержать руку матери, но вышло это как-то неловко. Прибор соскочил с пальца. Наташа приладила его обратно.

– У нее давление восемьдесят на пятьдесят, – сказала. – А они ничего не делали. Лишь когда я пришла, забегали. К аппарату подключили.

Вошел стремительно врач.

– Мы ее поднимаем в реанимацию, – сказал он, две медсестры взяли за каталку. Наташа отошла, подала Паяльникову пакет с ненужной одеждой. Савельев протянул Паяльникову комок пледа, Паяльников стал машинально его складывать, стремясь сложить его ровно, как то бы сделала мать. Медсестры вывезли каталку в коридор, покатали к лифту...

Мать ушла через полчаса после того, как ее увезли в реанимацию. Паяльников едва успел войти в квартиру, как зазвонил телефон.

– Примите наши соболезнования, Вера Ивановна скончалась...

Говорили что-то про успокоиться, про что-то принять. Паяльников уже не слышал. Он опустился на табурет, все еще держа трубку у уха и глядя на то, как тает снег с подошв ботинок, оставляя лужицу на протертом дощатом полу.

Ирма ГЕНДЕРНИС

ВТОРОЙ ХЛЕБ

**

стали солью подземелья
(были – соль земли)
практиканты-подмастерья,
мастерства не обрели...

запасают после стычки
(неслучайно случай слеп)
в очи вставленные спички
(сон – второй ли, третий хлеб?)

**

...отомкнувшийся в себе

дверь открыл вошёл по пояс
(в облегающем белье
попадающих под поезд
радиоволна-протест
(камера наехала на
зеркало
(термопротез
ложечки по дну стакана...)))

**

непутёвый на попутке
ветер...

строящий маршрут
не садится на маршрутки
(человек как лишний круг)

(не хватало чтоб мотальщик
(музыка-документаль)...

Ирма Гендернис родилась и живёт в Лиепае (Латвия). Стихи публиковались в журналах «Волга», «Двоеточие», «Нева», «Новый берег», «Формаслов», «Тонкая среда» и др., в сетевых изданиях ROAR, «Артикуляция», «Точка.Зрения», «ДЕ-ГУСТА.RU» и др.

знай наверх стывай, верстальщик
все упущенное вдаль)

**

погонный метр ветра
нарезка сна...
рулон –
с какого километра?

под завороток крон
как будто отложили
погоно из погонь...

(о, книга! о куннилинг! –
язык Его, огонь)

**

что ли крови коряга,
якорь морским узлом...

счет по фалангам флага,
костоправ-костолом,
ветер ли илизаров
в аппаратной – пират...

(лекарь ихтиозавров...
всех, кого костерят...)

**

песком посыпали нёбо
(небо – его лопата)
поскрёбыша-небоскрёба

камера-анфилада
стеллажи-интерстеллар

(сейсмо-библиофилку
вытряхивает из тела
прямо свинье в копилку)

**

точка – опор во весь
(в шепоты – шпоры) –
к концу предложенья – не здесь...

сны-юниоры
золото ночи возьмут...

но вкруговую
дрёмы идут и идут –
валят вслепую...

**

держат ответ под уздцы и
вести в поводу самотёка
беседы (о, полупустые!)...

воздушные ямы потока
лавина для быстрого схода
(дуэль; селевые – к барьеру)...

убить человека-койота
и взять из приюта пантеру...

**

черемухи ее чернухи
сиреновой сирены нюх...

проснувшиеся варенухи
жужжат над мумиями мух

и жаворонки ртов в варёнках
(галактика Водоворот)

и так прожарена воронка
что изготовится вот-вот

**

по истечении недели
семь пятниц на воде
не держатся,
но сон – при деле,
и учит плавать в темноте

барахтаться, грести под Земун
наматывать себя на винт –
пока столбом не вкопан в Землю
семипалатинский болид...

**

пиши, пропажа всех и каждинки
(граттажи краж) –
в вергинско-марианской впадинке
(седьмой этаж), –
высотникам-шестидесятникам,
на Альтаир,
что христианам-безлошадникам –
подводный мир...

**

логово отлого...

к зверю-крутышу
скатертью дорога
(тут я не спешу,
с факелом Гомера
обхожу углы

(Фурия, Мегера
тьма из-под полы))

**

деревня-полуразвалюха
ольха цыганская, неряха
(вот будет пуху веселуха
и потрясение для праха
перины)
вон рубахи-парни
ночные ((птицы после стирки
салятся)
(на песок и камни
из желчнокаменной копилки))

солонки из хлябипекарен
замысловатники ветровок...

(я прячусь, жмурками обшарен
под капюшон черноголовок)

**

раздели, полоска
подбери, шасси
(ветер-вертихвостка)

мимо пронеси
дома на колесах
(самокат, барспин...
роликовость досок –
гроб куда ни кинь)

**

ржавое железо Ржева
полукружья
кружева...

смерть-то, белая омела
выживала как могла:
шаровидная присоска...

напряжённого соска
полумертвая берёзка –
обрезная как доска...

**

перекид через планку
разбег-кувырок...
не туда а оттуда сюда нырок
на дельфине (скобочку закругли)
(и шестерку косаток сюда впрягли;
и потом, когда костенел бассейн
и уха выплескивала икру
лучевые рыбы пустых костей
затевали брачную о игру)...

**

по сукну покати шаром,
луна через все лицо
шрам, ледяной нейлон
шерсть, а в носу кольцо
лузы, когда загнал
(только ты прикорнул)
ожидание в зал

(бураново? барнаул?)

**

то ли солнце укладывается в успенье
то ли все неусыпней пеньё

околоколыбельное ли
(птица-тройка, не вижу цели
не имею средства защиты
даже вши мне под кожу вшиты
вот ошейнички, поводочки –
довести до блошиной точки)

**

голод памяти, огарок
свет, не низок, не высок...

распаковывай подарок:
кейсарийский образок...

лента, шелковый обрезок...

(видели обрывки фраз
в виде римских занавесок?)

речь не зря ушла в отказ

**

о, кошка, лунка в пробури
в сибирской ладанке для бури
где измельчает сухари
огонь на вывернутой шкуре...

мур-мур, магический кристалл!
у живодёра ты во власти –
пока не выколол моргал
и не порвал кошачьей пасти...

**

нежность-прихожанка
холодность-ходжа...

форма-содержанка
призрак чертежа:
скрученное в тубу –
в вихревом табу...

нежную зарубу
любят наверху...

**

депрессивное расстройство,
я настройщика сыскал...

горнщик ангельского войска,
где ты, сударь, пропал?..

механичным пианино
стала музыка...
адью,
миротворец-Джельсомино...

отгадай ме ло ди ю

**

дал стрекача и стал – кузничек
других к побегу подстрекал
природоведческий разведчик
и ангел-полунелегал

куда он? в англию? в анголу?
в антигуа и барбуда?

привет живому богомолу
пока, до скорого суда...

**

сон не сон, но гипер-драма
будем живы – не помрем...

тихий час внутри Ностромо
все молитвы об одном...

смерть – великий комбинатор:
и поэт, и буквоед...

догони, велоцираптор,
детский мой велосипед...

2023, 25

РАССКАЗЫ

Два идиота из поселка Рыбачий

*savimi palesini paukšcius...*¹
Gytis Norvilas

Ритуальная еженедельная стирка, белое, темное, ритуальная система развешивания белья, у каждого своя. Сушилка большая, раскладная, семь прутьев в длину, два по шесть прутьев в ширину, куплена в Дембно, Нойдамм, Ноймарк, Восточная Пруссия; если ехать с запада, то влево от Кюстрина-на-Одере. Будь у Пана Бога такая сушилка, у него было бы больше времени для медитации, и он дал бы Жукову свободный проход через плацдарм, отведя войска неприятеля, которому уже нечего было ловить, но, как сказал один поэт, будь у дяди сиськи, он был бы тетей. И по сей день в районе Зеелова чувствуешь запах большой крови, пролитой то ли задорого – это как посмотреть, – то ли задешево, но как ни смотри, по цене крови.

Ежедневная половинка от давления. Когда предстоит стресс, то две.

Давления крови, I mean.

Ритуалы продлевают жизнь, таблетка продлевает жизнь, таблетки тоже ритуал, все вместе привело к невиданному прогрессу: продлению средней продолжительности жизни на двадцать лет. Или – на больше?

...Фотки Руки с каким-то обдолбанным литовцем, обоюдная фотосессия конца прошлого века, у Руки холодное удлиненное личико, губки капризные, глаза умненные чуть подведены: готический ангельчик, черный беретик набор.

– Кому нужны эти последние двадцать лет, когда ты, больной и никому не нужный, станешь медленно подыхать перед телевизором? – об этом спрашиваю я Руку, хотя о том же самом Рука могла бы спросить меня или окружающее пространство, но для нее это вопрос риторический, а для меня насущный: я старше.

Я резонерствую:

– А те, что в свои девяносто отплясывают на свадьбах правнуков, и без нашей медицины плясали бы...

Пустьрь в Рыбачьем, буйные сорняки, сорняки в Восточной Пруссии в конце октября еще о-го-го, Рука в бежевом плащике торопится за шоколадом. Всё, собственно: пустьрь, сорняки, шоколад.

Старики, которых мы знавали молодыми; у каждого свой старик, на что им эти лета, курят себе в тяжелом молочном тумане на утреннем берегу моря, у моего, я знаю, дырявый носок, я был Frauenjäger, – понимаешь? – твердил он накануне вечером, лежа на кровати в вязаных красных

¹ покорми собой птиц... Гитис Норвилас

Сергей Морейно родился в 1964 году в Москве. Окончил Московский физико-технический институт. С 1986 года живет в Латвии. Автор многих книг (рассказы, стихи, эссе, переводы); публиковался в журналах «Воздух», «Даугава», «Дружба народов», «Иностранная литература», TextOnly и др. Лауреат Русской премии (2008), Премии Андрея Белого (2018), Премии «Мастер» (2021) и др. Редактор «Рижского альманаха» (с 2021). В «Волге» публиковались проза и эссе (2025).

носках, левый, ближний к двери – с дырой. Да, был «охотник за юбками», профиль апача, копна серебристых волос в неполные пятьдесят, а теперь вышел на последнюю *jetée*, и правнуков у него не будет, сын утонул, разве что дочь морского царя пошла за него замуж; не перегнул ли я палку – нет, не перегнул, нечего перегибать, я сам уже прохожу секьюрити перед выходом к *gates*.

Сорняк октябрьский.

Пара швабских теток, готовых тащить личное осознание вины аж до чистилища, хотя правнуки могли родиться у тех, кто никак не разделяет этой вины, даже по счету якобинцев. Дюны, туман, пиджак Руки в красно-белую полоску; она спрашивает, сколько времени пройдет между тем, как положишь деньги на мобильный, и тем, как они на него лягут? Я ответил, что деньги на телефон несут гномики – по пещерам, соединяющим косу с офисом оператора, – она рассмеялась.

Что мы там тогда делали – делились опытом рекламы. В промежутках гуляли по скользким деревянным мосткам: отель стоял почти в море. Играли в пинг-понг. Одну из теток звали Петруша, она носила длинное черное пальто с большими пуговицами полумесяцем. Это пальто, вместе с его пуговицами, напоминало всем, что на календаре – осень. К обеду за огромными столами, человек на восемь-двенадцать, каждому полагалась рюмка медовухи, но почти никто не пил, и в первый же день Рука предложила разделить оставшийся ресурс пополам – по две с половиной, ведь так? Я усомнился, что после этого мы сможем плодотворно работать. «Мы требуемся в паузе, – заявила Рука. – Мы нуждаемся в паузе». Тогда было модно делиться в большом составе, группами, кучками, тет-а-тет, а нынче все залезли в ящики, добровольно, не выгонишь на улицу, шваркнул с утра стопочку или пивка, закусил зеленым лучком и лезь в ящик. Сидишь в семейных трусах, пахнешь потом, а если вдруг что, отключаешь изображение.

Как будут ухаживать при коммунизме? Чем соблазнять? Цветы, киношка, хороший обед? Шуба, бриллианты станут банально примитивными. Может, придется совершать подвиги – летать на Марс во имя любимых, давать их имена кометам, ходить ежедневно на ураган, пока не уложишь ее в постель?

...Смотрю на нас со стороны.

– Вы еще можете успеть поесть, – сказала Рука, когда я вышел из такси и втащил чемодан в холл. – Ресторан должен еще работать.

Это были самые надежные слова за последние несколько часов: часов поиска надежной парковки, ожидания ненадежной маршрутки, полета еще менее надежным самолетом, езды в еще более ненадежном такси: твердая земля, два берега одной воды, полосатый пиджак.

Конечно же, могу успеть.

Кемаль не встретил меня в аэропорту. Просто не знал, что я прилетел: я перепутал день вылета, договариваясь с ним о встрече. Я провел какое-то время в очередях на выход в страну, потом некоторое время посидел в здании, ожидая Кемалья, потом позвонил ему, и еще через сколько-то времени он прибыл из весьма дальнего пригорода... Со своим вечно печальным и столь же лукавым выражением лица он подхватил меня, кинул в багажник мой чемоданчик и повез к себе – умываться-переодеваться. Мне виделось, что житель города в массе своей будет и криклив, и агрессивен, но местное население оказалось на редкость спокойным. Когда на извилистой улочке некто вставал и мирно разгружал свой каблучок, никто никому не сигналил и никого не оскорблял ни словом, ни жестом. Когда я спросил, *ob er ein zentraler Kerl ist*, дескать, не центральной ли он парень, Кемаль отшутился, мол, парень он окраинный, только живет центрово:

– Nein, ich bin ja randständiger Kerl, der zentral wohnt!

Машину он загнал в подземный гараж метрах в трехстах-четырёхстах от квартиры. Те последние метры показались мне душным и путаным лазом в охристой глине старых кирпичей к слепящему свету кротовины. В ресторан мы выдвинулись в девятом часу. Мне опять-таки виделось, что здешняя еда будет жирной и тяжелой. Не слишком дорогой. И довольно простецкой. Всяческий кебаб, шашлык, имам-баялды, какие я и сам любил и отчасти умел готовить. Круглый каменный стол, посередине огонь, официант протирает поверхность, и ты вываливаешь туда то, что

набрал сырым, поливаешь маслом, жаришь и ешь – потом служитель подкатывает к тебе Kärcher и начинает мыть столешницу разом с тобой, а ты выпрямляешься, пригибаешься, подставляешь подмышки: тут помойте, пожалуйста, – и продолжаешь есть.

Мы пропустили с десяток подобных заведений, ярких и многообещающих, где за несколько лир можно было получить тридцать три удовольствия, красиво распечатанных в строчку или в столбик, с соответствующими картинками, и вывешенных, невзирая на нехватку места, так, чтобы потенциальный едок имел возможность вдумчивого изучения рациона, пока не подошли к крайне неприметной двери и не поднялись по тесной крутой лестнице, вероятно, помнившей самого Ататюрка, в скромный черно-белый зал, где белыми были одни скатерти, и вскоре официант, такой же неприметный, как и само заведение, принялся уставлять приглянувшуюся нам скатерть всевозможными чашечками и блюдечками. Здесь было так локально, так несуетно и так далеко вообще от всего, что, разбавляя в крохотных высоких стаканчиках напитков, который я называл ракией, а он как-то иначе, однако похоже, и который густо белел при добавлении первых же капель воды, я спросил, рад ли Кемаль тому, что некогда его империя выпустила окраины из своих объятий... «Теперь это страна, которая состоит из лучших частей бывшего монстра...»

– Лучшее в интеллектуальном плане – это Балканы, – грустно резюмировал он.

– Ну и посмотри – где вы и где Балканы?

– Не знаю... одно могу сказать: Балканы – поблизости.

В блюдечках и колбочках, усеявших стол, все было такое маленькое и воздушное, что их содержимым можно было наслаждаться как цитатами. Ближе к утру, заказывая у неназойливого официанта последнюю порцию анисовки, Кемаль с большим удивлением обнаружил, что довольно быстро говорит по-турецки:

– Auf einmal merkte ich, dass ich ziemlich gut Türkisch spreche.

...Рот Одры, не помнящий ни одного языка, кажется нам черным. Глаза уставлены в потолок, словно в небо, откуда пышет неимоверный жар. Внятно тикает остзейский ген самоуничтожения, наш паровоз вперед летит, стрелки манометра пляшут, но рельсы в городке давно разобраны в предвкушении безостановочной Rail Baltica.

Одра утверждала, что Одрой звали бабушку, а прадедушкой был английский комми из сигарного магазина – она ударяла на первый слог, хотя и подразумевала второй. Но ведь мог быть и первый? При этом она считала себя тайной еврейкой. Или причастной к еврейству, как когда. Оттого, наверное, красила седину в вызывающе жгучий черный цвет. Ее дед, говорила она, имел стену, целиком завешанную стенными часами. Откуда? Откуда после войны, имелось в виду, возьмется стена, полная часов?

Теперь я думаю – может, дед был тайным часовщиком?

Кемаля она знала по фотографиям, очень интеллигентный, я ей показывал пару раз. Всю нашу историю она знала: пьяный и обкурившийся, глядя на Босфор в ночное окно, я писал Руке письма, за которые наутро краснел, но, к счастью, было уже поздно отзываться их назад. Знала, но не считала это судьбой. Удачей, везением считала – но не судьбой. Когда мы рассорились, Одра сказала, что Рука не вернется. Я ехал к ней, на ходу трезвея, тысяча триста пятьдесят километров дорог, мелких и крупных, почти сутки, в сортире на автобане побирился, успел к утру; и – хоть не сразу – склеилось. Возле ее дома вновь захотелось в туалет, район приступал к бодрствованию, я съездил в лес, куда мы выбрасывали винные и водочные бутылки, и там отоссался.

Как это обычно бывает, стоит в глухой глуши свернуть на глушейший проселок, чтобы – что-бы... – тотчас появляется автомобиль, которому вынь да положь проехать этим проселком, и сигналит фарами. Так и сюда явился какой-то задрипанный опелина, которому в шесть утра срочно занудобилось отбобиться стеклом по утилизационным контейнерам. Дырка для белого стекла, для зеленого, коричневого, еще раз для белого. Куда девать черное? Black, black, go back.

«Не жди от близких, что они станут делать то, чего ты от них ожидаешь», – учила меня Одра. Раньше в любое время дня и почти в любое время утра и вечера я мог набрать ее номер и болтать

с ней между делом, за рулем, ехалось сухо и доезжалось легко, такая в ней была доброжелательная сила, а теперь ползешь сквозь пространство, будто через вату: они заняли Зееловские высоты и не отступят, пока не добьются своего, или в один прекрасный день зенитные прожектора не лишат зрения их дигитальную машинерию. Вот еду, но нет тех разговоров с Одрой на трассе, когда она выслушивала мои монологи или делала вид, что слушает, вставляя впазд или невпазд свои реплики. Люди столбиками стоят перед кафе со стаканчиками кофе, потому что внутрь им нельзя; выглядит как древний придорожный обряд: машины, люди в праздничных одеждах, стаканчики с напитком в руках.

Красивый хутор на горе – может, купить? А зачем, когда нет правнуков, которым это нужно. Впереди граница, надо предъявлять тест, пора приготовить паспорт, он лежит в рюкзаке, не вынимай его раньше времени, говорю я себе, может, обойдется. Вообще: не вынимай раньше времени – ничего не вынимай.

Иду впритык за двумя фурами, они впритык и я впритык, неудобно, но куда деться, других легковых нет, прятаться не за кем. На белом торце ближней (и, как показывает закругление дороги, дальней тоже) пара ладоней держит слепленное из земли и говна сердечко, украшенное двумя парами зеленых лепестков. Надпись: Your plants in good hands.

Your pants in good hands.

Не вынимай раньше времени.

Когда Одра умерла, я не поехал на ее похороны, уже не пойму, что было истинной причиной, то ли расстояние, карантины, тесты, то ли умирала вовсе не она, а то, что от нее осталось после двух операций на головном мозге с облучением и химией. Зато я сочинил, по просьбе ближних, красивую речь, каковую пастор всех конфессий зачитал всем собравшимся над ямой, куда ближние собрались опустить ее бранные останки. Это была моя вторая речь для родственников Одры, первую я произнес на поминках по ее отцу. Лучшие поминки в моей жизни, вкусная еда из школьной столовой... После второй я решил: когда для непривитых повсеместно введут Berufsverbot, запретив работать где бы то ни было, я открою бизнес по написанию надгробных речей. Я мечтал об этом два дня, пока не увидел на фонарном столбе объявление о коте, ищущем хозяина: «Чарли (3,5 г.), кот милый и озорной, вакцинирован, кастрирован и проглистогонен, с другими котами ладит, собак боится. Тел...», – и не понял, что конкуренция в данной отрасли высока и без меня.

Смотрю на нас со стороны, по памяти.

Теннисный мячик, она не перестает тискать его непослушными пальцами.

– Как же мне это вернуть? – глядя на желтый трактор, ползущий за прудом и хорошо заметный среди еще не вполне зеленых деревьев, говорит Одра не то о своем стремительно ухудшающемся зрении, не то обо всей жизни в целом; о сладости майского ветра, о дыхании земли, о бликах на воде, о тракторе; о свободе передвижения – о, черт возьми, свободе: – Мне нечему больше довериться, остался один вариант мячика...

Кемаль открыл правый верхний ящик письменного стола, где в полной пустоте лежали две готовые самокрутки, мы подошли к окну и курили, глядя в ночной Босфор, где два корабля пытались вылавливать, ободряя или осуждая друг друга гудками, а может, это было следующим днем или вечером или утром, а мы смотрели не на воду, а на купола мечетей или на тесные улицы, тонущие в дымке улиц просторных.

Их улицы: поднимаешься по одной такой и в створе ее видишь стул, на котором сидит женщина, то есть там, наверху, кафе, но его не видно, потому что всё под углом, и стол не виден, только сидящая за ним женщина в черной майке, одно плечо обнажено, ты идешь и видишь стул, одно черное плечо, одно голое плечо, и уже потом – остальное: кафе, официантов, еду... Вот так и здесь, сейчас – видишь снег, ветер и снег, снег в створе улицы. Рука в вязаной шапочке в интернет-кафе, потому что ей некуда пойти, чтобы поговорить, снег засыпал дороги, это было потом, после, хотя что значит «после» в обратной перспективе? Если смотреть назад, это будет «до», сначала еда,

официанты, стол, стул, женщина в черном и улица, бегущая или ползущая вниз, в створе которой тебя уже нет. Или никогда не было.

Генуэзская башня парила над кварталом, где обитал Кемаль, город был рыжим и голубым. Рыжеватые волосы Руки, чьи первые обращения ко мне слова я услышал две недели тому назад, а последние – неделю назад, на затрапезном автовокзале, вдруг вспомнились. Все прощались со всеми, только уже в новой комбинации: она и остальные. На другой день Кемаль получил с посылным приглашение на свадьбу своей бывшей подруги и заплакал. Очень красивый конверт, в нем еще один, я подумал – не хватает лишь прядки волос в отдельном, третьем конвертике. Истанбул бьююк.

Шестикрылый серафим следит за мной взглядом, я плачу и не могу сойти с места минут сорок, периодически вспоминая, как не хотел идти внутрь, сорок лир, более десяти евро, радуюсь, что лиры мои не пропали даром, и смеюсь, и снова плачу. Я знаю, что гигантский купол – это корабль инопланетян, им хорошо жилось на этих берегах, вкусно елось и сладко пилося, и спалось тоже сладко, а потом стало тесно, и они улетели на маленьких корабликах, потому что этот им нечем было заправить. Они, возможно, никуда не долетели, а он остался здесь напоминанием о чем-то таком там, у них, о чем-то, что не здесь, ведь ничего такого здесь не было и быть не могло, но он напоминал не о там, а о том, что здесь – не там, и тому, кто прилетел, рано или поздно придется улетать, о том, что все, даже инопланетяне, инфицированы расставанием. Нет, не зря я расстался тогда с сорока лирами, сейчас-то мне туда точно не попасть.

Вечером мы снова двинулись в ресторан, куда пришла девушка, слегка похожая на ту, что звала Кемалья на свою свадьбу, только попроще, без той тонкости профиля и силуэта, а когда мы вернулись, он вынес из спальни футляр, достал из него электрогитару и сказал, что до сих пор думает о покойной Эми Вайнхауз, он предложил гитару мне, я отказался, и он уселся в кресле, извлек из нее какие-то минорные звуки, затем положил гитару на стол и предложил девушку мне, но я отказался, не помню, что за письмо я написал Руке, наверняка в нем были гудки Босфора и плач Кемалья по черному ангелу, Эми Вайнхауз, а может, вообще ничего, кроме поезда с безумным машинистом, которого тогда еще не было в проекте, а ныне он несется на всех парах, и Кемалю не сойти, не выйти, очень интеллигентный, но это судьба. Black, black, black, I go back.

Она вернулась от папы, привезла шампанское Rotkäppchen. Смотрю со стороны...

Сидят, пьют, он – голодный, закусывает нарезанной ломтиками икрой трески из русского магазина. Болтает, раздражает ее.

– В фильмах про Джеймса Бонда обязательно есть момент, когда в звездном отеле он звонит портю и заказывает «Дом Периньон» не помню какого года и икры на двоих (черной, у англичан же caviar – это только черная икра)... Если бы сняли фильм со мной в главной роли, я мог бы звонить соседке снизу и говорить в трубку: бутылку «Красной Шапочки» и банку тресковой икры...

– Завтра я стираю темное. У тебя много темного? Положи сейчас, утром можешь не успеть.

Он может не успеть. Конечно.

Вещи и люди меняются местами, не меняясь в целом. Еще наблюдаются порой мелкие сдвиги. Что ж, отлично – некая новизна. Немного новых запахов, несколько новых звуков. Вальс «Трупные волны». Корона-сны в ожидании результатов теста. Духи «Запах локдауна». Случаются и крупные сдвиги, но кажется, что это не сдвиги, а расслоения, вдохи-выдохи пространства, жабры разводят уровни и плоскости наших жизней словно мосты, всё плавно, влажно, липко и как-нибудь склеится обратно. Хотя будет поздно.

Одры нет, Кемаль далеко. Рыбачий недостижим. Носим их в своей памяти, ее прибой омывает косу сознания от начала и до конца, с обеих сторон – с одной стороны море, с другой пролив, легко потерять ориентацию и запутаться: что слева, что справа? Особенно когда туман.

И вот мы развешиваем белье, каждый по-своему, Рука вешает носки на поперечные прутья и закрепляет их прищепками, я – на продольные, между двух футболок, иных уж нет, ну а те далеке, как сказал поэт, как он, сука, точно сказал.

Моя первая Германия

Land er heilagt,
er ek liggja sé
ásum ok álfum nær...¹
Grímnismál

Лето

Люди часто начинают так: в первый раз я приехал в Рио в таком-то году. На улицах курился запах ди-джао, из борделей доносились смуглые крики. Я тоже бы начал: впервые я посетил Германию в 1989 году. Почему именно в восемьдесят девятом? Да потому, что вежа – осенью рухнула Стена.

Но нет, в этом году я только родился. И уж точно не мог посетить эту страну. Моя река детства – Dźwina, не Rhein. Так может, первая Германия случилась со мной тогда, когда мы, тысячи немцев, поляков, евреев, русских, эфиопов и еще черт знает кого стояли на коленях перед Рейхстагом в протесте на произвол местной Думы, доказывая полиции и водометам, что мы здесь с мирными целями, хоть и без масок, и пели гимн Германии? Нет, не моя тема. Наверное, приснилось. Или рассказал кто.

Я слышал немало рассказов о ней. Трогательных и смешных. Проникновенных и таких печальных. Злых не слышал. Папа говорил, даже в советских книжках о войне никто не писал о ней со злобой, а казалось бы. Сейчас вам не тогда, говорю я. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, говорит папа.

Вообще-то я еще ни разу не был в Германии. В Силезии бывал, Богемию повидал, кантон Санкт-Галлен также посетил, а Гермундию вот фактически не довелось. В Австрии я был на самой границе с Гермундией, так близко, что немцы ходили сюда работать. Я, собственно, тоже хотел там заработать, тягал в металлоцеху швеллеры и двутавры. Со мной работали и русские, то есть немцы из Казахстана. «У», – говорили они. И: «Допль-Тэ». Тяжко это было, за день несколько тонн приподнять и опустить, но легче, чем на сырной фабрике, где приходилось по многу часов сгибаться, чтобы переставить ящики с сыром. Но главное – вечерами из этого нашего ошвенцима отпускали домой, а на фабрике мы жили в общежитии. Квартирная хозяйка у меня была отличная, по утрам выставляла тарелочку с едой. Паштетик неплохой; все, что с печенью связано, было очень неплохим. Зато рыбы вообще не было.

На праздник для рабочих, «бетрибсфест», я страшно напился. В сисю. Я напился оттого, что никто не хотел больше пить. Я выпил все пиво и всю водку, я спил всех – давай по чуть-чуть? Давай еще? Огромные казахи отваливали после нескольких рюмок. Там была офигительная официантка, старая, лет пятидесяти пяти, худая, с тихой улыбкой; ее звали Надя, тоже немка – она сидела себе, но стоило сказать: Надя, еще чуть водочки, и она сразу вскакивала и улыбалась, пожалуйста-пожалуйста... я балдею от немок по имени Надя или Таня, ты знаешь, спросил меня Лето, когда я рассказывал ему эту хрень, есть такая Катя Ланге-Мюллер, по-моему, она совсем старуха, сказал я, но когда я слышу Катя Ланге-Мюллер, я сразу готов кончить. Там было несколько хороших, но я так нажрался и приставал к ним, что теперь стыдно. Потом я был у одного коллеги, у другого, потом меня выгнали из какого-то бара, потому что я обоссал чью-то машину – «деточка, – сказал я, – мне делать больше нечего, вот только срать кому-то на машину», – потом проснулся дома, совершенно голый, с бабками в карманах, рядом лежали джинсы, которые я купил накануне, и в карманах были бабки, а еще полно маленьких бутылочек ликера, чтобы я мог опохмелиться, потом заснуть и опохмелиться снова, но интереснее всего то, что в карманах были бабки – больше, чем было до того, может быть, ты оказывал кому-то услуги сексуального

¹ Край тот священ, простерт предо мной от богов до эльфов... Старшая Эдда, «Слово Гримнира»

характера, спросил меня Лето, нет, но я испугался, что зашел по пути в бордель, я каждый день боялся, что зайду в бордель, он ведь стоит у меня на пути, и я всегда боялся, до сегодняшнего дня, что зайду в него и всё оставлю, а я очень не люблю бордели и не хочу туда, но сегодня мне сказали, что он давно закрыт – «как, – говорю я, – и днем и ночью свет горит!» – «так там игральные автоматы», – слушай, решил Лето, ну прямо братья Grimm какие-то получают, мальчик целое детство боится проходить мимо одного дома, считая, что там живет ведьма и она заберет его и съест, а потом вырастает и узнает, что ведьма давно переехала, а в доме открыт бордель...

Я знаю Лето много лет, он как старший брат мне, но не брат, и я могу его видеть как бы с краю, извне, он в меру хитер, в меру наивен, безрассуден в меру, в меру трусоват, прежде жизнь была загадочна, непрозрачна, любит рассуждать он, выпивши, можно было познакомиться с девушкой, спросив у нее дорогу, теперь навигация в телефонах у всех, прежде можно было подбросить девушку домой, когда ушел последний поезд метро, за время пути отговорив от оплаты проезда и убедив на ночную чашку чая, а теперь Убер, он страшует припоздняющихся девушек от щекотливых ситуаций, наверняка следующие поколения разработали новые тактики, никаких тактик, говорю я, все то же самое, он не верит, соцсети заменили метро в качестве площадки для знакомств, соцсетям не страшны маски и пока что не нужны коды, правда, лишь до поры до времени, а со временем все может вернуться на круги своя, к провожанию до дверей квартиры с ломом по подворотням и стрельбам монеток на ближайший работающий таксофон, за подаренную монетку разрешалось чмокнуть хорошенькой девушке ручку, ну и – так далее.

Бывает, город, человек, страна открываются с неожиданной стороны, и ты можешь сказать, что вот теперь-то встретился с ними по-настоящему. А можешь и не встретиться. Когда я поехал на работу в Голландию, меня отымали, никакой работы не было, я пришел к тому парню, который должен был дать мне работу, литовцу с русским именем, у него была огромная нижняя губа, косяк попросту тонул в этой губе, он держал его своей губой, как тюлень ластой держит рыбу, он предложил мне травы, но я охренел, узнав цену, не нравится – ищи дешевых развлечений, сказал он, я еще неделю ждал работы, спал в машине, он предлагал мне койку, но я не мог спать там, только сидя в своей машине я чувствовал себя в безопасности, потому я так люблю ее, эту машину, мы пережили вместе те ночи и те дни, но я так и не встретил Голландию.

Встретил ли я Лето по-настоящему? Какой мой первый Лето? Когда мне было пятнадцать лет, я должен был писать реферат про «Войну и мир», Толстого еще изучали в школе, я слез с чердака (правильнее: мансарды), где я ночевал, в комнату, где Лето сидел и пил с моими родителями, и уговорил папу спросить у Лето совета. «Это говно, война и мир, – сказал Лето, – у Толстого всё говно, кроме рассказов и Хаджи Мурата». Помню, как рассердился мой папа, нет, он просто обиделся, потому что не мог сердиться на Лето, или нет, он, наверное, просто огорчился, а для меня весь мир рухнул и заново собрался из кусочков, и я стал жить в нем, а когда мне было двадцать, Лето сказал, что это великая книга, но мой новый мир устоял. Я помню, он явился и остановился у моих родителей, я тоже приехал, мы пошли к одному парню, староверу, он пил у своих родных, он звал нас внутрь, выпить вместе, но мы отказались, хотелось видеть, как узко петляет под обрывами Двина, тогда он вывел кучку каких-то детей, своих родственников, и предложил нам сыграть в футбол прямо здесь, у забора, мы стали играть, было весело, ведь все мы были пьяные, но один из нас упал и разбил колено о камень, и мы пошли к другому, и чья-то то ли мать, то ли теща бинтовала эту коленку, смазав ее предварительно зеленкой – чью? – убей не помню, но именно эта коленка и стала одним из моих первых Лето.

Так вот, эти двое: Лето и его подруга Рука. Следовало бы написать иначе: Рука и ее друг Лето, потому что именно так они выглядят со стороны. Рука знает русский язык. Ее бабушку убил из автомата русский солдат, она ехала мимо на велосипеде, тот крикнул ей «Стой!», а она не поняла, и он ее застрелил. Поэтому Рука пошла учить русский, чтобы ее не убили, когда она поедет по России на велосипеде. Такова легенда, и Рука, выпив немного, рассуждала, как странно, мол, зачем и куда отправилась бабушка на велосипеде, оставив в доме маленькую маму одну, потому что дедушки дома не было, дедушка был тертый калач и никуда бы бабушку не пустил, да и как можно

не понять «стой», если оно звучит почти как «стоп», в общем, она все равно выучила русский и говорила на нем так, что казалось – она дух какого-то древнего языка, из которого потом русский вылупился как цыпленок из яйца, ей были по барабану склонения и падежи, она зрела в корень, и говорила в корень, глубоко из грудным голосом, особенно ей удавались матерные слова, мы с Лето решили однажды, что надо записать целый диск, на котором она повторяла бы ровно одно слово: «Нахуй!» Нахуй – и всё. С этим ее неповторимым выговором – нахуй, нахуй, нахуй.

Лето – наполовину еврей, польский еврей, и она как бы оберегала его от тех, кого, по ее мнению, Лето мог подозревать в том, что они подозревают его. Литовцы, – заверяла она, – с радостью уничтожали евреев, абсолютно, они же католики, а евреи ведь в конце концов распяли Иисуса. Наверняка это Лето приехал в Германию в восемьдесят девятом году. Ну да, он же рассказывал мне про киви, из-за которого и упала Стена, потому что восточные немцы не могли купить киви, хотя очень хотели, а из-за Стены их манили киви и фольксвагенами, он попросил показать ему киви, и под самый конец обеда, когда хозяйка убрала посуду, хозяин разгладил скатерть и торжественно выложил на нее четыре зеленых и волосатых уродливых яблочка. И про западное пиво в серебряном фольговом капюшоне, носившее имя княжеской династии, о которой Лето читал у главного немецкого писателя Фейхтвангера, и про пиво ЕКУ, которое он, подвинутый на четырех мушкетерах, называл «эку», и про восточное пиво, продававшееся в полицейском участке: из дверей выходили мужчины с авоськами пива, а он все никак не решался войти – из-за вывески, пока один мужчина не пригласил его внутрь, сделав жест рукой и сказав «херайн», – и про проверку документов русским патрулем, и как после он гадал, почему их вычислили на людной улице, – народную полицию тогда называли «ФоПо», – рассказывал Лето, помешанный на том периоде времени, – Volkspolizei, полицией народа, она сама себя считала таковой. Polizei des Volkes, будучи на самом деле des Volkes Polizei, полицией – народу, страшное слово VoPo, тогда вам не сейчас. Чем дальше в лес, тем толще полицаи, говорю я. А слово страшное, но как-то не слишком. «По» вообще переводится как попа, немцы этой попы не слышат, как русские не слышат гноя в слове «перегной», а ведь они есть там, и попа, и гной, мы, латыши, слышим. Я сказал – латыши? Я не латыш, я – латгалец. Я это сказал? Я не латгалец, я поляк. А главный мой язык – русский.

Гораздо красивее – «нагва»... только не все русские это слышат.

Лето, кстати, уже за полвека давно, щетина у него седая стала, а всю фольгу немцы с бутылок снимали. Еще недавно она украшала разве что пиво «плзеньское», блеском своим – когда попадалась на глаза, – заставляя задуматься, как такую мыльную мочу могли в СССР считать высшим сортом пива? Или чехи тоже были другими?

Рука

Табличка у GutsPark: «хиир варен Deutschland und Europe бис когда-нибудь geteilt», здесь с 1945 Германия и Европа были разделены... Такая эйфория была, сегодня смешно читать. Им казалось, что никогда больше, а сейчас ясно, что поделят и переделят. Что все только начинается, и быть может все что угодно... Освенцим тоже.

Когда я в первый и последний раз поехал в Освенцим, то именно в Освенцим, а не в Аушвиц, я должен был встретить там одного человека и передать ему письмо от папы, но приехал пораньше и пошел в музей, что-то со мной случилось, я плакал, я рыдал, но не мог выйти оттуда, а тот человек звонил папе, он был чуть ли не бургомистром Освенцима, он ждал... Кто же говорил вот такое? Один специалист по евреям (и он их чувствовал, да!) говорил, что те – толстокожие, гораздо более толстокожие, чем, скажем, немцы. Немцы ранимые, немцы одинокие, они трагичные, а евреи – просто евреи, их ничто не может по-настоящему ранить, несмотря на всяческие причитания. Их даже смерть в массовом масштабе особо-то не пугает, иначе с чего бы они лезли в эти свои газовые камеры? Он говорил, что эротическая мечта нормального еврея (уточняю – современного) – переспать с настоящей эсэсовкой, белокурой голубоглазой сучкой при полном

параде и в сапогах. Оттого-то евреи – лучшие исполнители немецкой музыки, как это ни смешно и как это ни печально. Золотые слова. Наверное, Достоевского. Не Толстого же!

– Ну что ты привязался, – ворчит Лето, – к незначительному эпизоду. Мое мнение, что кто-то пишет говно, ничего не значит. Я же не тест-полоска, не могу утверждать: раз я не в состоянии прочитать какого-нибудь там Зоебальда, он не писатель.

– Да будь ты хоть тестом-полоской, ты мог бы быть ошибочным.

– Верно! Только лечащий врач может констатировать подобные вещи, – говорит Лето, – но ни Заибальду, ни кому-то там еще лечащий врач давно не нужен, разве что санитар и палата номер шесть...

Я не спрашивал у Лето, чьи это слова, не искал в интернете, боялся, что не найду, и тогда, выходит, слова мои, я ведь специалист, чувствую, и про сексуальные мечты много знаю, и про музыку.

Спрашивал – не о том.

– Ответов нет, поскольку нет и вопросов. Зачем вопросы, когда и так все ясно, все кошмарно и охренительно одновременно, просто надо как можно быстрее выпить. Почему есть нормальные завязавшие наркоманы, но завязавшие алкоголики нормальными не бывают? Потому как наркотик творит насилие над людьми, а алкоголь делает с людьми любовь. Освобождаясь от наркотика, люди запирают насильников в тюрьму, а расставаясь с алкоголем, люди теряют любимых, и раны их болят всю жизнь.

Такая была эйфория, почище, чем от алкоголя.

Рука рассказывала. Пару раз. Три. Каждое «р-р-р» у нее как карамелька, снаружи твердо, а раскусишь – жидко, но раскусывать не обязательно, катать под языком, пока не рассосется облочка и желе само не вытечет.

Она слегка зациклена на театре, ее отец в оперетте играл музыку. – Пока у главного драматурга с восточной стороны от Стены, – рассказывала, – у вечно пьяного Мюллера Хайнера было тревожное ощущение, что играется театр, захваченный реальностью, что ставится увольнение от государства, которого больше не существует, актеры и балерины продолжали вполне реально существовать на их оптимистических демонстрациях. – За ними она наблюдала, глядя в телевизор, стоявший у одной четы, тоже сбежавшей из ГДР, в гостиной, в Грюневальде, где, будучи новоиспеченной студенткой, снимала каморку в цокольном этаже. – Муж хозяйки был учитель, в тот год он делал себе Sabbatical, седьмой год свободы, путешествовал где-то, и мы с хозяйкой были все время вдвоем. В ноябре каждый день мы смотрели новости. Уже в августа люди бежали через посольства ФРГ в Праге и Будапеште, просто оккупировали их и требовали впустить. Девятого ноября мы решили, что ничего не будет, я пошла спать, но вдруг позвонила дочь хозяйки, сказала, включайте, начинается. Я в ночной рубашке, а в телевизоре люди без препятствий переходят границу. Шабовский – до сих пор непонятно, то ли неправильно прочитал свою бумажку, у пограничников не было приказа, сначала они еще ставили штамп в паспорт, я говорю, хорошо бы быть там, хозяйка была предприимчивой, мы взяли бутылку шампанского и на ее машине поехали к переходу в Wedding, где мост, люди уже на Западе, обнимаются, пьют шампанское, говорю хозяйке, может, я к отцу, и начинаю спрашивать, можно ли на ту сторону, было страшновато, но мы решились и пошли, ночь в Восточном Берлине, час ночи почти, редкие фонари, пусто. Вдруг машина, едет машина по Шёнхаузер-аллее, я останавливаю, в ней мужик, ему, наверное, надо было не совсем туда, но он спокойно повез нас к адресу отца, адрес знала из почты... Все открыто, мы на этаж. Также в пижаме, открывает, ошарашен, уже тоже лег, потому что думал, в тот вечер ничего уже не будет, а я стою с хозяйкой... – И вот они едут на его «Вартбурге» обратно к этому всеобщему веселью у моста, он переходит мост вместе с Рукой, молчит, не плачет, а молчит, в последний раз он переходил его более двадцати пяти лет назад, чтобы в кино посмотреть «Бен-Гур». Хозяйка Руки долго возит его по Курфюрстендамм, даже в таких местах везде огни и празднуют всюду, цветочные магазины открыты посреди ночи, ярко и красочно, шумно и радостно, но отец молчит, и они возвращают его к мосту, где на другой стороне его ждет его Wartburg. – Помню,

затем поляки в гигантских очередях в ALDI, как вы сейчас в «Лидль», пролагали товарные маршруты, восточные немцы, кто поумнее, катались по Западу, их осыпали подарками, клали деньги на стекло, дарили хлеб, еду, это потом снова наступил раскол, хотя были и на Западе люди, которые не хотели, были в шоке, и теперь многие с восточным прошлым говорят, лучше бы этого не было, сын Греты кончил консерваторию и в ГДР был бы музыкантом, а сейчас работает каким-то техником и только ночью играет в каких-то барах...

Я слышал также, что русским, оказавшимся в тот день в Берлине, советовали держаться подальше от толп, вообще никуда не ходить, потому что могут побить. До этого момента вас терпели, потому что вы побили немцев, которых все остальные хотели побить, только не могли. А с этого момента всем хотелось бить русских, потому что тоже достали, хуже немцев, потому что дольше, хоть и не так кроваво, поэтому теперь все обожают украинцев, они ведь хоть немного, но убивают русских, которых все остальные хотели поубить, но так и не смогли.

Еще я читал выступление Адольфа Гитлера в «Кроль-опере» 1 сентября 1939 года. В нашей центральной газете оно появилось где-то на шестой странице, сокращенно. Все отсканировано и есть в сети, читаешь – и кажется, кто-то твердит тебе: война, мир – говно. Там он ясно дал понять, мол, нейтральные страны нейтральны, пока он лично считает их нейтральными. Я думал, не правильно ли поступал Сталин, вводя войска в Прибалтику – недолго же нам было оставаться нейтральными! Думал в тот момент: раз я, здоровый, то есть нейтральный по отношению к вирусу человек, представляю потенциальную опасность для общества и должен быть немедленно изолирован, бустеризован либо помещен в скотский вагон, то Сталин спас и общество, и Балтию: ведь заразись мы вирусом фашизма до того, как Сталин нас вакцинировал, то к концу войны нас раскатали бы за милую душу в плоский нуль, и VEF уже никогда, никогда бы не выпустил никакой «Спидолы»... Я это думаю? Нет, разве я могу так думать! Так думает Лето. Это не моя тема. Моя: Spīdola до сих пор ловит ультракороткие волны.

Стена обязательно должна была упасть. Но до этого она обязательно должна была подняться. Поднялся – упал, только так.

...После Betriebsfest я все-таки съездил в Мюнхен. От тоски. Моя маленькая Трина нашла себе в Мюнхене парня. Его зовут Лео, его отец архитектор в Штутгарте, и сам он тоже архитектор, учится, скоро все сдаст и станет архитектором. Она искала комнату и нашла у него. Сняла, ну и все случилось, теперь живут как бы вместе. Он ее любит, а ей по фигу. – «..Ну зайка, откуда же мне знать?!» – У нее всё через жопу, папашка получил наследство, землю, коров, теперь бухает и трахает всех в округе, бьет мать, ее тоже бил, она рассказывала. Она мне такое рассказывает, что никому не расскажет, я ей ближе самого близкого друга (ну, было у нас что-то когда-то, она ко мне приезжала, но не в этом дело). Говорит – это ерунда, что мы, женщины, ищем одного самого-самого, ей постоянно хочется с разными, и мы пошли в бар, я взял с собой пакеты (а я закупился там, ботиночки купил теплые, штаны – всё по акциям, по дешевке), она говорит – останься в моей комнате, а мне домой надо, обещал вернуться, взял пакеты с собой, сидим в баре, бухаем – и тут этот Лео приходит. С другом. Смешной такой шваб – нет, нормальный, красивый даже, архитектор будущий, всё у него в порядке, но сел за отдельный столик, обижается, типа. А мы пьем, ржем, над ним смеемся, она меня хватает, целует, хочет меня – пьяная совсем, – а мне на поезд надо. Наконец Лео подходит, здороваается, смотрит на сумки – что, говорит, удачные покупки? Сейчас везде скидки – мол, дешево взял, хрень всякую, а мы смеемся... Наконец пошли меня провожать, на вокзал – до поезда час целый, стоим, она на мне виснет, пошли, говорит, ко мне, в мою комнату, – и тут за три минуты до поезда я вспоминаю, что не купил билета. Надо бежать наверх, к автомату, а он не хочет брать мои деньги, я в него сую и пять, и десять, и пятьдесят – а он только выплевывает их обратно, ему по фигу, тоже смеется. Ушел поезд, пошли мы к ней в комнату, уложила она меня... а потом к нему ушла. Я раненько, пока все спали, встал и уехал домой.

В общем, съездил я в Мюнхен. Больше, выше, правее, левее. Время ветра. Время волка. See. Der See, sagt die Seherin. Wolfzeit, Windzeit. О. Озеро. Зоркая зорит. Час-ветр, час-волк. Возможно,

я родился в Германии столько-то веков назад. Возможно, она даже хранит меня в своей памяти – памяти улья. Возможно, в этой памяти есть даже что-нибудь материнское: теплота, забота, привязанность. Сегодня ее уносит куда-то. Боюсь, я с ней так и не встречусь.

STRANGERS IN THE БАРЛИНЕК

Oh, show us the way...
Bertolt Brecht¹

– У меня для тебя плохая новость – этот столовый тоже закрыт. Где ты не хотел, чтобы я положила тебе что-нибудь на тарелку.

– Не могли ее закрыть. Всегда закрывают лишь те места, где нам было хорошо. А в том мы ссорились. Вспомни! Наверное, временно.

– Да нет, постоянно. Уже и окна белилами помалевывают. Еще галочка в список.

Что творится (может твориться) в голове у Лето, пока он ищет, где бы обделать ряд незначимых делишек, без которых ему, однако, не продвинуться дальше по избранному маршруту (в принципе, продвинуться, но так и без любых дел обойдешься, надел лапти, пошел – и никаких но): два уродца ходят и закрывают подряд все заведения, что им приглянулись; она говорит, даже в той жопе мира, где случайным образом они поели пероги, закрылось то кафе на развилке – устроили аудит перед объявлением банкротства, два, мать их, иеремии – так? – более-менее – sold! – и просит найти городок в мапах гугл через скайп, ищи вокруг Кюстрина, говорит она, Костшина, поправляет он, а что там, всё, что там вечно, рынок, церковь, «хата польска», дорогу знает Тина, но ей нельзя позвонить, сама дорогу не помнит, потому что спорили, как ехать, в результате Мария слушала то одну, то другую, в прошлый раз ехали вообще по полю, зато купила курицу и колбасу, присылает ему фото колбасы, и вот эти сосиски, а как ты их нашла, ну так, они захотели, чтобы я их нашла, и явились сами собой, мы знаем, что нас ищут, а еще там «Боровка» – «Боровка» там? – такая противная, что не хочется даже искать, как же ее – Слоньск? – нет, я бы запомнила – слон, – думаешь, это от слона? – нет, но так легче помнить.

Показывает ему на экране яблочный пирог.

Великопольский? Любушский?! Западно-поморский!

А я бы мог показать голову Лето в виде диалога, как записывают алгоритмы в виде команд, невнятных непосвященным, поскольку в ней, пока он ищет, как бы залатать свои sprawy, проскакивают – в обоих направлениях – реплики вроде:

– Не так уж болезненно не как в прошлый раз бар на малом рынке куда помнишь мужик зашел с контрабасом а сортир в подворотне рядом где секс-шоп или кантор?

– Кантор, наверное... Слишком светло было – для секс-шопа.

– Теперь в нем керамику продают горшки из бунцлау удобно и не ходи никуда!

Едва ли он отдает себе отчет в настоящем обмене репликами, приграничный ритуал занимает его голову почти целиком, граница есть граница, и сейчас, когда границы якобы отменены, рубеж стал еще опаснее: хоронится в жухлой пограничной траве, ожидая в тени несуществующего шлагбаума, и всегда готов сигануть оттуда – в виде патруля или блока бетонного, к примеру. Все эти годы Лето подозревал, что рубежи никуда не делись, а призрак свободы – действительно призрак; те, кто утверждает обратное, – суть биороботы, хотя концепция биороботов поселилась в его мозгах значительно позже. Надо постоянно быть начеку, чтобы не сплеховать, когда начнется, пусть некоторые и говорят, что уже началось... Пирог дает трезвящий эффект, Лето выныривает из параллельной реальности, выпадая из нее в окрестности города, который он якобы только что

¹ О, покажи нам путь... Бертольт Брехт

искал на гугл-мапсе вместе с Рукой, которая в данный момент находится у себя дома, и которой, похоже, пора проснуться. Эффект отмычки, отпирающей чужую страну.

– Дамочка одна вчера... – сказал он, придерживая телефон ухом. – Нет, не знакома, а сегодня всем нам смс-ка пришла, сама понимаешь, какая... Им-то хны, они переболели только что, до единого...

– Ерунда, мы вчера кислую капусту ели, это знаешь какое средство! У нас с тобой крепейший иммунитет, я тебе еще защиту дала. Забей – просто забей. Ничего не будет.

Лето стоит в кабинке туалета, куда попадают через двери обменника, и плятятся на блестящий постер, наклеенный на стену над стульчаком. Изображает он облака – не очень белые облака на не очень голубом небе. В небе тонким черным фломастером, польскими словами, но как-то скомканно и не слишком грамотно написано: ебай русию и скурвиного сына. «Какую русию предлагается ебайть?» – думает Лето. Верняк Червонную, с которой явились сюда знаменитые «русские переги», что вовсе не русские и уж совсем не пироги, а обычные вареники, только при шкварках. Тем более что ее давно уже ебайт, показательно зачеркивая в ценниках слово *guskie* и добавляя *ukraińskie*.

Чуть ниже на облаках печатными буквами корректно призывалось «ебать тех курв партийной платформы». Еще ниже другая рука начертала кириллицей: «Помнишь! Братья Словяне!» А сверху через всю синеву некто процарапал по картону огромную, но оттого не менее бесцветную, а в силу этого загадочную надпись – BARLINEK.

Называлось – держать след. Собственный след. Долгий склад без крыши, белые бетонные сваи ребрами ископаемого ихтиозавра, ихтиозавтра, сказала Рука, хутор, крыша из красной металлочерепицы, по ней – черной металлочерепицей – нечитаемые каракули, белковая черная икра на белковой красной, забор, поворот и объявление о рейв-вечеринке в доме культуры Мюнхеберга; следующий поворот и следующее объявление, йоу, круто, пускай себе порейвят в доме культуры; четыре дня назад все было точно так же, дорогу он узнавал с острой радостью, хоть прежде уже проезжал ее раз сто или двести; так узнаешь в толпе человека, с которым давеча познакомился на тусовке.

С десяток раз точно. С пяток.

Хотя нет: многое изменилось – с тех пор. Позапозапозавчера была цапля на поле за «Четырьмя липами», сегодня нет цапли. Перед границей полагалось повторять: я невидим, я невидим, я невидим, я невидим; едешь и твердишь – *эсму нередзамс ести нередзамс их бин унзихтбар ич бин unsichtbar*, – и таким образом поднимаешь занавес между сознанием и подсознанием, перемещаешься одновременно в смежных мирах, там пересекая смежную границу, пока здесь кто-то встает на досмотр, сканирование кодов и, возможно, штраф и кое-что похуже. Хотя что именно на сегодня значит «хуже»?

Зато можно ехать молча, кордоны отменены.

Сегодня Лето моет руки, вытирает их насухо серыми пупырчатыми салфетками и ощупывает лоб и виски, вспоминая, как вчера провел рукой в районе правой брови, будто стгоня муху, и ощутил боль, вроде электрического разряда во лбу, за бровью, но больше разряд не повторялся, как он ни тыкал в себя подушечками пальцев, как ни простукивал костяшками. Однако боль догнала, обволокла голову медузой, игольчатые лапы всосались в мозг, спрут с пузырьчатой головкой душил щупальцами, режет глаза, во рту пересохло. А запахи еще чувствуются. Капуста.

Лето упорно пытается представить себе себя в один из тех десяти, даже пяти пусть раз, он не уверен в своей попытке, ведь с некоторых пор он стал невидимым. И не имеет словарного запаса, чтобы с его помощью вспоминать. Две булки с котлетой в середине, завернутые в фольгу, и один кофе из автомата на ВР между Вартой и Одером. Лето помыл машину на мойке самообслуживания и ждал, пока деминерализованная водичка стечет с нее в землю, удобренную гектолитрами крови самых разных народов. Крови в этой земле столько, что невозможно вообразить; она, само

собой, зовет, но зов ее растворен в зове ночных полей, лесов, трасс и морей смерти, плещущих вдоль межей, опушек и обочин. Разливанных, надо сказать, морей.

Было зябко, кофе обжигал, а через несколько минут нужно будет было (сложное будущее время!) выбрать путь и думать о ночлеге, что в течение двух булок и двух котлет не казалось жизненно важным, заправки же вокруг сияли, как межпланетные аэродромы. Кофе не обжигает, обжигает огонь. Что тогда делает кофе? Жжется – как крапива. Вправо пойдешь – в Слоньск попадешь: на Ландсберг, на Крону Немецкую, на Шлохау. Прямо пойдешь – в Фитц попадешь, в Витницу, разливающую любушский лагерь в пузастенькие бутылочки; из Фитца лесным трактом на Гожув, он же Ландсберг; на Валч, он же Крона; на Члухов. Влево пойдешь – и пропадешь: Берлинхен. Миннхен, Миннхен, поехали в Берлинхен! А что там, Аннхен? Там Курфюрстендаммхен. Однако без гарантий. Котлета – да, а в остальном: прошло сто или даже двести лет. Шлоппе у нас – Члопа, Берлинчик теперь Барлинек, Померания стала Поморьем. «Ну так, – взвешивает он, – не вернуть ли обратно и Кресы, ебать тех курв?»

Всё в языке, всё в мозгу, вирус тоже, октопус болевой, стоит изгнать его из головы, как он покинет и тело, но нет языка, чтобы его заклясть, языки больны, в них прячется невменяемость. Держи след! Связь неисповедима и неотвратима. Чем чаще туда-обратно, вчера с кем-то, завтра без никого, тем летальнее для дороги делаешься сам: для путевых точек, граничных переходов – словно ты, пройдя маршрутами взад и вперед, кого-то взяв, кого-то оставив, привнося одно, удаляя другое, получаешь право их, маршруты, стирать.

– В них прячется невменяемость, – говорит Лето, Рука смеется, можно сказать, ржет. Смеется крайне язвительно, оттого Лето охотно пересказывает ей что угодно, любую чушь, лишь бы смеялась:

– ...Вижу, воспринимает меня философски, абстрактный цинизм ее не смущает, и вдруг – история! Оказывается, министр наш писал в твиттер, что во время его последнего визита в Киев, в смысле, после того визита, когда самолет уже взлетел, видимость была прекрасной, и он типа сделал то, чего никогда не делал раньше – сфоткал город внизу. Будто бы знал, что видит его таким в последний раз. И должен был его зафиксировать. Иеремия херов... Помнишь? Сон Иеремии? Должна же ж, ведь ты церковная была.

– Я давно была церковная... теперь меня от церкви тошнит. Не помню я сна.

– И я вот – нет. А – был. И плач был, плач помню. Телефон! ...*Одинок сидит город ...многолюдный ...стал как вдова*. Был должен зафиксировать. Должен был измерить храм. Перед разрушением, чтобы после восстанавливать можно было.

– Я тоже. Я тоже отчего-то помню, что плач.

– И не в том штука, вдова или не вдова, бомбят или нет, что за фрукт наш министр, гей, гой или гай юлий там цезарь: главное, не человек давно, биоробот, и нечего ему фоткать людские города, тем более писать о них в твиттер. Срать он хотел на эти ваши города, он сам любой разбомбить готов, едва повелят... Сфоткал, иезекииль хренов. О, нашел! Нашел. Не Иеремия – Иезекииль. Иезекииль, иезекииль; два «и». А она: представь, ты сидишь, к примеру, с заказчиком в ресторане, деловая встреча у вас, всё нормально, пришли к соглашению, пьете красное, а он тебе – «люблю я это белое!» – и глоток. И больше ничего, дальше по-прежнему нормально, но у тебя в ушах: «люблю я это белое». Плохо объяснил, непонятно.

– В них прячется невменяемость, – повторяет Рука, – это так смешно!..

Их маленький поход – туда и обратно.

Местечко началось с ювелирного салона и скупки золота и серебра. По дороге к гостинице попались еще два-три ювелирных – по одному на каждое рондо, которых всего два или три. Золото, следовательно, в городе имелось, а вот пероги в гостиничном ресторане не имелись. Возможно, тоже стали невидимы. Когда Лето спросил портье, оговорившись, что рискует показаться некорректным, тот посоветовал спуститься на цокольный этаж.

– Паньство посмотрят меню, и, если что не подойдет, пойдут в город. А так – внизу терраса с видом на озеро.

– Пан считает это место лучшим?

– Нет, не считает, но и жалоб пока не было.

Лето спросил портье, едва они вошли – даже не заселяясь. С балкона стало очевидно, что основной городок является озеро, оно было как глаз, рощи вокруг – как ресницы. Отель помещался над правой бровью, если считать, что взгляд направлен от них. Свеженький променад, совсем, похоже, недавно выстроенный за евроденьги, зывал на полноценную прогулку по глазной впадине. Они сняли куртки и спустились.

– Если ты в Польше, надо обязательно заказывать пероги, – говорила Рука. Иногда концепция уточнялась: – Если ты в Польше, надо обязательно покупать колбасу, иначе зачем ты сюда приехал?

Вместо перогов заказали бургеры. Польские бургеры – как польские повербанки. Черт знает, откуда они взялись, но пашут будьте-нате. Дело действительно происходило на полностью остекленной террасе, даже плоская крыша была из толстого стекла. Лето задумался, как это выглядит зимой – сидеть серым днем под толстым слоем снега, но Рука завершила его, что зимой на веранде никто не сядет. Они выбрали столик поближе к озеру, а за столиком ближе к бару сидели немолодые мужчина и женщина и пили пиво. Когда Лето сделал заказ, официантка ушла вглубь ресторана и вскоре вернулась с великанскими порциями мяса с овощами для тех двоих. Пара была одета в странную крикливую одежду, у женщины на футболке имелись пайетки и рюши, но дешевой ее футболка не выглядела. Мужчина носил сверкающие кроссовки, причем тоже не из простых.

– Они пьяные? – спросила Рука, когда им принесли любешское пиво в бокалах с надписью Witnica, на которую никто из них не обратил никакого внимания.

– Пьяные. Но деньги у них есть.

– Деньги есть, – кивнула Рука, – это заметно. Притом не вполне легальные. Откуда тут нелегальные деньги?

– Сигареты, – привычно ответил Лето, так, как он всегда отвечал в приграничных районах. – И бензин. Курение по-польски – «палень», а топливо – «паливо». Вот и вся арифметика.

– Какая арифметика? – спросила Рука. Лето не успел объяснить: подали бургеры. В его бургере из кабана оказались сразу две котлеты, каковой факт лишил его на некоторое время способности к рассуждению.

– ...Сейчас мы позакрываем им тут всё.

– Ага! – подтвердил Лето. – Позакрываем, вкусно. И поделом. А то так вкусно, что слишком быстро естся.

– Ну да, бургер всегда быстро естся – такова их природа...

Каждая пахнувшая свежей стружкой лесопильня, сверкающая на солнце силосная башня, каждый воткнутый в поле за деревней ангар подразумевает производство, хозяина и рабочих – ранний подъем поутру, тяжкий труд днем, кусок мяса с картошкой и соусом вечерами, – глоток за глотком восстанавливает Лето свое умение рассуждать. – Булочка в зернах сезама – труд-труд-труд; хозяин-хозяин-хозяин... Может статься, что в местах, где им нравится, кто-то делает больше, чем положено, и таких мест не должно оставаться, или для того, чтобы им нравилось, достаточно просто любить свою работу, но если чересчур любишь работу, станешься биороботом...

– Зайдем – и место, считай, умлажец.

– Кто такой умлажец?

– Не знаю. Чувствую только, что он не живет больше. Труп.

Еще двести тридцать километров – и ныла уже не одна голова, но и кости, где тоже имелся мозг. «Это не он, – внушает себе Лето. – Я не безответственен, просто это не он». – «Не стоит кокетничать со смертью», – говорит собеседница. – «Какая собеседница? А... по телефону!» Кто с ней кокетничает? Это она с нами... встанет и ждет, потом взмахнет юбками, пахнет сладковатым

застарелым пото́м, пройдет мимо. Слишком много думает – та, которая говорит. Лето ловит себя на том, что говорит с людьми, которые с ним не говорят. Вначале слегка напрягается, что разговаривает сам с собой, но это не так. Он, как игла звукоснимателя, перескакивает с одной дорожки на другую, нынче не то что прежде, нынче чем меньше думаешь тем труднее промыть мозги когда ты не думаешь соцсети и агрегаторы новостей не могут вычислить твой профиль подстроиться под него вплести свою хуйню у дороги в твои извилины, ты нейтрален для токсичного; закажи себе значок с буквой «эн» большой и круглый он мысленно прикалывает значок себе на куртку но булавка прямо не держится один поворот по часовой стрелке превращает «эн» в другую букву Лето возвращает ее на место та валится в обратную сторону эффект неожиданно тот же удивительная буква «эн». Толстая алкоголичка в черном плаще пересекает площадь, на которой группу несовершеннолетних, укутанных во флаги яркой расцветки, увещевает полиция, те хрипло орут свою «Славу!» и уходят; «Кто первый будет в доме?» – кричит им вслед беззубая алкоголичка в черной майке со стеклярусом, пророчица, догадывается Лето, пророчица пересекает бульвар и оказывается на Старувке: мощеной улочкой, как утка, переваливаясь, идет она и взлетает, и, истончаясь, летит.

Завеса между подсознанием и сознанием временно истончилась. Он удивлен тем, что ему удается реагировать на светофоры, затем осознает, что светофоры в обоих мирах синхронизированы. Зато рассинхронизованы сезоны – и вообще календарь. Он проезжает работающую «Боровку», но сегодня не «хандлёва неделя», не торговое воскресенье, она не должна работать, проезжает мимо закрытой «Боровки», потом все же разворачивается, едет назад, на парковке достаточно машин, он входит в «Боровку», ничего не покупает, так как ему ничего не требуется, выходит на улицу, возвращается, берет «Люблинскую вишневую», платит, едет вперед, среди цветущих лугов пасутся коровы, а кое-где еще не стаял снег, сугробы серо-грязноваты и напминают пасущихся коров, нет, это не коровы, вернее, не сугробы, а если просто смотришь плазму, то тоже не так штырит, если при этом не думать, хотя штырит, конечно, смотря по тому, о чем ты готов подумать, городской житель при виде обугленной панельной девятиэтажки думает одно, сельский – другое, дикторша в плазме кончает при каждом произнесении слова «масакр», будто вся пролитая упомянутыми ею жертвами кровь прилила в пещеристое эфирное тело, теребящее ее под юбкой или под тем, что там на ней надето. «Когда я стану президентом Земли, – клянется Лето, – то первым делом велю разбомбить все заводы, производящие плазму».

Решение спуститься на террасу гостиницы оказалось единственно верным, жалоб было – ни одной, а пиво – свежим, они поднялись в номер и вышли в город, неплохо бы еще выпить, подумали они параллельно, только где? На рыночной площади все закрыто, наверное, не сезон, один лишь ресторан, по виду охотничий, с богатой дичью, работал, внутри сидели по-особому одетые люди: хотя вряд ли что-то здесь было безумно дорого, но в любом случае в него не всякий зашел бы; в том же доме находились ломбард и пункт скупки драгметаллов, второй ломбард со скупкой помещался через дорогу, а посреди площади среди вековых деревьев стоял обменник – деревянный домик размером с киоск, они подошли ближе, но курса нигде не было, у них тайный курс, решила Рука, зависит от того, что ты скажешь, войдя; какое кодовое слово, уточнил Лето, вспомнив, как осенью делал тест в Варшаве. Кодовое слово акции, которого он не знал, было «слон»; с него хотели взять в два раза дороже, чем обещал сайт, он возмущился, тогда девица с той стороны кассового окошка ткнула пальчиком вверх, туда, где на полочке сидел белый слон размером со среднего чау-чау: «Слон?» – спросил Лето, и ситуация разрешилась.

Местечко давным-давно опечатано сургучом, занавешено шторами. Скорее всего, до них Барлинек посетили другие ангелы, какие-нибудь Тины-Марии.

– А здесь нет такой беды, какая у них обычно бывает, – удовлетворенно заметила Рука.

На втором круге они попали в известного рода мышеловку. Ряд прусских домов шел вдоль крепостной стены, бывшей крепостной, разумеется, или ничуть не бывшей, а выстроенной как актуальный прикол из старых кирпичей, оставшихся после артобстрелов; руины всегда в моде.

Между фасадами домов и стеной всего несколько метров: если два мальчика из одного класса живут в этих домах один на первом этаже другой на третьем этаже один из окна всегда видит стену другой парк как они потом встречаются в классе будучи с разных планет, может, окна во двор, предположила Рука, тогда оба видят это – кивнул он на блеснувшие в просвет между домами стертые до неразличимости хрущобы, Plattenbau, как это плоско звучит, «платтенбау», ну почему, с болью в голосе спросил Лето, так стали строить везде, утешила Рука, до войны ведь все почти жили как Лотте, помнишь, как жила Лотте? а тут отдельная квартира, кран из стены торчит, покрути – вода льется, чего еще хотеть!

– Разве это не бедность? – спросил Лето.

– Я не говорю про бедность, я говорю про беду... В этих их наших городах.

«Я узнал бы у кого-нибудь, где бар, но видишь, они и так пьяные, без баров», – сказал Лето, уклоняясь от следующего пьяного встречного с пакетом «Боровки» в руках. Не пьяными были лишь дама, выгулившая чау-чау, и девушка, убегавшая от инфаркта, с довольно неспортивным лицом и совершенно неспортивной фигурой. Один бар был открыт, но из него несло прогорклым маслом (вероятно, масло в нем кончилось еще до того, как начало кончаться повсюду); они миновали его как зачумленный и в приятно хаотичной лавчонке (полуновострой, полупсевдоампир: мыло, селедка, алкоголь) нашли бутылочку с яркой мультиязычной этикеткой, Lubelska wiśniówka – чаще всего в подобные бутылки разливают яд, но они знали, что это; теперь к озеру, но там показало неуютно, на маленькой пристани мужики пили пиво – хочешь туда? нет! – возле пристани светился павильон с детскими игровыми автоматами, небольшая фамилия, укрывшись от ветра, аппетитно уничтожала вафельные рожки с мороженым: на площади, объяснил отец семейства, на углу площади есть отель, надо войти – и будет мороженое...

Болеело все. Главное Литву. Миновать. Зачумленную быстро. Как.

Когда-то он обожал Литву. Преодолена или стерта начисто?

Они сидели на скамейке на рыночной площади, пили вишневку и закусывали ее мороженым в шариках, шоколадным, фисташковым и крем-брюле. «Если они тут что-то делают из еды, у них неплохо получается», – констатировала Рука. Пара металлических лебедей сидела на бетонной тумбе в фонтане перед скамейкой, порываясь взлететь, но так и не взлетая. «Помнишь, твоя мама спорила с нами, говоря, что видела в мае лебедей на льду?» – «Помню. Наверное, это были сухие лебеди, как и эти. А лед – искусственным». Мимо мрачно прошагал парень с двуцветной лентой, глядя в никуда, вернее, лицом он смотрел в никуда, а приколотой к полупальто лентой – в окружающее пространство. Поляя или беженец? Его хотели убить или он готов убить? Значит ли это «дайте денег» или «я даю денег»? Он отменил пандемию, только не знает, что его пандемия началась с этой, нашей, его лично, скорее всего, не коснувшейся, а теперь сменился код проверки на лояльность; он этого тоже не знает, но код выучил.

Глазница озера, прогулка меж ресниц, еще бары, открытые, но пустые, закрытые ювелиры, женщина с чау-чау, шахматист Ласкер, четвертый сын синагогального кантора, родился в Берлинхене, третий круг, но синагоги нет как нет, ни в виде руин, ни в виде склада или хотя бы дошкольного учреждения, все тот же алкоголик с пакетом обогнал их, стоило им замешкаться у пирса, видишь хороший ход – не делай его, якобы сказал Ласкер, найдешь лучше (за павильоном с игровыми автоматами неспортивная бегунья завязывала шнурки спортивной обуви).

Сказать, что глаза Лето слезятся – ничего не сказать. Слезы из них ливмя, отключая периферийное зрение, но перед собой он продолжает фиксировать простейшие, насущные вещи: дорогу, чужие машины, аистов, людей. «Может, я их убил. Иеремия, ёпшаламать. Сидят как вдовы... Не замораживать или предупредить? Либо я их, либо они меня!»

Вернувшись, они спустились на террасу. Рука надела черную кофточку с красными узорами, а Лето не переодевался, все та же официантка была очень мила, и не от того даже, что Лето оставил ей хорошие чаевые после обеда, а просто так – в этом фрагменте приозерной впадины все были милы; пока он смотрел винные бутылки, особо не проникая их сути, Рука заметила здоровен-

ные безешки в стеклянной горке: о, «Павлова»! да, «Павлова»! они потрясающие, шефиня сама испекла сегодня, возьмем обе, бери то вино, официантка положила одну белоснежную павлову на широкое квадратное блюдо серого цвета а другую павлову в картонный сундучок с серебряной бахромой он взял два бокала красного а потом еще вторая снежная павлова на свет из сундучка потом еще, я заберу этот сундучок с собой, смотри, какой красивый; стекла террасы отражали их внешние и внутренние миры; озеро спало и не спало одновременно, в нем дрожали огни противоположного берега, но сам берег спал. Безумно вкусные павловы, просто безумно, как же ты нашла их, спросил Лето, я просто подошла, и они там были. Он фотографировал их отражения в стекле – вместе с павловой, бокалами вина и свечой, которую принесла официантка, в крыше они отражались интереснее, чем в стенах, правда, одни только лица, остальное попадало на ребра перекрытия. Видишь хороший кадр – жми, Лето жал кнопку, но ничего не получалось, Рука отобрала у него телефон: вот так, видишь, вот, смотри, так. Вот.

Кукольное лицо бейбы баскетбольного роста на рецепции и тачки на парковке, каких не было вчера, каждая под сотню тысяч – утро давало стране угля. На федеральную дорогу они выбрались с ощущением, что уезжают, а что-то остается в ночных стеклах: вчерашние отражения казались слепками душ, в которые верят индейцы, и повезло, что они заключены в коробочку телефона, а если что и застряло в месте ночлега, то разве что бледные размытые тени, колебавшиеся при свете свечи.

– Откуда такие машины? – смутился Лето; он всегда спрашивал, даже если ответа не могло быть, поскольку Рука обязательно знала ответ.

Крутя руль, Рука и в самом деле порассуждала о разных пластах жизни, не всегда заметных для посетившего город стрейнджера: ты понял, сколько здесь ювелирных, а там, где мы ночевали в прошлый раз, не было ни одного, вообрази, что у них сейчас сходка – где брать алмазы, сидят внизу и решают (Лето кивал головой, думая о том, как алмазные короли наблюдают их выцветшие в солнечном свете отражения).

– В Берлине это никого не удивило бы, почему должно удивлять в Берлинчике?

Первая деревня на этой – новой для них – лесной дороге называлась Лубянка.

– Лубянка? – спросил Лето.

– Нет, Лубянка. С твердой «эль».

– Ага – протянул Лето. – Ага...

Право на Тыкочин

*Dum dubitat, videre canes : primique Melampus...*¹

Ovidius

– Катрин, Элизабет – все хотели, чтобы их похоронили под буком. А мне хотелось бы, чтобы меня хоронили под березой.

Там, где шла Стена, шумят березы, невысокие, как вымерзшие озимые. Городская достопримечательность. Береза, унтерменш среди деревьев, ворота в подземный мир. Так ведь и было: с одной стороны ад, с другой – тоже жарковато. Ствол-столб краплен, мечен. Черен-бел-горюч. Кривится подозрительно.

– Кому Бухенвальд, кому Биркенау, – шутка вертится на языке минут пять, покуда не гаснет втуне...

– Здесь малую Руку мучили... издевались, били... – и по газам; Рука водит резко, настоящий Шумахер, когда она за рулем коричневой, ему страшно, что – вот-вот, а когда ведет серебристую, то ясно, что все прокатит, оттого они часто срутся: серебристая ее, коричневая – его. Лето не то

¹ Он в раздрае, у псов же чуйка: прежь всех Чернолапый... Публий Овидий Назон

чтобы страшится нижнего мира, иное дело – превратиться в реального Шумахера. А так-то, может, давно пора.

Тема иссякает и поднимается вновь. Причин мучений маленькой Руки две – ее тяга к справедливости, к герехтигайт, и, конечно же, фамилия. Лето по привычке удивляется: он бы сказал «как ни странно» – и, как ни странно, фамилия. Ну что за зло причинили людям эти маленькие земляные человечки, эти э-р-д-м-а-н-д-л-и, как кличут их в кантоне Цуг, швейцарской криптодолине (швейцарцы знают толк в земляных человечках, а Лето не знает другого места, где землевечков бы звали столь же изящным образом), когда один только, в силу фамилии, намек на принадлежность к их роду заставлял маленьких людей обижать Руку? Эрдмандли по имени Рука.

– Когда ты сказал, что денежку, которую я положила в автомат, несут на телефон гномы, я помышляла, что все не так уж плохо.

Открытая, льющаяся потоком улыбка: вид признательности. Признания. Случается. Заслужил.

Одержимость дорогой вытекала сама собой. Страхи и радости, что может быть естественнее? Списки, отличаясь перифериями, совпадали в корне. Из корня ветвился тракт, соединявший пару лепестков, два ареала бытия по краям безмерной равнины, не тракт – макраме так себе стежек, по которым Лето, дюжинной мощности водомерка, сплавляется на восток. Где дорожки совьются в толстую нить автобана, там «смок на воде», слоновьи бега и немножко нервно. Не тракт, стало быть – но преувеличение необходимо. Паучок вверх или вниз, один и тот же путь, уверял грек, война же – отец всего, никуда не деться. Бессменная крыша над головой, гонишь ты или гоним. Страхом и радостью, стало быть. Огнем и мечом.

Рука ждет фейерверка, она всегда ждет фейерверка. Вместо меча у нее – кухонный нож, плита на электричестве, поэтому пламя необходимо. Купи, что тебе приглядывается, всегда пригодится. Отчего не купить? Страна набита фейерверками, говорят, страна – что бочка пороха, осталось лишь фитиль поднести: вранье. Никто не решится. Самые мутные страхи – позади. Самые звонкие радости – впереди. И – крыша, крыша!

Всё вранье, погоду обещали одну, она другая. Вместо солнца – сплошная белая мга, взвесь, пелена; как ни скажи – не то: млечное зазеркалье, так, наверно, вот-вот и... что – и? Неведомо, по чью сторону, еще или уже, провалишься вот-вот или вывалишься, лишь в отеле, тонущем в этой пелене, «а-н-и-я-х-о-т-е-л-ь» с тремя звездами, кажется, что – вот. В безопасности. Лето любит такое обрезание имен, которое приоткрывает истинную суть явлений, «д-о-м-!-с-н-о-в», к примеру, на шестигранной платформе в медвежьем углу его необъятной родины, несущей на себе городскую ель и опоясанной по граням периметра надписью «С новым годом!» Неясно, правда, при чем здесь Аліа и кто ее хотел. Быть может, это глас вопиющего в белой пустыне, верните мне мою Аню-Крысю-Марысю, исчезнувшую под марлевой хмарью: дальнобои, выныривая из-под моста, краем глаза улавливают этот призыв и передают его дальше – на собственной волне, от Варшавы до Белостока. Аллур три звезды, слизни на языке автобана. Лето, пересекая его с помощью развязки поперек, читает сверху: t-a-n-i-a-h-o-t. Пусть так, зато в безопасность.

Шутки ради Лето включает свой русский мобильный. Гениальный минимализм раритетной нокии, куда мгновенно приходит смс. Кривой английский буквально уродует квадратный экран олдтаймера: *Польская граница на замке. Власти BLR говорили тебе ложь. Ступай назад в Минск. Не бери никакие таблетки от белорусских солдат.* «Ничего себе», – говорит Лето, выкладывая на столик прихваченную снедь и открывая себе пиво. «Отельные прелести» – вертятся в памяти; утехи картофелины, вынутой из горшка: суп продолжает вариться, а она медленно остывает на ладони шумовки.

– Отельные прелести, – вертятся в голове чьи-то слова, – войти разбросать повсюду чемодан на кровать в одежде достать бутылку из чемодана хлебнуть моментально упасть потупить поглазеть по сторонам отхлебнуть еще поваляться уже потом раздеться и начать думать что же делать дальше.

– Пить, – крутятся в памяти слова Карла, – пить на балконе ставя стакан на перила гадать не соскользнет ли снежинки летят в него и на перила берешь его а под ним чистый кружок перил и кружево белизны вокруг.

– Нежничать, – прокуриваются слова Клары, – нежничать на подоконнике с видом на площадь полную китайцев войти в номер с единственной мыслью что сразу нежничать (она называла – нервничать?) в коридоре не раздеваясь стерильно закрыла дверь даже не вставила карту в держатель света не нужно холодильник так и так включен и нервничать все мне нравится все здесь мое у мужиков так не выйдет у тех нудно долго тяжело потому что у них с каждым местом романы а у меня легкий флирт приехала состроила глазки пообнималась и все довольны...

Отель Titania.

Конец света, дни закрытых дверей, вместо ночлегов постои для милитаристов и медицинско-го персонала, хотя последний ночлег можно бы приравнять к праву путника с одинокой пыльной дороги приклонить голову, мга, тридевятое пространство, тридесятое подпространство, бар двадцать четыре официально до двадцати двух тридцати – звонок с фирмы, я такой-то, командированный такими-то, прошу заполнить, маска необязательна, черная тем более, для знающих ночь напролет и даже больше.

Hotel «все разрешено»: зависнуть навечно, не спешить, ничто никуда не уйдет, ни выпивка, ни закуска, китайцы в свою очередь не явятся и не заполонят огромный паркинг подковой обхвативший корабль Титании дальнобои ночь напролет а в номере герметичная тишина двойной стеклянный фасад кажется ты отплываешь куда-то в отдельном модуле, усталость, апатия, просто жди, ничего не делай, ты не на берегу и не принадлежишь себе, пока твое судно не причалит.

Магия безмолвия и тумана, стеклянистый спрут титаника в подпространстве бар придорожный двадцать четыре до двадцати двух тридцати но знающие ночь и дольше все утонули выныривать по желанию титаник тик-так тик-тин затоплен населенный пункт как выстрел как в судьбе противотуманный проблеск.

Блаженны тонущие, ибо их есть царство небесное.

Кирпичный – самый честный цвет. Предупредительный кирпич в окно задолго до первых казней. Безобидность начал. Так проверяли той зимой коды на входах в здания, без кода ни в церкви не помолишься, ни куска сала не купишь. Программа у охранника сбоят, красный, красный, красный, ближние в очереди делают вид, что ничего не видят, задние напирают и требуют их впустить, но взгляды отрешенные. Уберите тело, мешает!

Опять же, этакий мрачный детский сад или какая-то такая же мрачная школа, какие встречаются только в Пруссии. Я не спорю, вне Пруссии тоже их хватает, но нужна точка отсчета, необходимо категорическое «только» – подчеркнуть значимость момента: вечер в Бранденбурге, ранние огни, темно-красный кирпич, архитектурная дидактика. Их, кто не знает, может принять за что угодно. Мэрию, комиссариат полиции, Гданьскую почту при первых утренних запахах «Шлезвиг-Гольштейна», только не за учебное заведение. Можно также спутать с больницей. А волк тут как тут: в районе куча больниц, выстроенных аж до Адольфа, их, между прочим, легко спутать с оперой, резиденцией посла или помпейским лупанарием. На исторических гербах округа красуется бук, дерево верхних богов. Любой, кто делал визиты здесь, был рано или поздно удостоен объяснений касательно этимологии названий. Бух, Буххольц. Буки стоят на моренных отложениях возвышенности Барним. Берлин, не Бранденбург; отнюдь не любой удостоен; но – сохраним значимость: – Здесь малую Руку мучили! – и по газам...

Они маршировали колонной прямо с Рынка, с рыночной площади к близлежащему лесу, в одних стреляли, другие падали сами, не застреленными, довольно глубокие рвы, около половины населения переметнулось под землю, примерно полгорода на глубине, и ни следочка, ни выбоинки, ни щербинки, чистые выбеленные стены, на тротуаре каждый камешек различим: если солнце, он есть, а его вроде как нету, нету его, но вроде как есть – тоже вранье?

В тот год строительство «восьмерки», трассы имени героических героев «чуда на Висле», преодолело Замбров, и стало возможным срезать угол лесами, через Корушчин и Кнышин. Слоновьи уши объездов, петлями накинутые на стыки строящихся участков, утратили актуальность, и Руке не приходилось больше грозно зевать от духоты, имитируя звук тормозов фуры и пугая этим участников кругового движения. Тиктин они открыли одновременно и параллельно, она по дороге туда, он по пути оттуда, заветный листок, для большегрузных улиток запретный, желтую звезду королевского шляха: как ни скажи, всё не то – секретный километр брусчатки, закрученный в ленту Мебиуса, закупоренный в бутылку Клейна, берущийся из ниоткуда и обрывающийся в ни-где. С севера тень замка, в котором четыре с половиной века назад отпели последнего из Ягеллонов и чьи кирпичи обслужили Великую войну, легли в подляскую глину, вымостив кусочек тракта, а с юга – тонкая ниточка к развязке, к восьмерке на «восьмерке», и Titania. Цены в «Титании» были еще те, смешно даже интересоваться, конференц-отель, криптофасад, двойное наностекло, ваш конфидент на большой дороге, наивно думать, никакой айсберг не двинет с места эту махину. Бар 24, 3 звездочки.

«Тайный город, – жаловалась Рука, – однажды я поняла мгновенно, что я им тут не нужна, ходят себе люди, и ясно, что до них не докричаться, у меня даже возникла мысль ночевать в монастыре, но я чувствовала, что меня туда попросту не впускают». – «Тайный город, – отвечал Лето, – однажды я полночи звонил по разным номерам, изображенным на всяких вывесках, ночлеги, постой, агротуризм в снегах, трубку никто не брал, я как-то умудрился заехать за Варшаву, поспал на орлене, сделал себе душ, поджав снизу кран в туалете, после пришлось, разумеется, немного протереть пол, позавтракал творожниками в сахарной пудре с вишневым вареньем...»

Рано ли, поздно ли, сюда приходят люди с востока. Они заполняют собой не только рвы и площади, они обживают «Титанию», та становится табором, бивуаком, женщины, доставленные из Кресов, второй день стайно курят под Таней-хот в спортивных костюмах и разношенных сабо, они вполне могут оказаться Танями и вполне «хот» под оболочкой сонного равнодушия к общим судьбам – своей и приютивших их людей; это временно роднит их с Лето, с его усталостью и вообще. У них проблемы с коммуникацией, и Лето решается помогать, привычная роль – та же капсула и вообще, «зокрема», какого крема? Не крема, а творог сам по себе, блины сами по себе, так Лето понимает зокрема, лед тронулся, пора переходить на более общий язык, раздобыть пластырь и игральные карты, от Старого Ежова автобус на Старый Рынок, пешком до гробли, нет, не до гроба, дружба дружбой, а табачок зокрема. Толмач тот же доктор, потому не забирай себе их боль, Лето, не отнимай ни крошки боли, они живут болью.

...Насквозь еврейский, да, замок, да, костел, на базаре определенно свиной смалец со шкварками, но все равно еврейский. Вон домик – на Пилсудского, но супротив бывшей синагоги, что на Козьей улице, в домике том родился Мотэле Заменгоф, папаша доктора Эсперанто, дед языка надежды. Табличка в виде герба или щита без умбона, *мемореал... наскигис...* как будет на эсперанто «эрдмандли»? Эрдмандли на эсперанто будет «нано»! Ничего себе, может, у вас и шкварки гусиные?

Шло полгорода – или не шло? Мужчин отделяли от женщин и детей? По четыре в ряд? Клезмеры в конце колонны играли хатикву – или хаванагилу? Надежда наша, атиква, Тиктин-городок. Позарастали стежки-дорожки, кареты сделалась тыквами. И ни следа.

Спираль, лабиринт: не то. Глаз торнадо. Нет. Центр циклона. Если к чему-то долго стремишься, оно шагнет тебе навстречу. Одним прекрасным вечером Рука призвала его смотреть на украшенную зажженными свечами елку. Давай смотреть на елку, настаивала она, садись рядом, будем смотреть на елку. Если долго смотреть на елку, возражал он, елка может прийти к тебе. Никто не придет, уверяла Рука. Просто смотри на елку. Они смотрели на елку так долго, что одна из свечей, догорая, вспыхнула ярче обычного. Иглы загорелись, Рука тушила их, заливая водой. Горячий воск забрызгал руку Лето, руку залили спреем, спрей брызнул на конфорку. Мы и плиту вылечим, радовалась Рука. Она тоже будет смотреть на елку, радовался Лето, мы все будем смотреть на

елку... Вчера у меня распух большой палец на левой ноге, подытожил Лето, и я забыл про боль в растянутой правой лодыжке, а когда обжег руку, то забыл и про большой палец. А вдруг это выход: наносить себе все новые и новые увечья, чтобы излечить старые? Не делай этого, сказала Рука совершенно серьезно, быть жертвой легче, пассивность очень удобная; ты рулител своей судьбы, ты рулишь, это единственный путь к счастью, иначе тебе раз что-то дадут, а потом топчут в яме; ты будешь хозяином, когда примешь ответственность за все, что случается в твоей жизни.

Не умею принять ответственность... Сумею ли принять боль?

Цены рухнули внезапно, как млечная взвесь, но ожидаемо. Конференции остались в прошлом, в уик-энд дешевле, чем в будни. Лето и Рука двумя машинами, где цугом, где расходясь достаточно далеко во избежание срача. Титаник непотопляем, его остекленный остов держится на плаву до двадцати двух тридцати, подкову парковки замыкает сад иллюминированный оазис пей всю ночь к утру увидишь город все предопределено но свобода дана, утверждает Мишна.

Ты – хозяин боли.

– Я буду Сара Гном, – говорит она и становится Сарой Гном.

Сара в профиль перед белым домом, рубаха серого холста, черная юбка, сандалии, волосы сколоты на затылке, плечи слегка ссутулены, глаза незряче ловят в бесконечности сияние Сиона, еврейская Сара, еще немного, и ее возьмут, никто этого не замечает, никто не видит Сары, исключительно тонкий, в силу обстоятельств, намек на знакомую Лето ситуацию. Ближние делают вид, что ничего не видят, задние напирают и требуют, не судьба повторяется, не дай боже, и не отношение к судьбе, слава те господи, но взгляды отрешенные, как будто нету их, как будто нету его, хотя кто-нибудь мог бы и предложить купить для него чертов кусок сала прямо за спиной в униформе... он стоит, но его здесь нет, для ближних как бы нет, а для дальних как бы он есть, но как бы мертв, уберите тело, мешает.

Не кипишуй, Лето, Сару не возьмут, еще не пора.

Ярко тени на штукатурке.

– У нас гулаг, а тут свобода, радость – говорит Лето.

– Тут все с радостью уничтожали евреев, – соглашается Сара, – свободно, они же католики, а евреи распяли Христа.

– Я буду Мотл... Мотл Мышь, – говорит Лето, поскольку где гномы, там и мыши.

– Я буду Мотл... Мотл Мышь, – говорит Лето, но ничего не происходит.

Кто в домике хозяин?

Говорит, будет Сара Гном, и сделалась Сара Гном, силуэт на фоне еврейского дома, еврейский силуэт, только у Сары Гном может быть такой силуэт, а я буду Мотл Мышь, глазки-бусинки, усики в сальце, но не вышло, был Лето и остался Лето.

– Ты ночью кричал!

– А что я кричал?

– Бедный мышь... даже обидно, я так отпаивала тебя...

– Мне, наверное, снилось, что я попал в рай, умер и попал, вот и вздыхал: бедный мышь... Пока я кудрявый был, бабушка звала меня мышом, позже-то она мне волосы распрямила. Так бывает: умер, все вздыхают, а ангелы сокрушаются, почему бедный, ведь хорошо ему здесь?

Мышка за кошку, кошка за внучку. Бабка, дед и чей-то мальчик с сачком у ворот. Базар в городишке: подлинный, не киношный штетл. Сара Гном делает разворот перед каким-то муниципальным офисом, со двора выходят бабка, дед и мальчик с сачком. Сара беседует в магазине с консервной банкой: не хочешь ли ты пойти со мной? Бабка, дед и мальчик с сачком проходят мимо, пока Лето залезает к Саре в машину, у мальчика семитский рот и цыганские глаза. Такие же, как у маленького Лето, только у Лето волосы были кудрявыми, были да сплыли, к великому огорчению бабки, любившей накручивать на палец его локончики. К вящей ее радости: так она боялась, что Лето похож на жиденка, глупый мышь, говорила она Лето, глупый Мышь, она помнила, бабка, что она помнила?

Ах, малина, малина, ах, помидоры, ах, малиновые помидоры!

Вранье, вранье, Википедия, сука пиндосская, пытается срать, мол, папаша Мотл родился в Сувалках, а не на улице Козьей, как написано на стене домика, в котором он родился, зачем бы ему родиться в Сувалках, что есть Сувалки, что суть Сувалки, Сувалок много, сегодня да, в них, в Сувалках, есть плаза, теско, шмеско, а были дыра дырой, Лето не понимает, зачем людям столько вранья, но зачем людям эсперанто, тоже не понимает; ему нравится не понимать – зачем нужен универсальный язык, пусть остается как есть, должна быть зона непонимания, ставь надежду всяк сюда вхо.

А цены встали. Поселюсь-ка я тут на зиму! – думает Лето. У нас саласпилс, у нас алитус, здесь все разрешено. «Адольф, – думает Лето, – черный князь Атлантиды». Русское поле вызвало его сюда. Без него сидел бы он на дне морском, пил с Садко шнапс. Чья жуть лучше, его или наша, сверхчеловеческая или обычная? – именно так он и думает, если уж без жути нельзя. Где-нибудь был съезд на агротуристику, сколько они захотят за месяц? Почти неразличимо в тумане, раз развернулся, два, нашел аппендикс поперек шоссе, туман редет, раз хутор, два, выбегает пара собак, огромная и мелкая, овчарка и неведомо кто, овчарка прихрамывает на черную переднюю ничего не боясь лают бросаются под колеса не дают проехать (что за зло он им причинил?), что они знают о нем, черные псы памяти – или это белые псы? На одном из хуторов кого-то прятали, ямы рыли, бункер крыся, бункер марыся, не для того ли все и было затеяно, чтобы кто-то прятал не самого хочется сказать приятного достаточно хочется сказать отвратительного сала он видите ли не хочет чем же тебя кормить пся крив оленевой собачатиной, для этого и затевалось, пусть прячущий грядет, эй, прямыми сделайте стези, в гробле я вашу агротуристику, назад, назад, в туман.

Не забудь про фейерверк, Мотэле, Сара ждет фейерверка. На углу «Левиафан»: для тех, кто знает, лесенка на этаж, бытовая химия, дешевая обувь, домоводство, садоводство, сделай сам, две доски, четыре гвоздя и еврей тридцати трех лет, но не пора еще, вот-вот Рождество грянет, шестнадцать ракет, восемь петард, у крыльца «Левиафана» притаился грузовичок, восемь-восемь-восемь, блатной номер, другой анекдотец приходит на ум, Лето читает номера машин как послания.

Восьмерка «восьмерки», оборот-оборот, с востока на запад редкие дальнобои тонут в тумане айсберг «Титании» в тумане ни звезд ни чисел молочные капли по непрерывно шевелящимся усам дворников текут – в рот, естественно, не попадая.

Тонули, тонем, будем тонуть.

Блаженны идущие ко дну, ибо они наследуют океан.

Дмитрий СМАГИН

ГОЛОВА ЗАСТРЯЛА В КАСТРЮЛЕ

След

На выходе из парадной остановил гражданин:
не сдаёт ли кто комнату в нашем доме.
На вид опрятный –
брюки со стрелками, только во рту
почерневшие обломки зубов.
Ещё спросил, не знаю ли я, где
висит доска объявлений.
Никакой угрозы, лишь
«Так хочется пожить по-человечьи...»

След от его туфли на снегу
похож на след забытого утюга.

Идеальное место

вдали от сквозняков и
чрезмерного тепла батареи,
там, где много света, но без прямых
палящих лучей, чреватых выгоранием.
Влажность естественная,
вместо полива мотивирующие ливни.
Правда, нет никого, кто бы натирал
листья до блеска, зато
никаких препятствий для роста,
страха перемен и т. д., только
открытая конкуренция и
рыхлый грунт с листовным перегноем
за пределами цветочного горшка.

Подснежник

каждой весной
пробивается сквозь

Дмитрий Смагин родился (1974) в городке Воздвиженка Уссурийского района Приморского края. Окончил филологический факультет Смоленского государственного университета. Публиковался в журналах «Арион», «Крещатик», «Новая Юность», «Звезда», TextOnly, «Формаслов», «Кварта», «Волга», «Вихорух», на сайте «Полутона». Автор книг стихов «Чудесный школьник» (2024) и «Клара, танцуй» (2025).

мёрзлый грунт,
топит дыханием снег,
прячет бутон под покрывалом.
Столько усилий ради того, чтобы
выбраться на свет поникшим,
на тонкой ножке, однако
готовым раскрыться
в эфемерный солнечный день,
а в случае заморозков переждать,
притворившись мёртвым.

Как хорошо спать

на заднем
сиденье
кроссовера,
объевшись чипсами,
в крошках от чипсов,
пока мелкие
суют носы
в оцепеневшие
от страха
рюкзак и палатки,
трут
солёные пятки туристов
наждачкой языков.

Ещё пять минут
чуткого сна,
и поведёт
мохнатый выводок
напролом
по кадастровой карте
в поход
за смородиной.

Она ведь тоже молчит
и пахнет едой.

Тайник

Бывший хозяин дачи
вежливо отказывается
от куска смородинового пирога.

Он не ест быстрых углеводов.

И пока мы завтракаем,
продолжает наставлять.

– Всегда держи в доме
охапку сухих дров.

Учит,
как укрощать огонь
лязгом печных заслонок.

Молча внимаем и жуём.
Это похоже на ритуал прощания.

Спустившись с крыльца,
встаёт на одно колено,
шарит рукой под ступенькой,
показывая тайник.

Рассказ

«О собачьей тяжкой доле начинаю я рассказ
у меня жила собака породы водолаз
не рычала не кусалась не бросалась на чужих
из команд предпочитала неуставное “ложись”
под столом у батареи иль в ногах моих едва
исчезали мы за дверью она тут же на диван
а хозяина держала за последнего лоха
но уликой оставалась на диване том блоха
я ругался и грозился лежебоку наказать
главное когда ругаешь не заглядывай в глаза
вот веди его до ветру вечером без поводка
а у самого в кармане на баллончике рука
как сказал один инструктор качая головой
это вам не злобный питбуль не кавказец удалой
это добрая собака породы водолаз
и она не понимает что такое значит “фас”
что порода то природа даже если через край
прямо с нашего дивана попадёт в собачий рай».

Пасюк

Пасюк очень умён,
«интеллигент» животного мира,
на чьих подвижных пальцах
нет мозолей,
чей хвост всегда короче тела,
а морда лишь слегка вытянута.
Обладая способностью

мыслить абстрактно,
он строит в уме сложный
маршрут сквозь лабиринт жизни
с учётом собственных талантов:
«Здесь я вполне способен прыгнуть на метр,
с разбега – на целых два,
здесь придётся пуститься вплавь,
а вот уютное место для привала,
благо отсутствие рвотного рефлекса
позволит перекусить чем угодно».
Всё портит один недостаток,
который невозможно устранить,
это слабое зрение, узкий угол обзора.
Однажды найдётся тот, кто преградит путь,
и голова будет нужна только
для того, чтобы ей вертеть
в поисках возможности
избежать конфликта, но
не находить таковой
даже на открытом пространстве.

Сокол

«Слышу, как друзья кричат с улицы, зовут гулять. А мне лень спускаться пешком с пятого этажа, проще развести руки в стороны и спланировать вниз с балкона.

Иногда я выпендриваюсь, усложняю задачу. То вылетаю к ним через подъезд, аккуратно вписывая тело в лестничные пролёты, а то воздушным асом падаю в отвесное пике, но у самой земли резко взмываю, позабыв обо всём, ясным соколом вслед за перепуганной галочьей тучей».

Сегодня в трамвае

*Теперь уже не подлежит сомнению,
что рыцарское искусство...
тем более достойно уважения,
что с наибольшими сопряжено опасностями.*
Сервантес

Сегодня в трамвае я видел ребёнка,
чья голова застряла в
кастрюле.
Он стойко переносил
выпавшее на его долю испытание:
ни разу не заплакал, не издал ни одного
горестного вздоха.

Удивлённые пассажиры прислушивались,
кто с уважением, а кто еле сдерживая смех,
к дребезжащему искажённому дыханию,
и только бабушка, верный оруженосец,
сопровождавшая внука к врачу,
тихонько причитала, возможно,
о вреде рыцарских сериалов.
Могла бы, конечно, вызвать МЧС,
но те бы стали срезать шлем болгаркой,
а так есть шанс, что все останутся целы.

Вокруг котла безумная скакала,
расплёскивая зелье помелом.

На тёмном небе молния сверкала,
а следом грохотал послушно гром.

Железная в лесу ржавела бочка,
и пугало болталось без мозгов,

пока однажды не поставил точку
на голову упавший с неба кров.

ГРЁЗЫ О ФИГОВОМ САДЕ И ПРОЧИЕ ИСТОРИИ

В том старом саду растёт странное древо,
И имя ему фиг.
Капризен и нежен плод его, и к сластолюбию
Влечет нектар его.
Всё вокруг и рядом тайны и простой, и колдовской
Шли мы и брели мы.
В нескончаемого дня грёзах жизнь свою
Проводили мы.

Как было

Жарким летним днем я со своей знакомой гуляли у Залива. Лёгкий бриз с воды приятно колыхал воздух, пели цикады, и всё было превосходно, просто замечательно. Ничего необычного не происходило, ну да что там, чего ждать летним днём полудни. Разве что воробей вдруг взял и в Залив нырнул с перепугу. А мы нет, не ныряли, не купались, просто у воды прохаживались, могут люди при свете дня побродить для собственного удовольствия.

Какой же он был, тот день? Обычный себе день, жаркий, как сказано.

И всё-таки что-то случилось. У меня оторвалась голова. В сущности ерунда, мало ли. Главное, что буквально сразу после приключился Конец света. Да. Простите великодушно, не удержался. Шучу я так, а шуток моих не понимают. Нет-нет, не было ничего такого эдакого или экстраординарного. Просто во время прогулки мы набрали на фиговый сад, и там было чему удивляться.

И всё началось именно там и тогда, так я думал. Но там – это, собственно, где? И когда это самое тогда? Объяснения нужны всё же. Так что обо всём по порядку.

Рассказ о случившейся истории

- Хорошо у вас тут! Качель, садик, беседка. Солнце клонится.
- Что ж, вы б наезжали почаше.
- Благодарствуйте. Птички поют по утрам, наверное.
- А вот не поют, подевались куда-то. Разве филин-злодей переловил или в пруд все переселились, не знаю.
- В пруд? Гм, знаете ли... А вот я лучше вам расскажу о моём приключении. История удивительная и невероятная. Может, и с рыбками что прояснится.
- А! Вы попали в историю?
- В сказочную, заметьте, в сказочную историю. Притом попал-то не только я один, а с особой...
- О! Замешана незнакомка.

Никита Орлов родился в Москве, окончил МГУ, кандидат ф.-м. наук. Работал в МГУ, Национальном Институте Здоровья (США), частных компаниях. С 2003 года живет в Балтиморе. Публиковался в академических научных изданиях, в журнале «Урал».

- ...которую вы, уверяю, хорошо знаете.
- Как, с кем? Говорите же!
- А скажу, с вами, вы ведь не поверите. Сами же и смеяться станете ещё.
- Шутите, всё вы шутите! Что ваш рассказ, о чем?
- В общих словах, о Саде. Но важно другое... Вот, Время. Казалось бы, один день...
- О саде? Странно... со мной ни в каком саду давно уж ничего не приключалось, хорошо ли, плохо ли.
- Вот как. А знаете, вы правы. Я своё приключение, пожалуй, лучше покажу.
- Да что вы! Покажете? А как это?
- Очень даже просто. Пожалуйста, вот вам калейдоскоп, мастер иллюзий. Прошу вас, вот сюда извольте посмотреть... Вы, вообще-то, как к югу относитесь?
- К югу, говорите? Как странно. У меня с югом многое связано!.. Пойдите, что здесь у вас?... тут жуки и цикады какие-то... а теперь будто бы звёзды на небе... А где сад ваш, не пойму?
- Будет и Сад вам, терпение! Итак...

Итак, юг. Так, минутку: а почему юг? Ну, во-первых, так хочется. А во-вторых, нам по сюжету требуется волшебство – а оно обыкновенно случается именно там, на юге: абсолютно всё волшебство – за исключением, конечно, северного. Только северное волшебство это совсем другая история.

Ну хорошо. Ну юг, если так хочется. Допустим. А что, собственно, юг? Что он даст, отпуск? Да что вы, причём тут юг. Отпуск человеку гарантирует... ну не знаю, конституция. Если она, конечно, добрая и гуманная, или выставиться таковой желает. Про конституцию это в шутку, конечно. Сначала всё же отпуск, потом уже юг. Или север, если хочется. И вообще-то, не в отпуске дело. Тут ведь что... Юг даёт свободу. Из раба и подёнщика человек превращается в личность. У него открываются глаза. Заводится вдруг достоинство. Человек обретает гордость, задумывается о человеческих ценностях, о естественных правах. Вспоминает, что молод, осознает, что хочет быть счастливым. У него появляются мечты. Юг открывает всё объёмное пространство для живущего на плоском листе. Кто-то скажет, что человек отрывается, от копошения среди мелочности и сора он вступает на Олимп и говорит теперь с равными по духу... Даже и так, это несущественно, это мелочь. Важно другое, человек делает отметку на своей жизни и прощается с собой прежним. Юг, понимаете, его дары.

Вы слушайте, слушайте.

Рассказ о южных запахах, доводящих до ручки

Милый сердцу, благословенный юг! Восторг, нелепый восторг наполняет наивную северную душу. И хватит, довольно, покончено уже, наконец, с грязью, с распутицей вечной нашей, с хмуростью неба, грубостью начальства, с угнетённостью, межсезонной тоской – их всех мы ладошкой вот эдак напрочь отодвигаем и оставляем столичным городам нашим. Они люди привычные, знают, что с этим всем делать. И вот волшебное южное княжество открывается перед нами.

В воздухе благоухание магнолии, ароматы увядающих трав, можжевеловых смол. Разогретый солнцем в безветренном тихом углу пахнёт куст самшита невозможно, волшебю! На гладком стволе магнолии, или с оборотной стороны лакированного огромного листа обнаружишь цикаду, зелёная треугольная пулька, голова большая, крохотные бусинки глаз по краям, и крылья длиннее тела. А в степи дикие камни, а в степи польнь, лаванда. Перелетают кобылки, синекрылки, кузнецы с голубыми и розовыми крыльями. Ящерики перебегают с солнца в тень и замирают, сливаясь с песком. Живое движется, недвижно неживое. А ночью в степи небо черно, а звёзды огромные, яркие – и так близко они. И давно, и недавно, тысячи лет назад на них смотрели греки,

понимая, что из понятного суетного мира смотрят в вечность. Отчего так, почему как-то вдруг смолкает гам и смех, когда на нас смотрят звёзды? Оттого ли, что вечность и смерть ходят рядом, напоминая о себе лишь в такие минуты. И на смерть доводилось смотреть, и многое повидали греки, многое. Поэтому, наверное, так подолгу смотрят они на звёзды. Кассиопея, Андромеда, Орион, Лира. Пространство, звёзды и певец. И космос тоже вглядывается в греков, пытливо и со скрытой надеждой. Неизбывность времени, бескрайность пространства. По этим звёздам в те же примерно времена, плюс-минус, Ясон со своей дружиной вёл в поход легендарный корабль Арго. Через Босфор, через море Понт, и это донесёт нам Гомер. А ещё Гомер откроет, что Арго, последнее слово техники того времени, за тысячи лет до эпохи Умных вещей и Искусственного интеллекта может (если захочет, конечно) общаться с экипажем на приличном древнегреческом. И вполне естественно, члены экипажа отвечают ему соответственно. Вообще, весь экипаж на древнегреческом общается. Конечно, удивительно, многие ли даже сегодня смогут. Впрочем, простите – отвлёкся.

И море, и Гомер... Вдруг морем и дохнуло – ах! Заметьте, Ах этот абсолютно без всякого преувеличения – клянусь вам, провонявшей дёгтем шаландой клянусь. А в воздухе соль и влага, йод и прохлада, в воздухе пряный аромат погибающих водорослей. Все эти божественные компоненты создают его, безумный воздух счастья. Глубже, глубже дышите. Господь всемогущий, да что это! Да тут, считай, одних запахов хватит на воз целый. Хоть набивай их, рассовывай по мешкам и котомкам, и на рынок в Москву, град-столицу, взять там за них настоящую цену. Всё, милый мой, всё до самой распоследней понюшки разберут, и притом ещё приставать, и за локоть хватать, и выспрашивать будут, когда, дескать, другой завоз ожидается. А и без того сказаться, ароматов здешних уж настолько в избытке имеется, что наверняка довольно, чтоб сбить с толку, закружить голову, растревожить и заморочить вконец даже самого спокойного и рассудительного человека. Скажу больше, ароматы южных краёв способны вовсе до дурки довести при известных обстоятельствах. И теперь уж, пролети мимо простой, обычный себе зелёный майский жук со своим гудением, столичный рассудительный человек перестаёт быть и столичным, и рассудительным, самим собой, то есть. И губами безрассудными лепечет одурело: «Вот жук», и щурит подслеповато глаза, и умильно глядит вослед, и расплывается в улыбке – нелепой, бессмысленной, неуместной. Да и вправду посмотреть, обычные с виду люди вокруг, и одеты себе прилично, а наблюдать вот, ей-ей, чудно до невозможности. Все бродят по улице сами не свои, и лыбятся ошалело, и друг с другом такие вежливые, такие обходительные. Только диву даёшься, какой же драмной малости надо, чтоб так растрогать столичного человека, верно, в столице у них с жуками прямо беда.

Рассказ о жизни, судьбе, отпуске и счастье

Человеку даётся жизнь, так заведено. Зачем, если подумать, на что ему? Делать-то с ней что будет? А он что, он ничего. Будет её жить, как умеет. И ткёт он из своей каждодневной жизни себе ткань судьбы на всю свою непутёвую жизнь. Сам же ведь, только сам, своими руками, уж какие есть. Всё сам, и что дальше? А уж дальше он делается рабом своей собственной судьбы. Рабом! Вот оно как поворачивается. Почему, как так, да всё потому. Слаб человек, а ещё наивен и благодушен. А судьба сурова, такова жизнь.

Ну, а как ты, голубчик, хотел, чтоб сам-один управлялся? Нет, так оно не пойдёт. Ты, милый, послужи-ка рабом пока, вот что. Поначалу, конечно, нелегко придётся, а потом, потихоньку, Бог даст, втянешься, попривыкнешь. Ничего, ничего – другие как-то тянут, не жалуются. Поглядите, как стелет судьба: и ласково, и жалеючи. Ну, и что ж тут, делать нечего. И так-то вот человек живёт: ходит на службу, устаёт. Идёт домой, устаёт больше, падает в кровать, и так день за днём. И движется он по своей жизни, как машина: вперёд, назад, туда, сюда. Почему, зачем? А не знает он другого распорядка, и не знает, живёт ли вовсе. А время всё идёт, и отрезает оно ломом за ломом от жизни, вашей, заметьте, жизни. Следуйте мысли?

А тут перемена. Создатель наш, какая перемена! Море, горы, базар, другой народ, иной говор. Всё живое, настоящее. Ошеломляющее. И отступает оно, и притискивает человека, и загоняет его в угол. И прищёптывает это ошеломляющее, и покрикивает, да где он там, наш любезный, в каком-таком уголке схоронился? Сюда, сюда мне его тащите! И мечется ваше сознание, и уже готово на крайности. И каплей последней самой вдруг окажется, ну что угодно, хоть и обыкновенный, самый что ни на есть заурядный, уж простите, жук, повстречавшийся на улице. Ну вот, жук и жук. И, хотя вид его может на иной вкус показаться провинциальным, что ли, а попривыкнешь, так и вполне себе ничего. Представительный, да что там, симпатичный прямо, усы антеннами, спинка чёрная на солнышке поблёскивает. И бежит он себе, бежит вперевалочку по парапету на набережной, эдакий симпатяга, приезжому человеку ну просто глаз радует. Бежать что, он и полетать для вас вполне себе готов. Кругами, там, или же с фигурами, форсаж, свеча, бочка, вверх брюхом, всё такое, если, конечно, спросить хорошо, по-доброму, без эдакой, знаете, усмешки или фамильярности столичной. И вот уже поглядите-ка! И народ вокруг собрался, и вскрикивают, и смеются, и ободрают, и по плечу хлопают, и руку жмут, и жуку-асу, и друг другу, да и вам заодно отчего-то. А жук наш при этом ещё и фырчит, и фордыбачит, и плечами подёргивает, мол, и что тут такого, и вообще дело-то плёвое, и не такое проделывал, когда был помоложе.

Кажется, ерунда, вздор, и что вам жучишко этот. Ну, встретились, разговорились, может, и угостит он вас кружечкой шипучего. Что с того, беды тут большой нет. Но такого он порасскажет, да так вам глаза откроет, и в таком-то свете выставит, что всё уж, довольно! Держите меня, держите всемером – нет, семерых мало, ещё зовите. Теперь-то я всё про жизнь, наконец, понимаю. И плевать хотел я, пускай! И будь себе жук и болтун, и трепач. И приврать, бестия, любит. И за воротник, известное дело, закладывает. И в картишки, шельмец, передёргивает, и в бильярд с шарами шуры-муры, да и вообще на руку не то, чтоб чист, как белый лист. И по женской части и ай-ай, и ой-ой, и мама не горюй. И неразборчив, и в быту, и уж милиция его хорошо знает... Пусть себе, и делов-то, и что за важности такие!

И тут раздается сверху эдакий лёгкий Дзинь, причем не просто какой-то там «дзинь», а совершенно особенный, который и фокус может реально сдвинуть, если дойдёт до того. И чудится человеку, вот стоит дом, и прямо над подъездом балкончик, с которого и море видать – ну, понятное дело, как листья с каштана облетят, не сейчас ещё. И вот уж он сам собою, со своим кофием на балконе этом стоит в халате домашнем, гордо и прямо, что тебе Цицерон, римский консул. А вот под балконом, в десяти шагах прямо, торгуют привозным пивом, разливают по кружкам всем страждущим. А вон кто-то машет рукой – кому б вы думали? – ему и машет, и орёт взаправду, аж в ухе закладывает, дуй, дескать, скорей, пиво ж не вечное, кончается уже. И вот уж сам он, бросив кофий опротивевший, бежит, как был, прямо в тапках спадающих бежит, спешит туда, где люди, друзья, счастье. А какие ж у нас, скажу вам, люди! Замечательные, золотые они у нас, и таких больше нигде не сыщешь. И все мы идём уже по улице, и от полноты души песнь гордую поём во всю грудь, не тая ничего и не скрывая, а милиционер смотрит строго потому, что работа такая, а так-то он тоже добрый мальый. Да уж. И чего не причудится, когда без панамы, а солнце в голову. Тут какой хочешь Дзинь может хоть с кем произойти, и просто очень.

Время всё бежало и несло – вперёд, вперёд. А тут приостановилось, задумалось. И правда, самое время задуматься, есть о чём. Вот, тапочки. Стоп, какие тапочки? Ну как же, в которых и по лестнице скачками неслись, и по городу гуляли, и песни пели, теперь вспомнили? Так вот, пострадали тапки-то, и притом безо всякой своей вины. Милиционер сказал, что снял кто-то один с ноги тапок и кинул в него, а попал же в фонтан. И он, милиционер, лично нырнул два раза, в первый раз для спасения бедолаги, потом и ещё для успокоения совести. И после дополнительно всем наказал нырять по очереди, да только напрасно, утопленный, увы, не сыскался. И остался от тапка одинокий собрат, грустный, потерянный, потрясённый. Взяли его, посмотрели строго, внимательно, покумекали, повздыхали, пожалели. А после прихватили за микитки, да и вышвырнули напрочь. Для его же, тапка, собственного блага, чтоб не затосковал от одиночества. Такая вот

печальная история приключилась однажды в далёком южном городке, где распрекрасные люди, мягкий климат, море внизу под горой и каштан у самого балкона.

Хорошо, и что дальше-то? А дальше некуда, всё, конец. Приходят рука в руку осознание, и диссонанс, и кризис. Погиб-пропал человек, и уже повернулось всё в прозревшей его голове непоправимо. Вот, мол, она, жизнь настоящая. И зачем я не жил, и столичная служба моя пусть теперь убирается хоть к чёрту самому, хоть к его бесчестной матари. И вместо прежних своих положения и устройства, постылых теперь, видится человеку, что и его личное, своё, родное, персональное счастье возможно. И придёт-явится сей же час и возложит с ласкою и отрадой свою прохладную длань на разгорячённое чело его. Полюбуйтесь, люди добрые, на изломы и неожиданные перевороты судьбы. До чего может довести обыкновенного городского человека такое зауряднейшее событие, как отпуск на море. Ну, что там у нас происходит со временем. Идёт себе, верно, опять, всё вперед, нет на него управы.

Юг, он и насмешник, он и фокусник, он и волшебник. Что бы ни произошло здесь, обретает со временем ностальгический ореол. На фото отдыхающий у фонтана в одном тапке. Это случилось на юге, помнишь? А случиться-то может всякое. Я имею в виду всякое. Да взять хотя бы рынок для примеру.

Рассказ непонятно о чём. Рыночные разговоры, рыночные отношения

Один совсем, но другим невидимое вижу... В пустыне под солнцем неземным в тусклом мареве города стоят с пальмами косматыми на фоне стен белых... Воды прохладной фонтаны, и ветер несёт с них влагу на лица опалённые... Храмы и дороги из камня, римлянами построенные на века вперед, что в землю опустятся и сгинут там безвестно. И один на всём свете, один...

– Инжир! инжи-и-ир! Спелай, сладкой! Пробуем, покупаем, с собой забираем!

Маленький южный базарчик, куда бездумно забрёл я, придавлен жарой и ленью. Пусто, покупателей нет, да и день перевалил за середину. Продавщица, хипповатая старушка в бейсболке с немислимым козырьком представила на суд миру, чем нашлась к бархатному сезону: низкие корзины с инжиром, сливой и абрикосом, всё почти что спелое. «Почти» это потому, что спелое нельзя, совсем нельзя. Инжир особенно: потечёт, ос приманит, будет липкое всё, понятно, что за катавасия, и кому оно надо. Покупатель же, знамо дело, не пришёл, ему что, делать нечего, по жаре таскаться. На печальный случай такой понанесено ещё варенья и джемов в малюсеньких, в маленьких и не очень маленьких, и даже во вполне себе приличных банках. Этикеток как таковых нет, просто взяла и наклеила бумажку. Подписала. Просто рукой, но разборчиво, чтоб кто купил не перепутал, что за варенье, какого года урожай, а то мало ли. Что ещё тут у нас? Да так, хрень какая-то. Маска для ныряния, вдруг захочется кому-то. Другие необходимые вещи, как-то: маленькие гвоздики, шурупы и верёвочки для хозяйства, молоточек, старенький правда, но вполне ещё себе ничего, просто отвёртка, ну и по мелочи ерунда. Заметим, что кричит бейсболка только инжир, и это правильно, конечно. Распыляться ни к чему, а отвёртку и гвоздики, кому надо, сам увидит.

На базаре, там что, вроде как игра. Продавец отдаёт, ты будто берёшь, но передумал, ушёл, вернулся доспросить, и в таком вот духе, туда-сюда. Беру баночку джема, читаю название, получается навряд «э-э... принцы, девичье счастье...». Гм... Нет, явно путаю что-то. Читаю другую банку, «э-э...дуб, на нем Эйнштейн»: простите?... Дальше идём: «Нехорошие предчувствия...» – потом мелко и неразборчиво, но уже видно, странное и непонятное. Вообще бред. Либо старушка для своего повидла названия изобретала очень уж вдумчиво, либо... теряюсь в догадках. Сомнения начали стучать в ворота, робко для начала, мол, мы люди не местные, увидели огонёк. Как так, что вообще получается? Ну, не может торговка, в самом деле, целого Эйнштейна в баночку упако-

вать с дубом вместе, да ещё запротоколировать свой успех на этикетке. Или... может? И что там с девичьим счастьем? Всем табором с своим барахлом, арбами и походными шатрами, с гомоном, бубнами и семиструнными гитарами сомнения деловито вползали в заднюю дверь и шептали, и бормотали, и гудели в самое нутро всё настойчивее, ну вот возьмешь, дуралей, девичье счастье себе на потеху, а что люди скажут. И поосторожней всё ж, вдруг смотрит кто... Тьфу, тьфу, ерунда.

– Брать-то будете? Аль те помочь найти что?

– Да вы знаете, странновато здесь у вас. Выбор больно чудной. Чумовой, сказал бы.

– Ай да взял бы что себе. По молодости всё хорошо будет. Аль Иштейну возьмите, аль цикаду.

А то бери счастья девкиного, молодого, и оно согдится тож.

Эх, старуха, до чего въедлива. Прошло время твоё, чужое мыкаешь.

– Да вот, не подходит мне ничто из этого, извините. Даже неловко как-то.

– А не хошь, так и не берите. Только всё одно они к вам сегодня явятся. Все придут, все припожалуют. И цикада, и принц, и счастье девичье, хоть сам и боишься его, вижу.

Чудно, чудно. Какой-то здесь, на рыночке этом, дух витает былинный, необычный. И банки, и джемы её эти все какие-то неясные, и мурашки забегали по коже. Вниз бегут, добежали, и обратно наверх. Ну её. Прочь, бейсболка, прочь, старушка. Дальше, дальше. Что у нас тут?

А рядом дедок, серьга в ухе, чёрный платок на пиратский манер. Удивительно, от бейсболки к пирату перехожу и будто перескакиваю в какое-то небытие. Пересекаю меридиан невозврата. Дивно, дивно – а может, кажется. Вот старушка, понятное дело, относится к югу и к базару, а пират, он куда относится. «Инспектор будто», вдруг повисло, закачалось над пыльной рыночной площадкой. Застоявшийся дух времён колыхался в воздухе, а ветерок закручивал вялую спираль вместе с сухими листками. Между тем пират в бизнесе явно не новичок. Уговаривает, суёт в руки товар, чудные колокольчики и трубочки с магическим стеклом для наблюдения волшебных иллюзий. Вы, вообще, представить можете? И где, боюсь вообразить, понабрался приятель своего добра.

– В трубочку смотрите вот сюда, пожалуйста, да нет, дайте сам покажу. А колёсико это, нет-нет, его трогать совсем не нужно. Да не стойте лапшой, держите рукой своей, держите же!

Удивительный напор, скажу вам...

– Нет-нет, спасибо, право, не стоит! – это я ему как бы. – Говорю, не утруждайтесь...

Ах, ты, Господи, да что уже с ним делать прикажете? Сказать откровенно, ни пират, ни инвентарь его опрятностью не впечатляют, ну совсем. Да и дух от всего прямо такой, ну да что вы, собственно, хотите. Но по ходу событий нечто необычное и странное непостижимым образом оказывается в моих руках. Ну вот, ввязался. Эх, ввязался я, прости мя... Похоже, вступаю в рыночные отношения.

– Калейдоскоп, сэр! – взревел пират безумным голосом пиратского попугая. – Показывает ход времён и ваше будущее. Прошу вас, сэр! У нас без обману.

Значит, калейдоскоп. В стеклянной трубочке, начинённой иллюзиями, оно, моё будущее, и проживает. Дико на первый взгляд, но вообще-то, да, бывает, и притом, даже чаще, чем может показаться. Всегда, кстати, интересовался: как калейдоскоп этот внутри устроен. Гм, вроде ничего не звенит... а может, и не должно звенеть... Или всё-таки должно?

– Сэр! Умоляю, прошу внимательнее с аппаратом, прибор тонкой настройки. Вы удивитесь, сэр, как много от него будет зависеть. В том числе для вас лично, сэр. Хотя, что я: расколете, непременно разобьёте, уж знаю наверное... Нет-нет, сэр, это я сам себе, не обращайтесь внимания.

Ну да, сам с собой. Понимаю, как не понять. Только к чему, право, вот это всё, и неверие, и пессимизм. Справлюсь уж как-нибудь с твоим аппаратом. Как бы, впрочем, не лопнул он вперед от одного трубного голоса твоего, пиратская душа.

– Вам нужен Тот день, сэр. Совсем небольшой день, но уж вы разглядите, сэр, верьте мне.

Выходит, я должен найти «тот день», прелестно. Удивительно, всё же: как это только старый каналья обо всём, что мне нужно, берется рассуждать, да так смело?

– Сэр, я должен открыть вам: это Весёлая сказка – именно так, сэр. Уже началось, от вас ничего не зависит. Ваша голова, сэр, это другая история. Берегите голову, умоляю вас.

Вот же бред, просто буйство какое-то, прости Господи. Спасибо, учту непременно. Голову берегу всегда, и всем того же советую. Хм... А почему, собственно, сказка? Мне же не пять лет, и не спросили меня... Я, может, предпочел бы поэму, скажем, «Илиада» или «Мертвые души», более торжественно как-то.

– Последнее, сэр: возвращение. Вам придётся приложить усилие, я уверен, вы справитесь, сэр. Но Время, сэр, это главное. Старайтесь не утратить времени. Раз утерев, не будет вам покоя.

Справлось? конечно, безусловно. Собственно, я всегда (ну, почти, не будем считать) оправдывал ожидания, именно так. Но каков, а? «Время, сэр!» Водит, водит за нос, мерзавец. Меня, образованного, хотя и не глупого, в целом, человека...

– И фиговый сад там же, сэр...

Разумеется, как иначе... Как, что? И вошёл мне в сердце пиратский кинжал, и глаз разбойный глянул прямо в душу. И заглянул я в аппарат, и увидел... И случилось здесь вот что.

Калейдоскоп! всё это, представьте только, изумлённому взору моему являет калейдоскоп. А дальше больше. И видятся мне, и чудятся –

И дальняя дорога, и женщины красота роковая;

И сад библейский, чудесами упоённый;

И зелье колдовское, юность трепетную дарящее;

И место тайное, зачарованное, и жизнь постылая, окаянная;

И секир-башка, и молодца головушка кувыркком по траве-мураве;

И Света белого конец;

И времени песок утекает бесстрастно, и кончается с моим временем вместе;

И космос холодный, равнодушный;

И чёрный обманый цыганский глаз, и карты веером;

И на древе-дубе русалки нагие, кои и вовсе голые, и поют они, бередят душу, и завлекают в свой омут бездонный, что высоко в дубовых ветвях вознёсся.

И не знаю, бросить ли трубку-калейдоскоп и ступить прочь, покуда цел, или глядеть дальше. И хочу бросить, а не могу, и всё вижу день жаркий и дорогу дальнюю. И изготовились уж они, и ждут меня, не уходят. И глядят, глядят...

Посмотрим же дале, друзья, и мы теперь.

Рассказ о дальней дороге, девичьих мечтах и принцах, рыбаках и рыбацких усах

Какое начало у сказки, спросит кто-то. А какое угодно. Я совсем не шучу. Скажем, «О, милый юг!», или «И в том саду растёт...», знакомо, правда? А! О! Вот оно, слышен зовущий трубный звук. Началось. Всё уже началось, прав был пират, кругом прав. И нет в этом ничего такого, бывает и пират прав, и попугай его даже, если таковой, конечно, у пирата имеется. Ну так вот, раз началось, продолжаем.

Дальняя дорога уготовляется судьбой, каждому своя. Эта дорога тянулась вдоль Залива. Длина, как жизнь черепахи, воистину нескончаема, указывала она путнику, что надежды нет, что он движется круг за кругом, и что одолеть её, дорогу, не имея в запасе вечности, никак не

можно, тем более в этот раскалённый изнурительный день, когда сами ноги будто прилепляются к горячему асфальту. Кто бы ни был ниспославший этот день и эту дорогу, сделал это, должно быть, в наставление и назидание. И пускай цель виделась благородной и, может статься, даже необходимой, выбранный для усвоения метод казался избыточно суровым.

Кому-то, не мне – и, определено, не в этот день. Все наставления и назидания, замысленные и хитро, и искусно, отлетали от меня, как шелуха прожаренных подсолнечных семечек, и ничего с этим нельзя было поделаться. Другие, совсем другие в тот день были у меня волнения и заботы. Всё вперед и вперед шагал я по дороге вдвоём со спутницей. Видит небо, не о чем мне было больше просить. Жизнь осыпала меня сказочными дарами, обещающе улыбалась, искушала. Сулила нечто огромное, бесконечно дорогое и невозможное, нечто такое, чего я никак не мог заслуживать, и даже не мог объять неразвитым своим воображением – я знал это так же точно, как тот факт, что сегодня у нас лето. В голове наигрывала мелодия старой немецкой шарманки «O, du lieber Augustin, Alles ist hin!»¹. Беспечная песенка пела о счастье, которое девушке обещает её любовь, понимал я, о чём ещё может быть песенка из музыкального ящика. Сам я по-немецки тогда не знал, и теперь не знаю.

От дороги я не изнурялся и от жары не страдал – радовался. Чему? Всему белому свету, дороге, тёплому дню. А главное, был счастлив своей знакомой, которая на протяжении последних недель проделала абсолютно невероятный маршрут, продвинувшись от отчаянной надежды до вполне заслуженной, хотя и не вполне достигнутой, награды. Заполучить эту девушку, даже и просто для прогулки, представлялось мне неслыханной удачей. Однако ей самой знать об этом было необязательно. И шёл я, вздрагивая сердцем и поглядывая на подругу. И по сторонам тоже поглядывал – виды попадались прелюбопытные. Некоторые из моих наблюдений, скажу прямо, привели нас к невероятным и сказочным событиям, вскоре последовавшим. Но всему своё время, не так ли?

Припекало. Горячий воздух томился над асфальтом и чуть колыхался, то ли колеблемый бризом с Залива, то ли являя эффект миража над горячим шоссе – картину, безусловно, обманную. Скрытые в ветвях цикады тянули свою монотонную песнь. Приди, приди! – кричали они, взывая к прекрасному цикадному принцу. Цикады не прикрывали томно глаз, чтоб оттенить их густыми ресницами, не обмахивались пленительно веером и не роняли невзначай на пол шёлковой перчатки, не поправляли вывихшегося локона и не встряхивали зазывно кудрями, рассыпая их по точёным плечам. Ничего этого они не делали не потому, что не видели смысла, а попросту оттого, что у них ничего такого эдакого не было: ну вот, не было. И действительно, не у всех же есть и веер, и перчатки, и прочие атрибуты молодой особы с самыми серьёзными намерениями. Что же, ведь и у Золушки её замечательно известных маленьких башмачков, тех самых, в которых она поехала на бал, в которых танцевала, в которых убегала впопыхах, пока часы не пробили полночь, из которых один соскочил с её ножки, и который принц приказал примерять на каждую девушку королевства, чтобы отыскать скрывающуюся от него прекрасную незнакомку, – этих-то башмачков у Золушки тоже не было изначально. И кареты на выезд у неё тоже не было, а была, как помните, банальная скучная тыква. Что ж с того. Каждый приспосабливается к своим обстоятельствам и работает с тем, что есть. Нет в этом ничего стыдного или неловкого. Жизнь, она вся такая – всегда, знаете, готова предложить уникальное положение вещей.

Невзирая ни на какие персональные обстоятельства, такие, сякие, эдакие, цикады абсолютно не желали оставаться без суженого – эlegantного, загадочного, заморского или привычного своего, хоть какого-никакого принца, непременно уготовленного им судьбою. Ну вот не желали они быть сами по себе, а хотели, чтоб у каждой завёлся свой персональный собственный принц для личного пользования, и кто осудит даму за такой каприз. Из всех женских чар для рекрутирования суженого в их распоряжении был их чарующий голос, другие же инструменты временно

¹ Старинная австрийская песенка повествует о трагичных событиях в жизни музыканта. «Ах, мой милый Августин, всё пропало». Странно как-то, но кто мог знать?

отсутствовали в силу вздорных, вполне себе смешных обстоятельств. Цикады обязаны были петь, что и делали, вкладывая в песнь томящуюся девичью душу, всю без остатка. Исключительно для благородной цели, привораживания перспективного принца, заброшенного переменчивой судьбою куда-нибудь неподалёку, на соседний куст или дерево. Их скромный средне-цикадный размер тела мог, вероятно, ввести кого-то в заблуждение. Но голос, друзья, голос! Скромным голос не был, и обладал изрядною силой. А также красотой и привораживающими чарами, во всяком случае, так полагали сами цикады. Серенаду свою исполняли они вот как: начинали негромко, быстро разгоняясь и расходясь всё сильнее, тянули на самом пределе громкости, прилагая две-три модуляции громкости в каждом куплете, а обрывали совсем неожиданно. В отличие от эффекта миража, дамского обморока, помутнения в глазах и разного прочего оптического обмана, цикады были самые что ни на есть настоящие. Что там лукавые обманщицы на базарах и площадях вокзальных! Честные были наши девицы, с искренним замыслом, а оптическим обманом быть и не могли, и не были. А были они настроены на знойный день, а после пусть придут мягкий вечер и упоительная ночь, при том что уйти на покой цикады планировали никак не ранее нового восхода. У всех, как видим, на тот день были свои планы.

Стояла пора позднего лета южной широты, когда солнце, распалённое в своем гневе и ярости, выжигает всё, что встречает на своем пути. Скорбная, увядающая, с бурными пропалинами стояла трава, когда-то зелёная и живая. Листья на деревьях теряли цвет и свежесть и ссыхались, сворачиваясь в пожухлые трубки. И много их, ещё зелёных, но мёртвых, попадало под деревья. Увядаящая трава и жухнувшие листья источали нежные дурманящие ароматы. В их кончине были изящество и поэзия, и сама смерть казалась чем-то разумеющимся и естественным, украшающим элементом жизненного круговорота. А солнце всё жгло и жгло, день за днем, неделя за неделей. Волосы на головах рыбаков, их длинные, цветастые, кое у кого даже и беспечные гавайские рубахи, а также самые рыбацкие усы – всё теряло свой изначальный цвет, выгорая в однообразно-белёсий оттенок. И только цикадам, казалось, благоволило безжалостное солнце. В послеполуденном сонном покое южного дня цикады кричали всё громче, всё настойчивее. Яркий день полыхал над Заливом. Свет, жар и ещё черт его знает что разливалось в воздухе, в ультрамарине южного неба, и пьянило, и дурманило голову. Никто не повстречался нам, никто не шёл ни навстречу, ни впереди, ни позади, словно не было кроме нас никого – ни на этой дороге, ни под хрустальным синим небосводом вокруг огромного океанского Залива. Грёзы, странные грёзы навевали ритм шага, и солнце над головой, и бриз, и неистовствующие цикады.

Рассказ о том, что за поворотом, древнем фиге и валунах ледникового периода

Дорога запетляла меж холмов и небольших персимоновых рощ. Залив скрывался и появлялся вновь, а дуновения бриза доносили его пресно-солёный свежий аромат. С очередного поворота дороги открылся узкий утёс, он вдавался в Залив весьма порядочно. На утёсе уместился небогатый домишко под посевшей крышей, рядом виднелось высокое дерево и сад. Вознесённый на утёсе и окружённый водой, сад, казалось, парил между водой и небом, являя вид и необычный, и притягательный. Весь длинный летний день солнце стояло в небе, и сад был под его лучами. По утрам, когда сонное и неспешное, солнце поднималось из Залива, свет уже касался сада, его восточной стороны. Затем солнце шло через сушу и над утёсом с садом, опаяла их дневным жаром. На закате солнце опускалось в Залив, уже по другую сторону. Тогда его низкие лучи ударяли в стёкла дома, воспламеняя оранжевые прожектора, которые затем горели и полыхали десять полных минут, всё то время, пока солнце опрокидывалось в Залив для еженощного заплыва.

Не мы сами обнаружили и сад, и утёс, и восход, и закат, их нам открыла дорога. Она сперва чем-то отвлекла, затем изогнулась, повернув нас в нужную сторону. И лишь потом разрешила, глядите, и мы глядели. И невозможно было не смотреть, явленная картина и приковывала, и манила к себе. Я пригляделся и увидел настоящий фиговый сад, там копошилась пара пожилых садоводов, совсем уже стариков. Вот они, первые живые обитатели береговой линии, мы привет-

ствуем вас! Спутница улыбалась, словно зная нечто, о чём не догадывался я. Попробуйте угадать, что она сказала. Мы, должно быть, на дороге упоительного сладостолубия, но что, простите, это значит. Это ведь не о нас с ней, ни в коем случае. И не было такого, что это вот так прямо на дорожном указателе изображено. Просто загадка. Как прикажете, не будучи магом или телепатом, понимать женщину.

Небольшие юные деревца сада соседствовали с огромным кустовым деревом, старым фигом, потемневшим от времени, и во все стороны раскинувшим чёрные руки свои. Он забирал себе всё солнце, спасая хозяев от убийственного жара. И так же надменно, как Голиаф над Давидом и всеми прочими, мелкими и недостойными, возвышался старый фиg над остальным садом. Не был по своей природе фиg ни кичлив, ни высокомерен, но велик был в размере своём, и не возвышаться просто не мог – да, правду говоря, и не пытался. Весь участок от дома до дороги занимал сад, и что-то в нём было древнее и величественное, библейское даже. За малым не доходил сад до самой дороги, где громоздились два камня-валуна цвета фиолетовой ночи, таких же, видимо, древних, как и потемнелый фиg. Местами валуны обросли пёстрыми кучками мха и лишайными серо-бурыми пятнами. И были они покрыты не то старинными надписями, не то причудливыми трещинами, и казались мрачны, и вызывали смутную досаду, и чудились неуместным упрёком ясному дню. Когда и как попали сюда камни, не знает никто, а только были они здесь с оных дней, когда отступавший ледник по своей достойной сожаления легкомысленности оторвал их от горного кряжа и в скором времени, намучившись довольно, бросил их полежать покамест у дороги. А может, дорогу потом построили, сейчас спросить не с кого, давно всё было. Своим расположением и волею вещей получились валуны входом в сад. Хозяева не возражали, так с тех пор повелось.

– А у вас на голове как отметина седая, белая, а раньше не припомню её. Вы ранены были?
– Нет-нет. Это, знаете, совсем другое. Пометка Сада.
– Вы не подумайте, вам даже идёт.
– Голову береги, говорил кто-то, гадалка, что ли. И вот вам. Не дослушал, верно.
– Гадалка! Что ж ещё она говорила?
– Да всё то, что всё их племя бормочет. Карты, окаянство всякое. Голова, дескать, оторвётся, и сова закричит зловеще, и ужас ужасный вокруг настанет.
– Как, за что? И пятно это белое...
– Вот! Это что делают они, на страх навести, на сомнение. Я не слушал толком, да и надо ли. Ждём всё откровений высоких, открытий в судьбе своей. Смешные мы...

Вдруг знакомым сделались и сад, и садоводы, сто лет как знакомы. Всё ближе подходили мы, и возлились они у растений своих. Сотни лет копаются, чистят, ходят за садом – и сотни лет ходим мы вокруг. Старики. Неторопливы движения их, длинные и худы руки, тела круглы и в фуфайки укутаны, а лето суетное не замечают. Тёплые одеяния им не помеха, и колготни не стесняют, а сами подобны большому насекомому, на солнце по подоконнику ползающим. Но глянет кто на подоконник, решит тогда же малодушно насекомое, жука ли, таракана ли, тут же и прихлопнуть на месте, уж больно велико уродилось, вдруг что, не ровён час. Так бывает, трагедии случаются, и безвинных тварей убения, так заведено ли, повелось ли так. И человек, творения вершина, первый и главный убивец на земле, и первым нападает он, и все боятся его, и смерти своей бегут. Как погибели не убояться, ведь кончено всё тогда, и ступаешь в царство воды, уносящей в другие царства, живым не ведомые. А тело, твоим бывшее, уже добыча других тварей, так добывающим пишу свою, и так всё по кругу, по кругу. И разное пропитание у каждой твари, у какой божествен-

но пахучая, самым небом благословленная горячая пицца Маргарита, ароматом, соком своим и быстрой доставкой душу увеселяющая, у другого кусок от ноги усопшего, таракана или цикады, не разобрать, да и что до того, в них ли, тараканах, счастье. Кто обрёл пиццу, кто потерял ногу. Но скоро, легко, незаметно, как развозчик пиццу божественную доставит или курьер документ, перенесётся и убиенный жук в свой насекомый рай, на ту счастливую поляну в цветах на лесной опушке, куда все жуки, без исключений, отправляются, кто днём раньше, кто неделей позже, даже если они в своей земной насекомой жизни где-то как-то и прегрешили невзначай.

Вы оглянитесь вокруг, что за хозяйство развели садоводы, каких только сокровищ не натащили в сад, как сорока в гнездо! Тут и сетки от птиц, назойливых и вороватых, и отражающие шары, и тарелки блестящего металла. Качаясь на ветерке, сверкают, искрятся, позванивают они, беспокоя залётную гостью. Приспособления и забавные секреты для белки, крадущейся уворовать плод. Заманят бедняжку на колесо, что начинает вертеть, всё быстрее и шибче, пока та не ослабнет хват и не отлетит прочь, кляня себя за прожорливость и судьбу свою сиротскую, голодную, горькую. И много есть и других колесиков и лопастей, ветром разгоняемых. Простых, в виде птиц, в стиле техно, с рюшками, в виде сказочных персонажей. Не дают покоя ветряные устройства, создают суету, пугают осторожных ворюшек в перьях, на пропитание приходящих в сад утром ранним и в сумерки осторожные. Но самый главный изумруд звенящих и сверкающих сокровищ сада это филин, разукрашенный под стать разбойничьему пестрому оперению совиного племени своего. На высокую палку насажен филин, с высоты ему озирать владения свои и от разорения пернатой братией сад охранять. Филин. Почему проник в текст, что поведает, что другие скажут о нём?

Рассказ о пугале садово-огородном, мечтах его, и о том, зачем ему уздечка

Не нов! Вот первое самое, что скажет всякий, глянув на филина: не нов. Ох, как пострадало пугало от времени, от ударов его и ласк, какие перипетии выпадали за время службы во саду ли, в огороде. Вреден, губителен для пластика и резины солнца луч своим ультрафиолетом разрушительным. Страшен ветер с чёрт знает чем носящимся по воздуху, и не мимо, пролётом, и даже не в бровь, как могло бы, если б повезло. Страшны другие погодные явления и напасти. Погода, знаете, не шутит, никогда не шутит, кроме как когда нашло вдруг, дай, да и пошучу, только совсем не шутки ради, а для остротки и в назидание, разумеется. И вот, явлен миру филин сегодня не так, как, бывало, в расцвете и в младости своей бывал. И красочка местами уж того, и повыцвела, и пооблупилась, и царапины откуда-то понесли, и пятна от сырости, там, где трещин паутина. Но это ещё пустяки, это ничего, так, шутка. Моряк, знаете, не плачет на ветру, а филин – вообще никогда. Но вот ухо. Выломанное, отбитое или оторванное правое ухо беспокоило всерьёз. В чём тут штука, думал филин. Конечно, со шрамами вид мужественный, суровый, сознавал филин, со скромностью сознавал. Но такое дело, отдавал отчёт филин, как ни поверни, на работу нанимали в новом виде. А теперь, а теперь... И ухо ещё, что делать-то будем. При каких обстоятельствах ухо пострадало, история умалчивает. Вы же понимаете, всё могло быть, что угодно, грехи молодости, неудачное навигирование ночного полёта, кабацкая драка, да мало ли.

Да какие уж там у филина уши, и какое дело, скажете вы, но ошибетесь. Горевал, очень горевал филин по утерянному уху. Стыдился и отворачивал голову набок, чтобы недостаток скрыть. Хозяйева же дефекта то ли не замечали, то ли просто проявляли деликатность. Филин-то сам уверен не был, можно ли на деликатность рассчитывать. Как удивлен был бы он, узнав, что отсутствие уха или затёртые перья на спине никого не волновали. Мелочь, вздор. Держали, цена верность, смиренный нрав и хорошую службу. А дефект... послушайте, ну что мы будем. Косметика, просто тьфу. Что, из-за царапин раскошелиться на новое пугало, не смешите. Трудоустройство филина дело решённое, и филина не беспокоят – ни в отношении уха, ни по какому другому поводу. Насадил на шест и закрыл проблему. Всяк проходящий мимо сада может ежедневно наблюдать филина на посту. К службе филин относится ответственно и в рабочее время со своего шеста практически не отлучается. Вывернув из-за спины голову, отстранённо и скорбно взирает филин

на мир своим крашенным недвижным глазом. Кстати, кроме уха, есть ли ещё о чем скорбеть? А давайте прямо сейчас и глянём.

Сказка обманет, и это не обман. Правда, самая настоящая. Волшебство ведь, а значит, элемент риска, авантюры, обмана. Не знали? Что ж, обман по первому разу и не обман вовсе. Только ведь вас опять проведут, а потом снова, весь жанр этим ремеслом движим. Просто сказку хотели, принимаю. Но дело такое, идёт она с целой коробкой обманов, подарочный набор. Я предупредил, дальше ваше дело.

Ой филин, ты, филин! Пестро перо, остро твоё ухо. Сложна, противоречива, трагична фигура филина. Весь на изломе, одно перо беда, другое беда ещё горше. И образ его лукавый, обманчивый, ускользающий. Что видим мы? Игрушка-статуэтка, скульптура малых форм, изделие из материала на основе каучука, ручным способом изготовлено на крохотной фабрике в неясной стране Дальнего Востока, выпускником худучилища разрисовано краской. За недорого продан, брошен в трюм сухогруза, увезён за океан. А ныне мигрант, чужестранец, посланник иной цивилизации, затерянный в безразличных степях и садах у Залива на далёком континенте. Но даже если ты не оценён по достоинству, значит ли это, что цена тебе грош? Что не так с ними, не бросившими на весы ничего против твоей бесценной души, твоей гордой свободы. Уж не расправить тебе величавых крыл, воспаряя ввысь над горной долиной, где холодный ручей срывается с кручи, с камней, поросших влажной тиной, где на ветру стучит полыми стволами, шепчет и жалуется высокой бамбук, а молочный туман клубится и стелется в долине меж сопок. И влажен воздух, и свеж ветер, и невозможно прекрасен этот край, такой покинутый и далёкий... «Никогда-а-а... никогда-а-а...» – шелестит бриз с Залива. Ни Ког Да! Ни Ког Да! Позванивают под шестом в саду блестящие шары с бубенцами. Завораживающий, чарующий звук родной речи. Глаза филина пре-вращаются в щёлки, он погружён в свои думы.

Играет с птицей судьба, жестоко играет. Волнуется, бунтует горячая кровь. Как быть? Смириться, повинувшись контракту, до конца своих дней служить постыдным чучелом в саду у аборигенов, местных поселенцев, погубив свою юность и мечты свои... Или напротив, бежать и обречь свободу. Укрыться в соседнем саду... в другом ли надёжном месте за триста миль... Но если погоня... И где взять средств перебраться на первое время? Ограбить банк или, скажем, поезд? Нет, нет, какое там! Всё прожекты и мечты – детские притом, глупые и несерьёзные. И где, скажите на милость, откуда взять хорошую лошадь и, допустим, Смит и Вессон сорок пятого калибра, чтобы, спустившись верхом с крутого кургана на этой самой лошади, на полном скаку нагнать паровоз, перебить охрану и завладеть казной. Увы, увы! Нет у филина ни Смита, ни Вессона, ни лошади, ни уздечки. Нет даже гвоздя, чтоб повесить уздечку. Отчаянное, душераздирающее положение. Как жить, непонятно. И так-то вот существует филин в дисгармонии с собою, не зная, как быть, и мучается уже не год и не два, и поцарапался весь, и краску затер здесь и там. Бескомпромиссный, отважный, на дерзкие, лихие дела рожденный. Ох-ох, друзья, не погубила б его эта самая лихость. А ведь и погубит, и крылья поломает, и славой нехорошей покроет, и в даль далёкую унесет без возврата. Но это всё потом будет, после, не сейчас ещё.

Рассказ о печали в вышине и тайнах Сада

...А мы шли себе и шли размеренным шагом. И приближались вроде бы к Саду, да только отчего-то никак не могли подойти. И глядели неотступно на садоводов с их древностью и неспешной суетой, безнадежным протестом близящегося ухода. Кто они и зачем, что им в саду этом. И странное это чувство, симфония беспорядка, поэзия хаоса. Мой друг, верь мне, хаос и гармония друг друга не уничтожают, но сосуществуют вместе, подобно инь и ян, двум началам, альтернативным сторонам всего сущего. И это естественно. Для жизни, смерти, природы, для этой Вселен-

ной. И если в белом свете есть такая пружина мироздания, то только здесь, и именно здесь силой своей заряжена. Удивлён? А ведь это то самое место, то самое. Что ж садоводы? А их нет, мой друг, нет никаких садоводов. Закрой глаза свои, чтоб не мешали видеть. Старики суть Хранители, и Сада, и миропорядка.

– Вот Путники у вас всё идут и идут и никак никуда не дойдут. Я не понимаю, им что, всю жизнь так шагать?

– Гм... знаете, дойти до цели, какая б ни была, пожалуй, здесь не главное. Пусть бы даже и по кругу ходили.

– Да? А мне кажется, это как раз важно! Сад у самой дороги. Путники его увидели за поворотом, подходят, и что... Где сад, за гору убежал?

– Всё так... Но они и так уже близко, всё там видят и слышат.

– Мне почему-то кажется, вы не совсем договариваете.

– Почему, всё просто тут. Но больше скажу, Сад сам удерживает на расстоянии, допуская к себе выборочно – кого ближе, кого дальше. Путники, к примеру, близко подошли. Пожалуй, слишком даже.

– Ах, сад удерживает... Нет, не понимаю... Получается, зайти в сад им нельзя?

– Полагаю, нет. Да и зачем? Сад, он не совсем сад, и любопытные, и толпы ему ни к чему. Можно сказать, основа безопасности.

– Какие толпы, там двое только!

– Вот видите. Куда больше, так и до беды недалеко. Однако, до беды по-любому недалеко, так получается. Пора нам, пора.

Одинокая виолончель в вышине произвела печаль – печаль узнавания. И открылось, что это тот самый Сад, память о котором жива в нас. Открылось, что видели его прежде, и видели его всегда. И всегда, и вечно мы идём и проходим мимо, под аккомпанемент цикад, изнемогающих от крика, и нельзя, невозможно его достичь. По кругу, по асфальтовой дороге плывём, как спутники по орбите, а в центре, в таинственном ореоле, мерцает, манит, зовет к себе недостижимый загадочный Сад. Он парит в вышине и осыпает золотую пыль на головы, и где золото пало на волосы, там выжигает белое пятно, и те, помеченные им, теряют покой и ищут Сад на Земле, и ищут его вечно, и не оставляют его в думах своих, никогда, никогда. И палило сверху и дурманило голову, и волнами шли свет и жар, колыша тягучую ирреальность мира. Пора, решил он и, зазвенев ключами, завёл пружину. Шкатулка дрогнула и ожила, издавая мерные однообразные звуки. И возник смысл сущего. Вышло солнце, осветило кусок дороги, сад, и фигурки садоводов, собирающих плоды под резкие, чуть дребезжащие звуки механического клавиесина. И так хорош был волшебный ящик, что явил даже двух путников, мирно бредущих своею дорогой мимо шкатулочного сада. И игрушечный филин на шесте вывернул свою игрушечную шею. И два путника этих были мы, и очарованы мы странной мелодией, и всегда должны идти по асфальтовой дороге, всё мимо и мимо сада из музыкального ящика. Вот так, около и рядом, шли и брели мы по кругу близ тайны, смешной, наивной и простой. А как поднять глаза и оглядеться толком, увидали бы мы всё в свете дня, и игрушку забавную эту, и нас самих, в ней пребывающих. Вот была бы потеха, то-то забава, а весело как. И может статься, удалось бы нам познать и самой Игру эту, что она и зачем – ах, если бы! Только б не мешала вся накопленная усталость. От дороги, жизни, всех правил и запретов, о том, как всё для меня в конце обернулось. От всего, о чём не могу рассказать я. Нельзя, всё нельзя, лежат на нас оковы. Заказано нам и оглядываться, и всматриваться, и размышлять, и

сомневаться, да и не приходит в голову ничего этого. А ведь могло бы, но сказки, весёлые сказки, суровы и угрюмы они подчас. Придёт время, задуёт ветер, будет шторм, и Сад весь побьётся, поломается. И Игра, конечно, тогда же закончится, оставив только горстку песка, который заметет куда-то в угол старенькой щеточкой из бамбука. Так в песок всё уйдет. Не был прост Сад, не был понятен, и была тайна. А кучка песка, что ж, очень даже проста и всем понятна. Какие тут тайны.

Рассказ о Лукоморье, зелёном дубе и Эйнштейне

А пока размеренным своим шагом, размышляя об усталости, тайнах Сада, суровостях сказок и неправедных запретах по странной дороге, куда непонятно, продвигались мы, что-то произошло – на меня снизошёл сон. И в самом этом ничего примечательного нет, сны находят на нас то и дело, на этой дороге в особенности. Сон ли во сне был это, сказать не могу. Тоже и в самом сне не было ничего примечательного. Сон был как сон, совершенно заурядный себе, и уж вовсе не такого свойства, что просматривала Вера Павловна в дальние годы пробуждения разночинцев, страшно от народа далёких. И не касался мой сон освобождения женщины от оков брака или прочих глубин социальной мысли. Уверяю вас, вообще не касался сон ни до женщины, ни до каких-либо высоких провидений. Сон мой, должен признаться, был бесстыдно-частного характера. Ну вот имею право, хотя бы во сне.

Давно замечено: предметы, вещи и прочие сущности и объекты бытия, как одушевлённые, так и не-, они всегда не вполне то, чем кажутся. И могут иметь скрытое лицо или грань – многие из них, а какие-то даже и по несколько таких лиц. Иные же иную свою сущность являют только во сне, а потому сон и есть такой особый инструментарий для выявления этих самых особых сущностей. Да что я, вы ведь и сами обращали внимание. По-разному бывает, тоже и во снах. Рассчитываешь иной раз на что-то, на полёт мысли, откровения какие-то, на возвышенное и необыкновенное, а увидишь, заснувши, что? Какую-нибудь Веру Павловну в пенсне и в закрытом строгом платье, а то и вообще чёт знает что. Филина, Эйнштейна с его скрипкой, дуб зелёный, русалку, наконец. А если воображение с поводка сорвалось безнадежно, и всех пятерых вместе взятых, и водят они, за руки взявшись, хоровод вокруг дуба и, закинув к луне бледные отрешённые лица, поют странные печальные песни, а вы, как ни стараетесь, разобрать ни слова не можете. И совсем, кстати, не обязательно, что сон так уж непременно явит какие-то загадочные обстоятельства или совершенства, сокрытые прежде суетой и суматохой вашего дня. Может быть и наоборот, сущности стараются, являют свои альтернативные стороны одну за другой, а сами-то во сне вы прямо как и не вы совсем: сонный, вялый, глупый, и вообще, ни рыба ни мясо. Огорчает? Ещё как! И хорошо бы дело, всё только во сне. Кое-кто вообще очнется поутру в своей постеле дурее прежнего – тоже, кстати, не редкость. Так или иначе, получилось вот что.

Будто бы стою я в своем обычном виде и разумении у Залива, у своего Лукоморья прямо перед дубом, в ветвях которого сидит себе некто в очках, а время, по свету дня судя, уже к вечеру. Кому быть на дубе, да в очках, да ещё в такое время? Коту учёному, Вере, извиняюсь, Павловне в своем строгом платье, или, скажем, русалке совсем без никакого платья. Нет, друзья: то филин, причем один глаз его сокрыт за чёрной повязкой. Мы знаем, сны могут нас убедить в чём угодно, для этого у них трюков богатый набор в распоряжении. Сейчас же мне очевидно, что филин этот – разбойник, может быть даже Соловей-разбойник, а что до его вида как у филина, а вовсе никакого не соловья, так это чтобы меня получше запутать и взять, что называется, врасплох. Вот, вообразите, такая обстановка, день к вечеру, дуб, на нем разбойник, при этом я вижу как во сне. Понятно, что за сон такой у нас, походит больше на начало кошмара. Мысли вялые о спасении, хотя куда там, реалистично подходя.

– Да что вы так волнуетесь, – молвит мне филин человеческим голосом, причем человеческий голос его вовсе не страшный, однако же строгий. – В сказках филины птицы мудрости, и в безнадежной ситуации они дают верный совет. Поближе подойдите, будьте любезны.

А что, у меня так уже безнадежно, думаю, и духом падаю. Но молчу, молчу, мало ли. К тому же, кто его знает, жив буду, хотя бы во сне совет путёвый добуду от филина, птицы мудрости и строгости. Подойти поближе к нему непросто, он на дубе. Подошёл, сам не знаю как. И вот мы уже с ним мило так беседуем, представьте себе только. Вид сам имею спокойный, уверенный, но о беспокойствах своих, будьте покойны, совсем не забыл. Вспомнилось, в любой ситуации с разбойником лучше продолжать диалог. Он вам слово, а вы отвечаете сообразно, и деликатно так беседу поддерживаете, чтоб не иссякала. Покуда она длится, вы в безопасности – в относительной, разумеется. А если какой затык, повиснет тягостное молчание, тогда... ну, к чему о грустном. Только именно в течение такой вот паузы, длинной, зловещей, театрально-станиславской, именно тогда будет принято роковое решение. В отношении именно вас, не дяди Вани. Будьте разговорчивы и оживлены, но старайтесь быть естественны, разбойник это чувствует. А также... Вот! Судьба моя решается: приготовился что-то сказать.

– Кхе-кхе... Вы вот что, помогите-ка... Очки подержите. А то цепляются.

Протягивает очки. Беру. В другой лапе у него курительная трубка, и он то клювом, то когтем её ковыряет, пытается прочистить. Тут на лапе с трубкой замечаю цепь желтого металла. Она предательски выказывает себя из-под его манжеты, глухо постукивает, и даже позвякивает при движении. Дурак не заметит, а я-то не из таких. Золото! Моё беспокойство обостряется. Если золото, и он уже не скрывает его, всё пропало. Сейчас он отнимет, отберет всё, что у меня есть. И в предсмертном своем озарении вижу всю логическую цепь, на дубу прячется, одноглазый, трубка, золото. Вот оно что. Фальшивый этот филин, ясное дело, пират. Сердце запрыгало. Пираты, вспоминается сразу, известны своей беспричинной жестокостью.

– Вишь ты, какая беда, – бормочет филин с ожесточением. – Всегда так забьётся, прямо душу вынет. Не трубка, а сущий дьявол. А вы, вижу, из пугливых! Кстати, у Эйнштейна тоже была трубка, уж он-то не разбойник, правда же?

– Ах, вот оно что, – это как бы я ему говорю и сразу размягчаюсь весь, ощущаю горячее доверие к филину с трубкой. Вижу ясно, не пират, не разбойник. И как-то простил ему и цепь, и золото. Да что там, просто смешно. А мысли в голове с трудом великим ворочаются. И тяжелую свою мысль с облегчением заканчиваю: – Вы Эйнштейн, как я вас не узнал! Стыдно прямо, я извиняюсь.

– Это ничего, – отвечает Эйнштейн, а сам смотрит на меня внимательно, пристально. – Это ерунда, я не в обиде. Только я, видите ли, не Эйнштейн. Пока, во всяком случае. И фамилия моя тоже другая, я профессор Филин. Вы вообще-то, когда не спите, куда более сообразительны.

Дымит он уже из своей трубки, а сообразительный я пользуюсь моментом и вопрошаю: «А очки ваши, откуда у вас очки?». Хотя на самом деле имел в виду поинтересоваться про его одноглазость, а ещё про цепь, мол, раз он профессор, то почему на цепи. Не спросил, застеснялся. Врожденная деликатность вновь опередила врожденную любознательность.

– Выдают, – отвечает профессор Филин туманно. Помахивает крылом, разгоняя дымовой туман между нами, и миролюбиво поясняет для таких сообразительных, как мы с ним: – Я же профессор, как никак. И, кстати сказать, ваш руководитель, куратор. Вам, вижу, сейчас трудно охватить, но всё сразу и не нужно. Нуте-с, о важном, нам с вами предстоит много поработать. И у меня для вас интересный проект, но всему свое время. Вот погодите, подучитесь, оперитесь, с материалом поработаете, с текстами.

Ну конечно. Это он, мой руководитель. Я сразу его узнал, мне ли не знать, в любой толпе распознаю, хоть на дуб посади. И прав он кругом, мне и трудно, и тяжело. Во сне, всем известно, редко бывает, чтобы совсем легко. И не всё пока понятно, не могу главного ухватить. Скажем, если Филин он, зачем тогда оперяться именно мне. И что мне прикажете потом делать с перьями, подушки набивать, что ли.

– Что тяжело, понимаю. А сон ваш я скоро окончу. Мы вас оценили, вы нам нужны. Сам я занимаюсь анализом текстов, космогонией, и другими вещами. А впрочем, что мы всё обо мне, да обо мне... Давайте-ка теперь о вас!

Рассказ о вас, о текстах и загадочных совершенствах, сокрытых до поры

Да-да, о вас, пару слов буквально, если позволите. Нет, не о ваших совершенствах пока, о них чуть позже. Положим, перед вами некий текст – притча, история, сказка, и вы её пробегаете глазами. Это занятие не всегда быстрое, не всегда забавное, и буду откровенен, порой утомительное, даже нудное. И вот, закончив, вы, допускаю, текст этот от себя отшвырнёте и уже займетесь, наконец, своим делом, какое б оно ни было. А вот что за дело ждало вас, лично я угадать не берусь, да и кто возьмётся. Это решительно невозможно, это, в конце концов, неприлично даже. Ведь всё, что угодно может быть, и даже совсем личное, к примеру:

Кто-то распахнёт рот и зевнет, эдак заразительно и с подрёвом;

Кто-то распахнёт холодильник и отколупнёт приличную крошечку голубоватого с прожилками сыра, до изумления просоленного и распространяющего свою невыносимую пахучесть сверх самых дальних границ всякого, хе-хе, приличия;

Кто-то распахнёт свой ноутбук, чтобы, наконец, совершить нечто до чрезвычайности неотложное, вдобавок волнительное и интимное и чем нервозно томился весь нескончаемый вечер, – собственно, уточнить насчет дождя на завтра;

Кто-то распахнёт учебник, чтоб продолжить упражняться в спряжении французских глаголов, с угрюмым неудовольствием отмечая, до чего ж все они, нелёгкая их возьми, за каких-то два дня успели перемениться;

Кто-то распахнёт трактат Эвариста Галуа¹ с неосторожностью, рывком, и рухнет вдруг в самый низ, пролетев двадцать этажей с высоты своего невинного благодушия до истинного, весьма печального, положения дел – вот именно на открывшейся странице;

А вот кто-то, как вы, вероятно, догадались, ничего не распахнёт и ничего не сделает.

Пожалуй, на этом ваши отношения с притчей-историей можно считать исчерпанными – хотя какие тут, в сущности, отношения. Прочёл, и к стороне, полагаете вы. А вдруг отношения, чисто гипотетически, всё же и возникли. И так могло получиться, что пока вы глядели на буквы и восстанавливали из них мысли и фабулу, текст сам в то же время вас изучал, и хмыкал, и прыскал от простоты вашей, прикрываясь ладошкой – как вам такое. В сущности, текст это некий шифр, а создан-то с вашим учётом. Вы нужны тексту, можно сказать, он вас домогается, чтоб воссоздать живую чью-то фантазию о ваших ощущениях и переживаниях. Ведь без вас тексту, такому многообещающему, с совершенствами нераскрытыми, уготовившемуся было прокричать своё слово неосведомлённому миру, придётся так и остаться непознанным шифром, и такая перспектива беспокоит его чрезвычайно. Но почему же именно я, говорите вы, ведь я-то такой, а другой сякой, говорите вы, и это всё справедливо, каждый читатель замечателен в оттенках своего восприятия. Чтоб запечатлеть и отобразить все мыслимые эмоции, надо сперва о них узнать. Признаю, это слабая пята текста, он слеп и глух, и выстреливает в белый свет абсолютно наугад. Пока вы не наделили его своими эмоциями, он не ожил, пребывает в спячке, как медведь в берлоге. Вы читаете и начинаете реагировать. Если текст хорош, вы действуете по его расчёту. И вы рады, и всё работает, как задумано. А если, мм... не хорош, тогда что? А тогда, вот тогда-то... ничего. Вы не делаете абсолютно ничего из того, на что он, шифр этот, имел нахальство рассчитывать, и что он как бы пытался передать вам, но так же запутанно, косноязычно и зловредно, как действует, к примеру, инструкция по сборке платяного шкафа с привлечением имеющихся у вас молотка, отвертки, куска мыла и смекалки в разумном количестве, и уж тогда-то всё, всё буквально, прямым ходом идёт в тартарары.

И что ещё интересно, оказывается, отношения ваши с притчей-историей ещё не закончены. Нет, не закончены – даже если вы и выбрали её с половины, и даже если отношений этих, как

¹ Эварист Галуа: французский математик (1811–1832), заложивший основы алгебры групп. При жизни был отвергнут педагогами и учёным миром.

вы настаиваете, вовсе и не было. В конце концов, не всё же только от вас зависит, есть ведь и вторая сторона. И вот так-то, эта история, по всей вероятности, ещё будет какое-то время сомневаться, грустить и обдумывать вас – можно сказать, питаться и жить вами, какой бы человек вы лично не были – такой, сякой, растакой. И обратит она на вас свой задумчивый интерес и, насколько уж это возможно, вами обогатится. Конечно, не всякая притча-история вот так непременно воспользуется моментом, пока вы увлечены чтением, чтобы потихоньку подкрасться, обмотать себя вокруг вашей шеи, и как следует впиться в вашу бессмертную душу, вовсе не обязательно. И вообще, может быть, всё это, как бы получше сказать, слишком экзальтировано. Но всё же – вдруг, да и возникнет, и синтезируется вот нечто эдакое, и будет оно помнить вас и романтически возвращаться к вам в своих воспоминаниях, как бы вы к этому ни относились. А ведь было бы забавно, не правда ли.

– Последнее, главное, именно в ваших совершенствах я уверен абсолютно, – говорит профессор Филин с курительной трубкой в руке, золотым кольцом на пальце, специалист в космогонии, текстовом анализе и прочих науках.

И тут мой сон чудесным образом заканчивается. И надо сказать, весьма кстати, а то мы с вами как-то чересчур увлеклись дубами, Эйнштейнами и учёными филинами, равно как и совершенствами всякого рода, загадочными и непонятными. Наша история, меж тем, ждёт терпеливо.

Рассказ о чудесной капле и странном перевоплощении

– А и не надо его много.

– Нет, много не надо. Одной только капли должно хватить...

– Да, хватит и одной... Если верная капля, роковая...

Шелестят слабые голоса под исполинскими ветвями полуживого фи́га. О чём, о чём они? О своём, о давнем...

Всякий плод по-своему поспекает, а инжир совсем необычен. Созревая, он истончает свою кожу, и оболочка его, зелёная и твёрдая вначале, день за днём понемногу исчезает, трескаясь по бокам или снизу, и плод томится, набирая негу и сладость. Какая ягода лопнет внизу и образует подобие отвёрстой пасти дракона о четырёх углах и ярко-красной внутри; какая, накопив нектара, выпустит внизу тягучую прозрачную каплю, и тогда берегись! Время пришло, и всех букашек, и жучков, и клопов, и шмелей, и пчёл, и ос, даже и мушек мелких – всех сзывает на пир этот волшебный аромат, который возбудит до крайности весь насекомый люд. Человек не может учуять призывного его духа, а вся летучая братия с писком, с жужжанием и многоголосым гудом набрасывается и терзает нежный плод, пока не оставит пустую потемневшую шкурку, свисающую беспризорно, не нужную более никому.

Долго, трудно зреет инжир. Мелкие зелёные ягоды всё не темнеют, всё не пухнут, а торчат зелёными кочками на ветке многие недели, пока не наступят жаркие томные дни наподобие сауны, которые и должны погубить всё живое и в саду, и на этой Земле. И тогда вдруг в один день зелёный инжир вдруг вздуется, потемнев кожей, и скажешь себе: ага! уж тебя, голубчик, я заприметил. А на другой день смотришь, кожа вся пошла снизу в трещинку, и помягчел вдруг он весь, но не пора ещё; а пора будет через полдня или даже к утру. Не пропусти, пока древесный мелкий муравей или крохотная чёрная ооска, в четверть от муравья размером, не проторили дорогу в его сочное нежное нутро. А оглянувшись вокруг, увидишь, что все плоды на дереве уже спелые, мягкие, сочные, все разом и поспели.

Как пчелы у своей ларвы в улье, суетились и кружили под фигом садоводы. Старуха собирала ягоды, уместя их в низкую корзину и перекладывая чистой материей. Лишь иногда она вдруг останавливала руку, щуря полуслепые глаза и пытаясь рассмотреть плод: хорош ли, нет ли на нём

жучка, какой другой твари; иной раз проводила по нему пальцем – то ли чтоб увериться в его мягкотелости, то ли удалить невидимую соринку, – а затем, прикрывая черепаший веки, отправляла в рот. Это не останавливало и не прерывало их ритма, а казалось естественным па их танца, древнего, долгого, тягучего. Садоводы обходили стороной молодые кусты, вокруг чёрного старого фиго исполняли сегодня они свой странный нелепый танец. Словно бы что искали – неумело, на ощупь, вслепую.

Нежен и капризен плод инжира, ни сохранить долго, ни увезти далеко. Потому не найдёшь спелого инжира на базаре, ты приди в сад, если знаешь в нём толк и желаешь вкусить его нежного тела и сладкого нектара. Снимай легко, пальцами. Не сдavi, не рви против воли, не терпит он неделикатности в обращении, и будешь вознаграждён. Как же сочен, как сладок инжир, когда спел и с куста! Старуха лакомилась. Было видно – она вожделеет ягоду и, поедая её, испытывает наслаждение сродни чувственному. Но что это? Всё тоньше и туманней становятся её черты, всё меньше и меньше походит она на старуху. Будто в кровь её входит эликсир нетления и юности, и тягостное старческое копошение превращается в быстрые и точные движения молодой женщины, а из-под старой шляпы выпадает уже густая прядь чёрного волоса – да это красавица! Чур меня, чур! Магия, колдовство, и навороты, заклятья, чары и чудеса. Не потому ль давно, сотни лет назад возвращен был сад. Никто, никто, ни одна душа не знает, что волшебный эликсир, предмет вожделений и поисков, раздоров и надежд, он здесь, прячется среди плодов, сладких нежных ягод, сочащихся нектаром, вечно искомый и вечно же ускользающий. Искрящийся колдовской эликсир, возвращающий силу, юность и желание. В юность трепетную, живую превратит угасающую плоть чудесная капля и обернёт вспять время.

– По плодам их узнаете их, – произнесла моя спутница, весьма себе загадочно произнесла.

Не была она впечатлена чудом перевоплощения и что-то знала. И назвала ещё одно имя Хранителей, их тайное имя: Сластолюбцы.

Рассказ о торжестве сластолюбия и упоительных грёзах

Да, Сластолюбцы! Вот слово это. Любострастием полыхал раскалённый день. Звучала в небе, звенела в ушах вечная песня, исступленный зов цикад. Сегодня, сейчас! – кричали цикады. Таков он и был, день свершения, миг сластолюбия. Чистого как слеза, прозрачного как капля инжирного нектара.

Много юных дев есть в белом свете. Есть и стройные, есть и лицом красивые, есть и с походкою плавной, и с грацией царственной, и в прекрасных одеждах, взор пленяющих. А смятение поднимет, затмит всё, и покой отберёт лишь одна, если разве такая найдётся. Красота ранит, и яд красоты, оружие её, и ошеломит, и обездвижит. Но и странно действует он, то удивление вызовет, то печаль разбудит, а то тревогу призовет. Отчего так, кто знает, и велика есть тайна сия. Но помни и трепещи, раз тревогу ощутил ты, ведь значит это, что ты не ранен, сражён. Убит и наземь повержен, а голова катится по траве, и будто хватает ртом воздух, а ещё и тишишься, и не можешь понять угасающим разумом, как и почему. По достоинству оценит красота твою жертву и с должным величием примет на своем алтаре.

Девушка в испадающем светлом платье, выступила, казалось, прямо из чрева старого дерева, из чёрных его стволов, и стволы эти казались чёрными волосами её. А может, и впрямь то были её волосы? Девушка махнула рукой, что-то сказала или кого-то призвала. Нет, не мне взмахнула, и не меня звала – возник рядом тёмновласый садовник, юноша юный, почти мальчик. Они взялись руками, и в тот момент перестали кричать цикады. Воздух загустел, всё остановилось и замерло. Повисла тишина, будто у всех одновременно уши закрыли ватой. И стояли они, не двигаясь, слушали тишину вокруг себя и смотрели друг на друга. Было тихо, очень тихо. Эти двое были вдвоём, и не было никого больше, ни спутницы моей, ни меня самого. И отчего-то заныло, защемило в сердце, сделалось грустно и жалко – девушки, её цветения, красоты, волшебного сада, и чего-то ещё, туманного и неясного, своей ли юности разве. А может, это осознание смерти, ждущей где-

то. Печаль и сожаление накопились и жгли глаза, и моргнуть стало невозможно вовсе. Притча о двоих в фиговом саду кончилась грустно – отчего в мире столько её, печали. Моргнул и перестал видеть влюбленных – их тёмные волосы сплелись вместе, вплелись в чёрные ветви фиго, а лица сделались расплывчатыми, неразличимыми. Тишина и беззвучие длились и не кончались, пока крупная рябь не прошла по тоске застывшего воздуха. И оказалось, нет и не было никакой тишины – монотонный ор цикад побуждал неистовый жар дня уступить мягкой прохладе вечера. Пёстрое перо, оброненное хищной птицей, легко опускалось сверху и описывало круг. Я отброшу перо, я буду отведу.

Юг и солнце, упоительная песнь цикад в неистовстве и торжестве своей страсти. Что за чудные чудеса, какие волнительные грёзы уготовляет порой летний день. Ах, как он бывает обманчив! Под древним фигом застыли двое. Держа друг друга за руки, они всё смотрели друг на друга. Не юные флибустьеры, древние садоводы. И не была более ни густой, ни горячей их старая кровь. Разбавленная длинными годами, неспешно текла в старом теле и не могла согреть даже в знойный летний день. Увы, увы. Не были более двое сластолюбцев юны, как они были минуту назад, только одну минуту. Мимолетная юность, она опять обманула – улетела, унеслась без следа.

И тогда всё сделалось ясно...

Рассказ о кончине Сада, неизбежной и таки случившейся

И стало ясно, что...

Эти двое законченные сластолюбцы;

И неодолима их страсть, и порочна она;

И может статься, в сластолюбии и закончат они век свой – и длинный, и скоротечный;

И упокоятся оба в одной могиле у древнего камня;

И в запустение опустится Сад, и высокая трава заберёт себе тропы;

И задремлет мир, и уснёт непознанная Вселенная;

И так тихо и незаметно закончится сластолюбия великий век;

И сбудется, сбудется, сбудется всё так, и никак не иначе...

Но тень, зловещая тень, наползает на Сад, и омрачает лик мироздания. Конец веселью, беззаботности конец. Находят сумерки – хмурое тревожное время.

– Ой-ой, мрачно как и безнадежно! Ну почему всегда получается так?.. Все старые или умирают. Я прямо-таки страдаю от всего такого, а вам будто всё равно.

– Но помилуйте, во-первых, не все. Только двое, да и как иначе? Сказано же, сотни лет, а всё живут себе. Впрочем, понимаю. Мрачновато. Отчего, сам не пойму.

– Ах, я очень прошу вас! Пожалуйста, как бы повеселее. Ведь бывают же счастливые сказки, разве нет?

– Счастливые, говорите? Гм, признаться... Видите ли, счастливыми у сказки могут быть разве что их концы. Не всегда, правда. Тут, понимаете, мистерия, путь сквозь тернии, судьба. С другой стороны... весёлые сказки, скажем английские... кельтские... Ещё там германские племена, норманны, Северный эпос. Правда, весёлого там разве что мертвец на кобыле... кобыла, естественно, тоже мёртвая. Это всё, мм... как-то бодрит, по-видимому. Однако ж...

Однако ж бросали на землю два мрачных камня свою хладную тень и смущали мысли. И сомнения, смутные сомнения вызывали они. Нет, о, нет! – говорили нам валуны. Иной конец уготован уже великому торжеству сластолюбия...

И в кончине этой загустеет, застынет инжирный нектар заговоренным эликсиром;
И пробудится чёрный многовековой куст, и родит страшный плод;
И, сорванный с ветви, разом вспыхнет-воссияет светом изумрудно-пламенным,
И осядет, просыплется меж пальцев чёрным пеплом;
И огласится сад леденящим воплем то ли ведьмы, то ль ночной недоброй птицы;
И бухнет, провалится сердце, и застынет в жилах горячая кровь;
И до срока угаснет солнца день, и озарит луна Землю неверным светом своим;
И, начертанные на камнях мрачных, докрасна раскалятся предсказания древние;
И лопнут с грохотом тёмные валуны, и ударит молния ясной ночью;
И блеснёт желтым глазом, и поднимет мохнатые крыла,
И хохотнёт, и заушает смехом сатанинским филин дикий, безумный;
И неукротимого веселья цунами-волна накроет и поглотит древний Сад;
Лишь узришь его последний раз в чёрной ночи, всполохами озарённого;
И стариков обоих окаменелых, в позах своих застывших;
И целую вечность всё тянет старуха немощную руку к фиго-инжиру, плоду сладкому, запретному и уже недостижимому вовек.

Рассказ о незаслуженных упрёках, о причинах и смыслах сущего

- Ну как же так! О совсем другом говорили минуту назад.
- Нельзя бежать рока и неизбежности...
- И отчего неизбежность?
- Всё предрешено, неизбежно, неотвратимо.
- Но вы обещали, зачем? Будет всё мирно, покойно. Слостолюбцы уснут, сад зарастёт травой.
- Не я обещал, Путники полагали. Им так казалось, понимаете? А на деле... всем было ясно, что развязка близка.
- Ах, вот как... Но почему такой финал «предрешён»?
- А! В чём тут дело: Волшебный сад это, изволите видеть, портал в мироздание, и так вот они связаны. Мироздание первично, а явлено через Сад. Годы идут, века, тысячелетия. Фиг стареет, то же и Хранители. А что делать, что делать! Не берусь сказать, сколько уже им, мм... было. Теряют сноровку, эликсиром увлекаются. Сорвали чёрный плод, создали червоточину... А посмотреть, может, и не на пустом месте всё началось. У мироздания свои проблемы. Всё приходит к чему-то, чего не остановить. Снижается лайнер, выпускает шасси, садится на полосу. Получается, катастрофа в Саду могла быть частью плана, началом большой трансформации... Однако, во многих мудрости многих печали. Сие не дано знать нам. Может, и к лучшему.
- Как странно. Я как-то не ожидала. Вы сказали «к лучшему»?
- Так полагаю. Мироздание отображает лишь то, что мы способны объять рассудком. Разум тоже странного не приемлет, лишнее и непонятное выбрасывает. У каждого, видите, свой горизонт. Муравей не может знать о лесах за горами.
- А может, это и есть отражение внутренней катастрофы. Сова закричит, пропадёт солнце, может что-то ещё происходит, там, за занавесом? Какой-то кукловод зловещий, или что-то в этом роде.
- Ну посудите, откуда же мне знать? «В тумане бытия сокрыто многое, но остальное всё в небытия тумане». Вы от меня слишком много ожидаете. И такое может быть. Всё может быть...
- А я всё надеюсь, что дальше повеселеет будет.
- Всенепременно! Вы даже в ладоши хлопаете, как замечательно всё закончится. Веселье только начинается, и притом самое настоящее.

Рассказ о нехороших предчувствиях, расколотом небе и нарисованных улыбках

...Так погубился Сад, и какой-то элемент пропал с ним вместе. Он не был замечен ранее, но всё поблекло и потеряло смысл без него. Весь мир вдруг ужаслся и съёжился. Казалось, если кто так распорядится, мирок наш легко уместится что в табакерку, или хоть в музыкальную шкатулку, и будет ему вполне просторно среди всех её пружин и шестерёнок. Именно так, незаметно и исподволь мелкие вещи нам вдруг являются огромными. Не потому ли, что всё чувствующее втягивает голову и корчится от тягостных ожиданий.

Мы не роптали и не могли теперь, ничтожны и убоги стали мы. И шагали всё по нескончаемой вечной дороге, а куда ещё было идти. И цикады всё кричали... а что им было делать. Будто и прежним оставалось всё вокруг, а только стало казаться необязательным и ненадёжным. Словно дух опасности на бреющем крыле бесшумно пронёсся над головой. И будто кто-то плакал, не о нас ли, высоко-высоко в ультрамарине южного неба. Но только музыке дребезжащего клавишина внимали мы: O, du lieber Augustin, Alles ist hin! И не подозревали никак, что зашли далеко, переступив черту, отделяющую сказку простую от сказки весёлой – а ведь отдельно они должны пребывать, как твердь Небесная отделена от тверди Земной. В тревожной тишине безвременно конченного дня ступили мы на тревожную территорию. Благоразумно ли это? Видимо, не вполне, да только выбор теперь не за нами.

Раскатисто и с треском лопнула в воздухе сухая молния, расколов небо на части. Небесная твердь вдруг непоправимо сокрушилась и осыпалась хрупкими обломками-черепками на горячий асфальт. Куски неба валялись на дороге, словно осколки разбитого калейдоскопа, легкомысленного обманщика. И дуновение вечности и бездны, холодной и равнодушной, прошло вдруг по спинам. Не была злокозненна бездна, но была она пропастью и дырой, которая не заметит ничего, никого, ни нас, ни вас, ни дерева, ни птицы, ни горы, ни песчинки – не заметит, но и не пощадит. И таила она холод холодный, и ужас ужасный, и опасность опасную, а что невыносимое самое, ей было всё равно. И близко, близко к себе ощущали мы её мертвенное присутствие, и сделалось не по себе без неба, привычной защиты от произвола, злого умысла, природного катаклизма – или чего-то более страшного и неотвратимого. Нежное небо, волшебное небо, зачем, для чего оно было. Для нас, для счастья? Кто из нас думал о нём, пока оно обнимало нас и парило в вышине. Кто знал, как непрочно небо, и как хрупко счастье. В маленький лесной муравейник попала горящая головня. В катаклизме исчезает весь белый свет, и небо пало на землю.

А мы... Продолжали идти механическим шагом, наступая на небо, конченное безвозвратно. O, du lieber Augustin, Alles ist hin! Музыка всё играла, так казалось нам, и это была необычная музыка, с ней было легко шагать, и не нужно думать. Как дуда крысолова она влекла, гнала нас всё вперёд и вперёд, по остывающей дороге. И шагали мы, поворачивая голову на поверженный Сад и улыбаясь нарисованными улыбками на своих нарисованных лицах. И мёртвым оскалом застыла моя улыбка на сотни лет, и за гримасу ужаса принимал её всякий, когда приближал к нам свое лицо, чтобы получше разглядеть всё – и Сад, и садоводов, и садовое пугало, и нас самих, свидетелей Сада. И удивлялся тогда он на наши улыбки, и говорил кому-то: а ты погляди-ка, какие у них лица чудные. Но никто, никто не открыл нам, что ждет нас, и окончено ли вовсе наше будущее вместе с разбитым небом, а из того, что должно случиться в скором времени, не знали мы, в сущности, ничего. Но если б и знали? Два муравья в разбитом музыкальном ящике, что могло зависеть от нас.

Рассказ об именах и смыслах. Назови, назови это имя – назови, если помнишь его

Время застыло, как стекло, а мы были на нашей дороге. Нам было негде быть больше во всей бесконечной Вселенной. Книга будущего, непознанного книга, кому открыты твои страницы. Я бросил осторожный взгляд на спутницу. Лицо её было бесстрастно, лишь на прекрасной деревянной щеке лак, покрывающий поверхность, показывал выщерблины. И трепетная красота, и её

самое совершенство уже сделали свои первые робкие шажки по угрюмому пути к распаду и тлену. Я хотел спросить, не страшно ли ей, но мне пришло в голову, что я не знаю, как к ней обратиться, я как-то позабыл её имя. Неожиданно, странно и совсем некстати. Я знал и помнил о ней довольно много, за одним только и вполне себе обидным исключением, как её зовут. Неловко было мне, и досадно мне было – и не мог в том ей признаться я. O, du lieber Augustin! И в тупик зашло всё разом, и куда ни обращаю взор, всюду встречает его свиный глаз мрачного рока. И подумалось, если я позабыл имя её, что же сама она, знает ли моё – или своё хотя бы. Есть ли у нас имена, да и были ли хоть когда.

Сложно и непонятно сделалось всё. Если нет больше неба, кто мы тогда и куда маршируем. Эта музыка, назойливая, обволакивающая. Она лишает нас нашей свободы, околдовывает, сотворяя из живых нас механических кукол: O.. du lieber... Augustin.... Эти странные звуки – но музыка ли это. Мелодия ломается, гармония исчезает, звуки плывут и превращаются в хаос. Alles ist hin! Всё кончено. Моя голова вспухает, не в силах более ни объяснить, ни вместить всех загадок, взявших её в осаду. Э, да что голова кукле. А воздух тяжелеет от большой перемены... Всё должно как-то завершиться, и всё действительно закончилось, сразу и вдруг. Пружина лопнула и выскочила наружу, от моей рубашки отлетела не то пуговица, не то гайка. Одновременно мир перевернулся и стал раскачиваться в этом неудобном состоянии, и меня замутило. Голова! Моя голова качалась на конце выброшенной пружины. Может быть, это немного чересчур, но кто, какой умник сказал это, ведь настоящее веселье не ведает границ, не правда ли.

И озадачена сделалась подруга моя, и не до веселья стало ей. И голову мою схватила она отчаянными руками. Не нужно так качаться, голова, не нужно пугать до времени. Тоже и ты, мой друг, возьми себя в руки, и приведи, наконец, в порядок голову свою. Да, так хотела сказать она мне, но вдруг поняла, что не знает моё имя, а советовать кому-то привести голову в порядок, не зная его по имени, кажется странным. Пусть даже это близкий друг, пусть спутник, с которым столько пройдено вместе и столько всего впереди. Но... его имя, как назовёшь его имя? Неясно, но так бывает. То, что естественным кажется, оказывается невозможным.

Рассказ о сарказме судьбы, о временах, нравах и никчемных жалобах

Подул вдруг ветер, подул сильнее, и пошёл крупный дождь, превратившийся в град. Боже мой, что это был за град! Никто, никто в памяти своей не припомнит такого града.

Летели капли, льдинки, листья, сосульки, цикады, ветки, фиги.

Пали рыбы, птицы, калейдоскопы.

Ветер проносил мимо усадых и безусых рыбаков. Рыбаки были сильные мужчины, но много сильнее рыбаков был ветер.

С видом гордым, независимым проносились рыбацьи усы в свободном безрыбачьем полёте. Куда, зачем летите вы? Постойте, подумайте, там ли ваше счастье?

Сыпались один за другим, падали с неба безумной чередой оба чёрных валуна, покрытых мхами и загадочными надписями-заклинаниями.

Рухнули филин и сатанинский смех, придавленные сверху обрушившейся Вселенной.

Упала и спутница моя, неудачно подвернув ногу. Всё протягивала она ко мне руки, и должен был, и хотел ей помочь я. Но что кажется естественным, всегда невозможно. «Берегите голову», запечатлелось в памяти. Грядущее, и судьбоносное, и тревожное, уготовляло моей голове особую роль, какую только. Во власти стихии и ситуации оказались мы, и не могли ни наблюдать себя со стороны, ни размышлять об обстоятельствах, ни привлекать иронию как способ балансирования на краю. Усмешка, каламбур, парадокс – нет, не думали о них мы, когда боролись, страдали и выживали в схватке, когда Мироздание вслепую размахивало своим безумным молотом вокруг и рядом. Меж тем по прошествии времени, тот самый взгляд со стороны и есть то, что в памяти и останется. И теперь только подумалось о гранях событий, о сарказме положения тогдашнего,

об иронии судьбы, и быть может, о лёгком паре, который весьма легкомысленно препровождает именно судьбы иронию, как мне уже подсказывают, а я-то, представьте, всё очень даже помню.

– Так. И в чем, собственно, здесь сарказм? – спросите вы, должны просто.

Да вот, посудите сами, подруга подвернула ногу (случается, хоть и всегда некстати), как на грех, у вас именно в это время оторвалась голова (согласитесь, редкость всё же), и именно в этот день и час и приключается Конец света. Неужто правда, ну просто чёрт знает что, в самом деле. Эй, кто-нибудь, есть там кто-то, кто всё решает. Объясните тогда, наконец, ну кто в белом свете поверит в этикие совпадения. Тут какой угодно пар может приключиться, пусть хоть и лёгкий, и даже в ушах начнет вдруг свистать, никак этому не удивлюсь, ничему теперь не удивлюсь. Не исключу, что схожие по накалу страстей обстоятельства сподвигли Цицерона вскричать в недоумении «О, времена! О, нравы!», хотя в те дальние времена лишиться головы было просто до чрезвычайности, а на нравы во все, абсолютно во все времена не жаловался только уж совсем дрянной и никчёмный человек.

Рассказ о времени разрушений, абсолютной Воле и Эврике

И оно пришло, время разрушений. Весёлый ветер пропел свою песню, сорвав с оторванной головы бейсболку и солнечные очки. Тоже и волос лишился заодно я, да что там. Снявши голову, по волосам не плачут, говорят люди, а я скажу, как сказать. По самым даже скромным меркам несправедливо много терял я. Галактики и вселенные уносились в небытие, и с чем теперь оставаться. Всё падало и рушилось – всё, кроме меня, бывшего меня. Что от меня уцелело, не могло быть унесённым бурей или Концом света, не так много от меня сохранилось. Как странно! Во мне был весь мир, так полагал прежде я, а теперь меня не было, не стало и мира, домом которого я служил.

И вот, мало-помалу, или же, напротив, в одночасье и вдруг, я и сам не успел понять как, пришёл час, когда закончилось мироздание. И не было больше никаких планет, звёзд, галактик, не было траекторий небесных тел, по которым небесным телам полагалось двигаться в соответствии с законами небесной механики, не осталось ни законов этой поднебесной механики, ни, страшно сказать, её самой, даже самой ничтожной её малости. Был гул, рёв и хаос. Настало безвременье, тоскливая вечность. Не было счастья, покоя и никакой воли во всем белом свете, кроме моей, и моей волей был я сам. Что я чувствовал, чего желал? Я не наслаждался битвой жизни, как Буревестник, чёрной молнии подобный, не воспарял вверх, как горный дух, и не метался в ярости, как шаровая молния, как кот по комнате с гардинами. Тоска и печаль неземная одолевали меня.

– И когда всё это, наконец, закончится? – спросите вы. Ваше терпение не безгранично, и верьте, я понимаю. Но это и есть, к чему всё пришло. Ничему уже не быть более, великое никогда. Именно в этот момент, когда все прониклись и осознали, что-то, наконец, произошло. Мой странный слух уловил шелест и тепло, распространенное некоей лампочкой, но не простой лампочкой Ильича или Эдисона, а сугубо воображаемой лампочкой серии Эврика. Она вспыхнула в моём сознании, и в тот же миг я постиг трансформацию больших энергий и преобразовал свою бывшую голову в кольцо гравитационного портала, раскрутив его до умопомрачительных скоростей. Я простёр свои многие руки, тонкие и слабые, как невидимые струны тёмной энергии, ухватив все сущности силами гравитации, электромагнетизма и всякой иной природы. Вся материя мира должна вернуться обратно в меня, где была прежде и где она так просто и так органично образовывала скучный мир, какой мы знали всегда, и которого больше не стало. Вернуть Прежде было целью, Прежде, которое настанет в будущем.

Я ощущал, как дрожит и колеблется материя в зоне моего охвата, как всё закручивается в спираль и ускоряется, проходя сквозь обруч, бывший когда-то моей бедной головой. И тёмная материя¹ – она тоже что-то делала, как-то поддавалась, или же, напротив, упорствовала, и как

¹ Тёмная материя (физ.) – абстракция для объяснения необъяснимых несоответствий в наблюдаемых

часто с такой вот материей случается, нельзя было сказать определенно, что же с ней, в конце концов, происходило. Целая вечность утекла бесследно, и надо было навёрстывать. Я ускорял и сжимал Время, я метался, приближаясь к Сингулярности, и осаждение мироздания явилось Большим взрывом, как, по-видимому, и должно было быть.

Рассказ об одной простой концепции. А также об «*in profundum magnitudo*»¹

Никогда, никогда в прежней моей жизни не совершал я ничего подобного. Мелки и ничтожны были мои дела и устремления. Ошибись я тогда, кто заметит моё прегрешение, много один или двое. Не то теперь.

Глазом Провидения был я и обзирал мегапарсеки зарождающейся Вселенной, они выплёскивались из декартового объёма в многомерные многообразия и заворачивали наш трёхмерный мирок в причудливые зыбкие формы. И Время было сперва горячим и нестойким, а потом холодным и жидким, и двигалось оно странно, то пожаром, то наводнением, то живо, то долго, то плавно, то толчками. И миллиарды лет назад было всё, около тринадцати, доверяя тем, кто знает наверняка. Но не было тогда ещё ни тех эрудитов, ни нас с вами, ни на этой Земле, ни на какой иной. Всё начиналось заново. И давно было, и недавно, а помнится, как вчера.

И Туманом сомнения был я, и не уверенный ни в чём, вопрошал себя, много ль ошибок уже наделал, и тот ли прежний я был это, и одной из этих ошибок не был ли сам, и не знал ответа на эти вопросы.

И Рукou созидания был я и находился повсюду, и торопился, и работал. И образовывались галактики, и разлетались по краям и весам, и клубились там и сям прото-облака холодного и горячего газа, и взрывались, схлопывались и сбрасывали оболочки звёзды немислимых масс, исторгая из себя холодных нейтронных звёзд, компактных и беспокойных, бешеным веретеном крутящихся кругом себя и рыскающих по своим неизведанным орбитам. И мириады частиц, подчиняясь перемене в начальных условиях, а также следуя неизменным законам, как уже познанным, так и ещё не, вдруг теряли покой и память, и странность, и аромат, и прелесть, и очарованность свою, обретая взамен энергию, скорость, беспокойство и немислимую охоту к перемене мест. И всё бурлящее мироздание вновь ощущало свою локальную устойчивость и самодостаточность.

И Разумом наблюдения был я и позволял мироустройству самому вершить свои дела. И сонмы запутанных кварков образовали гигантскую нейронную сеть², которая, повинувшись себе и абсолютной истине, унаследованной из прошлых Вселенных, соткала и восстановила состояние всего мироздания на момент его случившейся кончины в Очарованном саду. Подобно тому, как яблочная Машина Времени³ в случае краха или несчастья перенесёт вас назад, во времена, когда было легко, просто и счастливо, – и возродит полное состояние своей памяти со всеми живущими в ней процессами. И все они будут жить и развиваться снова, бездумно и беззаботно, как никогда и не умирали. Простая, сказать, концепция, а как полезна, может и весь мир спасти, и Конец света переиначить, конечно, если сбоя не приключится там, наверху. Да только, верно подумали вы, можно ли когда-либо на это рассчитывать.

объектах Вселенной. Явлена миру в сомнениях и противоречиях, а наблюдать её возможно посредством гравитационных взаимодействий в контрасте с наблюдениями через телескопы или радиотелескопы.

¹ *In profundum magnitudo* (лат.) – величие в глубине.

² Имеется в виду искусственный интеллект на основе невозможного квантового компьютера, такого, что использует все доступные кварки новообразованной Вселенной. Квантовым компьютерам под силу много больше, чем компьютерам обычным, различающим Да и Нет. Компьютеры на основе кварков допускают оба состояния одновременно. Кстати, не только в сказке.

³ Функция *Time Machine* (Машина Времени) предназначена для восстановления состояния компьютерных диска и динамической памяти. Была впервые предложена компанией Apple Inc.

– Что же! Сказать откровенно, здесь поняла не очень. Как-то запутанно всё, да и кварки ваши тоже совсем запутались. Одно ясно, обещанных веселья и лёгкости ожидала понапрасну. Тем паче, что в шуме, гаме и суматохе свершений всё и закончилось уже, так ведь?

– Ну как, в конце-то как раз радостно. Все процессы возродились прямо на своём лету, ну разве не чудо!

– Да-да, чудо расчудесное, и всё-то оно замечательно. Только больше напоминает нескончаемую трагедию, раз начавшись, никак не кончается она. Не находите?

– Вообще нет, кончается всё жизнеутверждающе. Это во-первых. А во-вторых... да вот, хотя бы... Вообще-то, часто величие не в лёгкости, а в глубине, как говорят, *in profundum magnitudo*. Так и вышло, ведь верно?

– Спорить не буду. Только, сдаётся, опять запутались вы. Что с вами поделаешь.

– Ай-ай, ну хорошо, согласен, не будем спорить. А я предложу что, давайте подождём ещё хотя бы страничку, идёт? Все знают, иной раз одна, всего одна страничка перевернёт в сюжете больше, чем просто страницу.

Вот о чём забыл сказать я. Забыл, а ведь это главное и есть. Нейронная сеть, возникшая из ниоткуда и воссоздавшая все компоненты мироздания, чудом была необъяснимым. Но и в любом чуде, если покопаться, можно найти изъяны и неточности, пусть и небольшие. И всякий, кому привычно вдаваться в скучные детали, это знает. То же и здесь, сеть синтезировала мироздание так точно, как смогла. Но в силу каких-то причин, таки вкрасились здесь и там погрешности и ошибки в вычислениях. Моя беглая инспекция клонированной вселенной выявила по несколько копий других миров, отличных от этого. Не были эти копии абсолютно идентичными, представьте. Уж так получилось. Может, какая-то асинхронизация возникла и развилась потом, кто ж теперь скажет.

А мы-то причём, нас-то как это может касаться, скажете вы – а вот как. Вот в каких-то из этих миров одновременно идут по дороге копии Путников, похожие друг на друга чрезвычайно, только одна девица будет в соломенной шляпке, а другая, в другом мире, в дымчатых очках, которые, заметим, идут ей никак не меньше соломенной шляпки, как ни хороша эта самая шляпка сама по себе. Или другая деталь, где-то цикады кричат, а где-то спят они, а кричат, скажем, лягушки – и всё в таком вот роде. На мой вкус, романтическим может быть и то, и другое. Но вы понимаете, зависит, кого спросишь. А главное, из-за эдаких-то мелочей временные разрывы – между До и После обрушения неба на землю – перепутались совершенно в запутанном сознании наших кварков, так что копии миров До и После во многом оказались подсоединёнными друг к другу в произвольном порядке.

Всё смешалось в безалаберном доме новообразованной вселенной. Шляпки, очки, цикады, лягушки, рыбки, птички, и Бог знает что ещё. И как тяжело, Создатель, вечно обо всём беспокоиться. А всё из-за такой, казалось, ерунды как кварки, до чего бестолковый, в сущности, народ. Но и здесь есть логика. Раз так вот получилось у них, то не назад же им было возвращать вот это всё, в самом деле. В их, кварков, запутанном мировосприятии некоторые взаимоисключающие события выглядят совершенно логичными, вот представьте себе. Не будем забывать, что сами кварки находились во многом под тягостным и непривычным грузом сказочных обстоятельств. Согласитесь, не всегда сподручно работать в таких вот условиях, когда по работе то и дело предстоит запутываться. Конечно, сущая ерунда это, и ни нас с вами, ни нашей истории эта несуразница никоим образом касаться не должна. А у нас есть и обязательства, в конце концов, бежать, ползти и всякими другими способами продвигаться к завершению того, что уже заварилось. Продолжаем, как ничего этого нет, и мелкие странности и подобный вздор, возникни они по этим или

другим каким причинам, не должны, да и не могут никак препятствовать нам в нашем с вами вполне себе благородном деле: добраться до самого конца этой нашей истории – если, наконец, такой отыщется.

Рассказ о телефонных звонках, тонких материях и глумливой никчемности

Вот верно заметил один пронизательный человек, бывает всё на свете хорошо, в чем дело, сразу не поймёшь. Что сразу наводит на мысль, наши-то дела как, хороши ли? Так, смотрим, что у нас тут вообще случилось, и главное, как мы сами со всем этим справились и отличились. Ну, без дела-то мы не сидели, а дел у нас было невпроворот, как тут один уже сказал или потом только скажет. Иду по списку – поболтали о юге, пофилософствовали о судьбе-злодейке, на рынке за бежали, ввязались там немножко в эти самые рыночные отношения, по дороге походили туда-сюда и по кругу, в общем погуляли как следует, цикад послушали, Садам полюбовались, порассуждали об инжире в частности и о сластолюбии в целом, пободались с дубом, вернее с Эйнштейном, который оказался Филином, в смысле профессором. А ещё много чего и повидали, и осознали, и воплотили в жизнь, в её живую ткань, полную соблазнов и противоречий. И превращения волшебные с омоложением, и как филин сначала был паинькой и ответственно-надежным, а потом как-то взбесновался и вразнос пошёл. Кстати, некрасиво получилось, одно за другое, и пришлось Сад наш немного, гм... того. Поручили мы его, в общем, чего уж тут. А ещё немного попортили и самую Вселенную, собственно говоря, совсем разнесли. Но это, смешно сказать, случайно так вышло, к тому же и починили уже, о чём говорить... Короче, переделали массу дел, важных, полезных и ещё более полезных, и финишная линия уже и без бинокля видна, как наяву.

Так что же, жизнь удалась? Почти, почти, одна только досадная мелочь ускользнула. Осознал я вдруг, что моё замечательное вступление, ну вот, где читателя берут под руку (или даже за руку) и ведут дальше, нет-нет, не под венец, а наоборот, к свету, к смыслу, и так далее, как Лев Николаевич когда-то поучал смущенного Антона Павловича, короче, вступление моё каким-то образом затерялось, ну, то есть забыл я про него в своей, как говорится, грудё дел и в суматохе явлений, да и как не забыть, тут голову свою не забыть бы (а с головой-то, сами знаете, надо бы поделикатнее). А вот теперь-то вспомнил, лучше поздно, чем никогда. А послушайте, откуда это введение вообще взялось. Ехал себе тихо-мирно в электричке в свои Жаворонки, а рядом какой-то старичок сидел. Болтливый, ужас просто, и то я, и сё я, и чуть не на мерседесе своем меня наш султан, мол, катал, и мороженым угощал, и даже взаймы предлагал дать, а потом как-то передумал, ну и всё в таком роде. Глупость? Ну безусловно! Но что интересно, в речах своих иногда прямо в точку попадал, вот прямо-таки про нашу историю. И вот так-то мы разговаривали, ну и вот, такое вступление образовалось. Видите, как бывает, мне ничего и делать не пришлось.

Вам до конца? Нет? Мне тоже нет, но однако ж прилично. И местечко вот у окошка, не всегда так повезёт. Обычно-то сколько народу набьётся, ну, да чего там, сами знаете... А как поговоришь-то, когда вот толпа, и в проходах стоят и чесноком в плечо дышат, то ли сейчас... Вы верно думаете себе, вот же пристал, старый чёрт, а я-то не из таких. Я, понимаете ли, раньше и статейками баловался, и со студентами занятия вёл, и звонили мне, чуть не каждый день – и из министерств, и из Президиума, и из Палаты, и из Администрации, а то и из Верхней канцелярии. И, как хотите верьте, все просят, умоляют прямо, узнать моих мнений об искусствах. Бывало, и сам, на какой презентации или во дворце – подойдет, спросит, как считаете, вот я, мол, выступал давеча, и там процитировал то-то и то-то, к месту ли, какое ваше мнение? Ну, вы же знаете, он не ко всякому так вот обращаться станет, вокруг-то все, поглядите, с каким они там образованием, да и шушеры, прямо сказать, хватает. Вот как. А сейчас пошли другие времена, уж не звонят, ну, да Бог с ними. Но вот чувствую ещё потребность, если понимаете, о чём я. Но вот так, чтобы со

смыслом обсудить, не то, чтоб просто время убивать. А вам не кажется, что душно как-то, нет? А давайте-ка окошко мы немножко того... Давайте, давайте с вашей стороны. Что, не идёт? А как я отсюда поднажму? А вы ногой-то, ногой здесь упритесь... ничего, нога чистая... да что ж это... А вот, пошёл воздух – уф, хорошо теперь! Так о чем я? Вот вы объясните, ведь как это так получается, что ни о чём таком эдаком, о возвышенном, и о тонких всяких материях поговорить толком никак не дойдет. Почему так? А не с кем всё, не с кем! Людей нормальных, вот именно серьёзных, адекватных, не хватает, вот ведь беда в чем. Всё, понимаете, суета, ёрничание, всё мелочь и дрянь. А хочется иногда и воздуха свежего глотнуть. Иногда, впрочем, бывает. Попадётся вдруг где-нибудь, да хоть и в поезде-электричке, приятный человек – с портфелем, в очках, и всё при нем, ну там, пиджак, галстук, скромен, даже и лысоват в меру, и в речах рассудителен и умерен, не пустобрёх, не скоропал, не радикал. И вот, только что разговоришься, только дойдёшь до главного, до сути, ну вы понимаете, как всё уже настроилось, так же, как и оркестр настраивается, чтоб, наконец, заиграть в полную силу и излить свою симфонию, а уж слышим, объявляют: «Жаворонки, следующая Дачная. Не забывайте вещи», и собеседник наш вскочит, засуетится, подхватит свой портфельчик, кулек с бутербродом начатым, и – адью! – на выход. И к черту всё, и оркестр весь настраивался понапрасну, увы, увы. И ничего-то не останется, лишь недосказанность, печаль глумливая и пустота в душе. Не сыграна симфония, не родился смысл. Вот ведь как. Театр взять, та ещё канитель: скука сплошная, или, простите, безобразие, а то и оба вместе. Огорчает, конечно. Что мы должны ждать от театра, вот вы знаете? А я скажу вам, мораль, одухотворенность, внутреннее очищение. Возьмет драматург зрителя за руку и поведет его к свету, к главным смыслам, и откроет притом ему нравственность настоящую, возвышенную. И полезно, и поучительно, ну, а иначе как же. А эти нынешние постановки – Сады ли, Грёзы ли, другая какая вещь. Там-то куда, простите, ведут. Я спрошу, где смыслы, где драма, характер где. Уж если, напротив, чего почитать доведётся, всё то же. Мало, прискорбно мало у нас литераторов серьёзных, вдумчивых. И главное, ну что за темы берут! Про жуков, про букашек каких-то мелких, а вдруг, верите ли, об инжирных плодах и садах рассуждать берутся, ну, что это, в самом деле. Вот, вы скажите, что за фантазия такая заставляет полагать всякого читателя за зоолога. И что за профанация. Прямо хоть об стенку головой расшибиться, в самом деле. А польза-то, польза какая от всего этого, если задуматься. Ну решительно же никакой, ни науке, ни отечеству, ни молодежи нашей. Одно слово, никчёмность, вот это самое и есть. А вот вам и живой пример, вот ведь какими, с позволения сказать, историями смущают неокрепшие умы теперешние авторы. И не нужно, и не хочу никого принуждать слово моё брать на веру. Вот всё оно, сами и рассудите.

Да-да, и рассудим, вот именно. Это, сами видите, как введение задумывалось. Знаю, не вполне на месте, и даже совсем, а что делать. Столько уже чернил и бумаги извели, неужто всё заново. Нет, нет, пускай уж здесь и остается.

Рассказ-закольцовка, где история кушает свой хвост

Вот такая моя история, и сказочных эффектов, и трюков, и спектаклей было нам явлено в превеликом избытке, чем мы не преминули воспользоваться. А может, я опять всё перепутал, и вовсе не мы, а сказочные эффекты и элементы разгулялись и бессовестно использовали нас в своих целях, таинственных и необъяснимых. Но мы оказались ого-го и сказочно вполне уцелели, и руки и ноги у всех на месте, особенно же и голова, и чья-то заслуга в этом есть, должна быть просто, уж не моя ли, коварно поинтересуюсь я. Должен сказать, случившееся, от начала и до конца, оказалось в высшей степени и неожиданно, и странно, хоть и по сказочной шкале. Как бывалый Странник, удивляюсь я только в самом крайнем случае, но тут был озадачен. Удивлялся не я один, тоже и филину многие моменты показались необычными, а если сфокусировать как

следует крашенный глаз, то и вовсе неправильными. В силу тогда неведомых мне причин как-то лично он воспринимал всё, а ведь это что, сказка, просто смех. Но филин, упрямое пугало, полагал по-другому. Решил, что он, верите ли, ответственный по этим самым вопросам.

– Странный вы человек! – так прямо сказал я ему. – И рассуждаете странно, и желания ваши странные. Странное не всегда к добру.

Знаете, когда и то, и сё идёт не по плану, это огорчает, и одно цепляет за другое, и вот уже становится слишком, и сделался филин нервически расстроен. В целях поправки нервов он осуществлял годами отточенные приёмы. Пучил глаз, что способствует концентрации внимания на Сейчас, также выворачивал голову до хруста в шейных позвонках, это помогает расслабить *Superiorum partium*: верхние конечности – собственно, крылья. Кстати, если кто полагает, что обладает крылами, пусть и в возвышенном переносном смысле, попробуйте непременно. Вот прямо как сидите сейчас, так и крутите голову, крутите. Дополнительно филин фокусировался на внутреннем Я, и даже пытался силою мысли посылать удалённые сигналы и манипулировать с утерянными ухом. Чему это может способствовать, не поделился, не стал меня обременять. Да и правду сказать, пока моё ухо не оторвано, к чему мне эти заботы. Но дело не в этом... В чём же? А вот в чём. Как открылось нам во время вещего сна, всему есть и другая сторона. Об этом сейчас речь.

Я Странник, говорил уже, только, боюсь, вы не поняли. Нет, не из таких, что путешествуют по странам и городам, а просто специалист по странностям и необычным явлениям, их тут так и называют, Странники. Однако, об этом мне стало ясно не ранее, чем погрузился я в сказку (ее здесь называют проффильной командировкой) уже порядочно. Совет по Поручениям, в лице, представляете себе, профессора Филина, персонального моего куратора в настоящей командировке, рекомендовал повышение квалификации в целях успешного окончания заданной миссии. Успешный конец подразумевает безопасное и счастливое её, командировки, завершение. С выживанием командированного и с минимальными последствиями для окружающей среды. Перед этим в Совете меня оценили: тип личности, навыки, склонности. У меня обнаружили натуральную предрасположенность к внутреннему спокойствию и равновесию в странных и необычных условиях – вот именно таких, которые эти спокойствие и равновесие у среднего человека обыкновенно расшатывают. Так я был определен на курсы Странников. Когда началось это, сказать трудно. Сам я склоняюсь к тому, что в тот момент, когда у меня в руках очутился Калейдоскоп. Конечно, никаким калейдоскопом он не был, а был специальным аппаратом, инвертором-манипулятором, для манипуляции пространством, временем и сознанием. Кто-то назовет Калейдоскоп магическим прибором – название дело вкуса, хотя магия не имеет никакого отношения к внедрённым в прибор технологиям и уникальным инженерным решениям, при всём уважении к магии как таковой. Сам прибор был передан мне лично в руки представителем Инспекции во время моего приключения на рынке. Инспектор проверил, как сам аппарат отнесётся к потенциальному обладателю, полагалось, от этого многое зависело. Примерно в это время для меня открыли параллельный поток событий, в котором время текло по своим законам, согласно установкам прибора. В другом же, обычном потоке времени, я был просто Путником, и всё происходило так, как вы уже знаете. Я прошёл свой курс обучения и получил диплом Странника третьей, высшей, сказочной категории. Мне дали зелёный свет на продолжение командировки в новом статусе. По её окончании я обязывался вернуть аппарат, а представитель Инспекции проинформировал о моей личной ответственности за целостность и исправность оборудования по возвращении. Я также соглашался на процедуру неполного (без разрушения личности) уничтожения из моей памяти чувствительной информации, связанной с командировкой. Вот такая получается история за занавеской. Нет, совсем не шучу, напротив, серьёзен, как мертвец. Имеем здесь дело с весёлой сказкой, и всякое веселье, как понимаете, исключается.

Странность недоосмысленных реалий остается временами единственной реальной поддержкой, на которую можно полагаться, что мосту, что запутавшемуся читателю, как мост, нуждающемуся в каких-то опорах. Из временного потока, учреждённого для Странника третьей сказочной

категории, к Здесь и Сейчас, не только приемлемым, но и совершенно необходимым, а также чрезвычайно полезным в любом жанре, в сказке особенно, этот воображаемый мост тотчас же и перекидывается. И туда, в эти Здесь и эти Сейчас, на берега таинственного Залива, на нашу нескончаемую и всё ещё непонятую до конца дорогу Упоительного сластолюбия, туда, уже навсегда теперь, переместимся и мы. На дорогу, нагретую яростным солнцем в тот южно-цикадский день, который так опрометчиво и безрассудно обнаружил я в необыкновенном аппарате Калейдоскопе, попавшем мне в руки, по-видимому, абсолютно случайно.

Нет, не так. Не могу настаивать на абсолютно случайной природе цепи событий, вполне могло случиться, что Тот день настиг меня вполне расчетливо, не давая места шансу и случаю. И застал он меня врасплох – ровно так и тогда, когда это должно было случиться по его холодному расчету, профессионально исполненной партии невозмутимого дельца с рыбьей кровью, без всякой тени эмоций и сострадания. И позабавился тогда он на славу – и со мною, и с моею личной свободой, и со всей беззаботной стохастической природой воли вещей, и поразили всех и вся желчным жалом детерминизма, безжалостным и жестоким. И вот уже долгие-долгие годы, каждый раз, когда заводят ключом пружину, мой закольцованный сам в себе день сурка, и южный, и летний, и солнечный, тотчас возвращается ко мне, со всеми его неожиданными находками, открытиями, восторгами и разочарованиями. Но вот не знаю я, что будет и не будет чего, когда вдруг случится, что завод кончен и не заведена пружина, ни в этот день, ни в другой. А пока же...

И опять, и снова был день. И шагали мы с моей подругой по раскалённой дороге, и поглядывали на незнакомый фруктовый сад, в котором копошилась пожилая пара. И не имели понятия мы – кто они, зачем, и что нам до них, и было на душе легко и беззаботно. O, du lieber Augustin, Alles ist hin, звучала немецкая песенка, прилетевшая не то из шарманки, не то из старого фильма, непонятно откуда. Мы полагали, что движемся навстречу счастью, нашему счастью, о чём она и пела, беспечная песенка. Припекало солнце, и над асфальтом покачивался горячий воздух. Упоительное сластолюбие и эта дорога – пока ты с ней, она не кончается, и ничто не кончается. А может, дорога это твоя жизнь, которая оканчивается дорогой без конца. Отстранишься от жизни и суеты, отстранишься ли от этой дороги. Кто сказал, откуда этот голос? Песнь цикад, солнце в голову и бриз с Залива навевали странные чудные грёзы...

Рябь завершающегося сюжета заколыхала застывший воздух картины. Обнаружились и стали всем очевидны и сама сцена, и прозрачный занавес перед ней. И всё уже кажется таким отвлечённым, таким далёким – и несколько театральным. И вы догадываетесь, то, что принималось за проявление самой жизни в её кипении и борьбе, на самом деле малосущественно и второстепенно. Важно не увлекаться и видеть вещи в своем истинном свете. Всё проходит и уходит, остается дорога. И по дороге шёл я со своею спутницей. Мы уходили, исчезая в дальней дали, и всё смотрели и провожали взглядом нас, шагающих по дороге в эту дальнюю даль, и видели наши удаляющиеся затылки – такие знакомые, такие узнаваемые. Игра переводила нас во всё более отдаленные наблюдательные круги, и потерявшись сама в деталях, теряла и нас. Мы шли бесконечно, от времени и дороги отвердели наши лица. В грёзах нескончаемого дня проводили мы жизнь свою.

Сон, фантазия, данность. Чудесный сад парит над водой. Он цветёт синим, пурпурным и другими цветами, чудными и невиданными, оттенками, о которых странно помыслить, пока не узришь воочию. Цветение возносится вверх и колышется, как на ветру, в небесной вышине, оно волнуется и переливается, словно Полярное сияние. У входа в сад торжественные мраморные стелы-obelisks, а напротив скульптурная группа, женщина рядом с деревом. Белый мрамор на солнце очень бел. Женщина из мрамора простирает руку, величавым жестом указуя на древесный плод, символ и вечности, и юности. Под обелисками юные Хранители сада, и девушка в светлом

платье держит руку избранника. Они приветствуют проходящих, улыбаются им и машут рукой, а эти проходящие мы и есть. И опять, и снова проходим мы мимо сада дорогой упоительного сластолюбия. О, тайны мироздания! Чудны дела твои. Данность, фантазия, сон...

Рассказ о переменах. Птички, рыбки, русалки, капитаны, феи, простофили и прочие

– И что же... и потом ничего? Я очень всё-таки переживала, когда ураган и всё такое, и страшно всё было. И голова, главное – просто ужас!

– Конечно. Ну, ведь как-то прошло и это. Не сразу, но в конце концов вещи нашли свои места. Птички погрузились в Залива воды и нашли, что там им даже удобнее, рыбки же осели по деревьям и зачирикали, и засвирили, и завели свои песни и трели. Расположились на деревьях, на ветвях и русалки, но петь не стали.

– Вот не знала, что русалки поют! А почему же в этот раз они не стали петь?

– Ох, как бы сказать... Видите, рыбаки были такие все невесёлые, и с финансами у всех было просто печаль, ну понимаете. Дела не шли как-то в последнее время, в упадке был промысел. И удача что-то не смотрела в их сторону. Может, занята чем была, может, другое что. Удача бывает и капризна, как весь женский род. Да и главное! Уж очень угнетены все были из-за недавних шторма и ветра с градом. Ну, и в связи с переустройством промысла, тоже, знаете, забота. Так вот, русалки. Песни русалок, и жалостные, и тоскливые, могут-таки сильно подействовать. Бывало, и в воду бросались, бывало, и рассудка лишались. Вот, русалки посовещались и постановили повременить пока с пением, не тревожить рыбаков и не раскачивать лодку, или как там у них в морских терминах. Рассудили, что время покамест трудное, неспокойное. Да и мэр прямо объявил, что как узнает, если кто пел рыбакам, то не посмотрит, что русалка, чаровница и древний обычай, а враз велит пороть розгами. Так что, русалки положили проявить сознательность и сделать правильный выбор, а то кто его знает, как всё обернется. Ну и что ж, можно и подождать, потом споют, если надо будет. Так что, рыбаки погрузили, погоревали, а спустя день-другой как-то поуспокоились, взбодрились, разгладили усы, у кого были, и забросили в Залив свои неводы ловить птичек, а те и не возражали. Птички нынче и чирикнуть не могут, вы же понимаете, в воде они, птички.

– Да! теперь вот птичек ловят. Как-то всё чудно переменялось у нас здесь. Странно, правда? Видимо, всё к лучшему.

– Птички полнее будут, рыбаки полагают, да и в газетах так пишут. С чешуей, к слову, не возиться, запаха рыбьего нет, покупателю нравится, вот так и попривыкли. Возят теперь рыбаки свой улов на продажу и радуются добытому барышу, и жизнь мало-помалу налаживается. И собираются по четвергам в Тауне, в баре Поющая Креветка, и покуривают капитанские трубки, прямые и короткие, и карты свои держат поближе к жилету, а заходят всегда с бубновой масти, чтоб не спугнуть счастья в игре. И поднимают высокие кружки с пенистым элем, и, возвышая голос, обсуждают промысел и нововведения, и цены на соль и на колотый лёд в бочках. И костерят бесчестных поставщиков и алчных перекупщиков, и воспевают свой небывалый улов и благословенную удачу, да и кто разберет, о чём они там. Обо всём понемногу толкуют капитаны весёлыми вечерами. Кто делает себе доброе дело и женится, и обсуждает со славными людьми эту распрекрасную затею, а славные люди бычатся, солят и настойчиво отсоветывают это самое благое начинание, и что ты с таким народом поделаешь, и какое тут будет весь вечер настроение. Кто божится, что видел в ночном небе яркие вспышки, не иначе как чёрная дыра, что забралась в самую середину нашей галактики, зажевала и всё глотает и глотает очередную свою жертву, и уже вот-вот доберётся и до нас с вами, и даже эль сегодня с каким-то тревожащим привкусом. Кто продаёт своего летучего голландца, что легко добежит за два часа от верха Залива до самого океана исключительно на своих гроте и стакселе, и безо всякой даже потребности заводить мотор, который тоже, представьте, в самой замечательной кондиции. Даже если кто ни жениться не желает, ни баркаса не имеет, и в небе ничего отродясь не видал по причине близорукости врождённой, и он здесь, и счастлив сам собою, и так-то рад видеть всех, что кружкой своей размахался не на

шутку, и говорит, лепечет, болтает без умолку, даже если бедолагу некому и выслушать, кроме разве вон того старинного пса, что поджидает хозяина у двери, отчего-то с внутренней её стороны. Весело, шумно в Криветке по четвергам, и всяк в этот день понимает, что Криветка потому весела, что она и есть самое главное место в Тауне, а то и во всём графстве, хотя мэр наш, конечно, совершенно другого мнения по этому вопросу. Именно здесь все и речисты, и смешливы, и перед другими не прочь покрасоваться. Ну какой же рыбак, позволю спросить, обойдется без историй, небылиц и рыбацких баек, а уж если таковой вдруг отыщется, гоните в шею, плюйте ему прямо в глаза, не рыбак он никакой, а так, ничтожная подделка и вообще, надо быть, дрянь человек. Рыбак, это, скажу вам, легенда, ловец удачи и певец удачи, вот такой он и есть настоящий рыбак.

– А вы верно говорите, все мы зависим от того, куда колесо фортуны повернется. Если даже просто и по грибы, много ли сберёшь, если везения нет. А уж то рыбаки.

– О грибах не скажу, а в море без удачи и везения никак нельзя. Очень капитаны наши их почитают, о них все разговоры. Да и, к слову сказать, саму Фею Удачи нет-нет и замечают в баре в какой-нибудь, скажем, четверг. Вот, посмотрите-ка, сама своей персоной, в платье зелёного шёлка и в тончайшем прозрачном шёлковом же платке поверх головы и плеч, на манер испанской мантильи, а ещё на ней, гляньте, старинные бусы из жемчуга, кораллов и серебряных монет. Вот так-то запросто за столом, на таком же точно, как у всех, простом стуле морёного дуба, и сидит так естественно, как будто бы всё в порядке вещей, и ничего странного в этом не находят, не стоять же ей, в самом деле, вечер только начался. А когда уж она здесь, народу набирается просто тьма, а как иначе, когда к игре пожаловала Госпожа Удача. И всегда она вся блещет и чуть мерцает, и притом от глаз исходит холодный огонь. Потому-то тёмные очки, чтоб горожан не слепило, особенно когда сдают карту. А только в каком-нибудь редком случае вдруг на миг опустит она очки и чуть улыбнется. Чьи карты она увидела, тот и забирает себе целый кон, счастливцев. И всё хорошо, только оставляли б капитаны всё ж поменьше в Тауне по четвергам.

– Я вижу, всем опять хорошо и весело, так получается?

– Ну, как всем... Взять соседа моего, простофилю Джеймса, никто его иначе как Джимми не величает, невелика птичка. Рыбаки заходят в Криветку новостями обменяться, дела обсудить, и всё такое, а Джим повалился с ними. Падок он до баек рыбацких, а у каждого счастливого обладателя сизого носа таких историй упряталось в рукаве ох, немало. И верит простая душа каждому слову, аж, гляньте-ка, рот приоткрыл, словно бы перед ним не развесёлый Том с своей акульей усмешкой накосяк и вечной байкой про гигантскую камбалу, которую, правду сказать, никому, кроме нашего простофили, уж и предлагать-то неловко. Вы, положим, сами в Криветку не заглядывали и истории этой не знаете, а дело давнее. Случилась она, когда Том ещё своих волос не потерял. Поймать будто он камбалу поймал, а только она оказалась не совсем живая, сильно снулая, практически дохлая, хотя и правда больших размеров, ну очень велика, просто чудовище, морской монстр. В свой баркас Том её уместить не смог, так и тащил по воде. А что самое интересное, и здесь Том совсем понижает голос, он сохранил её голову в засушенном виде. Конечно, засушенная она ж таки не такая гигантская, и даже, откровенно говоря, совсем небольшая. Том её завертывал, бывало, в тряпицу, и в нагрудный карман, чтоб изымать ловчее, как разговор зайдет. И вот ещё что: как-то раз эта голова вдруг посмотрела на Тома со значением и изрекла сочным басом «Вот так так!», однако к чему это было, Том не понял, видать, забегался или просто ноги устали. Вы знаете, у нас в Криветке не шантрапа какая, народ в основном тертый, опытный, бывалый. А вот как взялись про голову обсуждать, ой-ой, срам и сказать, как наши капитаны судили и рядили, и каковы были их толкования, и куда оказалось им всем до простой камбалы необразованной.

– Да, правда странно. В самом деле, и что там у неё на уме было?

– То-то и оно, что всё, что было, уже высохло давно, и сама голова, и ум её, если он там и был когда-то. Я так скажу вам: мне вот ни голова, ни сама камбала ничего такого не говорили. Да и сам Сатана тут не поймет и не рассудит. А потом как-то вышло, что голова задевалась куда-то за давностью, и уж с тех пор точно рта своего не открывала. Но всё ж, как ни огорчительна пропа-

жа этой говорящей головы, никак не умаляет она торжества Тома, и нимало не огорчает нашего простофилю. Поглядите, до каких сиятельных вершин вознесется в чьих-то глазах рассказ о подтухшей рыбине, в восприятии кого другого история вполне себе вздорная, надоевшая и полная скучных деталей. Впрочем, не будем забывать, что и сам Джимми не какой-то там гвоздь ржавый. Хорош собой и удачлив, как счастливая подкова. И сам не сегодня-завтра заделается настоящим капитаном, как о себе понимает. И тянется простофиля к картам, не из-за денег, просто, чтоб со всеми. Да вот, закавыка: не садятся с ним никак, а всё говорят ему, ты погоди, Джимми, лучше принеси-ка тут ещё стул, вон кому-то, мол, не хватает, и в таком роде. А главное, как зайдёт разговор, говорят о нём снисходительно, и промежду прочим, дескать, хороший он малый, Джимми, да только это, молод ещё. Годы-то идут, и я думаю, а так ли он юн, наш Джим. Конечно, всё такое не может не огорчать, а особенно в четверг, радостный день. Сами видите, в Тауне всё веселее становится, определенно веселей.

– И всё уже закончилось, и стало совсем как прежде?

– Да-да, ну почти. И закончилось всё, и продолжается всё. По кругу как-то всё, как и жизнь наша. По кругу ходим, по кругу живем... Вот и цикады в этом году опять неистовствуют.

– И ничего не пропало, и не о чем жалеть?

– Ну, как же, не без того. Филин наш, филин с крашенным глазом, канул вовсе. И не видал уж никто его распростертых крыл и не слышал его смеха, и резкого, и заразительного. И куда он, злодей, по лихости своей залететь мог. Не за океан же подался, в свой Восток, в самом деле. А жаловался, горемычный, на тоску и ностальгию, и про зов родного края говорил. И вот ещё что, слышал и такое, что занесло его вовсе на Дикий Запад разбойничать вдоль железных дорог. Поговаривали тоже, уж не знаю как и верить, но вроде разжился он и лошадьё, и уздечкой, и друзья завелись у него самые что ни на есть лихие, и Смит, и Вессон, оба с ним. Так что, если вам он по срочности понадобится, ищите меж Западом и Востоком, не ошибетесь. А как по мне, жаль, не вернуть филина. Впрочем, такой же точно, только новый, выставлен сейчас в Хоумдепоте, отдел Садовый инвентарь, по пятьдесят долларов за штуку – и, кстати сказать, вполне разумная инвестиция, ведь как плохо без пугала, если с садом.

– Но отчего, скажите мне, почему он так смеялся не по-доброму? Просто страх наводил на всех. Он что же, оказался совсем уж злыдень какой-то или колдун? Да, наверное так! Как ужасно. А он что же, всегда был таким злодеем?

– Ну, что значит колдун, злодей... И он был маленький, и ходил, как все, в детский сад, и в музыкальных утренниках участвовал, и водил с детишками хоровод в гольфиках своих белых. И носочек тянул, и уточкой ходил, и зайчиком прыгал, и хвалили его, и грамоты дарили. Казалось, и удачливый, и смелый, а обернулось по-другому. И в какой-то момент прислонился не к той силе, и захватила она, и подчинила себе.

– Да, как я это внутри чувствую! Он уже был надломлен. И злая сила его одолела, и поломала крылья, и не выпустит больше обратно.

– Как-то так, наверное. Впрочем, этикие подробности и детали скрыты во мраке и мне неведомы. Может, вернётся ещё! Будет сидеть у вас в саду на дереве, обнимать там русалок и нескромничать, распуская руки. И голосить разгульные песни, и плакать, и терзаться, и стонать, и вскрикивать, и ухать, пугая вас по ночам.

– Ах нет-нет, лучше не надо!

– Вот и я так думаю.

Рассказ о Finale

– Сэр! всё в порядке, сэр? Могу вас спросить, отыскали или нет вы тот день? Великолепно, сэр. Что за день был это, спрашиваете. Не могу сказать, сэр; обычный пожалуй себе день, жаркий впрочем. Сэр?

– А? Что, простите?

– Аппарат, Сэр. Подлежит перекалибровке в лаборатории, пожалуйста его назад, будьте любезны... Ай-ай! Сэр, извольте убедиться, прибор тонкой настройки, а в песке, как с корриды. Обращаю ваше внимание, сэр: на корпусе трещины, здесь и ещё здесь. Я сожалею, сэр. Это капитальный ремонт с заменой труб и отселением. Самому неприятно, но я должен буду подать рапорт в Инспекцию. Получается пятьдесят долларов, сэр.

Он смотрел достаточно твердо, но не в глаза, а куда-то в область уха, словно разглядывая мою несуществующую пиратскую серьгу. Было видно, что оба момента живо его беспокоили, и пострадавший калейдоскоп, его треснутый, покрытый песком корпус с прилепившимися волосками то ли от косички матадора, то ли от бычьей шерсти, равно как и пятьдесят долларов, причитающиеся отчего-то именно ему в счет немислимого капитального ремонта с неперенным и обязательным отселением всех, то ли жильцов таинственного подъезда, то ли жителей всего города, то ли населения этой планеты. «Сэр? Вам нужна квитанция, сэр?»», доносилось до ушей, словно из подземелья. Я пребывал в растрепанности и смятении, и в моей голове никак не складывалось. Господь наш Создатель, какой калейдоскоп, какая квитанция. При чём они здесь, для чего... И тот день, к чему он мне, и для чего там я? Исполнять ли свою роль, непонятную мне самому, забавляя великое мироздание, щекоча его нервы? И почему меня туда, в тот день, возвратят снова, и отчего я опять всё позабуду... Так что я... Нужна ли квитанция?

Да-да, что-то со мной не так, и отчего-то я всё забываю, памяти не стало никакой, вот в чем беда. А вот это секрет – самый секретный секрет, и нельзя никому об этом, иначе конец, всему конец. Так вот этот пират, он какой пират, который рыночный, или который инспектор? И что же теперь? Теперь... Говорили вам, сэр, что Весёлая сказка. Что в тот день попадёте, и что вернуться надо, ведь говорили же. Что же вы, сэр? Возвращайся, возвращайся, закричал мой вроде-бы-пират не своим голосом, странным, фальшивым, срывающимся. Ах, нет же, нет, это женский голос, это песенное многоголосье – так поют русалки в Заливе. Боже мой, это их зов. Они зазывают, заманивают меня в свой зачарованный омут, откуда нет возврата никому, никогда. Этот шум, эти звуки странные, тоскливые, здесь и мольба, и стон, и всплеск, и хрип, и гул, и рев, и эти переливы душераздирающие, какая тоска и мука. Нет, это положительно невозможно, не уберут это сей же час, тут и сойду я с ума. А что делать, что делать. Если, напротив, суждено утонуть, то и с этим лучше не тянуть. Но вдруг, параллельно русалкам, грянул finale некоей симфонии, волнующий и прекрасный. Никогда раньше не его слышал, но, удивительным образом, резонировал с ним, будто был давно уже знаком. И симфония стала отодвигаться, и придвигаться опять, и то же происходило и с ужасным хором русалок. По-видимому, мне надо было сделать какой-то выбор, но вот отчего-то мне не объяснили, какой же, собственно, из двух нужен, а самому решить было совершенно невозможно, ведь я никогда ещё прежде не делал ничего в таком роде, ну вот так, чтобы совсем сам.

Пиноккио... Пиноккио? Помните, была такая деревянная кукла-марионетка, выточенная из чурбака. Был вначале обычный простой чурбачок, дубовый притом, ну так что же, ведь с чего-то надо начинать, правда же. А Пиноккио, представьте, возжелал стать настоящим мальчиком, и хотел этого больше всего на свете, конечно, когда не хотел чего-то другого. И ему даже одна волшебная Голубая фея обещала с этим помочь, однако там были сложности, всякие интриги, куда же без них, и ещё были нехорошие всякие, и попросту сказать, тёмные личности, Кот и Лисица, которые были как бы друзья, но только вначале, а потом совсем уже нет, так, впрочем, часто бывает. Но Пиноккио, вопреки всему, таки стал мальчиком, настоящим мальчиком, как хотел, только в конце, конечно, а до этого ему доставалось, и даже очень. Вы всё это прекрасно помните и без меня, вне всяких сомнений. Только вы не знаете, что Пиноккио и есть я, только это я вам по секрету, ведь дело было довольно давно. А может, это вообще такой общий тренд. У иных Винни-Пухов в голове опилки, а кому повезло, у них голова цельная, без каких-то там опилок. Вот, когда буду уже большой, тогда всё буду делать сам – ну, конечно же будешь, дурачок. А сейчас с тобой мы, и беспокоиться тебе ни о чем не нужно. И вообще, зачем нервничать, друзья ведь всегда помогут, если они настоящие друзья. И пока они друзья, конечно. Всё как бы шло к тому, что вот-вот, и

помогут мне с решением, сделают за меня непонятную работу. Я растирал свой деревянно-занемевший лоб и затылок и вдруг определился незаметно и легко: симфония, и думать нечего.

Прошедший день был жарким. Вечер вступал уже в свои права и давал знать о своём приходе, приглушив жару, удлинив тени, упоив воздух прохладой и ароматами трав, острее ощущающимися в вечернем воздухе. Мои руки дрожали, и ни в чем я не был уверен. Как хорошо, как метко я судил про всех, пока он не пришёл. Вечер. Да, вероятно, это он и есть, мой вечер. Вот так он и приходит, почему нет. И это единственное, что получилось тогда осознать. А день подходил к концу. Длинный, бесконечный, тот самый, и прочее. Он угасал, умирал, до его кончины оставались жалкие минуты, и старик торопился. Он заворачивал инструменты, трубки и колокольцы в холсты, укладывая всё в плоский ящик со смазанной казёнщиной штампа 'Инсп АХ-12' и наплечной ляжкой. И старик он был как старик, и примечательного в нем было, за исключением чернёной серьги, ну решительно ничего. Что же, так он и уйдет совсем, а как же я? Я путался, сомневался, и никак не мог понять, кто же он есть, и что он явил мне на рынке под видом странного разговора. А может, я был неким скучным винтиком, который он подобрал и приладил на своё место. Вот старик, говорила мальчику какая-то тётка на улице – давно, давно это было. Будешь баловаться, не слушать маму, старик возьмет тебя в свой мешок. И мама отчего-то кивала головой, а мальчик хоть и не верил тётке, старика с мешком опасался всерьёз и старался не смотреть в ту сторону, чтоб старик его как-нибудь не заметил. Вечером мальчик проверял, не появился ли старик – может он стоит тихонько под окном, где его никто не видит. Но его всё не было. Шли дни, недели, старик не появлялся. Мальчик вырос и про старика позабыл. Наверно, и правильно, что забыл, а теперь вдруг вспомнилось. Не могло быть, чтоб старик вернулся сегодня, зачем ему. Не поздно ли теперь.

Старик завершил сборы и опустился на лавку, чтобы управиться с крупным инжиром. Он сидел тихо и глядел на закат. В луче низкого красного солнца одинокая капля вспыхнула на вечно небритом пиратском подбородке. Капля, бесценная капля колдовского эликсира явилась мне средоточием реальности. Что же потерял я, и капля ли ответит за утрату, да и что может она одна. Мыслимо ли теперь вернуть всё назад – и юг, и звёзды, и молодость, и желания, и всё то, что могло бы прекрасно сбыться в судьбе. Это было, и об этом хочу помнить и говорить. Всё суетное преходяще, но влажная капля вечно жива. Я фокусировался на капле и обретал покой. Занавес уже падал, и величественный финале набирал силу. Это было моё возвращение.

Рассказ о разговорах в беседке, о луне и забвении

– Вот, моя история. Заметьте, не выдумка. Вы, верно, и сами знаете.

– Да! однако, забавник вы... Право, не знаю, что сказать.

– А вы не говорите.

Она улыбалась – рассеянно, грустно и слегка стеснённо. Есть в мире грусть, есть печаль, но есть и надежда. Возможно ли? Она не помнила – ни Путников, ни Сада, ни эликсира, решительно ничего. И история эта для неё не значит ничего, просто чужая история. Что же, что же. Видимо, так тому и должно быть.

– Разве эликсир? Вы, случаем, не могли бы достать для меня сколько-то? Хоть бы и каплю.

– Вы всерьёз? Господь всемогущий, на что вам?

– Нет? Даже каплю?

– Да как! Помилуйте, ну откуда взять? И вообще, может, это и шутка всё, мираж и обман.

– Как шутка! И тогда какой вообще смысл во всём?..

– И дался всем смысл! Случилось. И ничей высокий смысл не уберет. Ну, вы понимаете.

– Да-да. То есть нет. Ах, не знаю... Что-то, однако, зябко становится. К чаю, что ли, подавать уже?

– Конечно. Чай всегда хорошо. У меня, кстати, джем – захватил с местного рынка пару баночек. Вот, прошу. Много полезней эликсира юности, так называемого, конечно же. Там ещё этикетки, вы не обращайте внимания. Они вообще абстрактные.

Вечер был мягкий, и самовар подали в беседку. К чаю были и гости, театральный критик из первопрестольной, восходящая звезда околосценической богемы. Его намеренно неброский импортный пиджак глянул на нас с холодной отстраненностью, ненавязчиво напоминая о столичном статусе обладателя. Порядочным снобом пиджак оказался. Всё сидела с гостем хозяйка дачи и рассказывала о чём-то долго, и взглядывала вопросительно. Гость наклонялся и покачивал, и помахивал головой, то ли соглашаясь, то ли в неверии, и совершенно было непонятно, о чём у них речь. При этом критик рассеянно, но благосклонно озирался. И сад, и чайная беседка, всё здесь успокаивало и настраивало его на необычно благодушный лад. Он задумчиво накладывал в чай варенье и болтал ложечкой. Впрочем, помимо изысканных манер и прочего столичного лоска, критик был обладателем строгого ума и характера, и в определенных вопросах умел быть принципиальным. Черта эта, безусловно, была предметом его скромной гордости – подобно авторучке, она как будто высывалась из нагрудного кармана его пиджака.

Солнце уже зашло совсем, и свечи зажглись. Хозяйка теперь обучала гостя пасьянсу, без особо, впрочем, толку. То ли его интерес нынче витал в иных стратах, то ли рассеян он был выше обыкновенности и больше смотрел на руки, а на карты, напротив, как-то не смотрел, и из-за эдакой-то его рассеянности сделалась хозяйка несколько раздосадована. Сам я, надо сказать, до пасьянсов не большой любитель, только был и ещё с нами некто, проявлявший живой интерес к компании ли нашей, а может, к хозяйкиному пасьянсу. Луна, бледная и загадочная, прекрасная луна, она в этот день совсем близко нависла над самой беседкой, и чуть не чай пила с нами вместе. И так она тактично и деликатно участвовала в беседе, притом что нельзя сказать, чтоб кто-то из нас был с ней как-то особенно близко знаком, и мы все даже удивлялись. Никто из нас, – ни хозяйка дачи, ни критик, ни сам я – никто не замечал прежде со стороны луны такого вот расположения. И висела над плечом моим луна, и всё не уходила, только струила на беседку волшебный свой свет и изменяла свое лицо, и смотрела, вглядываясь в нашу компанию с особенным каким-то значением, на что-то надеясь, или, может, ожидая чего-то. Лицо её и бледнело, и мерцало, и переливалось, и было оно всё так же бледно, грустно и так же прекрасно, как и два года, и двадцать, и двадцать тысяч лет назад. Полагаю, что так же неотразима была она и гораздо ранее, в дни своей молодости, далёкие и блистательные, да беда в том, что в те давние времена нас с вами на свете не было, а кто лучше нас сможет оценить её красоту. Отчего так на нас смотрела луна, о чем печалилась? Может быть, луна сожалела о том, что безвозвратно проходит время, и ничего не вернуть – что ушло, что было, дарило надежды. Наверно, на месте луны, я бы, скорее всего, сожалел именно об этом, но кто я, и как могу быть на месте луны, на её высоком небесном месте. А может, луна грустила о другом, – что у каждого сада своя тайна, свой взлет, свое забвение, о том, что каждый сад это вход куда-то, какое-то начало или чей-то конец, чьё-то благословение или судьба. Потеря, любовь, грусть, дружба, предательство, нескончаемое жертвоприношение. На своем веку повидала луна ночи и над Эдемскими садами, и над Босфором, и ещё Бог знает над чем. В силу пережитого, видимо, были какие-то у неё основания на что-то рассчитывать и полагать о чем-то. Но на что, о чем, непонятно.

И действительно, чего от нас ожидать. Были мы пока ещё молоды, веселы и довольны, а также весьма оживлены – каждый, конечно, по-своему. И достаточно беспечно проводили мы этот вечер, а потом заспорили по вздорному поводу. А обсуждали как раз новую постановку под названием то ли Грёзы, то ли Сады, или что-то в этом роде, причем хозяйка больше веселилась, а я был сдержан. Но разгорячился чересчур критик, и был грозен, и дёргал с раздражением за узел галстука, при этом с азартом двигая другой рукою в доказательство исключительного превосходства своего мнения и безупречного хода своей мысли. И так-то замечательно в этом всё преуспел, что чай его за малым не был перевёрнут, а суждения его были таковы... да, впрочем, уж все знают наших критиков, не правда ли. Через короткое время спор исчерпал свой повод и надоел. Пили чай и просто болтали, о чём? о пустом, как обыкновенно. Так вечер ушёл. И прошёл другой день, а дальше, верите, и год целый. А потом что, а всё ничего, и после никто уж и не вспомнит без досады ни о Саде, ни об эликсире, ни об игре, ни о дороге, ни о высоких смыслах и целях, и ни о

чём таком эдаком. Всё утонет в забвении. Занятость наша, и ограниченность, и лень крутят нами и движут нас, и мы, верите ли, позволяем им. Ничему не удивляемся, ни о чём не вспоминаем, никогда, никогда. Как же так, спросите вы. Кто-нибудь, кто-то же должен вспомнить. Критик наш разве? Здесь, однако, выйдет закавыка, и вот какая: он нынче откомандирован – переместился в музыкальную шкатулку и там как-то слегка заплутал. Причём, зная, что левая нога его сильнее, он старался как раз забираться налево, хитроумно избегая, таким образом, петляния на правую сторону. Шкатулка была не глупа, и никак в этом не возражала. Таким образом двигается он пока в аккурат против часовой стрелки. А ещё обзавелся он деревянной головою, чтоб не отстать от остальных, к тому же в местных условиях с деревянной головой всё ж таки надёжнее, так объяснила шкатулка. Что же до предмета его профессии, по этой части он пока поостыл, не горит как бывало. Но не сказать, что все его таланты угасли всеу, и марширует, кстати, не хуже прочих. Вот только, говорят, руками машет уж чересчур. А может, наговаривают. Что хотите, люди есть люди.

И что же, вот так всё и закончилось?

Именно так обязательно спросит кто-то, когда наступит время эпилога и возникнет вот эта пауза. Совсе нет, с чего вы взяли. Совсем не закончилось, напротив, всё продолжается и будет продолжаться. Конечно, не обязательно вот так, даже почти наверное не так, а совсем-совсем по-другому – а как? Не знаю. Ну вот, самое честное слово, не знаю. А вы знаете? Вот видите, и вы не знаете. Ну, да это ничего, ничего. Давайте-ка, перевернём уже эту страницу, не век же нам на ней жить. А лучше мы посмотрим вокруг, поразмышляем. Смотрите-ка, опять у нас вечер, ну, почти что вечер. И снова солнце примеряется нырнуть в Залив и начать уже свой заплыв, который продолжится до самого утра. Это очень долго, такой заплыв, не всем он под силу, а солнце совершает его ежедневно. А вернее, еженощно, что, конечно, впечатляет ещё более. Хорошо, когда бы ясная погода. Но даже если погода не очень, солнце всё одно – ныряет, плывёт, выныривает, воспаряет. А вот, гляньте, уж и нет солнца, совсем ушло, пока мы болтали, и уже стал виден лунный лик, бледный и загадочный. На кого луна смотрит, на кого указывает взглядом. На вас? Ну конечно, она вас заметила, как вас не заметить. Луна вообще всё и всех замечает, такая она. А звёзды разгораются всё ярче, а ночь всё темнее. Видите, там три из них вытянулись в линию, это пояс Ориона – а кто-то скажет, это, э-э... Калейдоскоп. Да-да, тот самый, мы слегка, гм, немного того. Так, в процессе научного опыта, конечно же. Тот самый, который надо в лаборатории калибровать и настраивать, и вообще починять, как кто-то уже здесь сказал или потом только скажет. А вон кто-то там огромный, с серьгой и пиратским глазом смотрит на вас строго и головой качает, будто бы вас узнал и пеняет вам за, гм, калейдоскоп, хотя, по-справедливости, вы тут как бы и ни при чем. Это, как вы догадались, наш пират, и он всё, правильно, инспектирует – работа у него такая. А насчет вас, он, конечно, ошибся. Кстати, пират этот, который инспектор, он не из звёзд вовсе сделан. Звёзды-то пошиты из серебристого звёздного материала и подвешены в небе на крючках. Они настоящие, а он, видите ли, придуманный. Поэтому он тает и исчезает – улетает, улетает, и совсем уже улетел. По вас вижу, намаялись вы сегодня. Как солнцу, нырнувшему в Залив, вам тоже пора бы уже покинуть, завершить этот день. Пока вы на луну всё глядели, такую яркую, такую прекрасную, глаза ваши как-то покраснели, притомились, и вы тоже вроде как улетаете, и всё у вас исчезает. Останется дорога, уготовленная судьбой ли, сном ли вашим, и много чего ещё. И учёный филин, и Лукоморье, и русалки на ветвах.

Сергей ТРАФЕДЛЮК

СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ СТИХИ

Вчера услышал на улице: *Это застывший дождь*

Сегодня услышал на улице: *Огонь капает, как вода*

Слава богу, я
повторимый человек

Когда материя
начнёт сворачиваться в спираль
перед концом света

всё же отправлю
показания электросчётчика
за истекший месяц

Мало ли

Горлицы вибрируют
как телефоны

Серебряной пыли
в телах акаций
ты недоступен

Призраки ночи
босые, с помятыми лицами
исчезают с рассветом

Лето начнётся –
но только завтра

Сергей Трафедлюк родился (1986) и живет в Севастополе. Окончил филологический факультет Черноморского филиала МГУ им. Ломоносова. Публиковался в журналах «Волга», «Знамя», «Сибирские огни», TextOnly, «Полутона», «Дактиль» и др.

А пока ещё
девять с чем-то
прошлая эра
и все друг друга
помнят

Нет ничего лучше
чем пройти быстрым шагом
по Новороссийской
прохладным вечером
в последние дни мая

Кажется
ты точно знаешь
чем закончится
улица –

и чаще всего
(почти, почти всегда)
она заканчивается
именно
этим

Однажды русалка
с золотыми глазами
и грешными губами
произнесла заклинание

и я увидел
на дне океана
аквариум
полный знакомых рыб

Мне понравились
прозрачность
и проницаемость
стенок

видимая только мне
защита

Завтра я прикоснусь
к ней

в 12564 день
от сотворения
стекла

Нейросети сгенерировали нейросеть, способную генерировать нейросеть, которая может сгенерировать любой инструмент для генерации абсолютно всего

Эта новость сгенерирована нейросетью
моего сна

Получается, мной? И я могу пролистать и забыть? Или отменить генерацию новостей? нейросетей? абсолютно всего?

Выхожу после ливня
а парк весь зарос

Просвирник
лиловый
всюду

Этим летом
дети гораздо чаще
пишут цветными мелками
на плитках

Гоголь краш

Кто дойдёт до конца
тот мелстрой и сигма

Света, выходи гулять
жду в парке у фонтана

Будущие повстанцы
возрождают наскальную переписку
пока в нейронной утробе
вызревает
мёртвый интернет

Жар выжжет
колоски изнутри
превратив их в застывшие
столбики пыли

И когда газонокосильщик
едва касается их
усталыми лезвиями
последняя взрослость рассыпается
и золочёная взвесь
вздывается над землёй
окутывая стволы
так что даже лучам не видно
что там под ногами –

что там росло, наливалось соками всю весну, что тянулось к
свету, что упёрлось в предел роста, что не пробило плотность августа

На языке шершаво от трухи

На языке вертятся воспоминания
но слова выжжены изнутри

Держитесь! Держитесь! –
повторяет кондуктор
с кучерявой рыжиной
и аутичной полнотой
всезнания

Мы заходим в троллейбус
и перемещаемся в троллейбусе
исключительно
во избежание падения

Держитесь! Держитесь!
Вам на следующей выходить
Хорошего дня

Мы выходим наружу
в совершенстве незнания
где мы и куда попали –

но продолжаем держаться
за поручень
(хотя поручня нет)

продолжаем принимать
напутствие
с иного конца спектра

продолжаем верить в то
что день и правда
хороший

*Взять из воздуха
и доброты друзей
тысячу гривен –*

*забрать из зоомагазина
геккона
с кожей мягкой, как губка
и голубой*

Из-под слоя старых
объявлений
выглянул обрывок
мечты –
не моей

ничьей

бродячей

Старуха
бредёт наобум
в сетчатом камуфляжном костюме
одна рука не попала в рукав
и висит бесприютно

Маскируется
но от кого, от чего?

(Версии три
и все – неверны)

От смерти?
Она слишком близко, уже не укрыться

От жизни?
Она не отпустит, проникла под кожу

Так что же ищет
потерянный взгляд?

Убежище от себя

Ночью соцветия юкк
белеют коконами

А раньше повсюду
искрился испанский дрок

Привилегия аборигена –
первым увидеть
как будущее вылупляется

и глядит
сквозь
твои глаза

ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ СКУФА

Рассказ

Они встретятся у метро. Красивая, она сразу ему улыбнется. Он, конечно, тоже улыбнется. Наверно, они улыбнутся одновременно. У нее свой спортивный велик, у него – потрепанный шеринговый. Ей нет еще 30, ему – уже за 40.

А как вообще разговаривать, когда едешь с кем-то на великах? И как понять, кому ехать впереди, а кому сзади?

Накануне он думал о том, во что она оденется. Даже придумал шутку, он скажет ей: «Слава богу, ты не в комбинезоне». Когда они общались пару лет назад, ее полосатый комбинезон сводил его с ума.

Он со своим нищевородским велом и она на своем модном спортивном, вместе они, наверно, будут смотреться как дворовый пес и породистая гончая.

Уже было решено ехать в Озерки. Он думал о том месте, куда можно заехать через узкий проезд и выехать на небольшой пляж. Там можно покурить и о чем-нибудь поболтать, и посмеяться. Нужно купить сигареты... В крайнем случае одолжит у нее вейп. Интересно, она еще дымит?

Зачем ему нужна была эта встреча, понятно, но зачем она была ей? Она могла бы встретиться с кем угодно или вообще ни с кем не встречаться. Они были просто коллеги. Хорошо, когда есть коллега, с которым можно выпустить пар, обматерить кого-нибудь из менеджеров или заказчиков, просто вместе поугорать.

Они познакомились поближе на корпоративе, и тогда он мог бы пойти дальше, но то ли решил впечатлить ее тем, что не стал напрашиваться к ней в номер, то ли просто испугался. А потом, уже после корпоратива, они больше не встречались. Хотя и собирались встретиться очень долго, чтобы выпить пива. А потом он на нее обиделся. Сначала из-за того, что она предпочла сверхурочную работу их встрече, а потом... А потом он привез ей из дома книгу стихов Моррисона. Моррисон когда-то был его кумиром, а она как-то сказала, что Doors – ее любимая группа... А она не поняла этот жест, зачем ей вообще эта книга. Может быть, есть какая-то другая группа Doors, современная?

А потом она вышла замуж за другого коллегу. И он почти перестал о ней думать. Общались изредка только по работе... И он вроде бы уже отошел и простил ее, и вот они уже опять иногда угорали один на один в рабочем чате.

А потом она развелась. Интересно было почему. Это уже был ее второй развод.

Очень часто ему казалось, что она намекает ему на секс. Очень тонко, конечно. Многоочия... Слово «секс» в значении «классно». Разговоры про daddy issues... Возможно, у нее просто такой стиль общения. И вот он наконец-то решился позвать ее на кофе. И она ответила ему: «Ну, если только на кофе». Ошибся? Просто троллила его? Но в тот же день она написала, что может прямо сегодня. А он сегодня не мог и предложил ей покататься на великах в Озерках в выходные. Там красиво.

Алексей Леонтьев родился в 1981 году в Новгороде. Окончил факультет лингвистики Новгородского государственного университета. Публиковался в журнале «Воздух», сетевом журнале TextOnly, на сайте vavilon.ru (проект «Современная малая проза»). Живет в Санкт-Петербурге.

Он думал о том, будут ли они целоваться. Может, под тем мостом? Нет, наверно, там может вонять. Достаточно будет того, что вонять будет от него... И еще он почему-то придумал спросить у нее, можно ли ее понюхать. И, когда она ему разрешит, он понюхает ее шею. Интересно, чем она будет пахнуть.

Они встретились у торгового центра, через перекресток от метро. Она не улыбнулась, и вообще у нее был слегка встревоженный или даже недовольный фейс. Возможно, это из-за того, что он не круто оделся: обычная футболка и джинсы. Футболка чуть вытянутая, подмышки уже потные. Наверно, она представляла его себе немного другим, все-таки в последний раз живую они виделись пару лет назад.

Они просто покатались на великах... И, да, разговаривать было не очень удобно, и, хотя они ехали спокойно, было ощущение небольшой спешки. Они разговаривали, но какими-то урывками, постоянно нужно было сторониться проезжающих мимо машин. У него сильно сохло во рту и нужно было мониторить телефон: жена уехала с сыном к зубному, а он ей не сказал, что поедет кататься. В целом у него было максимум часа три велопрогулки. Время летело быстро, а он не успел купить сигареты, и, в общем-то, повода надолго останавливаться и делать привал не было. Ему казалось, что она стесняется общаться с ним без великов, велик как буфер.

У Шуваловского кладбища, там, где проклятый дом, как он сам его называл, они встретили ежика. Она сказала, что она Белоснежка в этом плане – притягивает к себе животных... Проход под тем мостом был затоплен... Пришлось переползать через железку наверху. По другую сторону все сильно заросло бурьяном, и он пошутил, что в таком месте есть большая вероятность наткнуться на труп. Она как-то смешно пошутила в ответ, а он потом не мог вспомнить, как именно она пошутила. Еще там был пруд или заводь, с вайбами пруда, в котором утопилась Офелия. Над прудом была железобетонная балка, и он между делом предложил ей посидеть на ней, поболтать ногами. Но не стал настаивать...

Когда он сказал, что ему пора домой, она, кажется, немного расстроилась. И, конечно же, он не понюхал ее. Они расстались на перекрестке дорожек в Удельном парке, он проводил ее взглядом, а она даже не обернулась. Он поехал в горку к метро, чтобы припарковать велик. Там же он купил цветы для жены, чтобы сгладить ее ожидаемое недовольство.

– А это у вас живые цветы?

– Живые-живые, вот, видите, в водичке стоят. Я вам его в пакет поставлю...

Он шел домой с букетом дачных цветов и чувствовал себя как дурак: что если бы она его сейчас увидела? Пять минут назад их вместе обдувал один и тот же ветерок, а теперь он идет с цветами к жене...

Жена оценила букет и сказала что-то в том духе, что наконец-то он научился понимать, когда нужно дарить женщине цветы.

«Хорошо, что не получилось. Теперь гештальт между нами закрыт», – думал он. – «Ни мне, ни ей это не надо. Ничего хорошего из этого не выйдет. Так будет лучше для нее».

Гуляя тем же вечером свою обычную прогулку по парку рядом с домом, он вспомнил один мотивчик: «Лишь бродячий скуф, лишь осенний скуф, лишь кленовый лист», – он слегка переделал слова... Когда он проходил мимо дуба, рядом с ним упал желудь с неожиданно громким стуком. Наверно, больно будет, если упадет прямо на голову.

МЕРЦАТЕЛЬНАЯ ТОПОГРАФИЯ ИЛИСТОГО ВОДОЕМА КАМБОЛИ

Мерцательная топография илистого водоема Камболи

От крайнего западного, плоскобережного конца
илистого водоема Камболи противоположная его оконечность
отличается широтным простиранием
с тенденцией отклоняться на северо-восток.

В этой, образующей озеровидное расширение, части
илистый водоем Камболи приобретает
еще более выраженный лагунный характер,
а береговая линия,
меняясь на протяжении года
в зависимости от подъема или спада воды,
становится, по-видимому, еще более неопределенной –

пока вся осциллирующая мерцательная топография,
в нескончаемом разнообразии очертаний и контуров
и пространственной диффузии понятий,
сопровождаемой крушением их границ,
не бывает преодолена
знойным маревом августа: чем-нибудь вроде бреда,
в который впадают сжигаемые жаром сильнейшей лихорадки
и подобно тому, как амфибии или рыбы
впадают в род спячки, зарываясь в глубокий ил,
а растения либо теряют листву, либо впадают
в продолжительную летаргию колючелистных.

Если верно, что любая
составляющая принадлежность одиночества местность
есть лишь модификация другой местности,
то верно также и то,
что из местности в местность один человек, порождая другого
и не переставая быть склонным к одиночеству,
сочетает в себе величайших Других,
оставаясь собой:

Юрий Гудумак родился в молдавском селе Яблona в 1964 году. Окончил геолого-географический факультет Одесского университета, работал в Институте экологии и географии Академии наук Молдавии. Автор восьми поэтических книг. Лауреат премии Союза писателей Молдовы (2012). Стихи публиковались в изданиях «Новое литературное обозрение», TextOnly, «Воздух», «Цирк "Олимп" + TV», «L5», «Флаги», «Волга», «Новая Юность», «Новый Берег», «Литература», «Артикуляция», и мн. др., переводились на английский и румынский языки.

будь то лилово-розовые
обрамления Стугарии* (*иней),
высокое плоскоместье Кирпицы* (*ветер), наветренный
склон Дождливой* (*дождь)... – но с этим покончено,
...солончаковая пыль водоема Камболи*
(*солнечное гало).

В этой части
в жарчайшую пору года
Камболи выглядит как затянутая илом лагуна,
заросшая чахлыми, низкорослыми кустиками травы, –
оставляющая у нас впечатление
плоской и некрасивой местности
и способствующая, кажется, только действию
горизонтальной рефракции, производящему род миража.
В масштабе ста сажен в английском дюйме оно дает:
смещение климатических зон, взаимоналожение
ботанических областей и перекрещивание
зоологических провинций –

походящие на солончаковые астры
изображения звезд на небесных глобусах...
в перламутровой бездне сумерек, в которых они обрастают
известковым панцирем иглокожих.

Контурно обозначить это

Это до сих пор
лучшая форма чистого развертывания протяженности,
чаще связанного с весенней порой –
временем рождения цикад
и обновления растительности,
от которого до нас дошли лучезарная неподвижность
и застывшая угрюмость хорошей погоды,
помещающие нас туда, где мы есть,
и торжественно исключают из общества,
совершая над нами погребальные обряды.

Палящий зной, лучезарная неподвижность,
застывшая угрюмость хорошей погоды:
что холод зимой, что ветра и дожди весной,
они делают это лучше,
чем тысячеверстное сверхбилие неба,
чем присущий миру феномен расстояния,
и лишь немногим из нас дают время состариться, превращая
в этнографическую окаменелость.

О таких говорят:

вот человек, высохший
подобно илистому водоему Камболи,

напоминающему по форме полуувядший трилистник,
большая ось которого тянется с востока на запад
на четверть... на две... на три четверти мили,
когда ручей, напоив, сжеживает его и трилистник, усыхая,
кажется вдруг желтеющим и его изменившийся цвет
легко принять за осеннюю окраску;

человек твердый и непреклонный,
как безлиственные, прирастающие на кубик,
сростки соли на мертвом пучке полыни;

как один человек с уединенностью этих мест, каковой,
не претерпевая, так сказать, изменения местоположения,
скорее выгадает, чем потеряет, выкристаллизовываясь,
как есть, в солончаковый мираж –

двоящее зеркало водоема Камболи
из горизонтально напластованной
и иногда окрашенной в пепельно-голубой /
серовато-лазурный цвет спекшейся глины,
в порах которой отложилась кристаллами соль –
сухой мелкий иглистый иней
другого времени года.

Для этого я
закрываю глаза, затыкаю уши,
прикусываю язык, падаю навзничь, лишаясь чувств.
Остатками чувств, обращающих меня в периферию себя,
я опрокинут в горизонт.
Не то чтобы горизонт обеспечивает
уход пространства за пределы чувственных данных,
но призван контурно обозначить это.

К отрицающей весь спектр белизне: инкрустации

По свойству соли впитывать в себя влажность
солончак, в сухую погоду привычно белый,
перед дождем сыреет и оттого темнеет.
Но то, что именуется его темнотой,
в действительности есть только преломление
и сообразно тому, как распределяются дождь и ведро,
образует белый / пепельно-голубой / серовато-лазурный цвет
посредством всевозможных мелких внутренних зеркал.
Ничто не препятствует до сих пор тому,
чтобы, заранее узнавая
о будущем состоянии погоды – по ломоте ли, колотью,
найти солончак состоящим из слез.

Вытянутые
узкими полосами и пятнами

соляные инкрустации –
не что иное, как древняя речная терраса
текущего сейчас в гораздо более низких берегах
небольшого ключика.

Русло ключика пересохло,
и потому само вполне можно назвать солончаковым.
Изогнувшись немного к востоку, оно поворачивает на юг
и делает вид, что впадает в Камболи,
похожий в этой части и в эту пору
на днище высохшей лужи –
растрескавшийся на многоугольники
или истоптанный и вытравленный скотом
спекшийся ил.

Прирастающие на кубик
сростки соли
в кристаллических выцветках галофитов;
в отпечатках капель дождя на поверхности пылеватых текстур,
подпираемых пестроокрашенной толщей
расланцованных горизонтов;
в суффозионных просадочных формах,
имеющих характер глинистого псевдокарста
и обнажающих костеносные отложения древних кладбищ.

...В отпрепарированных выветриванием ребрах предков
с пористой птичьей костью поэтов – «существ
крылатых» старых гетских легенд,
спрятанных под мифами
римского слоя населения.

К отрицающей весь спектр белизне,
бывает, приходишь раньше,
чем по мановению бога зимы:
близкое к ящерке водное не-растение, струимое
не столько падением местности, сколько зноем,
превращается в сухопутное не-животное,
бегущее лихорадки, трясы,
как ручей, впадающий в солончак.

Мертвый хватает живого

Различным состояниям
нашего организма, от чего бы они ни зависели –
от состава крови, от особенностей нервной системы,
от особенного соотношения нервной системы
с другими системами организма,
соответствует постоянный причинный фон,
исходя из которого не то чтобы мертвый хватал живого,
но благодаря которому глубоко укоренившееся прошлое
пережило в нас само себя.

Что ареал рассеяния
обоюдоострой секиры или оперенной стрелы,
что ареал распространения сохи или плуга,
что область бытования обычаев
сплющивания черепов или счета десятками,
мы находим здесь сколь угодно много чересполосных владений,
в которых невозможно разобраться.

Первая аппроксимация –
увещевания / слёзы живописных красот
холодного времени года.

И мы говорим
о нашей типичной для здешней розы ветров
спазматической конституции, о мышечном ревматизме,
о нашей сезонной предрасположенности к поэтическому восторгу,
о ее оборотной стороне, наследственной, одобренной
изрядной долей северной меланхолии,
и стараемся не расплескать ту же жидкость,
покрывающую глаза.

Транспонированный
в терминах картографического кода тип иммунной системы
мог бы выглядеть так: как солнцелотатель-гыртоп
с тремя денудационными языками,
обращенными на восток...
Или, ближе к осени, –
как илистый водоем Камболи –
вариант того же понятия, очертания которого,
как границы понятия, меняются в зависимости от успеха
в сражениях со множеством жизней:

не иначе,
если не так, выкристаллизовываясь,
ближе к осени, мертвой, рассыпающейся в прах,
полувыветрившейся коркой солончака,
далеко вдающейся в озеро,
образуя тупой мыс.

Наше определение лилии медицины

Наше определение
лилии медицины как розы ветров
лишь иначе обозначает формальное структурирование,
изоморфное картографическому дискурсу.

Иное расчленение материала
и, соответственно, иное его освещение.
Как это делается рельефом и солнцем.

Оно-то и представляет собой
некоторый местный фактор,
до известной степени
нейтрализующий действие вредных стихий,
особенно буйствующих на стыке сезонов при переходе к лету –
изменяясь, непрерывно перемещаясь и, так сказать,
перекрещиваясь под влиянием атмосферных токов,
течений, флюидов и метеоров.

Десяток симптомов,
принадлежащих нескольким болезням сразу.
И лишь из их сочетания получается специфический*
(*штриховка / крапчатый / страусиные лапки)
маркер смены времен года:
нежеланное, правда,
но зато верное предостережение
о приближающихся опасностях, которые угрожают здоровью:
модальность времени, чтобы ослабить тех,
кого не в состоянии было убить.

Если бы не антисептик-свет
в кварцевых блестках сахарского радужника-песка
и причудливая роза ветров, когда она инвертирует себя
в ее восточную половину, болезненно неотделимую – да? –
от нашего тела.

И мы говорим:
что не закончил ледящий ветер,
то довершит иссушающая жара.

Экватор летнего солнцестояния

«Я» – не литературный прием,
хотя смерть – пустая грамматическая категория.
Означает то же, что возвещает:
практику
погребения нас в несколько этапов –
тот, на котором мы все еще продолжаем говорить.

Одержимость данным типом бреда,
плюс, разумеется,
склад ума, порождаемый держащей нас
мертвой хваткой конфигурацией местностей,
можно вычислить как ее функцию –
держащей нас мертвой хваткой конфигурации местностей,
способствующей обретению телесных координат,
которое тут же
заканчивается их крушением:

от горячек простудных и катаральных
к горячкам гастрическим и чумным
она указывает на незначительно изменяющийся
в заведомо правильном соответствии с переменной времен года
коэффициент реальности по отношению
к остальному миру.

Это как непрерывный ряд
социальных литературоцентричных смертей,
мало идущих в счет, если дело касается какого-то там числа
пульсаций молекулы, колеблющейся с частотой,
необходимой для желтого цвета натрия
и распада «Я» до его органического основания
как скалярной надстройки – до просто векторной формы,
обнаруживающей – да? –
повадки неживой материи.

Пол-облачка перламутровых испарений
пересекло экватор летнего солнцестояния и не воспламенилось.
Но – действуя на тело, как вода – на негашеную известь:
развивая тепло / вызывая жар.

Полуувядший трилистник илистого водоема Камболи: инвертированная роза ветров

Дело, кажется, ясно,
но не беспрекословно.
Наукообразная векторная
диаграмма розы ветров, длины лучей которой,
расходящихся от центра в разных направлениях,
пропорциональны повторяемости ветров этих направлений,
фактически повторяет старый селитебный контур.
Но теперь он из ромбовидного переписывается
в форму неправильного многоугольного трапецоида,
продольная ось которого тянется в пустыню,
не имеющую названия.

От весенних бурь периода равноденствия –
к шестому дню летнего солнцестояния, ко второму –
вступления в пояс безветрия.
И геометрические свойства ее,
центрифольной* (*столепестной),
инвертируются в полуувядший трилистник.

То ли это иссера-голубая дымка – дым выгорающей травы,
то ли зеркальный слой струящихся испарений,
в котором отражается небо.

Иногда же двусложная графическая система,
безымянная и без точной даты,

напоминает фрагмент карты, дублирующей очертания уже упомянутой местности, – тогда обманчивое зрелище серебристо-матовой глади озера позволяет предположить, что на холмах и по берегам водоема Камболи обитало более постоянное население, нежели я* (*или ты).

Весь этот сплошной массив освоенной территории, созданный глиномесами саманных краев, землепашцами древних паров и прогалин, пастухами многоблеющих козлич, составляет ткань относительно прерывисто населенной Яблони: на каждом из ее трех холмов – по кладбищу. Что еще и позволяет говорить в каком-то смысле о трех Яблонах.

Такое их расселение, никакое другое и к западу от Камболи, восточный, противоположный берег которого круто, несколькими ступенями, поднимается в наветренный склон громадного кругловерхого холма, в виду которого мы все время находимся* (*и из которого-де хоть и нельзя извлечь стройной системы генеалогических связей, зато четких географических координат – вполне), такое их расселение должно обеспечить – не численно, так логически – обусловленность, в некотором смысле, того, что обозначают понятием, или идеей, местного, что ли, родства, те же связи с предками или даже свойственные им деяния и переживания, блуждания и болезни.

Наветренный склон громадного кругловерхого холма, в виду которого мы все время находимся, – по новейшей топонимике, все еще та Дождливая, которую делает видимой дождь.

Предполагая это, – насколько же более это так, – мы будем находиться ближе к истине, чем объясняя дело иначе:

мы уже знаем, что, когда ручей, напоив, сцеживает его, трилистник, усыхая, кажется вдруг желтеющим

и его изменившийся цвет
легко принять за осеннюю окраску.

У солнцегляда уже сейчас едкий сок меланхолии,
у горькой полыни – присущий ей цвет: седой.

У солнцегляда уже сейчас едкий сок меланхолии

У солнцегляда
уже сейчас едкий сок меланхолии,
и от раздражающей едкости этой жидкости
прорастают его бессонницы.
Один сплошной фотопериод летнего солнцестояния
без какой бы то ни было реальной периодизации
или хотя бы аллюзии на смену дня и ночи
и перепады освещения.

Скорость света, изменяясь
в направлении бесконечно возрастающей
медленности продолжительностью в шесть недель,
превращает данные зрения в данные осязания.
Хорошо известные, присущие солнцегляду, свойства гелиотропа –
в свойства вроде гравитропных или даже тигмо-
И жизнь* (*а не только холод, голод или болезнь)
принимается за материальный объект,
который может отделяться от тела, точно так же,
как блеск солнца принимается за материальный объект,
который солнце может возложить на себя
или отбросить.

Простейший опыт.
И он учит нас, что у перцепции нет объекта.
Что всякая перцепция, следовательно, галлюциаторна.
Но – как тело, модифицирующее наше тело:
но – как первое, которое только видимость
и абстрактный эффект второго:
и смещает центр референции

в сторону огневицы,
иссушающей жилы и корчащей члены;

в местность-морок бритых бровей,
паленых ресниц, глубоко посаженных глаз;

к договорам, скрепленным кровью,
между телом и [чисто]телом, с трансфузией красного
в оранжево-желтое – осеннюю новую горечь,
выпариваемую солнцем из трав.

Критическая точка события: тысячелистник холмовой

Что тут еще сказать,
кроме того, что листья растения, едва распутившись,
заворачиваются от действия палящих солнечных лучей,
как заворачиваются листы писчей бумаги,
брошенные на горячие уголья?

Только то,
что в обоих случаях конвергентная серия искривлений
зависит от движения испаряющихся частиц влаги,
иные из которых нагреваются так,
что приобретают движение,
какое присуще огню;

что растение пересекает
экватор летнего солнцестояния и, подобно предмету,
перенесенному из одной точки в другую, где температура иная,
приходит в состояние теплового равновесия
с новой средой:

порождает в себе температуру горения,
доводит до этой температуры*
(*критической точки события) ближайšie тела,
вовлекает их в процесс, ассимилирует их,
растет, ширится и распространяется.

Стебель тысячелистника –
как продолжение дымчатых струек;
геометрические свойства его душистой молекулы –
как фармацевтическая атака тысячелистникова
мелко вырезанного листа.

То, что в знойном мареве августа свет солнца
заменяется желтым светом пламени натрия,
следует допустить уже в силу
общих соображений вероятности:

зеленый цвет растения переходит в бурый,
а отклонение от среднего между изменившим цвет
растительным телом и опаленным огнем животным,
между зеленым хлорофиллом и красным гемоглобином,
минимально или даже – насколько же более это так –
для каждой точки равно нулю.

Владимир МОРОЗОВ

ЛЕГКИЙ СВЕТ

Начиная страну не с начала,
Тут пространство совсем ни при чём,
Потеряться в толпе у вокзала,
Под холодным осенним дождем.

Обретенье бессмысленной жизни
И слоистых небес синева...
Горький воздух забытой Отчизны.
Начинает болеть голова.

Свет зелёный, тяжелый, застывший,
Тишины, покаяния свет...
Пахнет сыростью, яблоком, вишней.
Все никак не начнётся рассвет.

На расколотой земле
Опрокинутой планеты
Попадают в золе
Непонятные предметы.

Листья мокнут под дождём.
Мы ни в чем не виноваты:
Мы недавно здесь живём –
Три рассвета, два заката.

Мы пришли издалека,
И надеюсь, что надолго.
Раньше здесь текла река...
– Волга, кажется?..
– Да, Волга...

Владимир Морозов родился в 1958 году в Якутии. В 1980 году закончил геологический факультет Саратовского государственного университета. Публиковался с 1985 года в журналах «Литературная Грузия», «Новый журнал», «Волга», «Последний экземпляр», «Формаслов». Автор книг стихотворений «Холодный воздух» (Саратов: Контрапункт, 1998), «По дороге к декабрю» (Саратов: Музыка и быт, 2018) и «Любимые птицы предместий» (Саратов: Музыка и быт, 2023). В России жил в Саратове и Санкт-Петербурге. С мая 2022 года живёт в г. Остин (Техас, США). Предыдущая публикация в «Волге» – стихи, 2024, № 11-12.

Грибы на островах в то лето собирали,
Я помню тихий скрип уключин над водой...
– Наверно, жизнь прошла...
– Ты думаешь?
– Едва ли
Мы вновь вернёмся в тот предутренний покой,

Где стелется туман в таинственных протоках,
Где ирисы цветут – прибрежные цветы,
Оставшись навсегда в тех зарослях высоких
Полетом стаи птиц, движением воды:

Неяркие огни плывут над островами
Сгорая на лету – как будто невзначай...
Расстаться навсегда с ненужными словами,
И на рассвете пить остывший чёрный чай.

Лета ветхие подмости –
Наши тихие места.
Запах тленья и извёстки.
Где-то капает вода.

Сон томительный под утро,
Будто надо продавать
Серьги, брошь из перламутра,
Деревянную кровать.

Звуки странные на даче,
Веток скрип и ветра вой,
Возле двери тихо плачет
Огорченный домовой.

Тихий шорох листопада
Слышен с четырёх сторон...
Позвонить кому-то надо –
Разрядился телефон.

В доме пахнет блинами, и даже собака довольна,
Что наладилась жизнь накануне осенних дождей.
Дует ветер весь день, и листья облетающей волны
Застилают траву. И становится небо светлей.

Я готовлю еду, и тем самым желаю удачи
Обитателям ближних домов, потому что они
Закрывают на зиму свои деревянные дачи –
Значит скоро наступят холодные зимние дни.

Сколько ждать нам ещё? – Может быть три-четыре недели,
Может жизнь напролёт... Жгут соседи костры с трёх сторон.
Золотые сады разоренных врагами империй
Нам достались в наследство от некогда славных времён.

Этот мир, его радость, его безутешное горе,
Охраняется кем-то, хоть верится в это с трудом -
На тяжелой ладони его голубых плоскогорий
Предзакатное солнце свернулось ленивым ужом.

Значит, время прощаться... Ну что ж, я прощаюсь, прощаю –
Будет ветер осенний скитаться по дачам пустым,
Будут плыть облака в небе, цвета остывшего чая,
Словно ангелов крылья пятнает взлетающий дым...

Тихий привет уходящего лета,
Листьев опавших звенящая грусть.
Воздух застывший янтарного цвета.
Время уходит – ну что ж, ну и пусть.

Жарится хлеб на простой сковородке.
В кронах деревьев цикады не спят.
Жизнь была длинной, а стала короткой...
Мы никогда не вернёмся назад.

Ночь осторожно бредет по дороге
И выключает вдоль улицы свет,
Словно небрежно роняет под ноги
Чёрные жёлуди прожитых лет.

Вот и последняя лампа погасла,
Чередование света и тьмы...
Жизнь продолжается. Жизнь не напрасна.
Мы не вернёмся, и кто это – мы?

Осень охает дряхлым трамваем,
Пробираясь вдоль парка впотьмах.

Старым золотом наших окраин
Зарешечены окна в домах.

Жизнь порой преподносит сюрпризы
В виде старости или дождя,
Что под вечер стучит по карнизу,
А под утро уходит, грустя.

И звёзды остывающей пламя,
Отражаясь в холодной воде,
Затихает в потёмках над нами,
Чтоб исчезнуть в ночной темноте.

Снадобья и снедь
После карнавала
Гонит листьев медь
Ветер вдоль квартала.

Листьев хоровод
Словно птичья стая
Застит небосвод
Мимо пролетая.

На краю земли
Жизнь свою оплакав
Стынут корабли
Без огней и флагов.

Листьев перезвон
В небе птичья стая
Медь иных времён
Глохнет затихая.

Ночной гость

Твоих объятий ледяная мгла,
Подруга осень, вновь меня тревожит,
Как будто от заката до утра
Последний лист воспоминаний прожит.

Сон сносит тени прожитых годов
Волной полузабытых ожиданий,
Как будто стены старых городов,
Уже почти лишенных очертаний.

В окно на край накрытого стола
Своей янтарной тускло смотрит полночь,
А вот другая помощь не пришла,
Никто не хочет к нам прийти на помощь.

...Потом мы снова выпили вина
И разговор зашёл уже о боге,
Но не о том, чья тень в саду видна,
А о другом - идущем по дороге,

Как будто лёгкий, лёгкий, лёгкий свет
На мостовую падает красиво...
– Ты остаёшься?
– Нет, пожалуй, нет...
– Ну нет – так нет, что ж, и на том спасибо!

Андрей ЛАДОГА

ЛЮБВИ НЕ ХВАТИТ НА ВСЕХ (Похоронная гитара В. А. Шукишина)

Рассказ

– ...в начале были бабы, – закончил я, – голые.

Марго посмотрела на меня сердито, даже гневно:

– Ты вообще можешь что-нибудь воспринимать в этой жизни, кроме голых баб?!

– Да, многое могу. Не могу об этом говорить. Тошнит...

– Чёрт!.. – Марго в сердцах махнула рукой и отошла от меня на два шага. Потом подумала и отшагнула и вовсе к «Одинокой березе», холст, масло, художник А.В. Пискунов-Четвертый. На табличке значилось именно это: «Четвертый».

А я так и остался стоять рядом с «Купальщицей на берегу», холст, масло, художник А.Б. Иноков. Рельефные бедра, дражайшая грудь, разноцветные – зелено-голубые – глаза прибрежной купальщицы в преувеличенно натуральную величину. «Что, – думаю, – плохого?»

– Буфет тут есть? – спросил я. – Бар? Столовая? Харчевня? Ресторация?

Марго ничего не ответила, сосредоточенно и одновременно рассеянно, она разглядывала брезу на холсте, обе были демонстративно одиноки.

Подумалось с тоской, зачем я сюда поехал, на эту выставку художников-аборигенов? Очередное дежурное «мероприятие» в рамках телевизионного фестиваля в небольшом нефтеносном городке, в двух шагах от нашей гостиницы «Четыре Зимы».

Тут мимо нас с Марго прошёл, чуть пошатываясь, режиссёр Немых. Я ощутил запах и понял, да, буфет есть. Пивных, Спиртных, привычно додумались сами собой псевдонимы режиссера Немых – Винных, Косых... Как-то раз нас с Немых, который был за рулем, остановил дорожный инспектор полиции.

– Я не совсем Христос, – внезапно открылся инспектору раздосадованный Немых, – и моей любви не хватит на всех.

– Не Христос? – С каменным лицом офицер полиции изучал документы режиссера, – а как же тогда ваша фамилия?

В том «марсианском» диалоге меня поразили слова: «не совсем» и «а как же тогда?».

Перед поездкой на фестиваль Немых позвонил мне и сообщил о том, что в «разбомбленном ремонтом» сортире погас свет, и это не лампочка, это что-то серьезное с проводкой. И теперь, до послезавтрашнего прихода мастера – у электриков какой-то праздник – Немых посещает сортир, надевая на голову «шахтерский фонарь монтажника». «Это так таинственно!» Но жена предпочитает ходить в туалет со свечой, «так романтичнее!». Я посоветовал Немых, кроме фонарика, надевать светоотражающий жилет. Немых озабоченно пообещал...

Андрей Ладога – сценарист, режиссер. Закончил архитектурно-художественную академию. Автор четырех книг прозы. Рассказы публиковались в журналах «Волга», «Дружба народов», *Ното Legens*, «Этажи», «Новый континент» (Чикаго, США), «Южная Звезда», «5 Республика» (Париж, Франция), «Кольцо А», «Новая литература», «SOZDAY» (Алматы, Казахстан) и др. Живет и работает в Москве.

– ...Ты идешь? Я хочу горячий кофе!

Марго, опустив длинные ресницы, помолчала, выждав положенное...

– Иду.

– Пошли. А то режиссер Немых, уже побывавший в буфете, это серьезно!

– Нам всё оставили, – сказала Марго. – Даже кофе твой пижонский, по-королевски. Я всех предупредила...

– О том, что мы придем?

– И о том, что бар посетит режиссёр Немых...

Мы прошли мимо портрета Александра Пушкина. Поэт, по всей видимости, давно нашедший не только кружку, но и бутылку, раздаивался неадекватно весёлой старушкой со щербатой улыбкой до иссохших, уже мёртвых ушей. Вероятная няня национального гения, кроме кроличьего оскала, отличалась болезненно неуместными, паутинообразными бакенбардами. Возможно, именно эта деталь по остроумному замыслу художника роднила Арину Родионовну с её великовозрастным воспитанником. Ощущение складывалось такое, будто все, включая автора таинственного полотна «На троих», были «сильно пьяны». Но кто же третий? Зритель? Критик? Сам Мастер?.. Чудесная, во многом загадочная картина, холст, масло, художник Борщёв С.К. Очень своевременно, как раз перед буфетом...

Я замерз под кондиционерами на выставке умелых мастеров, и захотелось то ли выпить, то ли попить, то ли горячительного, то ли горячего. Изувеченный русский вопрос: что пить? Кофе? Коньяк?

За невменяемыми няней и её Сашей Пушкиным медленно проплыл многометровый портрет Льва Толстого абсолютного микеланджеловского размаха.

Главное, думал я, думал автор, передать масштаб личности через наглядный размер – три метра на восемь, холст, масло, художник Песцов Г.В.

Лысый Толстой был в косоворотке, при штанах и в бороде. Классик был в сапогах, которые можно было бы назвать так: «Чем выбросить... От барона Иеронима фон Мюнхгаузена». Лев Николаевич был задумчив и сосредоточен. А на дальнем плане, на фоне колючего проволочного кома леса жили-были маленькие деревенские дети без лиц, невзрачные пятнышки, размытые выцветшим вечерним светом осени...

Я вздрогнул, ознакомившись с неожиданным названием полотна: «Лев. Былые думы о школе». Школы, кстати, не было. Или она была, но за лесом. Видимо, были и думы, но, очевидно, уже в прошлом. Былые?

Вероятно, художник пытался охватить два космоса сразу: Льва Толстого и мыслителя-невидимку Александра Герцена...

Дальше, представилось по ходу, должен быть Н.В. Гоголь с гитлеровской чёлкой и семитским носом, как бы в несоединимом соединении, холст, масло. Но случился портрет Шукшина В.А., масло, холст. Работа художника с приятной обеденной фамилией Ковригин Г.Г.

Ковригин, просмаковал я, и вспомнил – через дефис – мастера Борщёва...

С неизменно босыми ногами В.А. Шукшин сидел на неудобно округлой родной земле. Шукшин сидел, обнимая траурную лаковую гитару, которая была как в руках, так и в ногах актерствующего писателя-режиссёра. Гитара липко блестела. На грифе гитары имел место алый бант, отчасти похожий размером на странный капустный кочан. Мертвящий взгляд Шукшина, как бы огибая раму картины, был направлен в мир всё еще живых.

Я вздохнул... Очень точное название у выставки: «Экспозиция художников-умельцев». Точнее, думаю, и не скажешь – умельцы...

И только сидя в буфете и помешивая ложечкой кофе, я внезапно осознал очевидное – в имени Шукшина была допущена опечатка: В. А.

– ...а должно быть, В. М., – сказал я Марго, – он же был Макарович.

– Макаревич? И он из этих?!

– Макарович! От имени Макар!

Но Марго только горько отмахнулась.

– Главное, что он босой, – сказала Марго, – и сидит где положено. На маленькой родине, стало быть, сидит, в Сростках. А как там его отчество в этой единственной букве, кого это волнует? Да и правда, подумалось, кого? Я уже не говорю про загадочную его похоронную гитару...

– «М» там, или «А» – ерунда. «А» мне, кстати, больше нравится. Хотя и так хорошо! И «А», – Марго посмотрела на меня, – и «М».

– Ты ещё ножом вырежи на скамейке: Андрей + Марго = любовь...

– И вырежу!

Я подумал о том, что глупый Немых прав, любви действительно не хватает на всех. Еще я думал о том, что моя Настя «из соображений отговорочной морали» никогда не бросит «нашего» мужа, не просто набитого, но туго набитого дурака. Изменять ей «мораль» позволяет, а развесть – нет. А между тем, и совсем скоро, когда любовь просто необходима, ты вдруг оказываешься за границей старости, и рядом непременно возникнет длинноногий палач в светящихся ажурных чулках, «в белом халате салатного цвета», со взбитой грудью, с ясным взглядом красивых зеленых глаз. И палач бесстрастно объявит тебе диагноз высшей меры, «обжалованию не подлежит», какая уж тут любовь?

...Гоголя мы всё же увидели, но косвенно, в факультативном порядке. Гоголь явился нам в образе Достоевского – внезапно! – холст, масло, художник И.Б. Скворешников. Федор Михайлович имел измученное чем-то – чем? – лицо. Маленькие его худенькие плечики, туго пеленая, обнимала чёрненькая шинель.

– «Шинелка»! Без мягкого знака, – сказала Марго.

Картина называлась строго, поучительно и отчасти модно: «Достоевский Ф.М. Все мы из шинелки Гоголя». И тут я понял, отчего у Федора Михайловича было плаксивое выражение припухшей и круглой, какой-то «Петровско-Первой» физиономии.

– Шинель жмет ему, – догадался я, – тесновата шинелька!

Марго обняла меня...

– Маловата, да. Он из неё вырос...

– Вышел, так точнее, – я вздохнул, – первопроходимцы от живописи...

Словом, сказочная картина – как бы двойной портрет великих писателей через многоточия: Достоевский... шинель Гоголя... и сам Гоголь – призрачным фантомом.

– Шинелька тесновата, кольчужка коротковата, трусы узковаты, презерватив...

– Лучше без...

И тут мимо нас с Марго снова прошел, чуть пошатываясь, режиссер Немых – Пьяных, Худых, Бултых.

– Поехали отсюда! – мне стало скучно. – Полдник и сон-час.

Марго призывно улыбнулась:

– Пьем её и едим её! Ресторан «Нефть» подойдет? Для полдника?

– Ресторан... «Нефть»? Ты серьезно?

– Абсолютно.

– Стадион «Циан», – вспомнил я, – конфеты «Радий», сериал «Две стороны одной Анны».

Для разгона сойдет и «Нефть», хорошо, что не «Цемент».

Смеркалось, было часа четыре...

В послесловии подумалось, «без» лучше, Марго права, конечно...

Юн Столе РИТЛАНН

ИЗ ДВУХ КНИГ¹

Перевод с норвежского Нины Ставрогиной

многие говорят что верят
в нечто большее чем они сами

в то что некая внешняя сила
правит нашими жизнями

я верю в малое
в животворное действие
отдельного фотона и в сумму
вообще всех лучей

верю во всё что светит
в фотосинтез и в ту энергию
что возжигает нимбы
в каждой живой клетке

верю в священные отбросы
посылаемые нам с неба

мы – преломленные лучи
мы – переработанная любовь

мусор от солнца

в соударениях с материей
свет пишет всё новые главы
книги под названием Жизнь

¹ «К востоку от края света» (Øst for verdens ende, 2023) и «Мы – молитвы, которыми молится Бог» (Vi er bønnene som Gud ber, 2025). – Здесь и далее примеч. пер.

Юн Столе Ритланн родился в 1968 году в Драммене, Норвегия. Окончил медицинский факультет Университета Осло, защитил диссертацию о глаукоме. Практикующий офтальмолог, живёт в Олесунне. Как поэт дебютировал в 2004 году сборником «Досмотры тела». Всего выпустил семь поэтических книг, в которых философская рефлексия и лирическое чувство нередко сочетаются с интересом к естественным наукам. Участник и организатор нескольких поэтических фестивалей. Стихи переводились на русский, шведский, португальский и английский языки.

любое движение, любая мысль –
строфа в великом эпосе
где взмахи крыльев мухи

и замахнувшаяся на неё рука
или тот кто это описывает
выражают одно и то же

лучи света касаются всех
поверхностей, нарекая их
так что забытых не будет

тело, кабинет восковых фигур
полный твоих предшественников

все их бывальщины
и привели тебя сюда

любая живая клетка –
библия биологии

мы – молитвы
так молит Бог

о зримости
о любви

света не было
прежде
глаза

меня не было
прежде
чем ты меня увидела

то ветер подхватил и
вынес слова из тела

голоса отшлифованы звуками
местности, в твоём выговоре

мне слышатся фьорд
и горный ручей

всё видимое получило имя
ты нашла своё в свете

в глазу что ни утро
отмыкающем небо¹

на потолке Сикстинской капеллы
Микеланджело изобразил небеса
и дал Богу лицо

художники творили Бога
так чтобы Бог созидал мир
по их образу

стала линия горизонтом
границей между морем и сушей легла дуга
берегом чтобы сердцу океана было где биться

а нашим пращурам куда выйти из моря
где они научились сжигать
сахар и кислород

моя дочь рисует на песке солнце
солнце восходит на небо
исчезает в глазу Бога

я работаю чтобы сохранить тебе
зрение, чтобы тебе были видны

эти длинные линии, виден свет
как электромагнитное письмо

в переложении растений и планктона
для пения каждой клеткой

весной все стебли тянут шею
к небу как детский хор

Жизни быть! Жизни быть!

¹ Имя жены автора, Грю (Gry), по-норвежски означает «рассвет».

Бог – писатель
чьё перо – свет
чернила – углерод

мы рисунки углём
свет оживляет нас
у атомов углерода четыре связи

мы несём их будто кресты
боясь как бы здесь и
не кончился сказ

призрачные формы
парят над остовами кораблей

стеклянные медузы обкатывают
души потерпевших крушение

рой колпаков для сыра
превращается в летающие тарелки

дышит будто
прозрачные лёгкие

поднимается к свету и воздуху
в поисках нового тела

планеты окрашены в разные цвета
как шары на бильярдном столе

бывают вечера когда ты бьёшь
как бог, с горящими глазами

кий мелишь, когда же самый
светлый шар катится в лузу

и исчезает в темноте
игра оканчивается

я просыпаюсь
и вдруг всё вижу
новыми глазами

будто спора бактерии
пробуждённая к жизни
спустя сколько-то тысяч лет

ты в ванной стоишь
моешь руки
чтобы не заразиться

медуза проникла
в тело, легла мышцей
между грудью и животом

мой голос – хор
компромисс между более

чем 30 триллионами клеток
мудрено ли что ты

не всегда понимаешь
что́ я пытаюсь сказать

буквы наслаиваются друг на друга
стягиваются в чёрную дыру

некую точку
время – вор

работающий вслепую
мы больше не знаем

куда дальше ведёт дорога
из дня в день мы должны учиться
складывать слово Бог

утренний свет считывает
тебя, сканирует будто
какой-нибудь товар

ты выходишь
небо розовое
в глазах

никто не знает цены
жизни, маркировка
на тебе: годен до

не свет устанавливает
срок твоей годности, это
работа уже для тьмы

фитили загнулись когда
стеариновые свечи догорели

вон они будто
знаки вопроса

куда делось время
где ты теперь

похороны
в Боргуннской церкви¹

фуга Баха вибрирует
между стен

что-то во мне обрывается
в теснине между двух нот

тоска и ветер
из труб органа, Бог

дышит в затылок, просит
нас на скамье сидящих

держаться наготове

¹ Ставкирка (каркасная церковь) в норвежской деревне Боргунн, один из древнейших сохранившихся храмов такого типа.

я отфренживаю умерших
но твой профиль так и висит

в соцсетях, на экранах не разглядеть
никаких небес, никогда уже не увижу
как блестят твои серо-голубые глаза

я пишу облакам
получаю в ответ снежинку
знак что спустившись тает на языке

в мире свирепствует пандемия
пока я пишу о свете

на Мариуполь сыплются бомбы
миллионы людей спасаются бегством
а я пишу о свете

тьма ночи древнее, больше
всего остального – и ждёт
в конце каждой из мыслей
когда я пишу о свете

я вижу как тьма проникает
в письмо, но в глазах
всё зеркально переворачивается

пусть хоть что-то из этого
светится и в тебе

я направляю телескоп
на самые тёмные области

неба, в пустоте сквозят
слабые промельки света

среди всего сгинувшего я вижу
твои очертания, твоё лицо

ночи тоски и самоедства
попытки заполнить провал

чувства вины, безверная вечеря
стылый свет холодильника когда

отворяешь дверцу, твоя тень растёт
пока не накроет почти всю комнату

тело всего лишь способ
света – скрываться

я
временный вид на жительство

в себе я несу останки
всех моих прародителей

их имена
высечены углём
у меня в крови

нет никакого вечного покоя

умереть – перейти
на испод бытия

после церемонии прощания мы стояли
разглядывая литографию Магне Фюрюхолмена¹

буквы лежали врассыпную
точно попадали с неба
в день явления слов миру

¹ Магне Фюрюхолмен (в русских источниках обыкновенно Фурухольмен) – норвежский музыкант, участник группы a-ha, также известный как художник. В своих визуальных работах нередко использует буквы.

разговор не клеился
стены исчезли
мы не могли понять где мы:

у начала ли алфавита
на исходе ли языка

вселенная – один
гигантский глаз

Бог вглядывается
внутри себя

темнота полна белых пятен
густого снегопада в ночь

наутро все увидят
где проскакал заяц

искусству трактовки света Моне
выучился у пруда с кувшинками

близость к природе
трогает наблюдателя

такое чувство будто образы
написаны на живом полотне

прибитом к стене
на твоих сетчатках

за всеми картинами висит
распятое на кресте тело

впускающее свет во всё
что ты видишь

твоё тело ещё и источник света
тысячекратно слабее чем видит глаз

и всё же частично этот свет утекает
изливается во вселенную вместе с лучами

других людей и эпох, мы непрерывно
умираем, нечто от нас превращается

в фотоны, фрагменты тебя
исчезают мелкими взблесками

из атмосферы прочь
в превосходящий свет

Михаил БАРУ

ВО ВСЯКИХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ

(Продолжение. Начало см.: Волга. 2026. № 3-4)

В самой середине девятнадцатого века

В самой середине девятнадцатого века в новостях из Сольвычегодска можно прочесть о том, что секретаря Сольвычегодского уездного суда Кочерина перевели из губернских в коллежские секретари; что наследников «скоропостижно умершей в Горбачевском сельском обществе женщины, сказывавшейся крестьянкою вдовой Сольвычегодского уезда Заболотской волости Шудинского сельского общества, Пелагею Федоровою Ростегаевою» просят явиться в уездный суд «для получения оставшихся после нея денег три рубля серебром»; что уволенного из инвалидной команды прапорщика Лежнева определили смотрителем городского тюремного замка, с переименованием в коллежские регистраторы; что «Вологодское губернское правление, вследствие рапорта Сольвычегодского земского суда публикует об отыскании хозяев якоря, найденного в реке Двине близ острова Шермокурского, крестьянином Сольвычегодского уезда деревни Шилова Семеном Штинниковым, и если таковые окажутся, то обратились бы о сем в Сольвычегодский Земский Суд». И это не все. Еще бывший уездный землемер Швиль за выслугу лет произведен из коллежских секретарей в надворные советники, еще умерли рядовой резервной бригады первой пехотной дивизии Иван Опякин из удельных крестьян Сольвычегодского уезда деревни Клестовской, рядовой Гренадерского Короля Прусского полка Андрей Суворов из крестьян Сольвычегодского уезда...

Оставим новости о наследстве в три рубля, о потерянном якоря, о ценах на перевоз через Вычегду лошади без упряжи в половодье, о производстве бывшего уездного землемера в надворные советники и обратимся к скучной статистике. Поговорим с покрытыми толстым слоем пыли и давно высохшими, как зимние мухи между рамами, цифрами в руках о том, к чему пришел Сольвычегодск к половине позапрошлого века.

Губернские статистики подсчитали, что к тому времени в Сольвычегодске имелось 37 улиц и переулков, семь площадей, три деревянных моста и один фашинный, 139 колодцев при домах, один общественный сад, «содержимый в удовлетворительном порядке», четырнадцать церквей и один мужской монастырь. 192 дома, из них три каменных. Мужчин к январю 1847 года проживало в городе 561, а женщин на четыре больше. Итого получается 1126 человек. Купцы в Сольвычегодске были только третьей гильдии, и проживало их шесть десятков, а вместе с семьями немногим больше сотни. Мещан и посадских чуть больше трети от общего числа жителей. Остальные две трети – это дворяне, военные, чиновники, нижние воинские чины, солдатские дети, казенные крестьяне, дворовые при господах, духовенство, дети духовенства и четыре монаха. В 1846 году в городе было заключено четырнадцать браков. Родилось тридцать мальчиков и десять девочек. В том числе четверо незаконнорожденных мальчиков и три незаконнорожденных девочки.

В 1846 году жители города съели 396 быков и коров, 228 баранов и овец, 254 телят, что составило 4050 пудов мяса, да сверх того в зимние месяцы на рынках Сольвычегодска его жители приобрели 4295 пудов мороженой говядины и свинины. В пересчете на каждого жителя выходит по семь с лишним пудов мяса в год на каждого горожанина, или почти по десять килограммов в месяц, если, конечно, губернские статистики нигде не ошиблись в расчетах. И это при том, что солдатские дети и крестьяне уж точно ели мяса меньше, чем чиновники или штаб-офицеры. Ржа-

ной муки сольвычегодцы потребили за год 897 кулей, что в переводе на наши меры веса с учетом того, что в куле ржаной муки 7,25 пуда, выходит 104 тонны на город или по 92 килограмма на человека в год, или по 7,68 кг в месяц. Получается, что сольвычегодцы не голодали. По крайней мере, недостатка в хлебе и мясе не испытывали. Это еще без учета потребленных 7,78 тонн крупитчатой муки, 750 кулей ячной муки, что составляет 87 тонн, разных круп, рыбы, молока, яиц, масла...

Все эти продукты и промышленные товары продавались в лавках, которых к середине позапрошлого века насчитывалось: «с красным товаром 6, москательных 5, с разным товаром 4, с солью 3, с коженным товаром 1, с мелочным 11, рыбных 6, мясных 13, погребов с виноградным вином 3». Что касается промышленности города и уезда, то из «Перечня заводов и фабрик Вологодской губернии», опубликованном в губернских ведомостях в 1848 году, можно узнать, что «В уездном городе Сольвычегодске имеется: а) завод для окраски холста в кубовую краску, при нем один мастер; его годовичное производство ограничивается ценностью во сто рублей, и б) завод салотопенный, при котором один мастер, а производимое заводом изделие ценится в 465 рублей. В уезде сего города считается: а) два завода салотопенных, при них три мастера, а их общее производство не превышало в 1847 году суммы в 178 рублей; и б) шесть заводов коженных, производящих юфть и дублен, ценою все вообще на 722 рубля; так что вся заводская промышленность этого уезда в 1847 году не превышала суммы 1456 рублей». Не бог весть какие суммы, что и говорить. «Прежде было еще три завода мыловаренных, которые ныне уничтожились, в следствие упадка состояний заводчиков».

Доходы города в 1847 году были более чем скромными – 1846 рублей 52 $\frac{3}{4}$ копеек серебром, а расходы 1937 рублей 48 $\frac{1}{4}$ копеек, но бюджет был бездефицитный, поскольку с прошлого года осталась 138 рублей 61 копейка, и потому к концу года в городском кармане оставалось еще целых 47 рублей серебром с копейками. В следующем, 1848 году, доходы города составили 2058 рублей 53 $\frac{3}{4}$ копейки серебром, а расходы 2050 рублей 94 $\frac{3}{4}$ копейки. Доходная часть выросла на двести с лишним рублей. Какой-никакой, а все же рост. Посмотрим, из чего же складывались эти доходы.

Самая большая доходная статья, составлявшая 700 рублей, была из так называемых вспомогательных доходов – казенных денег, которые платил военный комиссариат за содержание и лечение в городской больнице нижних вспомогательных чинов. На втором месте – сборы за аренду городского гостиного двора – 250 рублей. На третьем – 90 рублей сборов с купеческих капиталов. Вслед за ними идут 89 рублей сборов с городских весов, а дальше 55 рублей с принадлежащих городу сенокосов, 51 рубль с питейного откупа, 30 рублей с ярмарочных балаганов, 25 рублей «с городских лавок и подвижных прилавков, занимаемых продажею говядины и рыбы», 15 рублей с перевоза через Вычегду, семь рублей с калачного ряда, три рубля с салотопенного завода и даже три рубля за сдачу в аренду прорубей.

Теперь о некоторых статьях расходов. Самая затратная статья – это 691 рубль на «содержание Градской Больницы вообще с отоплением и освещением, жалованьем Городовому Врачу и содержанием при оной служителей». На жалованье, провиант и амуницию полицейским было израсходовано 200 рублей. 142 рубля уходило на жалованье секретарю городского магистрата и столько же на жалованье секретарю городской думы, 70 рублей на жалованье писцу Сиротского суда, 60 рублей тратилось на отопление и освещение тюрьмы. На жалованье писцу городскому магистрата 50 рублей, на выписку сенатских и губернских ведомостей для чиновников городского управления 15 рублей. Губернские ведомости выписывали отдельно для восьми городских церквей, и стоило это 24 рубля. Наем брандмейстера обошелся городу в 30 рублей. 10 рублей израсходовали на отопление и освещение полицейского участка. В 9 рублей обошлось годовое обслуживание двух фонарей и очистка дымовых печных труб в казенных и общественных домах. Содержание дома городничего стоило 12 рублей. 10 рублей стоило устройство балдахина для водоосвящения, а на поддержание в должном состоянии «состоящих в черте городской дорог и гатей» город отпустил в два раза меньше. Можно себе представить, в каком состоянии они были при таком, с позволе-

ния сказать, бюджете. 5 рублей в год город расходовал на «очистку ретирадных мест при присутственных местах» и иллюминацию городских домов в праздничные дни. Зато на починку шести мостов в черте города истратили 20 рублей. На «поправку и содержание бульвара» выделялось три рубля, на ремонт крытых прилавков, с которых продавали рыбу и говядину – четыре. На ремонт здания хлебного магазина, в котором помещалась инвалидная команда – три. Содержание кладбищенской церкви обходилось городу в 16 рублей в год. Самой маленькой статьёй расходов была помощь заведениям губернского Приказа общественного призрения. В Вологду на помощь народным школам, госпиталям, приютами для больных и умалишённых, больницам, богадельням и тюрьмам Сольвычегодск отсылал один рубль, но рубль серебром, а не ассигнациями.

И еще. Вологодские губернские ведомости сообщили, что на столичной выставке сельских произведений в 1850 году, из представленных Вологодской губернией государственными крестьянами изделий, крестьянке Сольвычегодского уезда Березонаволоцкой волости Марфе Петровой дали бронзовую медаль «за хороший кушак».

Малоизвестный в настоящее время

Третья четверть девятнадцатого века в истории Сольвычегодска и его уезда, если исключить приезд в город первого политического ссыльного и оптовую продажу икон Благовещенского собора, была похожа на вторую как две капли воды. Из Москвы или из Ярославля, или даже из губернской Вологды, до которой из уездного Сольвычегодска и в двадцать первом веке более пятисот с лишним верст, а тогда хоть три года скачи и ни до какого государства не доедешь, различия между этими каплями найти сложно. Неприятель до Сольвычегодска, слава Богу, не доходил, новых соборов, подобных Благовещенскому или Введенскому строить было некому, императоры через город не проезжали... (Правду говоря, и вологодские губернаторы в Сольвычегодске тоже не часто показывались.) Не происходило ровным счетом ничего из того, что так любят описывать историки и краеведы. Писатели-фантасты назвали бы это временной петлей причинности или гипотетическим поворотом в ткани пространства, при котором время становится петлей, из которой нет выхода, но где гипотетический поворот, а где Сольвычегодск, и потому мы все же попробуем описать что происходило в то время, когда не происходило ничего.

Возьмем, к примеру, 1851 год, в котором, если судить по сообщениям Вологодских губернских ведомостей, в Сольвычегодском уезде в двух пожарах погибли одна крестьянка и трое малолетних детей; были совершены три кражи – одна в городе и две в уезде; в уездном суде продавали «две сенокосные пожни Мартушиха и Сорока принадлежащие мещанину Владимиру Пьянкову за неплатеж им губернской секретарше Завариной 115 руб. серебром»; за выслугу лет Высочайшим приказом по гражданскому ведомству произведен в губернские секретари учитель Сольвычегодского уездного училища Иванов; в вологодском губернском правлении продавали серебряные вещи, принадлежащие сольвычегодскому мещанину Александру Жданову за неплатеж им Сольвычегодскому сиротскому суду 300 руб. серебром; по ведомству министерства внутренних дел из коллежских секретарей в титулярные советники произведен Сольвычегодский земский исправник Воронцов; из коллежских регистраторов в губернские секретари столоначальник Сольвычегодского земского суда Рупышев; повытчик Попов произведен в коллежские регистраторы Сольвычегодского уездного суда; журналиста Камкина произвели в коллежские регистраторы Сольвычегодского уездного казначейства; коллежскую ассессоршу Анну Кузнецову вызвали в уездный суд для выслушания решения по делу о присвоении ею земли в деревнях Княгининской выставки и Алексине. Сюда прибавим одно самоубийство в уезде, смерть священника Сольвычегодского Введенского монастыря Федора Костылева и приезд из Вологды в Сольвычегодск частного пристава Черняева. Вот, собственно, и все события, которыми отметились Сольвычегодск и его уезд в Вологодских губернских ведомостях в том году.

Немного скучной статистики. Справочная книжка для Вологодской губернии за 1853 год сообщает, что в 1852 году в Сольвычегодске проживало 462 мужчины и 580 женщин. В общей

сложности немногим более тысячи. На это количество горожан приходилось 4 каменных дома и 184 деревянных, один мужской монастырь, одиннадцать каменных и две деревянных церкви. С количеством училищ все было куда скромнее – в городе было всего одно и в нем обучалось 56 учеников. Больница тоже была одна, на дожину коек. Аптек в городе не было ни одной. Зато питейных домов и штофных лавочек имелось пять. Конечно, была и тюрьма. Как же без нее. Мещан в Сольвычегодске проживало 452 человека, а купцов всего 53. Капитал, объявленный этими купцами, составлял 24 000 рублей. На местных ярмарках, как сообщает памятная книжка, торговали они «шелковыми, бумажными, шерстяными, льняными, пеньковыми, металлическими и другими мануфактурными изделиями, холстом, кожами, салом, коровьим маслом, льном, разного рода зерновым хлебом и другими сырыми произведениями, рогатым скотом и лошадьми». Рогатый скот был настолько хорошего качества, что его через Архангельский порт продавали за границу. Торговали конечно же и рыбой, выловленной в Вычегде и других реках и озерах, которых в этом краю довольно много. В Памятной книжке Вологодской губернии за 1862–1863 гг. написано: «Рыбы по водоему Вычегды бездна. Как река эта, так и озера, образовавшиеся из прежних ее течений, дают столько щук, лещей, яззей, окуней, налимов и плотвы, что можно купить их иногда копейки за три, много за пять фунт. В Вычегде ловятся также семга и нельма – за продовольствием Сольвычегодска, отвозимые главным образом в Устюг, где платят за них самую красную цену – иногда копеек тридцать и даже сорок за фунт».

Строили на продажу лодки и барки, что неудивительно при таком количестве леса, а также сплавляли их, предварительно загрузив тут же распиленными сосновыми досками, по Вычегде и Северной Двине в Архангельск. Большой частью, правда, просто вязали в плоты и сплавляли по течению. Правда, Справочная книжка для Вологодской губернии на 1856 год сообщает, что судостроения в Сольвычегодске уже не существует. В западной части Сольвычегодского уезда занимались выкуриванием смолы из хвойных пород, и для этого устраивали скипидарные или пек-коваренные заводы, в которых получали собственно скипидар, канифоль и пек – он же сапожный вар, он же корабельная смола. В 1862 году в уезде добыли 85 000 ведер смолы, или чуть больше одного миллиона литров. Занимались скупкой по деревням и селам скота, излишков разного рода зерновых, смолы, дегтя и организацией сплава, как правило, зажиточные крестьяне.

О самом Сольвычегодске в Справочной книжке для Вологодской губернии за 1854 год было написано не то чтобы обидное, но печальное: «Сольвычегодск, мало известный в настоящее время, не процветающий ни промышленностью, ни торговлей, занимал некогда важное место в нашей древней северной торговле. <...> По удалении Строгановых, торговля сольвычегодская стала приходить в упадок и теперь он ничем не отличается от других уездных городов». Через семь лет тот же справочник пишет: «И в самом деле, довольно удивительно, что города наши, кроме Устюга, существующего уже более 600 лет, до сих пор почти ничего не усвоили городского – в них решительно не существует городской промышленности. Мы не говорим о Никольске, Устьсыольске, основанных только в 1780 году, но, например, в Тотьме, Вельске, Сольвычегодске <...> проживших не по одному столетию и проживших не без пользы не только для себя, но и для государства, служивших еще в начале столетия важными звеньями в сибирской торговле, прежде богатых и хорошо населенных, жители доныне продолжают заниматься хлебопашеством или на городских землях или же на городских, в большом количестве разбросанных по Устюгскому, Никольскому, Сольвычегодскому и Яренскому уездам. Но Сольвычегодск, Яренск, Устьсыольск и их уезды в правах своих приравнены некоторым образом с городами сибирскими; здесь, например, лицам служащим по земской полиции считается выслуга пять лет за семь – здесь дозволено стрелять дичь круглый год и вот может быть по этим-то причинам, может быть по предубеждению необоснованному, или просто по отдаленному положению этих городов, составилось чрезвычайно невыгодное мнение об их уездах в продовольственном отношении; мнение это применимо только к самым глухим местам, не принадлежащим к той полосе, которую мы рассматриваем. В самых городах и их окрестностях можно найти все необходимое для удовлетворения жизненных потребностей и даже иногда дешевле, чем в местах более близких к центру». Оно, конечно,

так, но Вологодские губернские ведомости в 1861 году в обзоре цен на жизненные припасы по Вологодской губернии пишут, что в западной части Сольвычегодского уезда «не разводятся ни огурцы, ни тыквы, нет здесь ни яблони, ни орешника», а климат восточной, и самой обширной части уезда уже не годится для выращивания пшеницы, овса и ячменя. В северной части уезда «несмотря на тучность почвы, на луга с травой в рост человека, земледелие находится в крайне жалком положении. Поздние весенние утренники и ранние осенние заморозки решительно отбивают у земледельца охоту к борьбе с неблагоприятным трудом, а потому он берет винтовку и идет в неизмеримые леса промыслить себе на насущный хлеб, подвозимый из более счастливых местностей и покупаемый за хорошие деньги».

В пятьдесят четвертом году вышел сенатский указ о восстановлении в Сольвычегодске городской богадельни. Деньги на ее содержание были завещаны купцом Ждановым. В империи ничего нельзя было сделать без ведома вышестоящего начальства, а потому, чтобы богадельня открылась, министр внутренних дел представил проект комитету министров, комитет министров поднес это проект на «Высочайшее благоусмотрение» государя императора, император приказал вологодскому губернатору, губернскому правлению и приказу общественного призрения исполнить. В тот год Крымская война была в полном разгаре – англичане с французами осадили Севастополь, и маленький Сольвычегодск, надо отдать ему должное, хоть и был за тридевять земель от театра боевых действий, в стороне от этих событий не остался. Как сообщили губернские ведомости, «Г. Министр Внутренних Дел уведомил Г. Исправлявшего должность Начальника Губернии, что Государь Император, по всеподданнейшему докладу о пожертвовании чиновниками и гражданами г. Сольвычегодска 203 руб. 40 ½ коп., собранных ими по добровольной подписке в пользу раненых, Высочайше повелеть соизволил: поблагодарить за это пожертвование, а деньги причислить к особому военному капиталу». После окончания Крымской войны император «в ознаменование особого благоволения к городскому обществу, за оказанное им в минувшую войну, при исполнении правительственных распоряжений, усердие, Всемиловнейше изволил 15 октября пожаловать сольвычегодскому городскому голове купцу третьей гильдии Хаминову серебряную медаль для ношения на шее на Станиславской ленте». В скобках заметим, что городским головам других уездных городов Вологодской губернии – Грязовца и Вельска дали по золотой медали для ношения на Андреевской и Станиславской лентах, но... лучше серебряная, чем никакая.

Город и уезд жили небогато, о чем хотя и косвенно, но вполне красноречиво свидетельствуют объявления Сольвычегодского уездного суда о продаже самого различного имущества, регулярно печатавшиеся в губернских ведомостях. К примеру, в июле 1856 года в уездном суде был объявлен торг на продажу пустых из-под пороха 40 дубовых бочонков, 66 мочальных веревок и 66 ветхих рогожек, оцененных в 1 руб. 59 коп. серебром. Вместе с мочальными веревками и ветхими рогожками продавался железный багор, «оцененный в 31 копейку серебром, найденный при обыске у крестьянина Матвея Матонина, судимого вместе с прочими за кражу у разных лиц разного имения и денег, по неотысканию хозяев оного». В марте 1857 года в уездном суде продавали «медный самовар и кран, оцененные в 1 руб. 20 коп. серебром, принадлежащие государственному крестьянину Сольвычегодского уезда Матвею Колотову, судимому за захват принадлежащих Сольвычегодскому Акцизно-откупному Комиссионерству, во время служения его в Зиновской временной выставке, вырученных за вверенные ему для продажи вина и питья денег 20 руб. 34 коп. серебром. В пополнение присужденного с него взыскания в пользу откупа», а в августе того же года снова в продаже порожние из-под пороха дубовые бочки, ветхие рогожки и ветхие концы мочальных веревок, оцененные в 2 руб. 5 коп. Кто-то все эти ветхие рогожки, концы мочальных веревок, железные багры и самовары с кранами покупал, приспособлял в хозяйстве и радовался, что купил задешево. В июле 1862 года уездный суд и вовсе объявил торги на продажу «железной сечки, неизвестно кому принадлежащей, найденной в амбаре сольвычегодского мещанина Бояркина, при осмотре повреждения онаго, из которого сделана кража имущества у Бояркина, оцененной в две копейки серебром». Сольвычегодский земский суд от уездного не отставал – он устраивал торги даже на продажу архивных дел, предназначенных на уничтожение. Так в конце

декабря 1857 года в уездном земском суде продавались предназначенные для уничтожения архивные дела весом в 62 пуда, то есть почти в тонну.

Сольвычегодские уездный и земский суды являлись одними из основных поставщиков новостей из города и уезда в Вологодские губернские ведомости. Порой эти новости с нашей, конечно, точки зрения, были довольно курьезными. Как, например, вот эта, опубликованная в середине февраля 1858 года: «Решением Сольвычегодского уездного суда, жена рядового Сольвычегодской Инвалидной Команды Наталья Карпова Ширейка, подвергнута денежному взысканию за хождение в чулан с зажженною лучиною, 55 коп. серебром, на составление особого капитала для улучшения содержания существующих и устройство новых мест заключения. Губернское правление публикует об этом во всеобщее известие». Такие решения уездного суда были не единичными. Так государственного крестьянина Метлинской волости деревни Каменка Василия Топорова за разжигание огня в общественной мельнице, отчего она сгорела, оштрафовали на полтора рубля, и эти деньги пошли на те же самые нужды, что и в предыдущем случае.

Кстати, об улучшении содержания мест заключения. В Сольвычегодске работало Уездное отделение общества попечительного о тюрьмах, которое в мае 1857 года назначило «торг с узаконенной через три дня переторжою, на постройку для арестантов тюремных нижеозначенных вещей, а именно: для мужчин: рубах и портов 93 пары, шапок сермяжных зимних 31, кафтанов сермяжных с таковыми же к ним поясами, полушубков овчинных 31, рукавиц кожаных с варегами 31 пара, сапог 62 пары, котов 62 пары, онуч суконных 62 пары, холстинных 62 пары, халатов тиковых 31, халатов детских сермяжных 3, для женщин: рубах 27, каптуров суконных с ушами 9, кафтанов сермяжных с таковыми же поясами 9, юбок из неваляного сукна 9, юбок холстинных 9, платков холстинных 18, полушубков 9, рукавиц суконных 18 пар, котов 18 пар, онуч суконных 18 пар, холстинных 18 пар, войлоков 40, наволоков пестрядинных для постелей 40, наволоков тиковых для подушек 80, одеял сермяжных 80, скатертей 12, полотенец 40; для больницы мужских рубах и подштанников из русского холста 6, колпаков из холста 6, наволоков на подушки верхних, больших и меньших 12, из тика наволоков на тюфяки нижних 3, наволоков на тюфяки верхних из русского посконного холста 3, платков носовых из холста 6, простынь постельных 6, одеял тиковых 4, одеял суконных 3, халатов тиковых 4, халатов сермяжного сукна 3, чулок посконного холста 8 пар, утиральников 6, туфлей 6 пар, женских рубах 3, колпаков 3, наволоков на подушки верхних больших и меньших 6, нижних 6, наволоков на тюфяки верхних из русского посконного холста 3, нижних 3, платков носовых из холста 3, одеял тиковых 2, халатов: тиковых 2, сермяжных 2, чулок посконного холста 4 пары, полотенец 3, туфлей 3 пары, тулуп овчинный 1, скатертей 3, покрывал ушатных и ведерных 3, покрывал на квашни 3, и фартуков 4. Желающие принять на себя эту поставку благоволят явиться в Тюремное отделение с надлежащими залогами, где будут представлены кондиции поставки и для образцов вещи». Из этого списка хорошо видно, что арестантов одеждой, обувью и постельными принадлежностями, пусть из самого дешевого полотна, обеспечивали сполна. Им полагались даже скатерти, носовые платки и утиральники. Правда, присутствие в списке трех детских сермяжных халатов наводит на невеселые мысли.

Отдельный раздел представляли собой объявления Сольвычегодского уездного полицейского управления о розыске пропавших крестьян, описания найденных утопленников и пойманных бродяг. Они интересны не только сами по себе, но и подробным описанием одежды пропавших, найденных и пойманных, поскольку по этим описаниям можно составить представление о том, как одевались жители Сольвычегодского уезда. Приведем несколько таких описаний, опубликованных губернскими ведомостями в третьей четверти девятнадцатого века.

«Вологодское губернское правление вследствие рапорта Вологодского Городского Полицейского Управления, от 31 декабря 1867 г. за № 12904, разыскивает государственного крестьянина Березонаволоцкой волости, деревни Константиновской Филиппа Иванова Малахова 28 сентября 1867 г. из дому своего отлучившегося в лес для звериных промыслов на расстоянии от дому сто верст и оттуда домой не возвратившегося. Приметами Малахов: от роду 27 лет <...> одет он был в сукманник⁵³, на голове суконный картуз, на ногах сапоги кожаные, рукавицы из овечьей шерсти

белые, опоясан кушаком, холщовые: рубашка и порты, на шее платок бумажный поношенный и медный крест на холщовом гайтане.

Сольвычегодское полицейское уездное управление разыскивает крестьянскую девку Березо-наволоцкой волости деревни Чупровской Настасью Антонову Заозерскую, имевшую отроду 23 года, одежда на ней была следующая: на голове бумажный обленялый платок, холщовая рубашка, крашенный сарафан и шерстяной сукманный на холщовой подкладке, на шее медный крест на холщовом гайтане, босая, роста среднего, волосы русые, глаза серые, нос, рот и подбородок умеренные, лицо чистое.

Сольвычегодское полицейское уездное управление публикует о разыскании общества или сословия, к которым бы принадлежал найденный 12 числа минувшего мая месяца на левой стороне реки Двины в удельной Верхотомской нижней даче, близ весеннего перевоза, существующего под Верхотомским погостом, Сольвычегодского уезда, мертвым неизвестный человек мужеского пола. Приметами он был: от роду, по-видимому, около 40 лет <...> одежда на нем: рубаха и порты белые холщовые, опоясан кожаным ремнем, на шее медный крест и таковая же пуговица на холщовом плетеном гайтане и шерстяной пестрый галстук. Сверх сего при нем находятся: сукманный пониток, полушубок и шапка овчинные, рукавицы суконные, с холщовыми заплатами и небольшой холщовый мешочек.

Сольвычегодское полицейское уездное управление публикует о разыскании общества к которому принадлежит найденный вблизи г. Красноборска мертвым неизвестный человек, которого смерть последовала, как видно из судебно-медицинского осмотра, утвержденного Врачебным отделением Губернского правления от апоплексии мозга и легких, произошедшей от сильного холода. Приметы его следующие: <...> от роду лет около 25, одет в следующее платье: ветхий, крашенный, синий, летний казакин, синюю пестрядинную рубашку, серые сукманные штаны с заплатами, на ногах кожаные коты и суконные онучи, на голове серая, круглая, ветхая шапка, на руках вязаные шерстяные рукавицы, в кармане платок белый, гарусный с вышитыми красной бумагой литерами А. Л.

Сольвычегодское полицейское уездное управление публикует о разыскании общества неизвестной женщины, найденной мертвою в реке Вычегде 25 числа июня в одной версте ниже города Сольвычегодска. Приметы которой следующие: от роду, по-видимому, от 30 до 35 лет, одета в крестьянское ситцевое полосатое платье, сверху оно фуфайка синего цвета, на шее бумажный белый платок, фартук ситцевый палевого цвета, под платьем пестрядинная юбка и белая холщовая рубаха, медный крест на тесьме, на ногах кожаные башмаки на босую ногу, в кармане платья небольшой бумажный мешочек и в нем четыре рубля денег кредитными билетами рублевого и трехрублевого достоинств и небольшая берестяная табакерка с зеркалом, знаков насилия на теле не найдено.

Сольвычегодское полицейское уездное управление публикует о разыскании общества неизвестного человека, найденного мертвым 20 июня против г. Сольвычегодска, около берега реки Вычегды. Приметы которого следующие: от роду, по-видимому, от 20 до 25 лет, одет в крестьянское платье серого сукна троеклинок, на шее бумажный платок по белой земле, на ногах кожаные сапоги, жилет черного сукна со стеклянными пуговицами, в правом кармане оно медный крест и маленький клетчатый бумажный платок, опоясан по троеклинку бумажным кушаком, а по рубашке шерстяным поясом с небольшими кистями, в кармане троеклинка трубка деревянная с таким же чубуком, огниво, два кремня и кусочек трута, положенные в небольшой бумажный мешочек и жестяная спичешница, под верхней одеждой две рубашки, одна кумачная, красная, а другая белая, холщовая, двои штаны, верхние нанковые, а нижние белые холщовые, на ногах, кроме сапог, крашенные портянки, на теле знаков насилия не замечено.

От Никольского Земского Суда объявляется, не принадлежит ли к какому-либо обществу или владельцу пойманный в тамошнем уезде бродяга, называющий себя Семеном Ивановым Пановым Сольвычегодского уезда, Метлинской волости и общества, деревни Креж, государственным крестьянином. Приметы его: от роду 19 лет <...> Одежда на нем: два кафтана изорванные и

дырявые домашнего сукна, один черный, другой серый, рубашка белая поношенная домашнего толстого полотна, таковые ж порты, на ногах березовые лапти с портянками, на голове картуз черного сукна поношенный без козырька. Особых примет не имеет».

При внимательном чтении описаний одежды можно заметить, что все их объединяют прилагательные ветхий, поношенный, босая, обляяный, существительные заплаты и медные кресты на холщовых шнурах.

В начале каждого года Сольвычегодская городская дума назначала торги на все, что требовалось для обеспечения городского хозяйства, и на конкурсной основе сдавала в аренду все то, что могло принести городу доход. В течение третьей четверти девятнадцатого века список необходимого практически не менялся, а потому мы ограничимся примером таких торгов за 1861 год, когда городская дума предлагала желающим брать подряды на отопление и освещение думы, магистрата, Сиротского и Словесного судов, помещения пожарных инструментов, квартиры городского, городнического правления с арестантскими камерами, поскольку все это помещалось в одном и том же здании, казармы, занимаемой нижними чинами, мостовой будки и караульни при провиантском магазине; на отдачу участка в аренду на три года, удобного для добывания глины для выделки кирпича, на отдачу участка земли под пастбу скота, на отдачу в аренду на три года городских весов, на поставку провианта и обмундировочных вещей для нижних чинов полицейской и пожарной команд, на исправление и заведение пожарных инструментов и смазку колес, на постройку и уборку временных ярмарочных балаганов, устройство Иордана, очистку дымовых труб и отхожих мест в городских домах, на ремонт двух тулупов и пошив, или, как тогда говорили, постройку четырех пар теплой обуви для открытых воинских постов, на ремонт в городской скотобойне, на отдачу ее в аренду, на ремонт городского дома, занимаемого городскими присутственными местами, лавочек калачного ряда, городских весов и мер, на взятие в оброчное трехлетнее содержание пары лошадей при пожарных инструментах, на отдачу в оброчное содержание удобных мест под складку товаров при нагрузке и выгрузке судов. Кроме того, в аренду или в оброчное содержание отдавали перевоз через Вычегду под городом, а также водопойные и питьемойные проруби. Отдача в аренду водопойных и питьемойных прорубей не должна нас удивлять – сводить концы с концами городу удавалось с трудом, и потому городская дума искала любые возможности пополнить городской бюджет. Если же посмотреть на городские доходы, например, 1871 года, то можно видеть, что с заведений промышленности, за отсутствием таковых, Сольвычегодск не получал ни копейки на протяжении целого ряда лет. Самый большой вклад в городской бюджет вносила сдача в аренду гостиного двора (чуть более четырехсот рублей), за ней сборы с местных и иногородних купцов всех гильдий (на пятнадцать рублей меньше), за ней деньги за аренду земли внутри городской черты под хлебопашество (полтора рубля), за ними сборы с разных лиц, торгующих по свидетельствам на мелочный торг. Далее идут суммы меньше ста рублей – за аренду земли под хлебопашество вне городской черты, с городских весов и мер, с земли, занимаемой во время ярмарок и торжков. За аренду ларей и столов для торговли мясом город получал полсотни рублей. Меньше этих денег были суммы, получаемые с контрактов и договоров, с городской скотобойни, с трактирных заведений, за аренду сенокосов, земель под огороды и под выпас скота. За аренду земли, застроенной питейным домом рядового Григорьева, город получал двенадцать рублей. Все остальные статьи доходов не достигали даже до десяти рублей – аренда угодий для рыбных и звериных ловель, мест для добывания глины и выделки кирпича, калачного ряда, мест под складирование товаров при погрузке и выгрузке судов, сборы с мастеровых и ремесленников, постоянных дворов и ренсковых погребов, в которых торговали алкоголем навынос. Сборы с мастеровых ремесленников составляли, например, в 1859 году два рубля с копейками, а в 1871 году три рубля с копейками. Да и как им быть больше, если самих мастеров и ремесленников в городе и уезде было раз-два и обчелся. К 1875 году в Сольвычегодске по данным губернского статистического комитета было четыре сапожника, два мясника, столько же булочников, портных, башмачников, столяров, переплетчиков, кузнецов и печников; по одному пряничнику, шляпнику, меднику, лудильщику, обойщику и цирюльнику. Не много, что и

говорить, но есть и шляпник, и башмачники, а не только сапожники, есть цирюльник, есть переплетчик и даже пряничник, но... нет ни одного серебряных и золотых дел мастера, а ведь были, и какие...

Последними статьями доходов были штрафные деньги – рублевый штраф за просрочку чиновниками отпусков, такой же штраф за самовольную порубку леса в городской даче и пятирублевый штраф за бродящий по улицам скот. Три статьи в бюджете города были неприкосновенными – пенсионный капитал, составлявший чуть более ста пятидесяти рублей, тысячерублевый капитал с процентами, пожертвованный городу иркутским купцом Дмитрием Чирковым, и трехтысячный капитал, пожертвованный иркутским городским головой и купцом первой гильдии Иваном Степановичем Хаминовым, уроженцем Сольвычегодска.

18 января 1869 года, как сообщали Вологодские епархиальные ведомости, «после водосвятного молебствия, отправленного клиром тамошнего Благовещенского собора, положено было начало работам по укреплению берега р. Вычегды против соборной церкви, ежегодно подмывавшегося весенним разливом воды и наконец угрожавшего явной опасностью самому собору. Это укрепление, состоящее из свайного обруба на протяжении семидесяти девяти с половиною сажень, к весне было окончено и совершенно предохранило берег от дальнейшего повреждения. По этому обстоятельству 8 числа минувшего Мая, 11 часов утра, после Божественной литургии, духовенством Благовещенского собора совершен был крестный ход на р. Вычегду, к месту новоустроенного укрепления, и было отправлено благодарственное Господу Богу молебствие с водосвящением, при великом множестве всякого народа всякого звания пола и возраста. Жители Сольвычегодска надеются, что, с Божией помощью, древний соборный храм их, величественный остаток эпохи Строгановых, при надлежащей поддержке и, если нужно, усилении и распространении сделанного берегового укрепления, сохранится у них от враждующей водной стихии еще на долгое время».

Посмотрим на уголовную хронику города и уезда третьей четверти позапрошлого века. Не касаясь обычных случаев грабежей, краж, поджогов, драк и смертей от пьянства³⁴, которых в Сольвычегодске и уезде было ничуть не больше, чем в других городах и уездах Вологодской губернии и которыми теперь удивить трудно, обратимся к преступлениям, в наше время почти или даже совсем не встречающимся – к случаям убийства новорожденных собственными матерями. Они появляются в уголовной хронике города и уезда не один и не два раза.

Февраль 1869 года. Как писали в разделе «Происшествия в губернии» губернские ведомости, «Сольвычегодский мещанин Николай Михайлов Коротанов, явившись в 12-м часу ночи 9 февраля в квартиру помощника местного исправника, объявил ему, что проживавшая в его семействе дочь его девица Анна, после обычных занятий в 6 часу вечера того дня, неизвестно куда из дома отлучилась. Прождав часа два, он начал отыскивать ее, но несмотря на все поиски около дома и расспросы у родственников, не мог ее найти. Вследствие сего по распоряжению помощника исправника, командированы были для розысков девицы Коротановой дежурный полицейский служитель с ночными патрульными, которые уже во 2-м часу за полночь заметили на протоке реки Вычегды катаники и платок Коротановой, о чем и известили помощника исправника. Этот последний, по прибытии на реку Вычегду, в проруби ее нашел девицу Коротанову мертвою. По осмотре ее никаких признаков насильственной смерти на ней не замечено, а по вскрытии ее трупа она оказалась беременною младенцем мужского пола почти вполне уже развившимся. Обстоятельство это, а равно то, что около проруби найдены крест, платок и катаники Коротановой, заставляет думать, что она сама решилась утопиться. При всем том сделано распоряжение к производству формального следствия об этом событии».

В июне того же года г. Сольвычегодске «на берегу поля реки Вычегды вблизи Благовещенского собора, против первого ледореза найдено полусгнившее тело младенца с черепом головы раздробленным на части. В близи тела найдены тряпки и веревка, а немного далее правая ножка младенца. Об этом производится следствие».

Февраль 1875 года. «В деревне Ивашевской рядовым Лобановым противу дома соседа своего, крестьянина Суворова нечаянно с помощью бывшей при нем собаки, найден в снегу мертвый младенец женского пола. В рождении этого младенца обвиняется солдатская жена Суворова, 28 лет».

В августе того же года «крестьянская девица деревни Харитоновской Дарья Ефимова Щеколдина 32 лет в доме крестьянина Сидора Щеколдина родила девочку, которой священник в тот же день дал обычную молитву. После того, чрез девять дней, Щеколдина отправилась с младенцем для крещения его в Кивокурскую церковь, но дорогою младенец ее будто бы помер, почему она в лесу у толоконной горы, находящейся между селениями Устьегородским и Кривокурским, вырыв в песке ямку, положила в нее труп, а сама ушла в Кивокурское селение и не объявив о том никому, проживала там у разных лиц до 6 сентября, когда сделалось известным об исчезновении ребенка. После того Щеколдину стали разыскивать, и она скрывалась до 10 числа, но наконец была найдена и указала место, где был схоронен ее младенец. Дознание об этом передано полицией судебному следователю».

От тем печальных и, прямо скажем, неприятных перейдем к приятным – к награждениям орденами и медалями, денежным премиям и повышениям по службе. Сразу нужно сказать, что сольвычегодцев всем этим не баловали. Даже когда в Вологде или в других уездных городах кому-то давали ордена первой степени, сольвычегодцам, как правило, давали третьей или четвертой. За четверть века награждений орденами случилось всего три – в 1867 году сольвычегодский уездный казначей, коллежский асессор Попов стал кавалером ордена Св. Станислава 3 ст.; в 1873 году кавалером ордена Св. Владимира 4 ст. за тридцатипятилетнюю беспорочную службу стал исправляющий должность судебного следователя первого участка Сольвычегодского уезда надворный советник Фотиев, и в том же году орден Св. Анны 2 ст. пожалован сольвычегодскому исправнику коллежскому советнику Кульчинскому. Прибавим сюда серебряную медаль для ношения на Станиславской ленте, которой наградили городского голову Хаминова, две серебряные медали с надписью «за спасение погибавших» для ношения на груди на Владимирской ленте, которыми наградили государственных крестьян Сольвычегодского уезда Антона Кулижникова и Якова Епихова, за спасение ими в апреле 1864 года утопавших в реке Уфтюге пяти человек, прибавим две премии в 75 и 70 рублей, которыми в разные годы императором «по достоинству кабинета министров был награжден за отлично усердную службу и особые труды» учитель Сольвычегодского уездного училища Николай Щербаков, не забудем про две премии по пяти рублей серебром, выданные комитетом вологодской сельскохозяйственной выставки, проходившей в октябре 1858 года, государственным крестьянам Сольвычегодского уезда Михаилу Кобылину и Ивану Харитонову за представленные образцы льна и... все за двадцать пять лет. Зато регулярно, почти каждый год, губернское начальство благодарило через газету волостных старшин, их помощников, сельских старост, членов городской думы за своевременный, бездоимочный сбор и внесение в уездное казначейство податей и других денежных сборов с крестьян и мещан города и уезда. (Вряд ли их за это благодарили крестьяне и мещане, но кто спрашивал крестьян и мещан...) В январе 1863 года вологодский губернатор изъявил благодарность «Сольвычегодскому Градскому Голове за внесение им собственных денег для очищения податей и повинностей, следовавших с мещан г. Сольвычегодска за истекший год, с возвратом денег по взыскании их с лиц неоплативших».

Прежде чем перейти к событиям культурной жизни, прочтем объявление, напечатанное в губернских ведомостях в феврале 1865 года: «Вызывается в Сольвычегодский уездный суд для выслушания решения жена губернского секретаря Андриана Соколова – Марья Васильева Соколова, – по делу о двух пасквильных письмах, относящихся к чести семейства вышеозначенного Соколова». Три раза Марью Васильевну вызывали в суд и три раза она не являлась. Только представьте себе, какой огромный клубок сплетен, какие пересуды, какие косые взгляды... Почему в суд вызывали жену губернского секретаря Соколова, а не его самого... что было написано в этих пасквильных письмах... почему была затронута честь... почему жена Соколова не являлась в суд... что под большим секретом рассказала жена одного из заседателей уездного суда жене уездного

землемера, чем все это кончилось... и все это в крошечном Сольвычегодске, где и сейчас каждая собака знает все, а если и не знает, то догадывается...

О событиях культурной жизни города и уезда, произошедших в третьей четверти девятнадцатого века. Их было не так уж и много. Если честно, то их не было совсем, если под культурными событиями иметь ввиду любительские спектакли или гастрольные заезжих театральные труппы, открытие библиотек или музеев, выход в свет новых книг, написанных сольвычегодцами, или строительство планетария⁵⁵, но культурная жизнь все же была, и к ней с полным правом можно отнести съезд учителей Вологодской губернии, проходивший в Сольвычегодске неделю в августе 1872 года. В городе на время работы съезда была устроена образцовая школа «для наглядного ознакомления учителей и учительниц, живущих в глуши Вологодской губернии, с толково устроенной школой». Мировой посредник Сольвычегодского уезда Савваитов, как писали губернские ведомости, «от всего городского общества заявил, что губернское земство поступило очень практично, назначив пунктом съезда г. Сольвычегодск, где не было ранее надлежащего сочувствия делу народного образования, так как посредством этого съезда граждане Сольвычегодска как бы наглядно убедились в важности народного образования. Отныне заброшенное в этот край семя народного образования без сомнения будет расти и принесет плод. Губернское же земство, видя успешные результаты нынешнего съезда, вероятно не пожалеет средств на осуществление Второго съезда».

Правду говоря, дела с образованием в Сольвычегодском уезде обстояли не очень хорошо. Если судить по докладу, который представила Земская Управа Сольвычегодскому Уездному Собранию в сентябре 1870 года, в уезде существовало 7 сельских училищ, 35 приходских школ духовного ведомства и должно было вот-вот открыться одноклассное образцовое сельское училище⁵⁶. Во всех сельских школах училось 350 мальчиков и 51 девочка. Обязанности учителей в этих школах исполняли церковные причты, то есть священники и дьячки, не получая при этом ни копейки за свои труды. В некоторых приходах крестьянские общины выделяли деньги на наем квартир для школ, на их отопление и освещение, а в некоторых... и школы тогда помещались в церковных трапезных и сторожках, или бесплатно в домах причта. С учебниками дело обстояло немногим лучше, чем с помещениями – те книги, которые выдавала уже не существующая к тому времени Плата Государственных имуществ, истрепались. Части школ и вовсе не выдавали никаких учебников, и потому дети учились по книгам, которые купили им родители или преподаватели за собственный счет. Во всех уездных школах никакой мебели не было, кроме нескольких деревянных досок для черчения, да и эти доски были далеко не во всех школах. В шести волостях Сольвычегодского уезда школ не было совсем. Инспектор народных училищ Вологодской губернии, как сказано в докладе, «просил Управу представить Уездному Земскому Собранию: не найдет ли оно возможным содержать с будущего года двух стипендиатов в педагогических курсах при Вологодском уездном училище. Таким способом Земство через каждые два года получило бы двух, специально подготовленных, наставников для сельских училищ своего уезда, так как дети, хорошо окончившие курс в уездном училище и пробывшие два года в педагогических курсах, будут очень дельными и опытными наставниками». Земская управа на просьбу инспектора народных училищ откликнулась и выделила на жалованье учителей, на наем им квартир, на освещение и отопление, на жалованье сторожкам, на содержание стипендиатов педагогических курсов при Вологодском уездном училище, на пособие вновь открываемому училищу, на помощь сольвычегодскому пригготовительному классу, где помогали недостаточно обученным мальчикам выдержать экзамен в уездное училище, в общей сложности 2100 рублей. Для сольвычегодского земства деньги огромные, сопоставимые с городским бюджетом тех времен. К примеру, всех доходов города Сольвычегодска в 1872 году набралось на сумму в 1838 руб. 83 ½ коп.

В конце декабря 1871 года в селе Песчаницы было открыто первое начальное земское училище в Сольвычегодском уезде. Конечно, это событие не мирового, а уездного масштаба, и, наверное, можно было бы о нем и не упоминать в контексте истории города Сольвычегодска, но Павел Аристархович Красов, которого туда направил учителем сольвычегодский уездный училищный

совет, оставил нам хотя и небольшой, но любопытный мемуар о начале своей работы, записанный им собственноручно.

На открытие училища, кроме учителя, приехали председатель училищного совета, мировой посредник и председатель земской управы. Отбор детей в училище происходил точно так же, как это делалось при отборе рекрутов, то есть если в семье было три или четыре мальчика, то в училище брался один, а если два или один, то они пользовались «льготой» и в учебу не отдавались. Всего в школу записали 28 детей. Всех школьных рекрутов собрали вместе с родителями для знакомства с учителем.

Павел Аристархович вспоминал, что «картина была торжественная и в то же время глубоко печальная». При его появлении мужики и бабы встали. На их лицах были слезы и испуг. Дети же до того перепугались при виде учителя, что часть из них бросилась прятаться. Большого труда стоило Красову уговорить ребят не бояться и выстроить их попарно, чтобы пойти в церковь к обедне. Как только процессия тронулась, «поднялось совсем светопреставление: бабы заревели и запричитали: “Куда-то вы наших голубков повели, не на радость им, а на мученье”». Мужики, конечно, не ревели, но «всхлипывали, да молча кулаками утирали слезы». В церкви оказалось, что будущие ученики... в церкви до этого случая не бывали. «Когда дьякон отворил царские врата, то некоторые из детей бросились туда, в алтарь». Из церкви пошли крестным ходом в училище, на молебен перед началом занятий. Священники шли с церковными песнопениями, а бабы, рыдая, «причитали по своим детям, словно по покойникам» ...Павел Аристархович Красов прослужил в Песчанском земском училище тридцать пять лет.

Земство играло в жизни города и уезда огромную роль. Оно занималось не только образованием, но и здравоохранением. Сольвычегодское уездное земское собрание в 1873 году оплатило жалованье земскому врачу, фельдшерам и повивальной бабке. Выделило единовременные денежные пособия двадцати двум оспопрививателям... Не будем утомлять читателя суммами жалованья врачей, фельдшеров, акушеров, числом заболевших, выздоровевших и отдавших Богу душу, но обратим внимание на то, что уездное земство платило за обучение двух мальчиков, обучавшихся на малолетнем отделении Фельдшерской школы Императорского Московского воспитательного дома. Кроме того, за счет уездной земской управы при городской больнице обучалось фельдшерскому искусству три мальчика, а еще один обучался в ветеринарной школе, и ему выдавались деньги на проезд и питание. На обучение денег не жалели – в отчете о приходе, расходе и остатке сумм Сольвычегодской уездной земской управы за 1873 год написано: «Отослано садоводу Карлсону в Воронеж за высланные для обучения мальчиков при больнице семена разных растений и книгопродавцу Черкасову за высланные для обучения тех же мальчиков разные книги 36 руб. 66 коп.». Земство оплачивало покупку медикаментов для пополнения земской аптеки и сельских аптек, содержание и обучение стипендиатки в повивальном институте. За счет земства в вологодский родильный дом решено было отправить двух девиц для обучения повивальному искусству, причем эти стипендиатки должны были быть выбраны земской управой из числа сирот. И это не все. Земство финансировало строительство флигеля при земской больнице, купило ей аппарат для переливания крови и, поскольку была жестокая нужда в фельдшерах, желающим поступить на службу в Сольвычегодский уезд, отдельно от жалованья, выдавались за счет земства подъемные.

О газетах, которые выписывали жители Сольвычегодска в 1859 году. Губернские ведомости, давая эту статистику по Вологодской губернии, писали: «Помещая эти сведения, мы думаем, что они могут быть для некоторых из наших читателей, как статистические данные для определения, если не образования, то, по крайней мере, любознательности и склонности к чтению жителей нашей губернии. <...> Все сведения, представляемые здесь, собраны с возможной тщательностью и основаны преимущественно на показаниях Почтовых контор». В списке выписываемых в Сольвычегодске газет оказались «С.-Петербургские ведомости», «Северная пчела», «Русский инвалид» (официальная газета Военного министерства), «Газета лесоводства», «Труды Вольного Экономического Общества», «Воскресное чтение» (еженедельный общедоступный журнал Киев-

ской духовной академии), «Ваза» (литературно-художественный журнал светских новостей, мод, домашнего хозяйства и рукоделья), «Русский Мир», «Журнал министерства народного просвещения», «Листок для всех», «Варшавская русская газета» – всех этих изданий сольвычегодцы выписывали по одному экземпляру. К ним прибавим по два экземпляра «Земледельческой газеты», «Духовной беседы», «Русской газеты» и три экземпляра «Сына Отечества». Всего получается 22 экземпляра, или один экземпляр на 47,4 жителя Сольвычегодска. По количеству экземпляров Сольвычегодск среди девяти уездных городов Вологодской губернии находился на предпоследнем месте – меньше выписывали только в Яренске. Первое место с большим отрывом от всех уездных городов занимал Великий Устюг – устюжане выписывали 108 экземпляров, но в пересчете на 7393 человека, которые тогда проживали в городе, выходит одно печатное издание на 68,4 человека. В Тотьме, которая выписывала 64 экземпляра печатных изданий, один экземпляр приходился на 49,2 человека, но Кадникову, с его одной газетой на 34,7 человека, Сольвычегодск уступал. Если же посчитать количество газет и журналов на душу населения во всех городах Вологодской губернии, то получится, что Сольвычегодск находится на четвертом месте в губернии, уступая Вельску, Кадникову и Никольску. Так что не такой уж и медвежий этот медвежий угол на берегу Вычегды. Интересно, что и по степени грамотности Сольвычегодск занимает то же самое четвертое место среди городов губернии, включая Вологду⁵⁷.

Через пятнадцать лет Вологодские губернские ведомости снова опубликовали данные о выписываемых печатных изданиях в уездных городах и уездах Вологодской губернии. К сожалению, данные давались по городу и уезду вместе, но общая картина, говорящая не просто о росте, а о бурном росте подписки на газеты и журналы, видна достаточно хорошо. В Сольвычегодск и его уезд в 1874 году высылалось всего периодических изданий 186 экз., в том числе: «Правительственного Вестника» 14, «Вологодских губернских ведомостей» 53, «Епархиальных ведомостей» 60, «Церковно-Общественного Вестника» 7, по 6 экз. «Нивы» и «Современника», 5 экз. «Мирского слова», по 4 экз. «Русских ведомостей», «Сына Отечества», «Гражданина», по 2 экз. «С.-Петербургской газеты», «С.-Петербургских ведомостей», «Новостей», «Иллюстрированной недели», «Недели», «Модного Света», по 1 экз. «Русского мира», «Биржевых ведомостей», «Вечерней газеты», «Голоса», «Иллюстрированного вестника», «Медицинского вестника», «Мирского вестника», «Русской старины», «Еженедельника», «Нового времени» и «Дела».

Снова о промышленности и торговле. В 1864 году в Сольвычегодское действовало три завода: салотопенный, принадлежавший купеческим братьям Андрею и Федору Хаминовым, кожевенный купеческого сына Александра Чевыкалова и кирпичный наследников мещанина Андреева Дорофеева. В уезде работало два салотопенных и восемь кожевенных заводов. В заштатном городе Красноборске, входившего в состав Сольвычегодского уезда имелись три красильни. Это, собственно, и все о промышленности города и уезда. В обзоре Вологодской губернии, напечатанном в 1872 году в журнале «Мирской вестник», написано, что «Главный промысел обывателей Сольвычегодска состоит в выделке кож; также занимаются они сканною работою. Делаемые жителями Сольвычегодска серебряные коробочки, солонки, вазы и ризы на иконы ценятся очень дорого».

Рассказ о торговле тоже много времени не займет. С торговлей было все по-старому – она продолжала хиреть. Вот что писали Вологодские губернские ведомости о сольвычегодских ярмарках в 1869 году: «В минувшем марте месяце в Сольвычегодском уезде были две ярмарки: Алексеевская в Сольвычегодске с 7 по 14 марта и Алексеевская же в заштатном городе Красноборске, с 15 по 23 марта. Первая из этих ярмарок существует по одному лишь названию. Обыкновенно на нее приезжает не более двух или трех иногородних купцов с красными товарами для сбыта их по преимуществу крестьянам. В нынешнюю ярмарку были только два устюжских купца с этими товарами и продали их на весьма незначительную сумму, не доходящую и до тысячи рублей; для покупок являются лишь подгородные крестьяне. Алексеевская же ярмарка в Красноборске бывает гораздо значительнее. В настоящем году на нее было привезено было: красных, бакалейных, москательных и других товаров на 80660 руб., кушаков местного производства на 2740 руб.; привезено лошадей 230 и рогатого скота 150 голов. <...> Заслуживает внимания то обстоятельство,

что пьянства замечалось меньше и винооторговцы жаловались на плохой сбыт вина».

В конце семидесятых годов Вологодский занимал девятое место по количеству торговых лавок среди дюжины уездных центров Вологодской губернии. К примеру, в Устюге было 466 лавок, в Грязовце 179, а в Сольвычегодске... три десятка. Даже в заштатном Красноборске, приписанном к Сольвычегодскому уезду, имелась 121 лавка. В скобках заметим, что по количеству церквей и соборов, которых имелось тринадцать, Сольвычегодск занимал в 1873 году третье место в губернии, уступая лишь губернской Вологде и уездному, но очень богатому Устюгу. Что тут скажешь...

Начиная с 1868 года в Вологодских губернских ведомостях начинают появляться заметки, в которых так или иначе упоминаются ссыльнопоселенцы. Сольвычегодск и уезд стали местом ссылки, куда отправляли под надзор полиции. Нужно сказать, что не все ссыльные собирались полностью отбывать срок ссылки в Сольвычегодске, и при первой возможности... В июле 1872 года Сольвычегодское полицейское управление разыскивало «самовольно отлучившегося из г. Сольвычегодска неизвестно куда, состоящего под надзором полиции ссыльнопоселенца отставного поручика Сигизмунда Зайончковского, который приметями: от роду 43 лет, росту среднего, волосы на голове и усах черные, бороду бреет, глаза черные, нос и рот умеренные, лицо круглое чистое; одежда на нем: офицерский мундир с белыми петлицами, картуз военный с белым околышем, рубаха и порты холщовые, сапоги кожаные поношенные».

Заканчивая рассказ о жизни Сольвычегодска и уезда в третьей четверти девятнадцатого века, нельзя не процитировать Вологодские губернские ведомости от 22 июня 1868 года, с сообщением о том, что «Государь Император по всеподданнейшему докладу министра внутренних дел, 31 минутного Мая, Высочайше соизволил на присвоение, согласно с ходатайством Сольвычегодского городского общества звание почетного гражданина г. Сольвычегодска, генерал-адъютанту, генералу от кавалерии графу Строганову».

Одна модистка

Последняя четверть позапрошлого века в истории Сольвычегодска, попавшего во временную петлю, мало чем отличалась от предыдущей, но все же, если взглянуть в нее попристальней, некоторые отличия найти можно.

Начнем с сообщения о наступлении весны в Сольвычегодске, опубликованном в Вологодских губернских ведомостях 5 мая 1876 года. «Весна в текущем году наступает у нас весьма медленно. Погода часто и резко переменяется. Колебание воды в реке Вычегде удивительное. В начале апреля погода была очень переменная: то холодная, то теплая, то снежная и дождливая. Вода в реке Вычегде начала сильно прибывать и к 14 числу поднялась выше обыкновенного уровня аршина на четыре, так что все ожидали немедленного открытия ледохода. На таком уровне она простояла до 18 числа. В этот день выпал снег, лежавший два дня; вода же в Вычегде по случаю прохода льда по реке Северной Двине, протекающей в 20 верстах от города, начала быстро убывать и 19 числа спала аршин до трех, не повредив нисколько льда. С 21 числа началось было, впрочем, самое незначительное движение льда в некоторых местах, но задерживалось наступившей холодной погодой, доходившей до десяти градусов холода. Вследствие этого еще 2 числа мая в некоторых местах перешли реку по льду. Но с 5 мая река вскрылась от льда. Видны на урожае озимых хлебов еще не определились. Полевые работы не начались; трава только что стала показываться и то лишь на гористых местах».

Правду говоря, и в другие года весна в Сольвычегодске и уезде не была особенно легка на подъем. Для иллюстрации приведем выдержку из метеорологических наблюдений с 1-го октября 1883 г. по 1-е октября 1884 г. крестьянина Сольвычегодского уезда Черевковской волости Федора Мокиева, подавшего в Сольвычегодское Земское Собрание записку со своими заметками. С начала весны погода была холодная с северными ветрами без дождей – неблагоприятная для раннего посева яровых хлебов; в мае месяце было тепло лишь с 8 по 16 число – погода была удобная для посева, но в это время земледельцы успели засеять лишь землю, вспаханную осенью, а потом по-

года опять переменялась и дожди, перемежающиеся со снегом, задержали посевы. В июне месяце было всего три дождя небольших и холодные ветры, вместе с бездождем препятствовали росту хлеба, так что яровые начали зеленеть лишь к 24 июня к вечеру. В июле месяце начали перепадать дожди, 26 был сильный дождь, а 28 выпал первый иней, который препятствовал спелости кукурузы, гречихи, огурцов, гороху, табаку и медоносным растениям; с 29 по 31-е перепадали дожди каждодневно. С 1-го августа до 10-го стояла погода переменная, 10-го утром был в 2 градуса мороз, которым окончательно повредило все произрастения, с 21 до конца месяца погода была благоприятная, ясная. В сентябре с 3-го по 11-е погода стояла холодная, утрами было от 2 до 5-ти градусов, а 12-го было 10 градусов морозу, с 13-го числа до конца месяца была благоприятная погода и в полдень доходило до 12 градусов».

Нечего и говорить, что при таком климате с земледелием здесь всегда были трудности. Описывая экономический быт сельского населения Сольвычегодского уезда в 1879 году, губернские ведомости пишут: «Местные климатические условия, песчаная или болотная почва и отсутствие промыслов поставили Сольвычегодский уезд в самое неблагоприятное положение. Даже нередко были публицистические заявления о существовании голода в среде крестьянского населения в 1857, 1862, 1865 и 1867 годах; это грустное явление подтверждается и официальными фактами, а из сельскохозяйственного отчета местного земства видно, что с самого открытия его, то есть с 1871 года ни разу не было такого урожая, который бы вполне обеспечивал продовольствие крестьян. Крестьянские общества не могут пополнять числящейся на них недоимки по продовольственным ссудам, несмотря на всевозможные меры земства. <...> Из этих данных можно видеть, во-первых, что в земельном отношении крестьяне Сольвычегодского уезда поставлены далеко в худшее положение в сравнении с крестьянами прочих уездов. Наделы их весьма ограничены, несмотря на обширность занимаемой территории. <...> Посевы крестьян малые. <...> Крайняя незначительность посевов объясняется отсутствием удобных для обработки земель. Кроме того, отведенные крестьянам земли состоят из бесплодных пространств, которые настолько недоброкачественны, что крестьяне не имеют возможности и средств обрабатывать их. <...> Не мудрено поэтому, если в хлебе нуждается все население уезда. Покупают хлеб, привозимый из Вятской губернии и из Вологды на рынках ближайших городов и на барках при сплаве к Архангельскому порту в зачет платы при найме в рабочие».

Для того чтобы этот хлеб покупать, и крестьянам Сольвычегодского уезда и гражданам города Сольвычегодска нужны были деньги. Тут мы переходим к вопросу о способах, которыми сольвычегодцы добывали себе пропитание. Попутно заметим, что почти шестьдесят процентов жителей Сольвычегодска принадлежало крестьянскому сословию, и такая ситуация была обычной для уездных городов Севера России того времени. Это были города со всеми атрибутами городов – городскими думами, уездными судами, казначействами, торговыми рядами и тюремными замками, но из-за их городских фасадов то тут, то там выглядывали деревни.

Большим подспорьем крестьянскому хозяйству служило скотоводство. Крестьяне придвинских волостей, а они составляли половину населения уезда, благодаря прекрасным пойменным лугам занимались откармливанием быков на убой. Мясо превращали в солонину и сбывали через Архангельский порт как внутри страны, так и на экспорт, а кожу, рога и копыта шли в переработку на заводы Вологодской губернии. Вырученными деньгами за продажу мяса крестьяне оплачивали лежащие на них подати и повинности. Скотоводство считалось настолько важным, что оценку состоятельности того или иного крестьянского дома определяли количеством выкормленных для продажи быков.

Еще одним доходным промыслом было льноводство, которым занимались крестьяне волостей, расположенных по течению реки Виледи – левого притока Вычегды. Вилегодский лен славился своим высоким качеством. Впрочем, дальше льна, как сырья для последующей переработки, дело не шло – в уезде не было ни одной ткацкой фабрики. Лен шел на фабрики Костромской, Ярославской и Московской губерний, а самый лучший его сорт поступал на фабрику архангельского купца Грибанова. Льняные ткани, произведенные на грибановской фабрике, продавались

не только внутри империи, но и за границей – в начале прошлого века на всемирной выставке в Париже они были удостоены Гран-при, правда, упоминания о том, что они произведены из льна, выращенного в Сольвычегодском уезде...

На этом разговор о сельском хозяйстве уезда можно закончить и перейти к собственно промыслам. Сразу скажем, что промыслы эти, как писалось в статье об экономическом быте сельского населения Сольвычегодского уезда конца семидесятых годов позапрошлого века, «мало-доходны и ничтожны». Тем не менее они были, и с их помощью крестьяне уезда добывали себе средства к существованию и оплачивали налоги. Основной промысел тех, кто не занимался день и ночь сельским хозяйством, заключался в отходничестве. Часть крестьян по весне отправлялись наниматься работниками при сплаве леса и барок к Архангельскому порту, часть уходила в другие деревни заниматься распилом леса, часть устраивалась работать каменотесами и прислужкой в Петербурге. Эти, как сказали бы сейчас, вахтовики посылали домой деньги из своих заработков семьям. Те, кто никуда не уходил, занимались охотой, рыболовством, смолокурением и плетением на продажу сетей. Сети, сплетенные из хорошо прочсанного льняного и конопляного волокна, сбывались в большом количестве в Архангельск, поморье Белого моря и Ледовитого океана, очень ценились за их отменное качество.

Жители северных волостей уезда занимались лесоповалом и сплавом леса для отпуска за границу. Крестьяне, жившие вдоль трактов, промышленляли ямщицеством и извозом, а в заштатном городе Красноборске и расположенной неподалеку от него деревне Белая Слуда женская часть населения делала кушаки – в Красноборске, как правило, хлопчатобумажные, а в Белой Слуде – шерстяные. Белослудские кушаки славилась своей прочностью, носились впятеро дольше фабричных и при ширине до полуметра были такими тонкими, что их легко протягивали через обручальное кольцо. Скупали кушаки Великоустюжские и Вятские купцы, чтобы сбывать на Ирбитской и Нижегородской ярмарках, в Архангельске, Вологде, в Олонецкой и Вятской губерниях. Неподалеку от Сольвычегодска плели из сосновых корней корзинки разных форм, которые на Всероссийской Промышленно-художественной выставке 1881 года были даже награждены денежной премией, но экономическое значение этого промысла так невелико, что невооруженным глазом его и не разглядеть.

В самом же Сольвычегодске в начале девяностых годов девятнадцатого века никаких промыслов не имелось. Конечно, жили в нем ремесленники – два мясника, один булочник, три портных, пять сапожников, один башмачник, один печник, два столяра, два кузнеца, один слесарь, один цирюльник, один серебряных и золотых дел мастер и даже одна модистка. По количеству ремесленников Сольвычегодск занимал десятое место среди дюжины городов Вологодской губернии, опережая только крошечный заштатный Лальск и уездный Яренск. И это при том, что еще тридцать лет назад в Сольвычегодске проживало и работало в два раза больше ремесленников, а кроме мастеров были еще и ученики, которых к концу века не осталось вовсе. Изменилась не только численность, но и состав – не стало резчика, трубочиста, переплетчиков, часовщика и позолотчиков. Ни тебе кондитеров, как в Устюге, ни колбасников, как в Тотьме, ни пряничников, как в заштатном Лальске. И это при том, что четыре пятых населения города составляли не старики, а люди в возрасте до тридцати лет. Казалось бы, им и колбасу с пряниками карты в руки... но нет. Добывать пушнину на Алеутские острова никто не собирался, основывать новые торговые компании и строить новые заводы с фабриками тоже. Какие торговые компании, если к началу двадцатого века из трех ярмарок, каждый год проходивших в Сольвычегодске, умерло две, а обороты оставшейся Введенской не превышали десяти тысяч рублей, что и по тем временам было не бог весть какой суммой. Экономическое значение Сольвычегодска окончательно сошло на нет еще и потому, что начатые строительством в последнее пятилетие позапрошлого века железные дороги из Вологды в Архангельск, из Санкт-Петербурга в Архангельск и в Вятку прошли через Котлас. Какая уж тут торговля...

О промышленности долго рассказывать нечего. В Памятной книжке по Вологодской губернии за 1895 год промышленность города и уезда описана одним предложением: «В г. Сольвычегод-

ске нет ни фабрик, ни заводов, а в уезде всего одна спичечная фабрика близ деревни Наумцево Черевковской волости, принадлежащая крестьянину Спиридонову, с 15 рабочими, и производством в 3611 руб.». В год эта фабрика производила немногим более двух с половиной тысяч ящиков фосфорных спичек.

Любопытное свидетельство о жизни Сольвычегодска в самом конце прошлого века оставил художник Верещагин, затеявший в 1896 году с семьей путешествие на парусной яхте по Вычегде и Северной Двине. Началось это путешествие в Сольвычегодске, который, по словам художника, «<...> такой маленький город, что в нем почти ничего нельзя достать: якорь и паруса заказали в Устюге, печку купили на барке, развозящей произведения какого-то чугунного завода. <...> И в голову не могло, конечно, прийти, что в самую последнюю минуту нельзя будет достать картофеля, муки и тому подобных необходимейших вещей – их нет в городе в продаже иначе как в базарные дни. <...> Теперь в Сольвычегодске около тысячи человек жителей. На высоком месте, когда-то обнесенным высоким тыном, против собора, против строгановского дворца и служб – теперь маленькие домишки, в одном из которых мы жили. <...> Теперь даже теса нельзя достать в Сольвычегодске, и я <...> принужден был выпрашивать несколько досок у разных лиц. А ведь есть в Сольвычегодске и богатые люди, например наследники сибирского богача-филантропа Х-ва, но они держат свои процентные бумаги в сундуках, исправно отрезая купоны и издерживая из них малую часть на проживание, остальное приобщают к капиталу. Один из этих Х. торгует вином, другой мелочью: леденцами, чаем, тарелками, горчицей, да и то спустя рукава, так что сплошь и рядом перловая крупа есть, а рисовой нет, стаканы есть, но блюдец нет – «скоро будут» и т.п. Третий Х. только молится Богу – и то хорошо».

Благотворители

Сибирским богачом-филантропом был не кто иной, как уже знакомый нам уроженец Сольвычегодска иркутский городской голова, купец первой гильдии статский советник Иван Степанович Хаминов, не устававший помогать родному городу. В 1876 году Иван Степанович пожертвовал Министерству народного просвещения выстроенный им в Сольвычегодске каменный двухэтажный дом с необходимыми к нему деревянными постройками. Хаминов предполагал на втором этаже разместить сольвычегодское уездное училище, а на первом двухклассное женское училище с приготовительным классом и двухгодичным курсом во втором классе. На заведение училища для девочек иркутский городской голова пожертвовал восемнадцать тысяч рублей с тем, чтобы на проценты с этого капитала оно могло существовать. Условие у Ивана Степановича было одно – присвоить женскому училищу имя «статского советника Хаминова». Такие предложения министерству народного образования должен был одобрить император, что он и сделал, «изъявив Хаминову высочайшую благодарность за его пожертвование».

Училище открылось 8 ноября 1876 года. Сам Иван Степанович на открытии не присутствовал, но в Иркутск ему отправили поздравительную телеграмму в шестьдесят шесть слов от благодарных граждан Сольвычегодска. Вот что писал в губернских ведомостях о церемонии открытия училища имени Хаминова инспектор народных училищ Эраст Тимофеев: «8 ноября останется навсегда памятным для жителей города Сольвычегодска по случаю открытия в нем женского двухклассного училища имени статского советника Хаминова. Да, не явись столь истинный ревнитель народного образования, как Иван Степанович, долго, очень долго, а может быть и совсем бы не дождался небогатым жителям города, лишенного промышленности и торговли, такого учебного заведения. Не мы только и наши дети, современные свидетели великого благодеяния Ивана Степановича, но и дети наших детей на многие поколения будут с благословением хранить в своих сердцах память о щедром благодетеле, виновнике их развития, образования, а вместе с тем и благосостояния. <...>». Мы не будем утомлять читателя подробным описанием церемонии открытия, включавшим литургию в Богородице-Рождественской церкви, крестный ход в здание училища, окропление его святой водой, пение гимна «Боже царя храни» и торжественной песни

«Тебе, Бога хвалим», тосты за здоровье государя императора, министра народного просвещения и виновника торжества Ивана Степановича Хамина, а только скажем, что уже через два дня после открытия училища в него записалось 43 девочки⁵⁸.

Через два года после открытия женского училища, в декабре 1878 года, Иван Степанович сделал городу еще один огромный в масштабе Сольвычегодска подарок – подарил двухэтажный каменный дом со службами под богадельню, а в придачу к дому капитал в размере пятнадцати тысяч рублей. Богадельне, конечно же с разрешения императора, присвоили имя Хамина. Городская дума в июне 1879 года возбудила ходатайство «касательно испрошения г. Хамину Высочайшей награды за пожертвование им дома для означенной богадельни и капитала на ее содержание» и разрешила городской управе потратить полсотни рублей из городских сумм на отопление здания богадельни, ее освещение и на выдачу жалованья сторожу. Хамину пришлось еще не раз помогать подаренной городу богадельне – на его счет при богаделенном доме построили флигель для помещения болеющих призываемых, которых с самого начала было одиннадцать, и даже была куплена посуда, поскольку у города со свободными деньгами... Городская дума нет-нет, да и залезала в капиталы, пожертвованные иркутскими купцами Чирковым и Хаминовым на выдачу пособий бедным жителям Сольвычегодска⁵⁹, для покрытия неотложных расходов по городскому хозяйству – исправлению поврежденных береговых укреплений, которые постоянно подмывала неугомонная Вычегда, постройку мастерских, ремонту городских казарм, уплату городских долгов в казну или для выдачи отдельным гражданам под вексель небольших сумм. Городская дума строго следила, чтобы все деньги, взятые займы из пожертвованных городу капиталов, находившихся в ведении городского общественного управления, были возвращены. В губернских ведомостях за 1880 год можно прочесть объявление Сольвычегодского уездного полицейского управления о том, «что Присутствию оногo 8 числа августа сего года назначен торг на продажу деревянного одноэтажного дома с пристройками и землею, оцененного в 90 руб. и принадлежащего Степану Иванову Дуракову, за неплатеж им денег по векселю 85 руб. Сольвычегодской Городской Управе в капитал Иркутского купца Хамина».

Попасть в число тех, кому из богаделенных капиталов⁶⁰ выдавали пособия, или тех, кого принимали в число призываемых в одну из двух городских богаделен, было непросто. Зачислить или не зачислить того или иного сольвычегодца лишь кандидатом на получение пособия или кандидатом на поступление в городскую богадельню, каждый раз решала городская дума, и отказы были нередки. Все это делалось публично, и о каждом вынесенном решении регулярно печатались сообщения в губернских ведомостях. Приведем лишь некоторые из таких сообщений периода с конца семидесятых и до начала девяностых годов девятнадцатого века, которые конечно же не дают нам общей картины повседневной жизни различных слоев населения города Сольвычегодска, но добавляют к ней несколько красноречивых штрихов.

«О помещении в Ждановскую богадельню мещанина Петра Милохина с женою и об отказе в просьбе о том же мещанину Жданову и солдатке Корзуновой. Об оставлении без уважения ходатайства вдовы коллежского регистратора Назариной относительно принятия ее в городскую богадельню. О помещении солдатки Ереминой в городскую богадельню. Об оставлении без уважения ходатайства вдовы коллежского регистратора Назариной относительно принятия ее в городскую богадельню. О прекращении выдачи мещанкам Ждановой и Верещагиной пособия из богадельного капитала и о помещении Верещагиной в городскую богадельню. О принятии мещанки Сташевской в городскую богадельню. О помещении крестьянки Паламодовой в городскую богадельню. Об оставлении без уважения просьбы вдовы коллежского секретаря Чуркиной относительно принятия ее в городскую богадельню. О продолжении выдачи мещанке Верещагиной пособия из капитала, принадлежащего богадельне купца Жданова в г. Сольвычегодске. Об отклонении ходатайства мещанки Левзиновой⁶¹ относительно выдачи ей пособия из богаделенного капитала. О помещении мещанина Шабалина, чиновника Ильинского и солдатки Егоровой в городскую богадельню и о заведении новых одеял для призываемых в этом заведении. Об отклонении ходатайства мещанки Михайловой относительно помещения ее увечной дочери в город-

скую богадельню. Об отклонении ходатайств вдовы почетного гражданина Лагуновой и солдатки Елфимовой о помещении их в городскую богадельню».

О том, как тратились деньги, пожертвованные благотворителями городу, сольвычегодские власти каждый год публично отчитывались буквально по каждому рублю и по каждой копейке. В качестве иллюстрации приведем две части из отчета о деятельности Сольвычегодской Городской Управы и подведомственных ей частей за 1891 год.

«О долгах на городе. 1891 году оставалось долгов на городе по векселю в капитал городской богадельни имени тайного советника Ивана Степановича Хаминова 225 руб., занятых в 1885 году на исправление казарменного здания, постройку мастерских и другие расходы по городскому хозяйству, которые и были уплачены в 1891 году, следовательно, к 1892 году долгов на городе нет.

По благотворительной и учебной части. Благотворительных и учебных заведений, содержащих, собственно, на средства города нет, а имеются состоящие в распоряжении города две каменные богадельни Жданова и Хаминова. На средства первой до 11 апреля 1891 года содержалось четыре, а в остальное время года три призреваемых, с получением по 1 руб. 50 коп. в месяц. По ветхости здания богадельни, призреваемые проживают на квартирах, в богадельне же Хаминова содержалось 10-12 человек призреваемых обоого пола. На содержание богаделен в 1891 году израсходовано: по первой – выдано призреваемым 59 руб., последней Хаминова – содержание призреваемых с отоплением и освещением 415 руб., жалования эконому 120 руб., прислуге 93 руб. и другие расходы 18 руб. 85 коп. Сверх означенных капиталов находятся в распоряжении городского общества капиталы, пожертвованные: Чирковым 1000 руб., Хаминовым 3000 руб. и Михайловой 1000 руб. Проценты с этих капиталов, согласно воли жертвователей, раздаются в пособие бедным гражданам города на праздники Св. Пасхи, 24 июня, Рождества Пресвятой Богородицы и Рождества Христова. Из капитала Хаминова кроме того уплачиваются повинности за бедных мещан. В отчетном году выдано пособия бедным: по первому 33 руб. 20 коп., по второму 79 руб. 75 коп., уплачено повинностей и выдано на содержание и другие расходы 60 руб. 62 коп. и последнему 36 руб. 60 коп.»

Судьба богадельни, подаренной городу купцом Алексеем Косьмичом Ждановым, еще в восьмидесятых годах восемнадцатого века была непростой. К концу девятнадцатого века ее двухэтажное каменное строение обветшало настолько, что трое находившихся в ней призреваемых были оттуда в 1877 году выселены. Назначили им содержания по три рубля с полтиной в месяц из процентов с капитала, оставленного Ждановым, и приказали ни в чем себе не отказывать, а через два года сократили и это пособие до полутора рублей в месяц, «в видах увеличения капитала богадельни, дабы на проценты с оного возможно было ремонтировать означенный дом и содержать в нем четырех призреваемых, согласно Высочайше утвержденному 1 января 1854 г. положению о сей богадельне». Оставляя без комментариев это решение Вологодского губернского правления, скажем, что экономия шести рублей в месяц, отнятых у стариков и старух, и без того перебивавшихся с хлеба на квас, результата не дала, да и не могла дать, никакого. Полторы тысячи рублей, необходимых для ремонта здания, собрать не удалось. Расходовать на эту цель неприкосновенный капитал было нельзя, так как это нарушило бы волю умершего жертвователя, а средств на поддержание здания Жданов не оставил. Родственников его, кроме однофамильцев, найти не могли. Город средств на этот предмет, как и на многие другие предметы, не имел, и поэтому собрание уполномоченных Сольвычегодска, как сообщалось в губернских ведомостях, «не находя возможным ремонтировать здание богадельни Жданова, постановило: продать его с тем, чтобы торги были открыты с пяти тысяч рублей и вырученные от продажи деньги присоединены к остальной сумме, часть которой употребить на постройку деревянного дома на каменном фундаменте на месте, отведенном городом; дом этот именовать богадельней Алексея Косьмича Жданова, на проценты с остальной суммы содержать в ней четырех призреваемых и ремонтировать дом».

И последнее о сольвычегодских богадельнях и благотворителях последней четверти века. В октябре 1891 года Сольвычегодская Городская Дума приняла решение «Об отправлении еже-

годно в определенные дни панихид по умершим купцам Чиркове и Жданове, пожертвовавших в ведение города капиталы на благотворительные цели»... Нет, не последнее. Все же нужно сказать о различных сборах денег сольвычегодцами по подпискам то в пользу Вологодского женского благотворительного общества, то в пользу общества подаяния помощи при кораблекрушениях, то в пользу славян Балканского полуострова, то на содержание Сольвычегодской кладбищенской церкви⁶², то на приобретение морских судов добровольного флота, на сооружение православного храма в Актюбинском укреплении и даже на устройство училища имени писателя Гоголя.

Отдельно скажем о крестьянине Черевковской волости Иване Гусеве, который в 1885 году «проникнутый состраданием к населению Сольвычегодского уезда, пострадавшему от неурожая в минувшем году, пожертвовал в пользу нуждающихся деньгами 200 рублей и 500 пуд. муки; причем отправил в пострадавшие местности еще другие 500 пуд. муки, для продажи по удешевленной цене, каковая помощь своевременно оказанная Гусевым, дала возможность местному населению, не имевшему хлеба, отправиться на лесные охотничьи промыслы, служащие для него одним из главнейших средств к существованию. Государь Император, по всеподданнейшему докладу г. Управляющего Министерством Внутренних Дел об означенной похвальной деятельности крестьянина Гусева, Всемилостивейше соизволил, в 24 день минувшего марта пожаловать его серебряной медалью с надписью "за усердие" для ношения на груди на Аннинской ленте».

И это не все. В 1887 году потомственный почетный гражданин Прокопий Васильевич Хамянов пожертвовал на Николаевско-Нюбскую церковно-приходскую школу Сольвычегодского уезда восемьсот рублей в неприкосновенный капитал, чтобы на проценты с этого капитала школа содержалась. Хамяновы денег для Сольвычегодска не жалели – в том же году Городская Дума благодарила сольвычегодского купеческого сына Прокопия Васильевича Хамянова, заявившего в собрании Думы о своей готовности пожертвовать городу пятьсот рублей и дать такую же сумму заимообразно без платежа процентов на перестройку городского гостиного двора.

В марте 1889 года, Вологодские губернские ведомости сообщали, что Сольвычегодское Уездное Земское Собрание пожертвовало «одну тысячу рублей для учреждения на проценты с этого капитала в Вологодском Александринском детском приюте стипендии для воспитания девочки семнадцатилетнего возраста, с присвоением капиталу наименования "в память чудесного избавления Императора Александра III и его Августейшей Семьи от угрожавшей опасности 17 октября 1888 г.", а стипендии – наименования Августейшего Имени Государыни Императрицы Марии Федоровны». Не так-то просто отдать в Вологду из городских денег, которых и без того кот наплак, тысячу рублей на благотворительность. По этому поводу Сольвычегодское Уездное Земское Собрание попросило вологодского губернатора отбить Александру Третьему телеграмму, в которой «повергало к стопам Его Императорского Величества свои верноподданнические чувства». В ответ на эту просьбу губернатор отвечал: «Душевно радуюсь столь достойному проявлению чувств Земского Собрания по поводу чудесному спасению Царя, Царицы и Августейшей семьи».

Отсутствие понятия о законности

От благотворительности перейдем к здравоохранению. Сольвычегодское уездное земство к началу последней четверти девятнадцатого века на весь уезд содержало одного уездного врача, одного особого больничного врача, от семи до девяти фельдшеров, одну акушерку, одну повивальную бабку и двадцать пять оспопрививателей. Городская земская больница имела два десятка кроватей. О здравоохранении в городе и уезде в обзоре здравоохранения Вологодской губернии за 1876 год сказано, что «В г. Сольвычегодске один врач, отличающийся особенно усердной деятельностью, благодаря которой санитарная часть приходит ныне в хорошее состояние; затем в уезде имеется 9 фельдшеров и 23 оспопрививателя. Городская земская больница находится в порядке, пища хорошего качества, содержание больных вообще удовлетворительно, больничные принадлежности имеются в достаточном количестве на штатное число кроватей. Но за всем тем больница эта не во всех отношениях безупречна, а именно комнаты довольно темны и не совсем

удобны, вентиляция не удовлетворительна, в новых инструментах, нужных для диагностики и при врачевании замечается недостаток». К этому описанию прибавим, что единственная городская аптека помещалась в больнице, а других в городе не имелось. Уездное земство в 1877 году оплачивало обучение двух стипендиатов, обучавшихся фельдшерской науке в Вологде и двух стипендиатов, слушателей акушерского курса.

Нужно сказать, что попасть в число городских стипендиатов, обучавшихся за счет земства повивальному искусству, было непросто по той же самой причине, что и устроиться в богадельни – средств у уездного земства было... Заявлений от сольвычегодских девиц в уездное земское собрание поступало много. Ниже следуют тексты двух прошений, напечатанных в журнале Сольвычегодского Уездного Собрания за октябрь 1888 года. Первое – от дочери умершего надворного советника Софии Апличевой. «Имею честь покорнейше просить Уездное Земское Собрание, не найдет ли оно возможным отправить меня будущей весной в г. Вологду стипендиаткой земства, для обучения повивальному искусству, за что я обязываюсь по окончании курса прослужить земству в должности повивальной бабки назначенный срок».

Второе – от дочери бывшего сольвычегодского протоиерея Екатерины Кулаковой. «В прошлом 1887 г. я обращалась в Сольвычегодское Уездное Земское Собрание с прошением об отправке меня в г. Вологду для обучения повивальному искусству с обязательством по окончании курса, прослужить земству в должности бабки назначенный срок. На это прошение мое тогда Земское Собрание постановило иметь меня ввиду на будущее время, по случаю неимения в то время надобности в повивальных бабках, оставаясь до сих пор круглой сиротой и без всяких буквально средств к жизни я ныне вновь вынуждена и осмеливаюсь обратиться с той же просьбой в Земское собрание покорнейше прося об отправке меня весной 1889 г. на счет земства в г. Вологду для обучения повивальному искусству, ибо чрез получение должности бабки я была бы обеспечена, исполняя честно и энергично свою обязанность насущным куском хлеба добытым истинным трудом. При этом не лишним считаю заявить Собранию, что свободные вакансии на должности повивальных бабок предстояли и в текущем году, да ведь могут представиться и в будущее время, лишь бы была заместительница, чем искать последних в других уездах и обучение меня стоило бы земству не более 300 р., всего»⁶³.

Из медицинского отчета по Сольвычегодской Земской больнице с 1 сентября 1887 года по 1 сентября 1888 года ее главного врача можно узнать, чем болели жители города и уезда. Самой распространенной болезнью был сифилис, которым болело около тридцати процентов пациентов больницы. За сифилисом шли так называемые хирургические болезни, за ними болезни дыхательных органов и сердца, за которыми следовали инфекционные болезни, малярия, старческий антонов огонь, болезни брюшных органов и кишечника, ревматизм, болезни глаз и прочие болезни. Не станем перечислять количество операций, выписанных рецептов, амбулаторных больных, отпущенных лекарств и принятых родов, но не преминем заметить, что для пополнения библиотечной библиотеки выписывались журналы «Практическая медицина», «Новости терапии», «Медицинское обозрение», «Русская медицина» и для чтения больных «Воскресный день».

Из доклада членов Ревизионной комиссии Сольвычегодскому Уездному Собранию 24 октября 1888 года: «По осмотру земской больницы найдено там в исправности и самые больные отзываются, что они довольны пищею и уходом за ними, кроме лишь того, что сало, находящееся при больнице, находится у сторожей, а как нам известно, что его покупается весьма не мало, то по мнению нашему и следовало бы держать его вместе с другими припасами под заведыванием смотрителя больницы».

В уезде преобладали болезни пищеварительных и дыхательных органов, раны, ушибы, переломы, вывихи, воспаления суставов, перемежающаяся или болотная лихорадка, глисты и, конечно, дизентерия. В 1881 году с начала июня и до октября крестьян четырехсот селений разных волостей Сольвычегодского уезда изводил кровавый понос – как раз в то самое время, когда взрослые отправлялись на сенокосы, оставляя детей на руках дедушек и бабушек.

Антисанитария была везде – и среди не моющих руки крестьян, и, что самое печальное, среди фельдшеров. В годовом медицинском отчете с 1 сентября 1887 года по 1 сентября 1888 года Первому участку Сольвычегодского уезда исполняющий обязанности уездного земского врача Смирнов пишет, что «До настоящего времени фельдшера вытирали аптечную посуду чем попало под руку⁶⁴, или просили полотна у своих квартирных хозяек, если же ничего не находили, то вытирали посуду полою своего сюртука, что случилось раз при мне, но такой примитивный способ очистки аптечной посуды немислим, поэтому я осмеливаюсь просить Земское Собрание разрешить кредит в количестве четырех рублей на покупку полотенец для пяти аптек, в каждую по четыре полотенца». Служба Смирнова легкой не была – больных он осматривал и в городской больнице, и в своей квартире, и, по приглашению, в квартирах больных. Отправляясь в уезд, он за три или четыре дня перед поездкой уведомлял об этом волостные правления, и в те места, где врач останавливался, заранее приходили больные, которых он осматривал, давал им врачебные советы и лекарства. Отдельно уездный врач ездил в уезд по приглашению к трудным больным. Только таких поездок в год он сделал три десятка.

Были в практике Смирнова и курьезные случаи, о которых он пишет в своем отчете. «В начале июня крестьяне Митинского общества деревни Большой Слуды заявили мне, что женщины их общества страдают болезнью порчи и, что вследствие этой болезни, они брешут как собаки. 10 июня я отправился в эту деревню, ко мне явилось около сорока женщин, которые повторили вышесказанное заявление крестьян. При медицинском исследовании оказалось, что каждая из женщин больна своей болезнью, например, одна пороком сердца, другая воспалением плевры, легких, катаром желудка и т.д. Мною всем выдано было лекарство по роду их болезней. Затем мною высказано было женщинам, что болезни порчи нет, что они кричат как собаки вследствие подражания одна другой под влиянием ложного страха. По прошествии двух недель, я снова был в Митинском обществе, но кликуш уже не было, и больные женщины просили меня лечить их от обыкновенных болезней».

Не будем удивляться дикости нравов и суевериям крестьянок деревни Белая Слуда. Крестьянки соседних уездов, в соседних и не в очень соседних губерниях империи в этом отношении мало чем отличались от сольвычегодских. Крестьяне, кстати, тоже. В те времена в уезде, как писал тогда же этнограф и краевед Николай Александрович Иваницкий в работе «Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность», крестьяне мужского пола носили на шее зашитый в мешочек порох, который по их представлениям предохранял от болезней. Там же написано, что в те времена крестьяне Сольвычегодского уезда подкладывали куриные яйца в вороньи гнезда с тем, чтобы ворона их высидела. Поскольку курица, выросшая из яйца, высиженного вороньей, будет нестись чаще. Одно воронье яйцо из гнезда выбрасывается, а куриное, намазанное сажеей, чтобы быть похожим на воронье, подкладывается. Больше одного яйца подменять нельзя, иначе ворона обман заметит. Время от времени в воронье гнездо лезут смотреть, не вылупился ли птенец, чтобы тотчас его забрать. В противном случае ворона птенца убьет.

Раз уж зашла речь о крестьянских нравах, то уместным будет привести напечатанное в 1882 году в губернских ведомостях извлечение доклада чиновника по крестьянским делам Сольвычегодского уезда.

«Все население уезда без исключений не только знакомо, но даже хорошо говорит по-русски и без труда понимает простую разговорную форму речи. Что касается понимания речи литературной, в особенности ораторской, преобладающей на судоговорении, то из личного моего знакомства с должностными лицами волостного и сельского управлений, а также из разговоров с многочисленными просителями, я совершенно убедился, что огромная масса, за самыми редкими исключениями, совершенно не понимает такой формы изложения ни словесной, ни письменной. <...> Форма короткого пунктуального предписания до сих пор остается единственно понятной для крестьян. Это относится одинаково как к большинству грамотных (которых, надо заметить, по уезду очень мало). Так и к неграмотным. Исключением является некоторое количество моло-

дежи, окончившей курс в земских народных училищах, да и то только спустя недолгое время по окончании курса.

В связи с малым умственным развитием массы и нравственности народа не отличается достаточной чистотой. По всему уезду замечается отсутствие понятия о законности, о праве вообще. <...> Также малая степень развития нравственности проявляется и в общественном самоуправлении крестьян. Растраты общественных сумм должностными лицами – явления нередкие по нашему уезду. Но, главное, интересно отношение выборщиков к избираемому. Случалось, нередко, что должностное лицо, уличенное при учете в растрате, снова избиралось на ту же должность на следующий срок. Случаи выбора в должности и звания лиц заведомо порочных и даже судимых за разного рода преступления точно так же не исключительные. Продажа общественных должностей, земель и т.д. случается на каждом шагу. Все правосудие в волостных судах основано на взятке деньгами, водкой, услугами и т.п. Семейные раздоры на экономическом почве, ведущие к многочисленным разладам, тоже не доказывают достаточной степени развития нравственности. Пьянство по уезду развито не менее, чем где-либо. Наконец, есть обычаи уже совсем не нравственные. Из рассказов крестьян я убедился, что к таким обычаям, не говоря о молодежи, даже отцы и матери относятся совершенно равнодушно.

Количество незаконнорожденных по уезду очень значительно⁶⁵. Вообще можно сказать, что умственный и нравственный уровень народа настолько низок, что привлечение массы к исполнению обязанностей присяжных заседателей было бы положительно мерой преждевременной и вредно влияющей на интересы правосудия.

Население уезда преимущественно расположено по рекам: С. Двине, Вычегде, Виледи и другим их притокам, или в очень недалеком от них расстоянии, за исключением двух волостей Горковской и Гавриловской, которые от реки Двины находятся на расстоянии более двухсот верст. Но, несмотря на положение селений по берегам больших рек, жители поставлены в необходимость ездить в уездный город сухим путем. Причиной тому служит то обстоятельство, что по реке Двине нет не только срочного пароходства, но за мелководьем иногда оно вовсе прекращается на неопределенное время, по Вычегде же пароходы ходят не более двух-трех раз в год по весне, а в остальное время проезд не только пароходов, но даже больших лодок невозможен. Хотя по Двине и можно было бы ездить в город в лодках, но плавание против течения требовало бы более времени, чем по сухому пути. Сухопутные же сообщения требуют значительного времени. От ближайших к Сольвычегодску волостей <...> приходится употребить на проезд в хорошую погоду на двух лошадах от четверти часа до суток. Что касается более отдаленных волостей, то от них надо для проезда употребить от трех до пяти суток в один конец по хорошей дороге. Дороги, содержимые земством, хороши и почти во всякое время года, а обывательские только летом и зимой, весной же и осенью езда по ним довольно затруднительна. При этом следует заметить, что самое дурное сообщение существует для Гавриловской и Горковской волостей с рекой Двиной и торговым трактом к Сольвычегодску; некоторая часть пути (верст в двадцать пять) до того плоха, что проезд в весеннее, осеннее и даже летнее (если взять довольно сырое) время не только неудобен, но даже и не совсем безопасен, так как мостовая, расположенная на болоте, почти совершенно сгнила и, кроме того, по ней образовались ямы глубиной более аршина. Эта часть дороги во время таяния снегов и осенью во время дождей почти совершенно непроходима. Затем общее неудобство путей сообщения – весенние разливы рек на громадное расстояние (до пятнадцати и более верст). Из этого краткого очерка группировки населения и путей сообщения видно, что призыв крестьян к участию в Окружном Суде будет довольно обременителен для них, так как потребует отлучек от домашнего хозяйства на довольно продолжительное время, один путь в оба конца займет от двух дней до двух недель. Обременительность эта делается еще яснее, если мы обратим внимание на распределение работ у крестьян. <...> Таким образом, если в связи с только что изложенным принять во внимание незначительность крестьянских семей, в которых большей частью по одному работнику – мужчине, то получится вывод, что большая часть мужского населения свободна от работ только с декабря по март – то есть всего три месяца.

Все вышесказанное приводит к следующему: народ мало развит умственно и нравственно; немногочисленное население разбросано на весьма значительной территории; разлитие весною рек и их замерзание затрудняют сообщения с городом почти на полтора месяца; время, в которое крестьяне могли бы без особенного обременения отвлекаться от своих работ, не более трех – четырех зимних месяцев.

Если к полученным выводам прибавим, что население уезда довольно бедно вообще и что волостные судьи и бывшие старшины, которые по закону должны нести обязанности присяжных заседателей, за редкими исключениями составляют беднейшую часть крестьянства, а также то обстоятельство, что города Сольвычегодск и Красноборск не обладают значительным количеством лиц, имеющих право быть присяжными заседателями и могущих без ущерба для службы нести эту обязанность, то окажется, что введение Окружного Суда обременит самую бедную часть крестьянского населения и едва ли благотворительно отзовется на интересах правосудия».

Комментировать это извлечение из доклада, особенно в той его части, где говорится о том, что растраты общественных сумм явления нередки, а случаи выбора в должности и звания лиц заведомо порочных и даже судимых за разного рода преступления не исключение из правил, и все правосудие в судах основано на взятке – только портить, а потому мы этого делать не станем, а перейдем от греха подальше к образованию.

Значительная потребность в чтении

Образование города и уезда в последней четверти девятнадцатого века существенных изменений не претерпело. Собственно, и рассказывать особенно не о чем, кроме того, что в самом конце века, в городском женском двухклассном приходском училище, кроме обучения девочек различным женским рукоделиям, по инициативе заведующей училищем Неклюдовой с 1 октября 1896 года ввели обучение девочек башмачному ремеслу, под руководством и на ее же, Неклюдовой, средства. Самое удивительное, что первые ученические работы башмачниц оказались настолько неплохи, что в училище пришло довольно много заказов со стороны горожан. Большому количеству заказов способствовало и то, что в городе из обуви можно было купить в основном сапоги да валенки, а не башмаки. Как только заказы поступили, сразу же и выяснилось, что для их выполнения нужно закупать в больших количествах все то, из чего делают башмаки, и нанять специального педагога, то есть нужны деньги, которых, как всегда, не хватало. Директор народных училищ Вологодской губернии обратился в Сольвычегодскую Земскую Управу с просьбой возбудить перед уездным земским собранием ходатайство о ежегодном ассигновании, на содержание ремесленного класса при училище. Управа против не была, но докладывая об этой просьбе уездному земскому собранию прибавила от себя, что в начальных классах девочкам лучше учиться читать и писать, а не тачать башмаки. Управа и вообще полагала, что с просьбой о деньгах лучше обращаться не к земству, а к наследникам к тому времени уже покойного Ивана Степановича Хаминова, поскольку Сольвычегодское женское училище содержится на его средства, или же к городским властям, потребностям которого оно, главным образом, служит. Короче говоря, Земская Управа не горела желанием нужные средства доставить из кармана земства. Эта не очень красивая история тянулась около двух лет, пока Уездное Земское Собрание не постановило назначить на содержание рукодельного и ремесленного классов при Сольвычегодском женском двухклассном училище ежегодное пособие от земства.

К рассказу о девочках-башмачницах прибавим две цитаты: рапорт учителя Верхотальского начального училища Павла Потапова от 18 июня 1888 года в Сольвычегодский училищный совет и выдержку из протокола Губернского Земского Собрания от 22 января 1900 года, а потом перейдем от образования к событиям культурной жизни.

«Имею честь доложить уездному училищному совету, что находящийся при училище лес, в количестве 386 бревен гниет, трескается (колется) и вообще, неупотребляемый еще в дело, приходит в ветхость. Тогда как училище вследствие тесного своего помещения, мне кажется, необ-

ходимо нуждается в пристройке комнаты или флигеля в настоящее время для ночлега учащихся, а в последствии для 2-й классной комнаты. Затем в надворной постройке, как-то: амбаре, дровеннике и бане. Последняя, может быть, покажется училищному совету прихотью учителя, но она необходима, вследствие малонаселенности села и отсутствия в нем такого рода построек. Так для восьми семейств, живущих в селе Верхолалье, существует только две бани. Приобретать же означенные надворные постройки самому учителю нет никакой возможности, так как училище находится на церковной земле».

«По ходатайству Сольвычегодского земского собрания о пособиях на общежития при городских училищах. Сольвычегодская Уездная Земская Управа в 1899 году представила два ходатайства Уездного Земского Собрания о пособиях из средств Губернского земства на содержание общежитий при Сольвычегодском и Краснорборском городских училищах по триста рублей ежегодно на каждое. Гласный Ф. А. Балушкин, поддерживая ходатайство вместе с тем поделился тем впечатлением, какое он вынес, когда увидел в первый раз школьников в Сольвычегодске: полуголодные, полуодетые должны теперь идти в деревню, находящуюся от школы в семи и даже в пятнадцать верстах. Устройство общежитий для таких школьников необходимо».

Если исключить открытие женского училища имени Хаминова, то культурных событий в истории Сольвычегодска за последние двадцать пять лет позапрошлого века было... раз-два и обчелся. Вторым, и не менее важным, чем женское училище, открытием была библиотека. У этого открытия была своя предыстория в виде письма гласного очередного Земского Собрания Феодосия Ивановича Прозоровского в Сольвычегодское Уездное Земское Собрание в конце октября 1888 года под заголовком «Предложение об открытии при Земской Управе библиотеки». Письмо это не только об открытии библиотеки, а еще и о том, что народ, как сказано в докладе чиновника по крестьянским делам Сольвычегодского уезда, «мало развит умственно и нравственно», а потому процитируем его полностью.

«Всем гг. гласным Земского Собрания известно, что в среде населения Сольвычегодского уезда существует значительная потребность в чтении. Известная и немалая часть этого населения охотно прибегает к пользованию общепользными и распространенными книгами, журналами и газетами, что особенно наглядно выражается в массе таких изданий, проходящих в население через земскую и казенную почты, пользуются чтением в городе и в деревне, светские и духовные лица, образованные люди, средний класс и многие из крестьян, словом потребность в пользовании литературными изданиями, является всеобщей, охватывает все слои населения.

При столь несомненном и широком стремлении к чтению, которое конечно свидетельствует о разнообразных потребностях духовной жизни, потребностях умственного и духовного развития, является вопрос, насколько или в какой мере это вполне естественное и законное стремление удовлетворяется в настоящее время. Не нужно обладать точными сведениями, чтобы ответить, что потребность в чтении, существующая в населении нашего уезда удовлетворяется далеко не в полной мере. Для людей, более обеспеченных материально и то не всегда возможно бывает выписывать⁶⁶ все желательные, или даже только необходимые издания, по их дороговизне, люди же среднего состояния и в особенности бедные, каковых конечно большинство, встречают в недостатке средств на выписку книг, журналов и газет непреодолимое препятствие к удовлетворению вполне законной потребности, как в приобретении путем чтения, полезных знаний и сведений, так и в общем развитии своих духовных и нравственных сил. К числу нуждающихся в полезном чтении и затрудняющихся по недостатку средств в приобретении книг и других изданий, принадлежат многие служащие самого нашего земства. Таковы учителя и учительницы наших школ, лица медицинского персонала и служащие в земской Управе. Для громаднейшего большинства из них не по средствам выписывать даже одну дешевую газету, не говоря уже о дорогом стоящих книгах и журналах. Кроме земских служащих также не могут пользоваться необходимым чтением и многие служащие в других учреждениях и состоящие по другим ведомствам, в городе и уезде. К числу их относятся городское и сельское духовенство, волостные и сельские писаря и пр.

Наконец есть еще и класс, и при том едва ли не самый многочисленный, это грамотное крестьянское население, которое почти поголовно лишено возможности читать чтобы то ни было, не имея средств на покупку книг и выписку других печатных изданий. Не следует также забывать, что кроме взрослого населения во всех указанных классах населения есть учащаяся и не учащаяся молодежь, дети обоего пола, которые по выходе из школы и не будучи в ней, также нуждаются в подходящем для них чтении и к крайнему сожалению, не имеют его. В других местах указанной всеобщей потребности населения в чтении удовлетворяют, между прочим, библиотеки особые и строящиеся при городских и сельских училищах. В нашем уезде ничего подобного нет и население поневоле гложет в темноте и лишается всякой возможности удовлетворять одну из законнейших и важнейших потребностей человека – потребность духовного и умственного развития.

Ввиду всего этого, для нашего уезда, представляется положительно необходимым иметь хотя одну библиотеку, в которой находились бы книги, журналы и газеты для взрослых и детей. Такая библиотека даст возможность малоимущим людям пользоваться из нее печатными изданиями за небольшую необременительную ежемесячную или годовую плату; этим путем население может приобрести много полезных сведений, познакомится с лучшими нашими писателями, составляющими гордость и славу нашей родины, которые, однако, до сих пор остаются неизвестными для большинства сельских и даже городских жителей. Общий уровень образования населения, благодаря этому, несомненно, повысится, а это такой результат, к которому всегда стремилось и стремится и наше Правительство в своем попечении о народном благе и сами земства.

Открытие указанной мной библиотеки легче и скорее может осуществить Земское Собрание. Для этого потребуются ассигновать одновременно не более пятисот рублей в распоряжении Земской управы, которой вместе с тем поручить просить надлежащим порядком разрешение г. Начальника губернии на открытие при ней земской библиотеки на тех основаниях, на каких подобные учреждения содержатся в других местах земствами и городами. На эти пятьсот рублей можно выписать полные сочинения лучших авторов по общей литературе, лучшие детские книги и журналы и достаточное количество современных изданий общедоступного характера. Заведывание библиотекой, без сомнения, возьмут на себя, без всякой платы постоянные служащие Земской Управы. Книги, журналы и газеты, как я уже сказал, могут выдаваться из библиотеки и высылаться желающим в уезд, за небольшую месячную или годовую плату, назначенную Управой. В самой библиотеке может быть кабинет для чтения, открытый в известные дни и часы, в котором чтение газет может быть и бесплатно, для подписчиков на книги и журналы.

Из вырученной подписной суммы, за употреблением некоторой части на ежегодное приобретение недостающих и вновь появляющихся изданий, библиотека без сомнения в два-три года возвратит ассигнованные на нее деньги и потом может образовать особый фонд, который будет находиться в распоряжение Земского Собрания. Представляя обо всем этом на благоусмотрение Земского Собрания, я считаю своим долгом просить его войти в обсуждение моего предположения и принять его в том или другом виде, ассигновав на открытие при Земской Управе земской библиотеки с кабинетом для чтения необходимую сумму, каковым своим постановлением Собрание, затратив ничтожные средства, сделает, по моему мнению, большое и полезное дело, за которое его будут благодарить тысячи людей в настоящем и будущем».

Через полтора года после этого предложения, 7 мая 1890 года, Сольвычегодское Земское Собрание приняло решение об открытии в Сольвычегодске земской публичной библиотеки. Правда, пятьюстами рублей дело не обошлось – только на приобретение книг и журналов понадобилось 420 руб., а к ним еще 240 руб. на содержание библиотекаря и еще пять рублей на приобретение канцелярских принадлежностей. Помещалась библиотека в двух комнатах при здании Земской Управы. Имя первого сольвычегодского библиотекаря мы не знаем. Нельзя сказать, чтобы в библиотеку, после ее открытия, горожане или жители уезда выстроились в очередь. Через двадцать один год после ее открытия, в 1911 году, в библиотеке было 73 читателя, из которых 37 читателей платных. Интересно отметить, что половина из общего количества читателей – политические ссыльные, в числе которых будущий лучший друг всех библиотекарей Иосиф Джугашвили.

Поскольку этими двумя по-настоящему значимыми для города и уезда событиями культурная жизнь исчерпана, то мы прибавим к ним те события, которые можно, с известными оговорками, отнести к культурным, хотя это, скорее, культмассовые мероприятия – визиты великих князей в Сольвычегодск.

В первый раз это был визит великого князя Владимира Александровича в июне 1885 года. Поскольку это был первый в истории города и уезда визит особы царствующего дома, то город готовился к нему заблаговременно. Еще в апреле городская дума утвердила программу чествования высокого гостя. Само собой, все подробности путешествия великого князя по Вологодской губернии подробно освещались в Вологодских губернских ведомостях. Невозможно пересказать своими словами этот репортаж, строчки которого слипаются от переложеного в них сахара, и потому мы его приводим здесь с очень небольшими сокращениями.

«Так как Сольвычегодск в продолжение своего долгого существования ни разу не был осчастливлен посещением Особы Царствующего Дома, то понятно, что радостная весть о приезде Великого Князя Владимира Александровича вызвала большое оживление среди местного населения; уже с 8 числа народ массами стал прибывать в город, причем некоторые крестьяне приходили почти за триста верст. И вскоре город до того переполнился народом, что не было свободного места даже в холодных постройках, и народ сотнями спал на площадях, бульваре, у пристани и в других местах.

Кровать в память о посещении

Наконец наступил давно ожидаемый день 10-го июня. С раннего утра народ двигался непрерывной цепью из города, разукрашенного флагами, к пристани и обратно, чтобы посмотреть на свободе на убранство пристани и триумфальных ворот. Все было готово к приезду Августейшего посетителя: на величавой Вычегде тихо качалось довольно большое судно, выкрашенное темно-красной краской, на котором и была устроена пристань; на носу и корме судна развевались флаги; легкий белый павильон пристани был украшен резьбой в русском вкусе, государственными гербами и разноцветными флагами; от пристани на пятьдесят шагов расстояния тянулись деревянные вымостки, заканчивающиеся лестницей в семь ступеней, ведущих на площадку триумфальных ворот; ворота эти состояли из двух белых четвероугольных колонн с прямой связью наверху; связь и верхние концы колонн украшены были тоже резьбою в русском вкусе; <...> основание колонн было выкрашено красной краской, имело голубой цоколь и белый низ, над всем же гордо возвышался и веял красный флаг с двусторонней золотой надписью “Боже царя храни”. От триумфальных ворот на протяжении семидесяти шагов, возвышающийся песчаный берег реки Вычегды был устлан дерном; почти по всему пути от пристани до конца дерна было разостлано красное сукно; все это вместе имело вид торжественно-привлекательный.

Так как приезд великого князя предполагался на 10 июня в 8 часов вечера, то в этот день уже с самого утра густые массы народа покрывали берег Вычегды у собора; веселый и живой говор стоял над рекой и разносился всюду; с шести часов стали съезжаться на пристань местные власти; говор народной массы сделался еще оживленнее и на всех лицах замечен был отпечаток неподдельной радости и ожидания. В 8 ¼ часов ударил вестовой колокол соборной колокольни и сердца огромной народной массы дрогнули... Веселый говор смолк и взоры всех обратились на Вычегду.

Едва заметное облачко дыма показалось издали и стало быстро приближаться к городу; вскоре на тихом и светлом зеркале реки обрисовался контур быстро идущего парохода; на соборной колокольне раздался звон, на который отозвались другие одиннадцать церквей города... Минута была в высшей степени торжественная... Народная масса стояла, как очарованная, с устремленными на пароход глазами и едва сдерживала свой восторг.

Между тем пароход убавил ход и ловко причалил к пристани; едва успели бросить трап, как

народный восторг вырвался наружу, и задушевное “ура-ра!” разлилось в воздухе и далеко покатилося по синим водам реки. В это время Великий Князь появился на пристани, где Его ожидали с хлебом-солью местные – Городской Голова, Председатель Уездной Земской Управы, Городской Голова заштатного города Красноборска и прочие местные власти.

Городской Голова, Председатель Земской Управы и Голова Красноборска имели счастье поднести Его Высочеству хлеб-соль на серебряных блюдах прекрасной работы московского мастера Немирова-Колодкина; <...> у местного Городского Головы и Председателя Управы солонки были местной сканной работы и, хотя не отличались особым изяществом, но были замечательны как памятник исчезающего местного, древнего, сканного искусства; солонка Красноборского Головы была в русском вкусе <...> от старшин уезда, у триумфальных ворот, Его Высочеству была поднесена хлеб-соль на круглом резном, деревянном блюде местной работы; <...> по полям правой стороны блюда вырезаны были употребляющиеся в уезде сельскохозяйственные орудия, а по полям левой стороны колосья произрастающих в уезде хлебных злаков; как хлеб-соль от старшин, так и поднесенная крестьянами живая семга, были милостивы приняты Его Высочеством, после чего Он изволил направиться пешком в Благовещенский собор; перед входом в церковь Великий Князь был встречен настоятелем собора и всем местным духовенством; приложившись ко Кресту, Его Высочество, предшествуемый духовенством, поющим тропарь “Днесь спасения нашего гла-визна”, стал подниматься по лестнице в самую церковь, где был встречен стройным пением “Спаси Господи люди Твоя” учеников и учениц местных училищ; после молебствия и провозглашения многолетия Его Высочество изволил осматривать замечательные древности Собора и церковную утварь, дары именные людей Строгановых <...> затем, рассмотрев в ограде Собора древние – зимний и летний экипажи баронов Строгановых, Его Высочество изволил отправиться со свитой в 9 ч. 10 м. в дом купца Хаминова к обеденному столу, к которому удостоены были приглашением некоторые должностные лица. Как приближение Его Высочества на пароходе, так и весь путь следования, сопровождались колокольным звоном всех десяти городских церквей, а население, собравшееся приблизительно в количестве не одного десятка тысяч, неумолкаемо с восторгом сопровождало Его Высочество криками “ура”; во время обеда масса народа, разместившись на колокольне Покровской церкви, на крышах, в ограде и стоя стеной во всех направлениях по улицам и переулкам, постоянно заглушала воздух теми же восторженными кликами радостного привета; по окончании обеда, Великий Князь изволил отбыть на пароход для ночлега.

Северная ночь была прекрасна и до того светла, что не могло быть и речи об иллюминации; вскорее вокруг парохода воцарилась глубокая тишина, и только в вышине сияли лунным светом соборные кресты, как бы охраняя своей Божественной силой покой Августейшего Посетителя.

11 числа в 9 ч. 20 м. утра Его Высочество изволил отправиться с парохода на казарменную площадь, где выстроена была команда; произведя ей смотр, Великий князь изволил перейти для осмотра казарм, вновь выстроенных мастерских и кухни; оттуда Его Высочество изволил проследовать пешком в тюремный замок, где первоначально осматривал караульный дом и затем перешел в острог, где арестанты были выстроены в одну линию; Его Высочество, просмотрев у всех их билеты, изволил перейти в следственные одиночные камеры, после того, взойдя в кухню, изволил пробовать арестантскую пищу и хлеб; затем осмотрев цейхгауз и женскую камеру, Его Высочество изволил посетить тюремную церковь, в которой был встречен священником Дмитриевским; приложившись к Св. Кресту, изволил подойти к представленному Начальником губернии церковному старосте – Директору тюремного отделения г. Смирнову и выразил ему милостивую благодарность за хороший порядок и устройство тюремной церкви; выйдя из тюремной церкви, Его Высочество перешел на выставку местных сельских и кустарных произведений, где был встречен Председателем Земской Управы; здесь, осматривая произведения второго отдела – льноводство и его продукты, Великий Князь изволил обратить особое внимание на крестьянские кушаки и женские костюмы, далее в третьем – на корзинки, выплетенные крестьянскими мальчиками из корней, на бурак из бересты в форме самовара; в первом отделе – на орудия, производимые из местной железной руды, косы, серпы и некоторые вещи из кухонной посуды; в пятом отделе Его

Высочество изволил рассматривать древние деревянные вещи, а также серебряные и стальные цепочки к часам из мелких замочков, замки, отпираемые по буквам и другие вещи; в четвертом, лесном отделе, Его Высочество рассматривал выделяемые в уезде фосфорные и кабинетные спички и катальное из шерсти производство. Поблагодарив милостиво учредителей выставки, Его Высочество изволил отбыть в Управление Воинского Начальника, а после этого посетил местное уездное училище, помещающееся в каменном доме, пожертвованном покойным тайным советником Хаминовым; здесь Высокий посетитель был встречен народным гимном, стройно пропетым учениками; прослушав гимн и похвалив пение учеников, Его Императорское Высочество изволил спуститься в нижний этаж дома, где помещается женское училище, учрежденное и содержимое на счет того же Хаминова; встреченный ученицами пением “Спаси Господи люди Твоя”, Его Высочество по выслушании этого тропаря, осчастливив собственноручной выдачей похвальных листов, книг и свидетельств кончивших курс двух учениц, изволил милостиво принять ковер работы учениц и выйти на подъезд; когда Его Императорское Высочество садился в экипаж, на дворе раздалось торжественно-задушевное пение учеников “«Слався, Слався наш Русский Царь, Господом данный нам Царь Государь”. Его Высочество, отблагодарив учеников ласковым поклоном, изволил отбыть в Хаминовскую богадельню на двенадцать призреваемых; после богадельни Его Высочество посетил местный Введенский монастырь, построенный Григорием Аникиевичем Строгановым – сыном строителя собора в 1565 году <...> затем Его Высочество изволил проехать для осмотра в земскую больницу, откуда в 12 ч. 10м. отбыл в дом Хаминова, где был сервирован для Великого Князя завтрак; до приезда Великого Князя в дом Хаминова, Его Высочество угодно было приказать собрать отставных офицеров, запасных и отставных нижних чинов, находившихся в то время в городе; милостиво поздоровавшись с ними, Великий Князь бывших между ними Георгиевских кавалеров осчастливил подарками – серебряными рублями. После завтрака Его Императорскому Высочеству угодно было осчастливить драгоценными подарками следующих лиц: купца Прокопия Васильевича Хаминова – портретом за стеклом в позолоченной оправе в футляре; Городского Голову – портретом без оправы; Председателя Земской Управы – серебряно-вызолоченным стаканом; г. Исправника – золотым кольцом, украшенным посередине рубином с двумя бриллиантами; старшину Борисова – серебряными часами с портретом Его Высочества; затем его высочество изволил отъехать на пристань. В это время соборное и городское духовенство с Крестом и Св. водой ожидало проезда Его Высочества за оградой; выйдя из экипажа, и приложившись к Св. Кресту, Его Высочество пешком проследовал до пароходной пристани, с которой через несколько минут и изволил отплыть обратно по направлению к Архангельску, при неумолкаемых и восторженных криках “ура” и колокольном звоне всех церквей. Посещение Его Императорским Высочеством Великим Князем Владимиром Александровичем особенно осчастливило жителей Сольвычегодска, впервые еще имевших счастье видеть в своем городе Августейшую Особу Царствующего Дома, почему Городская Дума, чтобы увековечить память пребывания Его Высочества в г. Сольвычегодске, в дни 10 и 11 июня, от 18 июня постановила: устроенные пристани и триумфальные ворота перенести на набережный реки Вычегды бульвар, первую поставить в одном конце, а другие – в другом конце бульвара, обнести оградой и просить разрешения через начальство наименовать этот бульвар именем Его Высочества; кроме того в память приезда Великого Князя, т.е. 10 июня ежегодно совершать молебствия, а учащихся освободить от ученья, о чем тоже ходатайствовать разрешения».

После визита все сделали, как и обещали – и бульвар переименовали, и ежегодно 15 июля на этом бульваре в день тезоименитства молебны о здравии его императорского высочества совершали, и в 1891 году Владимиру Александровичу отбили телеграмму: «Выслушав в день тезоименитства Вашего Высочества торжественный молебен на бульваре, названном Вашим Именем, жители всех сословий и учреждений г. Сольвычегодска пользуются случаем выразить чувства благожелания и преданности Вашему Высочеству». На следующий день 16 июля Городским Головой была получена от великого князя ответная телеграмма: «От души благодарю всех горожан. Владимир». Переименования бульвара и молебнов Городской думе показалось мало и она хода-

тайствовала перед вышестоящими властями «о разрешении учредить в подведомственной Городской Думе богадельню, основанной тайным советником Хаминовым, кровать в память посещения г. Сольвычегодска в 1885 году Его Императорским Высочеством Великим Князем Владимиром Александровичем, с обращением на сей предмет остатков от процентов с капитала, внесенного учредителем богадельни на обеспечение ее существования». Такое комментировать, как и в случае с докладом чиновника по крестьянским делам Сольвычегодского уезда, – только портить, а потому мы процитируем описание города и Благовещенского собора, сделанное бывшим в свите Владимира Александровича гофмейстером, тайным советником и поэтом Константином Константиновичем Случевским, которое не столько описание, сколько впечатление, и перейдем к рассказу о визите в город еще одного еще одного великого князя.

«Сольвычегодск очень мал; он, так сказать, виден весь насквозь, так что приходится удивляться даже тому, где помещаются его 2000 жителей. Это та блаженная страна, где дичь продается не по родам ее, а просто по 1 руб. 20 коп. с пуда “пера”. <...> Сольвычегодский собор на берегу пустынной, далекой Вычегды, окруженной малонаселенными лесными пространствами, нетронутый радетелями мишурного блеска в церковном благолепии, составляет явление совсем исключительное. Его, высящегося в темени и ветхости годов, следует беречь, как зеницу ока <...>».

Его императорское высочество великий князь Сергей Александрович посетил Сольвычегодск в ходе своей поездки по Вологодской губернии первого июня 1898 года. Тот самый Сергей Александрович, которого через семь лет разорвет на куски бомбой, брошенной эсером Каляевым, но это будет через семь лет, а пока...

Пока в губернских ведомостях помещен отчет о посещении великим князем Сольвычегодска как две капли воды похожий на отчет о посещении города великим князем Владимиром Александровичем – ликование народа, колокольный звон, хлеб-соль на серебряных блюдах, осмотр достопримечательностей, казарм, кухни, хлебопекарни и цейхгауза, усыпанная цветами дорога, по которой ехал высокий гость, смотры ратников ополчения, собранных по такому случаю на учебный сбор, местных воинской и конвойной команд, ревизия неприкосновенного запаса обмундирования и снаряжения. Впрочем, были и отличия – во-первых, серебряных блюд с хлеб-солью было на одно меньше, тюрьму Сергей Александрович не осматривал, арестантскую пищу не пробовал и вообще управился с визитом за несколько часов, а не за два дня, как его брат. Зато, как писали губернские ведомости, «В тот момент, когда Великий князь вошел в собор и молился, пошел сильный дождь, которого не было почти всю весну, почему растительность не шла вперед и начинала уже подсыхать. Дождь так всех обрадовал, что народ начал молиться и слышались слова: “Слава Богу, Князь приехал и Бог дал дождика”».

Несмотря на то что Сольвычегодская Земская Управа через месяц послала через Вологодского губернатора графа Мусина-Пушкина Сергею Александровичу в день его именин поздравительную телеграмму: «Сольвычегодская Уездная Земская Управа, из рук Председателя которой Его Императорское Высочество Великий Князь Сергей Александрович изволил так недавно Всемилостивейше принять хлеб-соль, благодарная и обрадованная столь знаменательным для нее событием, покорнейше просит Ваше Сиятельство передать Его Высочеству ее всепреданнейшее поздравление с днем Его Тезоименитства, пожеланием Ему благоденствия и здоровья на многие и многие годы», а великий князь тоже через Вологодского губернатора ответил: «Прошу Вас передать Сольвычегодской Земской Управе Мою глубокую благодарность за поздравления и выраженные благопожелания. Сохраняю самое отрадное воспоминание о посещении Сольвычегодска», до учреждения в память о посещении Сергеем Александровичем еще одной кровати в богадельню Хаминова дело все же не дошло.

Пряники, конфеты, орехи и платки

Конечно, новогодняя елка, устроенная в 1900 году для учеников Сольвычегодского трехклассного училища, по масштабу приготовлений не идет ни в какое сравнение с визитами вели-

ких князей, но подробности этого детского праздника, сообщение о котором было напечатано в губернских ведомостях, куда интереснее. «Дети собрались за час до назначенного времени и нетерпеливо расхаживали по классам, а многие старались через щель или замочную скважину высмотреть “убранную елку”, помещавшуюся в более просторной классной комнате.

В 6 часов вечера учитель-инспектор И.М. Михайлов предложил детям посмотреть световые картины. Когда на экране появился портрет Государя Императора, учащиеся исполнили народный гимн. Затем учениками были прочитаны стихотворения и басни: “Дедушка Мазай” “Кот и повар”, “Мартышка и очки”, “Квартет”, “Демьянова уха” и “Маленький мужичок”. К этим произведениям были, конечно, и иллюстрации. Взрывом смеха встречали дети юмористические картины и серьезно рассматривали изображения явлений природы. Еще раз показан был портрет Государя Императора, и дети пропели: “Славься, славься, наш Русский Царь!”

В 6 ¾ вечера дверь в комнату с убранный елкой открылся. Елка уже горела огнями! Учащиеся под руководством учителя пения Г.И. Богданова пропели: “Слава на небе солнцу высокому”. Затем спели несколько народных песен, а ученики младших отделений образовали два круга и ходили вокруг елки. Потом учениками старших отделений были прочитаны басни: “Два мужика” и “Любопытный”, а учеником 1 отделения (1-й год обучения) стихотворение “Маленький мужичок”. Нашлась гармоника, заиграли русскую и мальчики робко, по одному, начали выходить из толпы и танцевать.

Снова раздались песни, и ученики начали бегать уже не только вокруг елки, а по всему помещению училища. Но вот свечи догорели и приготовленные для детей подарки были сняты с елки. Ученики стали вынимать билеты для получения подарков. Особенно довольны были те из старших учеников, которым достались готвальны или портреты Государя Императора (пожертвованы Я. В. Хаминовым). Одна из классных комнат была обращена в столовую и, после раздачи вещей и гостинцев, им был предложен чай с булками. После чая ученики еще немного побегали и поспали. В 9 часов вечера, когда все украшения с елки были сняты, ее с дружными криками опрокинули и вытащили. Детский праздник кончился».

Сведений о том, как проходили в те времена елки для взрослых в Сольвычегодске, до нас не дошло, хотя заметки о проходивших в других уездных городах Вологодской губернии любительских спектаклях, литературных чтениях и вечерах время от времени появлялись на страницах губернских ведомостей. Сказать о том, что сольвычегодцы не веселились и не устраивали балов, тоже нельзя. Когда в Сольвычегодске в 1883 году праздновали коронацию Александра Третьего, то устроили бал и народные гуляния: «В девять часов вечера, после пушечного выстрела и пения певчими гимна, бал открыт был танцами. В десять часов, по сигналу пушечными выстрелами, началась иллюминация, продолжавшаяся до часу ночи, причем щит освещен был плошками и сотней разноцветных фонарей. Иллюминация перед думой разнообразилась пушечными выстрелами, выпуском ракет и горением разноцветных бенгальских огней в зелени аллеи. Народ не сходил с площади до окончания бала. 18 мая предполагалось было народное гулянье в саду, но по случаю ненастной погоды отложено и сделано было 19 числа с пяти часов вечера. Здесь прежде всего раздавались всем детям лакомства: пряники, конфеты и орехи, а бедным женщинам платки. В десять часов сад был иллюминирован плошками, разноцветными фонарями и в разных местах бенгальскими огнями. Гулянье разнообразилось пением певчими и командою народных патристических песен, игрой в кегли, качанием на качели и пушечными выстрелами, которых за все время торжества было произведено сто один. Для дам и представителей общества был устроен большой павильон, украшенный зеленью, где было угощение. В час ночи окончено гулянье, а с сим вместе и празднование торжества в отдаленном нашем севере»⁶⁷.

Все же среди списка вопросов, которые решала на своих заседаниях Сольвычегодская Городская Дума в начале восьмидесятых годов девятнадцатого века, можно найти «О предоставлении губернскому секретарю Трусову устраивать семейные вечера в городском общественном доме за определенную плату в пользу города» и «О предоставлении гражданам г. Сольвычегодска устраивать семейные вечера в городском общественном доме за определенную в пользу города плату».

Значит, семейные вечера были, но как они проходили – играли ли в карты на деньги или нет, пили ли на них просто чай или незаметно подливали в чай ром, не говоря о коньяке, варенье приносили свое, крыжовенное, или устраивали вскладчину буфет с привезенными из Вологды или Устюга винами, пивом, ветчиной и сырами, или буфетчик покупал у местных торговцев рыбой стерлядь, свежепросольную семгу, икру и соленые рыжики, обсуждали ли новости, вычитанные в газетах и журналах, или просто сплетничали и перемывали кости тем, кто не пришел, расходились ли по домам своими ногами или некоторых отцов семейств приходилось вести под руки... теперь уже не узнать, а жаль.

Хроника некультурных происшествий

От хроники культурных происшествий перейдем к хронике некультурных. В этом отношении последняя четверть девятнадцатого века ничем не отличается от предпоследней. Самая частая причина смертей, о которых сообщали губернские ведомости – пьянство как мужчин, так и женщин. Умирили от пьянства дома, летом умирали, в пьяном виде упав в какую-нибудь из многочисленных рек, или озер, или прудов; зимой умирали, напившись в соседней деревне на празднике и замерзнув по дороге домой в поле, или в лесу, или провалившись в полынью при переходе по речному льду, умирали от нанесенных ранений в пьяных драках. В октябре 1896 г. крестьянин Метлинской волости деревни Круглицы Петр Павлов Митягин 27 лет, будучи в нетрезвом виде и переходя реку Северную Двину по неокрепшему еще льду, провалился и вытасченный на берег крестьянами деревни Устькурья умер. В ноябре того же года в поле близ деревни Змановской починка Ильинско-Подомской волости найден мертвым Иоаким Афиногенов Тургунов 35 лет. Следствием обнаружено, что смерть Тургунова последовала от переохлаждения. В том же месяце крестьянин Ильинско-Подомской волости дер. Выставки Алексей Васильев Бебякин 60 лет, возвращаясь пешком из соседей деревни домой в нетрезвом виде, дорогой замерз. В декабре крестьянин Березонаволоцкой волости деревни Грибановской Павел Федотов Тропин 39 лет лишил себя жизни, повесившись после продолжительного употребления спиртных напитков.

Матери убивали прижитых вне брака новорожденных. 26 июня 1893 г. крестьянская вдова Никольской волости дер. Костихи П.М. 40 лет, родив девочку, прижитую ею со своим племянником, крестьянином В.М., скрывает ребенка, зарыв его труп в землю. В конце июня 1895 г. крестьянская девица Великосельской волости деревни Мокрой Едомы А.К.Р. 17 лет родила девочку на повети дома родителей, где и оставила, ушедши в дом погреться. Вернувшись через несколько времени, нашла её уже мертвой, почему несла в поле и зарыла.

Иногда убивали и не новорожденных. В начале мая 1891 г. крестьянка деревни Павловской Никольской волости Анна Береговских свою 12-ти недельную дочь отнесла на Вычегду и положила на льдину, которую вместе с ребенком унесло по течению реки. В сентябре 1897 г. крестьянская девица Гавриловской волости деревни Осташевской А.М.Л. зарыла в песок на берегу реки Северной Двины живым сына своего Дмитрия 1 года. Следствию по этому делу выяснило, что Л., питаясь сбором милостыни, решила избавиться от незаконнорожденного сына.

В 1879 году губернские ведомости опубликовали сведения о деятельности полицейских урядников по Сольвычегодскому уезду. В списке актов и дознаний, составленных урядниками, есть дела о нанесении побоев крестьянину Лапшину, о нанесении крестьянином сотскому удара в грудь при исполнении первым обязанностей службы, о насильственном снятии сбруи с лошади крестьянина Тепляшина крестьянами деревни Дьяконова, о найденном в пруде мертвом крестьянине Плаксине со знаками насилия, о краже капусты из огорода крестьянина Углова другим крестьянином, намеревавшимся еще и поджечь дом Углова, об отнятии у крестьянина Лобанова пятнадцати рублей, о нанесении побоев рядовому его братом и сыновьями, о незаконной торговле разными товарами, о покраже рубашки у крестьянина Леднева, о нанесении обиды крестьянину Лаврентьеву, о буйстве в питейном заведении с нанесением побоев сидельцу, об истязаниях крестьянской жены мужем и свекровью, о нанесении удара колом по голове крестьянину Лав-

рентьеву, о нанесении удара складным ножом в лицо крестьянину Куделину, о нанесении побоев крестьянину Петрову сельским писарем, о нанесении побоев крестьянке ее братом, об увозе разными крестьянами Устьевского общества сена, принадлежащего крестьянину Якутову, об отпуске водки из питейного заведения во время волостного схода, об ограблении крестьянина Спиридонова сотским, о краже овцы, о взятом неизвестном человеке, называвшим себя крестьянином Чичириным, об отобрании фальшивого билета двадцатипятирублевого достоинства, о нанесении побоев крестьянину Спиридонову его братом, о краже со взломом замка из амбара у крестьянина Зубарева имущества на сорок рублей, о нанесении побоев крестьянке ее сыном, о захвате юбки, принадлежащей мешанке, крестьянской девицей... Конечно, это не полная картина повседневной жизни крестьян Сольвычегодского уезда последней четверти девятнадцатого века, а лишь ее небольшая часть, но без нее картина будет неполной.

Не будет она полной и без рассказа о политических ссыльных, которых к концу века в Сольвычегодске и уезде становилось все больше и больше. Дошло до того, что сторонники движения народников появились и среди самих сольвычегодцев. В 1876 году местный сельский учитель Леонид Александрович Каллистратов, которому отроду было в тот год всего шестнадцать лет, был привлечен к дознанию по обвинению «в пропаганде среди крестьян и в порицании существующего строя». Писец Сольвычегодской земской управы Иван Малахов, из крестьян Сольвычегодского уезда, получивший образование в Сольвычегодском уездном училище, хранил у себя запрещенные издания, в частности газету народников «Вперед!», которую у него и нашли в 1878 году при обыске. Оба попали под гласный надзор полиции. В декабре 1876 года в Сольвычегодск приехал отбывать ссылку сын священника Вельского уезда Вологодской губернии и студент Петровской академии Иван Романов, осужденный за участие в революционных кружках, распространение запрещенных книг и переписку «преступного содержания» с вологодскими семинаристами. С 1877 по 1880 годы в Сольвычегодске, за принадлежность к Южно-российскому союзу рабочих в Одессе, отбывал ссылку известный российский статистик того времени Федор Андреевич Щербина, который ее не просто отбывал, а изучал местные обрабатывающие промыслы, экономическую сторону жизни сольвычегодских крестьян и на основе изученного материала писал статьи в местные губернские ведомости, журнал «Отечественные записки» и газету «Неделя».

В 1880 году Сольвычегодск был взбурен побегом четырех политических ссыльных, одним из которых был народник, публицист и агитатор Андрей Афанасьевич Франжоли. Осудили его Особым присутствием Сената по делу революционеров-народников и признали виновным «во вступлении в противозаконное сообщество с целью ниспровержения в более или менее отдаленном будущем правительства и государственного устройства в Империи». В Сольвычегодске Франжоли, успевший там жениться на другой ссыльной – Евгении Завадской, вел обширную переписку с другими ссыльными, сельскими учителями и, как следует из донесений вологодского губернатора вышестоящему начальству, общался с сольвычегодскими мастеровыми «с целью привить им антиправительственные коммунистические убеждения». Вологодский губернатор, понимая, что от такого беспокойного ссыльного, кроме неприятностей, ждать нечего, в феврале 1880 года обратился в министерство внутренних дел с предложением отправить его в Сибирь. Министерство против высылки, конечно же, не возражало, но... Франжоли отправки, дата которой ему стала известна, ждать не стал, а вместе с женой и тремя другими ссыльными скрылся. Побег их, скорее всего, не удался, если бы не халатность сольвычегодского уездного полицейского исправника Кульчицкого, в доме которого перед побегом все четверо и проживали. Сам исправник, которому по должности нужно было за ними наблюдать, и не думал этого делать. В своем доме он появлялся редко, и ежедневной явки в полицию от поднадзорных не требовал, хотя и обязан был. Мало того, еще и другим полицейским запрещал являться в свой дом для проверки. В такой обстановке и ленивый решил бы на побег. Товарищ беглецов, тоже народник Белевский, хотя и сам отказался участвовать в побеге, им помог, уверяя интересовавшихся в те дни местонахождением Франжоли и его поделщиков в том, что они никуда из города не отлучались. Розыском командовал губернатор, который связывался с губернаторами соседних губерний, а те отдавали

приказы нижестоящим полицейским чинам, что при тогдашних средствах связи и расторопности исполнителей... Кульчицкого, конечно, уволили, но Франжоли так и не поймали.

В декабре 1893 года в Сольвычегодск приехал отбывать ссылку Николай Евграфович Федосеев – один из первых пропагандистов марксизма в России, организатор и руководитель первых марксистских кружков в России. Сольвычегодск ему сразу не понравился. В письме своему товарищу по казанскому марксистскому кружку он писал: «Разница между Сольвычегодском и тюрьмой есть, но у меня до сих пор не составилось реальных представлений о значительной разнице; разница остается пока в воображении. Теперь Сольвычегодск мне кажется пока узенькой тюремной стеной, по которой прогуливаешься на привязи, сделаешь шаг на внешнюю сторону – и тебя немедленно притянут в тюрьму или посадят на более короткий аркан. Все же крепко надеюсь, что мое настоящее пессимистическое настроение изменится, как только я ориентируюсь в чуждой для меня окружающей жизни, очень, очень далекой от того мира, в котором я и в действительности, и в грезах жил в последнее время».

Живший в грезах Федосеев довольно быстро освоился на новом месте, списался с Лениным, руководил по переписке марксистами Владимирской губернии, а в самом Сольвычегодске создал марксистский кружок, в котором состояло двадцать пять человек. В членах кружка состоял сосланный на пять лет в Сольвычегодск под гласный надзор полиции Александр Григорьевич Шлихтер – будущий первый нарком земледелия РСФСР, а потом и нарком продовольствия, один из организаторов продотрядов и продразверстки. Само собой, от полиции постоянные сходки ссыльных и занятия кружка скрыть было трудно. Вот что пишет начальник Вологодского губернского жандармского управления начальнику Владимирского губернского жандармского управления 20 сентября 1895 года: «Вследствие отношения от 28 минувшего августа за № 1545 имею честь сообщить вашему высокоблагородию, что Александр Григорьевич Шлихтер по высочайшему повелению, последовавшему в 22-й день марта 1895 г., по обвинению в государственном преступлении выслан под гласный надзор полиции в Сольвычегодск сроком на 5 лет. С поднадзорным Федосеевым названный Шлихтер находится в коротком знакомстве и сношениях, каждодневно Федосеев посещает Шлихтера и жену его Евгению, тоже высланную вместе с мужем за политическую неблагонадежность под гласный надзор полиции. Кроме того, вместе с Федосеевым посещают супругов Шлихтеров таковые же поднадзорные, находящиеся в Сольвычегодске: Сергей Суворов, Василий Платонов и Николай Сигорский <...>».

В сольвычегодской ссылке в конце девятнадцатого века перебивали многие. Ссылали сюда и народovolьцев, и членов петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», и марксистов. Об их кружках, спорах о том, что делать и кто виноват, о переписке с такими же, как они, борцами за счастье народа, мы здесь рассказывать не будем, поскольку к Сольвычегодску это все имеет мало или вовсе не имеет отношения, но марксиста Константина Максимовича Норинского мы все же упомянем, поскольку именно он в своих воспоминаниях оставил нам описание города Сольвычегодска таким, каким он был в 1898 году.

«Сольвычегодск был в ту пору городишко небольшой, в длину он протянулся на версту и примерно столько же в ширину. Домишки были установлены в центре города по плану, а вдали от него беспорядочно. Лучшими сооружениями города были управление полиции, тюрьма, дом купца, благотворительное заведение и еще два-три каменных дома. Затем тянулись на четверть версты торговые ряды с деревянными навесами, а за ними по левой и правой сторонам улицы располагались одно- и двухэтажные деревянные жилые дома. Архитектура домов простая и однообразная. Всего домов было не более пятисот, а жителей в то время насчитывалось до полутора тысяч. По окраинам расположилось несколько учреждений, обслуживающих городское и сельское население, а у самой границы города – земская почтовая станция. Несмотря на подобное убожество, город поражал контрастом – всем вновь прибывающим бросалось в глаза множество церквей и часовен. С какой бы стороны ни посмотреть на город, в первую очередь бросаются в глаза церкви. Их насчитывалось в то время восемнадцать, да еще строились семь, причем все из камня и хорошо отделаны».

Три стекла

Наконец о событиях незначительных, которые обычно относят к разряду всякой всячины, которые даже и не штрихи к картине, а точки, но без которых картина городской и уездной жизни не будет законченной.

Прогресс, хотя и медленно, но все же приходил в Сольвычегодск. В 1876 году при уездной земской управе на основании утвержденного министерством внутренних дел устава, открыли ссудо-сберегательную кассу служащих в уездном земстве. Как писали губернские ведомости, «Цель кассы состоит в том, чтобы посредством ежемесячных вычетов не свыше 10% из получаемого жалованья, наградных денег и добровольных вкладов дать возможность участникам кассы делать сбережения, которые будут выдаваться им при выходе в отставку. Во время же службы членам кассы предоставляется получать из нее ссуды за умеренные проценты».

В 1879 году Городская Дума постановила заготовить жестяные доски с надписями названий улиц и номерами домов. В 1885 году на участке леса, принадлежащем городу, разгорелся сильный пожар, в тушении которого приняли участие городские жители, подгородные крестьяне, нижние чины Сольвычегодской воинской команды и арестанты городской тюрьмы. Уездному исправнику Фролову за умелое руководство тушением пожара губернатор объявил благодарность, а нижним чинам воинской команды и арестантам из бюджета города выплатили денежные премии. Не благодарности нижним чинам и арестантам, а уездному исправнику премию, как это обычно у нас водится, а наоборот. И это при том, что в городском бюджете вечно не хватало денег. Не могли купить даже заливную пожарную трубу, потому как «денег по бедности города едва достает на необходимые расходы, лежащие на прямой и неотложной обязанности города и сверх того еще на городе состоит недоимка <...> на содержание полиции, то труба и остается не выписанною». Городские власти отчитывались об использовании каждого рубля и каждой копейки из бюджета города. Для примера приведем отрывок из отчета Сольвычегодской городской управы о движении городских и других сумм, а равно и о предметах городского благоустройства за 1879 год «<...> никаких вновь капитальных исправлений в общественных зданиях произведено не было, а только были произведены следующие мелочные исправления: в казарменном здании исправлены печи, сделаны форточки в окна одного здания, новый очаг под котел в бане при казарме, калитка со двора казармы в огород, перестроена крыша на крыльце, при самом здании казармы оклеен бумагою потолок, в некоторых комнатах дома, отданного под Управление Воинского Начальника, проконопачены стены у городской будки, и исправлена в некоторых местах галерея около гостиного двора, сделаны и исправлены мостки против мест принадлежащих городу. На все это употреблено из городских доходов 41 руб. 61 коп». Ни нового кожаного кресла в кабинет Городского Головы, ни серебряного или хотя бы бронзового чернильного прибора, ни стола из красного дерева. Для того, чтобы Городской Голова имел возможность тратить пятнадцать рублей из городских доходов на непредусмотренные мелочные городские расходы, в 1881 году потребовалось специальное разрешение Городской Думы. Через три года эту сумму Городская Дума увеличила на пять рублей.

И еще один маленький штрих, без которого картина повседневной жизни любого нашего уездного города, а не только Сольвычегодска, и не только последней четверти позапрошлого года, будет неполной. «В Сольвычегодское Уездное Земское собрание. Доклад членов Ревизионной Комиссии Инкина и Мостовского. Убедившись по станционным книгам за прошедший 1887 г., что г. Председатель Управы Климов и член Понков, проезжая к прошлогоднему призыву новобранцев в г. Краснорск и с. Верхнюю Тойму, не изволили платить прогонов содержателям станций как вперед, так и обратно, между тем прогонные деньги ими обоими из земства были получены. Предоставляя Собранию судить о нравственной стороне поступка гг. Климова и Понкова, мы, как члены Ревизионной комиссии в видах интереса и достоинства его представителей, находим нужным, чтобы прогонные деньги были взысканы и переданы ямщикам. Октября 28 дня 1888 г. Подлинный подписали: Члены Комиссии Инкин и Мостовский».

В 1889 году арестанты в Сольвычегодской городской тюрьмы стали в свободное от сидения в камерах время изготавливать соломку для спичек и короба из драни. Через год им организовали для этого специальные мастерские. Короба эти частью продавали на месте, а частью водным путем на баржах отвозили в Вологу на продажу. Заключение за эту работу получали деньги, и сведения об их заработках регулярно, каждый квартал, печатали в губернской газете. В 1893 году сольвычегодские арестанты в среднем зарабатывали немногим более тридцати рублей в год и были на шестом месте среди одиннадцати в губернии.

В 1890 году в уезде началась эпидемия оспы. В губернских ведомостях по этому поводу писали: «Волостной старшина Ильинско-Подомской волости Сольвычегодского уезда Григорий Семенов Федяев, при появлении в волости оспенной эпидемии, своими энергичными распоряжениями личными внушениями и своим авторитетным влиянием, разуверив крестьян в прежнем предрастудке о вреде оспопрививания, убедил их в пользе привития детям оспы; вследствие чего крестьяне не только перестали скрывать заболевших оспой, а начали сами заявлять об этом и просить фельдшеров о привитии их детям оспы, что имело весьма благотворное влияние на успех борьбы с оспенной эпидемией. За таковые полезные и похвальные действия старшине Федяеву объявляется благодарность от Господина Начальника Вологодской губернии. <...>

В Сольвычегодском уезде из заразных болезней в настоящем году наблюдалась лишь⁶⁸ натуральная оспа. <...> Болезнь развилась по преимуществу между старовеерами, старательно скрывающими заболевших от полиции и медицинского персонала. <...> Оспа, по донесению Сольвычегодского Исправника, будто бы занесена проезжавшими цыганами. <...> Для прекращения развития оспы постановлено открыть свой телятник, так как из Губернской Земской управы высылка детрита затруднена, причем самый детрит⁶⁹ худого качества, усилить число оспопрививателей, разъяснить народу о необходимости прививки предохранительной оспы и проч. <...> Меры к прекращению натуральной оспы принимаются следующие: прививается предохранительная оспа, больные изолируются от здоровых, кроме того, воспрещен со стороны полиции сбор тряпья для продажи. Производится ли дезинфекция платья и белья бывшего на больных, а также жилищ, неизвестно. В заседании комитета общественного здоровья, бывшего 6 августа, между прочим, выяснилось, что привитие предохранительной оспы встречает себе затруднение в лице людей суеверных, видящих в этой мере греховную сторону. <...> Исправникам всех кочующих цыган строго осматривать нет ли между ними больных заразными болезнями и если таковые обнаружатся, то немедленно их отделить от здоровых, произведя дезинфекцию одежды и белья последних. <...> в случае существования оспы в тех местах, где живут старообрядцы, устроить там карантин, изолировать здоровых от больных и иметь больнички для последних».

Не стоит, однако, думать, что все крестьяне Сольвычегодского уезда не понимали важности прививок. Еще за два года до описываемых событий, некоторые из них писали в Сольвычегодское Уездное земское Собрание: «Мы, нижеподписавшиеся крестьяне Сольвычегодского уезда Афанасьевской волости, Афанасьевского сельского общества, будучи в общем собрании на сельском сходе, настоящим приговором честь имеем просить г.г. гласных Сольвычегодского Уездного Земского Собрания выразить от нас благодарность уездному врачу г. Смирнову за прекращение им в 1887 году эпидемической болезни "оспы" и подачи в настоящем году медицинской помощи по существующей болезни "скарлатины", в том и подписуемся. Подлинный подписали 76 человек. При составлении приговора присутствовал Сельский Староста Капустин». И это письмо не единственное.

В отчете о деятельности Сольвычегодской Городской Управы и подведомственных частей за 1892 год можно прочесть о том, что в беседке общественного сада вставлены три стекла, отремонтирован тротуар около сада, устроено место для загона бродячего скота при ограде зданий присутственных мест и место для загона скота при городской скотобойне, сделаны три новых фонаря для тюрьмы. Сольвычегодск в отчетном году освещался четырнадцатью городскими фонарями в течение четырех месяцев и шестью частными домовладельческими фонарями. Очистка

городских улиц и площадей производилась арестантами городской тюрьмы. Поступило в Управу разного рода восемьсот с лишним бумаг, а выпущено Управой в полтора раза больше.

Кстати, о бумагах. В марте 1900 года в губернских ведомостях за подписью «Обыватель» была напечатана заметка следующего содержания: «Сольвычегодск. В корреспонденции из Красноборска, помещенной в одном из предыдущих номеров, автор указывает на бездеятельность нашего земства по отношению земского хозяйства. Одна из главных причин этой бездеятельности та, что наша земская управа всю свою деятельность видит в канцеляризме, который доведен у нее до идеальной высоты лучших времен подъячих. Как пример приведу картинку канцелярского порядка управы. Получается с земской почтовой станции пустая жалоба, какого-либо проезжего чиновника, что лошади были поданы на несколько минут позднее, чем следовало. Жалобы эти, записанные проезжающими в стационных книгах, сообщаются содержанием в копиях управе. Получивши такую жалобу, председатель управы кладет на нее резолюцию: получить расследование члену управы такому-то. Пишется бумага сказанному члену, хотя он находится тут же, сидя за одним столом с председателем. Бумага пишется сначала одним из писцов начерно, подается для проверки секретарю, который иногда находит, что стиль изложения бумаги не выдержан или есть орфографическая ошибка. Итак, черновая бумага марается и с нее уже с поправками пишется новая, но опять только черновая, чтобы в делах не было перемаранных “отпусков”. Это ли не верх канцеляризма? Новая черновая скрепляется секретарем и с нее уже пишется бумага набело, которая подписывается председателем и секретарем, затем записывается в исходящую и занумеровывается, записывается в разносную и передается под расписку члену управы, сидящему тут же. Член, получивши такую бумагу и определивши ее важность, едет нарочно для расследования или делает это по пути при поездке по другим делам. Сделавши расследование, он пишет в управу донесение о том, что по его дознанию оказалось, записывает это донесение в свою исходящую и разносную, а управа, получив таковое, записывает в свою входящую и, наконец, делается коллегиальным составом управы резолюция: оштрафовать содержателя такого-то пятьюдесятью копейками. Сколько употреблено труда, бумаги и чернил напрасно. Не проще ли было бы, получив подобную жалобу, передать без всяких бумаг со стилем или без стилия, сидящему тут же члену, чтобы он, сделавши расследование, на той же жалобе написал о его результате. Теперь можно судить, если 50-копеечный штраф вызывает такую процедуру, то что же бывает с более важными делами? Понятно, что такой мертвый канцеляризм тормозит живое земское дело. Настоящему составу управы осталось действовать последний год; пожелаем, чтобы в последние месяцы он явил бы себя более живым деятелем великого земского дела и отодвинул на задний план никому не нужный и не приносящий ничего, кроме накопления в архивах негодных бумаг, канцеляризм»⁷⁰.

Конечно, в работе Сольвычегодского земства недостатки и ошибки были, что и говорить, но кто же работает без ошибок... К примеру, решило в январе 1900 года Сольвычегодское уездное собрание проложить шоссированную дорогу от Сольвычегодска до Котласа потому, что в Котласе была станция железной дороги. Провели изыскания и выяснилось... что строить ее не выгодно. Еще бы выгодно, если между Котласом и Сольвычегодском течет километровой ширины своенравная Вычегда, которая мало того, что постоянно подмывает берега, так еще и дважды в год весной и осенью затопливает все, что можно затопить. Как умудрились забыть о реке... Между тем деньги на эти изыскания были истрачены. Тогда решили просить из средств дорожного капитала губернского земства восемь тысяч рублей на покупку парохода для устройства водного пути между Сольвычегодском и Котласом. Губернское земство денег не дало. Оно и вообще деньгами Сольвычегодск не баловало. В 1899 году уездное земское собрание попросило губернское земство дать небольшую субсидию «на вычисление метеорологических наблюдений, на составление обзоров погоды и выводов из наблюдений и на печатание их» при том, что сами сольвычегодские власти решили ассигновать двадцать пять рублей ежегодно на устройство в уезде метеостанций, губерния не дала ни копейки.

У самого же сольвычегодского земства денег было в обрез, а просителей стояла целая очередь, и таких, которым не откажешь. Возьмем для примера журнал Сольвычегодского уездного земского собрания за сентябрь 1900 года. Городской староста Колесов просит дать денег на укре-

пление на укрепление берега крестьянских владений выше городской черты «так как отсутствие мер к укреплению выше лежащего городской черты берега сказанных владений грозит большому разрушению такового городского, последствием чего может встретиться опасность и принадлежащему земству дому, занимаемому земской управой». О том, чтобы не дать ему денег, не может быть и речи, но денег..., а потому земское собрание решает «За неимением городских средств для ремонта вышеозначенных береговых укреплений, уполномочить возбудить ходатайство пред высшим начальством о пособии от казны городского старосту, поручив ему ныне же на находящиеся наличные средства 12 р. 46 к. произвести ремонт по укреплению берега в возможной степени». Вот и ремонтируй береговые укрепления на двенадцать с полтиной «в возможной степени». Скорее всего Колесов промолчал, когда получил вердикт земского собрания, потому как в присутственном месте таких слов даже и про себя произносить было запрещено.

За городским старостой идет Совет Вологодского благотворительного общества, который, имея на своем попечении убежище для бедных сирот-мальчиков, где призываются до 50 детей и ремесленный приют с 20 учениками, просит Сольвычегодскую уездную земскую управу назначить субсидию в размерах возможного «ради любви к детям и человечеству». Тем более, что в этих приютах воспитываются два мальчика из Сольвычегодского уезда. Еще и подписано это прошение председательницей общества Верой Александровной Брянчаниновой, у которой муж действительный статский советник и член Вологодской земской управы. Тут нужно раскошиться. Решено передать это письмо «в предстоящее очередное земское собрание с просьбой ассигновать обществу субсидию по примеру сего года в размере 25 р.».

Сольвычегодское земство открыло в 1900 году две бесплатные народные библиотеки в уезде на средства, завещанные издателем Павленковым. На каждые пятьдесят рублей из сумм по завещанию Павленкова Сольвычегодское земство добавляет свои пятьдесят рублей. Таково условие завещания. Стало быть, еще сто рублей.

Лаборант земской аптеки Мелентьев подал прошение о назначении ему пособия на продолжение образования: «Намерен приготовиться в течение двух годов к экзамену за 4 класса гимназии, т.е. на аптекарского ученика, чтобы иметь свободное время для этого, я должен отказаться от службы, занимаемой мною при Сольвычегодской земской аптеке. Прожить эти два года собственных средств не имею, поэтому осмеливаюсь покорнейше просить Сольвычегодскую уездную управу, не найдет ли она возможным ходатайствовать пред очередным уездным земским собранием о назначении мне денежного пособия в размере ныне получаемого мною двухгодичного оклада жалованья. Расходы же для меня являются неизбежными, так как, по наведенным мною справкам, необходимо будет платить учителю не менее двухсот рублей в год, который бы меня подготовил к вышесказанному экзамену; еще придется покупать книги и другие учебные пособия и, кроме того, нужно на содержание». Управа рекомендует земскому собранию просимые деньги дать, поскольку Мелентьев служит лаборантом в земской аптеке полтора десятка лет, «за все это время отлично исполнял свои обязанности, был трудолюбив, исправен, в совершенстве усвоил свое дело и весьма много работал, в особенности во время отсутствия управляющего аптекой, иногда продолжительного, что особенно часто имело место за последние годы. <...> Управа думает, что г. Мелентьев с успехом подготовится к экзамену за четыре класса гимназии в один год, и потому она полагала бы назначить ему безвозвратное пособие – четыреста рублей».

Просителей пособий на продолжение образования каждый год было более чем достаточно. Не всем, конечно, эти пособия выдавали – кому-то с обязательством вернуть часть, кому-то полностью, а кому-то и вовсе отказывали. Девочки, как и прежде, все как одна, хотели стать повивальными бабками, получив образование в Вологодской повивальной школе, а некоторые, закончив это заведение, просили денег на продолжение образование в Петербургском повивальном институте. Сольвычегодское земство в резолюции на прошение одной из просительниц пишет, что оно «ни разу не встречало того, чтобы на открывшуюся у него вакансию повивальной бабки не было кандидаток, всегда сразу же находились и находятся желающие занять это место. Поэтому земство не нуждается в образовании повивальных бабок на свои средства, и с этой стороны хода-

тайство просительницы Ивановой о назначении стипендии подлежало бы отклонению», но... мир не без добрых людей. В Сольвычегодской земской управе они тоже были. «Иванова, как известно управе, совершенно бедная, не имеет возможности получить образование без посторонней помощи. Земское собрание может оказать ей эту помощь – дать стипендию на образование. <...> Ее можно было бы назначить Ивановой не безвозвратно, а с возвратом по 25% в год с дохода, какой она будет получать по окончании образования». Зато крестьянской жене Клавдии Кирилловой в пособии на обучение в столичном повивальном институте отказали дважды, хотя она и обещала вернуть все до копейки после того, как устроится на службу после получения образования. Все потому, что муж ее крестьянин Шенкурского уезда Архангельской губернии и сама просительница держали мелочную лавку в Сольвычегодске.

Еще и саму земскую управу содержать нужно. Председателю управы назначили содержание в две тысячи рублей в год и членам управы по семьсот с лишним рублей... Еще и школы, еще и городскую земскую больницу, которая обходилась сольвычегодскому земству совсем недешево. По смете на содержание Сольвычегодской городской больницы за 1901 год врачу полагалось 1800 р. жалованья в год, смотрителю 360 р., двум фельдшерам и фельдшернице на троих 1250 р., трем сторожам при бараках и двум сторожам при аптечной лаборатории по 120 р. каждому, три сиделки с жалованьем по 120 р., столько же прачке и кухарке, а судомойке 48 р. Цифры, конечно, сухие и скучные, но как подумаешь о том, что сторож должен выживать на десять рублей в месяц, а судомойка и вовсе на четыре при том, что килограмм свежего мяса в переводе с пудов и фунтов на наши килограммы стоил в Сольвычегодском уезде в январе того же года 16 к., килограмм ржаной муки около 6 к., килограмм топленого сливочного масла 55 к., килограмм гороха 11 к., а еще свечи, а еще дрова, а еще зима, которая здесь как начнется, так и не думает кончаться, а еще и, не дай бог, лекарства... Между прочим, Сольвычегодская земская больница могла в то время принять не более трех с половиной десятков больных одновременно. Кухарке, прачке и судомойке отдыхать не приходилось. Цифры, конечно, сухие, но мокрые от слез сиделок, кухарки, прачки и судомойки. Сторожа слезы не полагались. Тем более, что они наверняка спали на службе, если начальство не видело.

Как ни обидно это признавать, но в начале двадцатого века Сольвычегодск был бедным городом с бедными жителями. Об этом свидетельствует, пусть и косвенно, опубликованная в 1906 году губернскими ведомостями раскладка государственного налога между городами и посадом Вологодской губернии в зависимости от ценности городских имуществ в рублях. Среди тринадцати городов и одного посада Вологодской губернии Сольвычегодск занимал девятое место – стоимость его городских имуществ составляла немногим более пятидесяти тысяч рублей. Стоимость городских имуществ Великого Устюга – в двенадцать раз больше, Тотьмы – почти в четыре раза, даже находящийся на краю губернии, в глухих таежных лесах Устьсысольск, больше трети жителей которого в те времена составляли медведи, и тот по ценности городских имуществ обгонял Сольвычегодск почти в полтора раза.

В 1903 году Вологодский губернатор Лодыженский издал обязательные для жителей г. Сольвычегодска постановления по предметам городского благоустройства. Судя по тому, что делать было запрещено или должно было обязательно делаться, мы можем судить о состоянии городского благоустройства в самом начале двадцатого века.

«Все занимающиеся изготовлением чего-либо съестного для продажи на рынках, улицах или в других местах, должны не только употреблять к тому припасы не испорченные, безвредные, но и самое приготовление производить, не допуская при этом небрежности, которая могла бы иметь опасные для здоровья последствия. Ни в каком случае не подмешивать в напитки чего-либо вредного для здоровья, почему воспрещается подправлять квас и бузу вредными составами, как, например, квасцами, подправлять вина окислые и испорченные посредством свинцового сахара, свинцовой дроби и тому подобных веществ, вредных и вообще подделывать вина посредством разных примесей». Стало быть, были случаи, когда употребляли, подмешивали и подделывали.

Запрещалось «<...> оставлять или бросать не загашенными сигары и папиросы на тротуары, мостовые и проч., курение табаку в гостинном дворе и на пространстве прилегающем к оному; запасы сена для домашних нужд запрещается хранить на открытых дворах, а только на сеновалах и в сараях; хранение зажигательных спичек, скипидара и проч. легко воспламеняющихся веществ в кладовых и лавках, имеющих керосин и другие минеральные масла». Запрещалось хранить порошок, серу, солому, смолу, лен и рогожи на печках, ходить с зажженной лучиной или свечой без фонаря на чердаки, в конюшни, сараи и погреба. Велено было содержать ночные караулы в городе каждый год, начиная с первого августа до первого ноября.

«Улицы против домов должны быть содержимы домовладельцами в чистоте и опрятности, для чего весной, при таянии снега, очищать их от накопившегося навоза, летом выметать не менее двух раз в месяц до шести часов утра, в зимнее время заравнивать ухабы и раскаты против своих владений. Воспрещается делать на зданиях и заборах надписи и изображения, портить деревья в городском саду, а равно и деревья на городском бульваре. Бродячий крестьянский скот должен загоняться в отведенное городом место, а хозяева этого скота привлекаются к законной ответственности. Нечистоты, выбрасываемые из отхожих мест и помойных ям, вывозить в указанные для них места в устроенных для того ящиках или бочках, не разливая их ни на дворе, ни на улицах. Для уничтожения зловония в ретирады и помойные ямы вливать деготь смолу или скипидар».

К этим правилам приложим две иллюстрации. Первая – цитата из брошюры «От Вологды до Устькулома. Путевые заметки. Экскурсия учеников Вологодской торговой школы. Вологда», изданной спустя восемь лет после постановлений. «Сольвычегодск в настоящее время имеет крайне патриархальный вид. Население его едва достигает 2000 человек. Улицы пустынные, по ним бродят коровы и лошади в поисках чахлой вытопанной растительности. Среди города зловонная лужа, запах сероводорода, издаваемый ею, бывает особенно чувствителен при понижении барометра, как это случилось в наш приезд». Как бродил скот по улицам, так и ...

Вторая – заметка в «Вологодском листке» сольвычегодского корреспондента о том, как тушили в городе пожар в тринадцатом году. «25 августа сгорел большой частный дом на окраине города. Интересна и поучительна картина тушения этого пожара. В четыре часа утра набат в одной из церквей города встревожил население Сольвычегодска. Проснувшиеся жители увидели в окна большое зарево. Но так как шел дождь и было холодно, то на пожар пошли немногие. Когда уже собралась публика и пришли кое-кто из властей, дом изнутри был весь охвачен пламенем; здание превратилось в огромный костер.

– Что же господа, ведь тушить надо, – слышатся голоса.

– Как же, надо, а то и соседние дома сгорят, – соглашаются присутствующие.

Между тем, несмотря на дождь, пламя растет и растет. Огонь угрожает соседним постройкам. Пожарных нет, за ними еще только послали, а обыватель не может расшевелиться. Но все-таки, в ожидании пожарных, кое-кто берется убирать лежащие рядом с горящей постройкой бревна. Однако, с голыми руками лезть в огонь трудно.

Появляются пожарные. Двое сонных людей привезли искалеченную машину. Прибыла машина, воды нет. Пока происходит починка машины, и в ожидании воды, пожар разгорается. Наконец появляется вода. Едва передвигая усталыми ногами, пожарная кляча кое как с помощью старика пожарного притащила бочку с водой. Не знают куда лить воду. Решают на соседний дом, он сильно накалился. Старик же, привезший воду, ворчит: “Зря воду тратим, дом не горит, воды близко нет, лошадь устала”. Воду лили из ведер, так как машину в это время чинили. А когда машину поправили, то оказалось, что вода вышла. Минут через 15-20 появилась вторая бочка воды. Ее быстро использовали и опять – ожидание воды. Так длилось все время, пока от дома не остались только одни угольки.

Сольвычегодск – Богом хранимый город. Нет ни пожарных средств, ни команды, ни дружины и обыватель на подъем тяжел. От этого пожара не пострадали другие строения только по тому, что ветер все время отбрасывал пламя на незастроенную сторону. Неужели можно надеяться на

такую «пожарную команду», в которой имеются «машины калеки», две измученных старых лошади, да несколько человек пожарных, совершенно неприспособленных к делу. Неужели горожане сами не могут додуматься, что устроить собственную пожарную дружину является насущной надобностью. При осуществлении этого были бы хотя более расторопные и бойкие пожарные руки».

Сольвычегодские власти не отставали от губернских по части постановлений о городском благоустройстве. Собрание городских уполномоченных в 1911 году разработало обязательные постановления о мерах безопасности от бродячих собак и о езде на велосипедах. О защите животных в те времена мало кто думал, а потому собаки без особых металлических значков, выданных городской управой, без ошейников и намордников, «если не сопровождают на привязи своих хозяев, признаются бродячими и подлежат ловле и истреблению». Собак, которых признавали бешеными, уничтожали немедленно. С велосипедистами поступали не в пример гуманнее. «Езда на велосипедах по городским улицам допускается во всякое время лицам, получившим на то разрешение в установленном порядке от городского управления, за исключением малолетних до пятнадцатилетнего возраста. Езда на велосипедах воспрещается по тротуарам улиц, бульвару, а также и по улицам во время крестных ходов, похорон и процессий. Велосипедисты должны иметь днем звонок, а по наступлении темноты зажженный фонарь. Быстрая езда по городу, в перегонку, воспрещается. Обгоняя пешехода или экипаж, велосипедист должен заблаговременно дать звонок и при этом ехать умеренным ходом. В местах большого скопления публики и экипажей, во время существующих в городе ярмарок и торжков, велосипедист должен сойти с велосипеда и вести его руками. В случае беспокойства лошадей от появления едущего велосипедиста последний обязан остановиться, сойти с велосипеда и, по возможности, скрыть его от испуганной лошади».

Почтенная цифра

В 1908 году собрание городских уполномоченных составило обязательные правила об открытии и содержании пивных лавок. Надо полагать, что пивные лавки и их завсегдатаи доставляли немало беспокойства сольвычегодцам, а потому устроенные по этим строгим правилам лавки «Должны помещаться исключительно в нижнем этаже занимаемых зданий <...> и не должны иметь никакого сообщения ни с другими заведениями, ни с жилыми помещениями, не исключая квартиры хозяина и приказчиков. Должны иметь только один вход и выход для посетителей с улицы. Пивные лавки не могут быть открываемы ближе 20 саженей от храмов и учебных заведений. Окна во время торговли запрещается занавешивать и закрывать. <...> Содержатели заведений, их заместители и приказчики должны быть всегда трезвы, чисто одеты и вежливы; не должны допускать, чтобы посетители напивались до охмеления; они обязаны принимать меры к предупреждению и прекращению ссор и буйства и немедленно извещать полицию о всяком происшествии и беспорядке. <...> Посетители заведения по требованию хозяина или приказчика и их заместителей, должны оставлять заведение. В пивных лавках запрещаются всякие сборища и недозволенные игры». Мало того, возле пивных лавок запрещалось устанавливать скамейки, столы и останавливаться для распития спиртных напитков. Нужно сказать, что продажу спиртных напитков в Сольвычегодске городские власти ограничивали как могли и все же... В 1911 году сольвычегодский корреспондент Вологодских губернских ведомостей в заметке под названием «Хроника городской жизни» пишет: «Но нельзя пожаловаться на торговлю в сольвычегодской казенке⁷¹. В год она сбывает своего товару свыше сорока тысяч ведер. Для Сольвычегодска это почтенная цифра». С учетом того, что Сольвычегодск в те годы не был ни центром туризма, ни курортом, и жили в нем за редким исключением лишь те, кто там родились, а приезжими были немногочисленные уездные крестьяне, это не почтенная, а просто огромная цифра. По данным губернского статистического комитета в том году население Сольвычегодского уезда вместе с Сольвычегодском составляло без малого полтора ста тысяч населения. Выходит, что на каждого жителя уезда и города приходилось, в пересчете с ведер на литры, по 45 литров водки в год⁷²,

включая беззубых младенцев и таких же беззубых стариков со старухами. В день, конечно, выходит всего-то по маленькой, но пить нужно всем и весь год, не исключая выходные, праздники и посты. Без скидок на возраст, болезнь, семейное и материальное положение. Понятно, что какую-то часть этого водочного моря выпивали и увозили с собой приезжие, но Сольвычегодск в те времена, да и сейчас, не перекресток больших дорог, а потому на приезжих много не спишешь. Такое повальное пьянство неминуемо приводило к дракам, а драки к уголовным преступлениям.

Вот что писал в том же одиннадцатом году на эту тему «Вологодский листок»: «Недавно окончила свои заседания выездная сессия Вологодского окружного суда., длившаяся с 17 по 28 мая <...> На скамье подсудимых сидели самые обыкновенные деревенские люди, обвиняемые в убийстве таких же крестьян, как и они сами. Это не убийцы или люди с испорченной злой волей, злодеи-разбойники. Нет, здесь дело обстоит гораздо проще. Эти, сегодняшние преступники-убийцы, вчера еще были самыми заурядными, обыкновенными поселянами. Пришел деревенский праздник, эти поселяне выпили со своими соседями, затем поссорились и подрались, а в драке разгорячились и дело дошло до того, что одна из сторон явилась сильно потерпевшей, ей нанесены сильные побои, угрожавшие жизни опасностью, а далее смерть. Составилось дело: приехал судья и осудил буянов в каторгу. Так, например, за этого рода убийства ушли на каторгу сразу – отец и его три сына, каждый на четыре года. Разорение хозяйства; дома после них остались мать, жены, внучата отца, а сыновей – дети».

Еще две цитаты из «Вологодского листка» тринадцатого года о том же: «Если вы спросите сольвычегодского обывателя о местной торгово-промышленной жизни и если он захочет ответить вам вполне добросовестно, то вряд ли он сможет указать на что-нибудь иное, кроме производства калачей и широко развитой торговли “монополькой”. Впрочем, нам об этом незачем и спрашивать обывателя. Сольвычегодского промышленника вы всегда можете увидеть у казенки: стоит он испитой, сонный, раздерганый. Стоит и ругается. В правой руке у него “половинка”, а в левой калач. В “половинке” – на донышке, а калач только начат, хоть еще к нему “половинку” прикупай...».

«В нашем небольшом городе наблюдается большое пьянство. По утрам у “монопольки” всегда большие очереди. Существуют здесь довольно суровые правила о закрытии казенок, пивных и ресторанов в праздничные и предпраздничные дни. Казенки у нас закрываются и в будни в обеденные часы. За соблюдением этих правил здесь довольно строгий надзор. Но и в дни закрытия казенок пьяных на улице много. Во все дни набора новобранцев, например, все места с крепкими напитками были закрыты. Между тем пьянство продолжалось все эти дни в больших размерах. Объясняется это тем, что у нас в широких размерах практикуется тайная продажа водки. Полиция должна обратить особое внимание на эти тайные места продажи водки, иначе самое строгое соблюдение правил о продаже питей в разрешенных местах будет и впредь сводиться на нет».

«Вологодский листок» регулярно писал о драках, грабежах, смертельных случаях, виновником которых была водка. Вот лишь несколько примеров. В самом конце декабря двенадцатого года «крестьянин Я.В. Синицын, возвращаясь в нетрезвом виде домой из деревни Кночихинской, вместе с крестьянином Е.М. Чупраковым, повстречали на пути крестьянина Н.И. Чупракова, который взяв Синицына за руку, стал упрашивать его зайти в дом крестьянина деревни Меньшой Е.А. Старцева. Последний согласился на их предложение, и они зашли. Тогда Чупраковы, заперев двери, стали обыскивать Синицына, у которого отобрали силой бывшие с ним 3 р. 80 к. и удалились. Дело передано судебному следователю первого сольвычегодского участка». В начале февраля тринадцатого года «во время свадьбы в доме крестьянина Сольвычегодского уезда Метлинской волости, деревни Малого Соколова, С.В. Мелентьева скоропостижно умер от излишне выпитого вина крестьянин К.П. Курикаев, 45 лет». В ночь на четвертое марта «сапожный мастер при двухклассном Никитинском министерском училище, крестьянин Черевковской волости деревни Акимовской Подойницын 39 лет возвращаясь в пьяном виде домой из деревни Фроловской, по случаю метели сбился с дороги и замерз. Девятого марта крестьянин Алексеевской волости деревни Городищенской Василий Посеговский 75 лет, выходя из чайной в г. Красноборске

на улицу, будучи в нетрезвом виде, свалился с лестницы и, ударившись головой о крыльцо, того же числа, не приходя в сознание, скончался». И таких случаев было не один, не два и не десять...

Некоторое представление о том, за что судили жителей Сольвычегодска и уезда в начале двадцатого века, дает список дел, назначенных к слушанию с участием присяжных заседателей в г. Сольвычегодске в декабре десятого года. Мещанина Петра Махаева судили за кражу со взломом, крестьянку Наталью Смирненникову за покушение на поджог с умыслом обитаемого дома, за то, что скрылась с места преступления и ничем не доказала раскаяния, крестьянку Миропию Сумкину за ложные доносы, крестьян Ивана Кузнецова и Гавриила Базилина за разбой с нападением, причем за разбой с отягчающими обстоятельствами – истязанием и нанесением побоев, а крестьянина Егора Сметанина за нанесение тяжких увечий.

Крестьянин Иван Вяткин обвинялся в том, нанес оскорбительным действием личную обиду родителям, а также как сын, дерзнувший одному из родителей своих или обоим нанести раны, или увечье, или причинить иное телесное повреждение. По этой же, что и Вяткина, статье Уложения о наказаниях уголовных и исправительных обвиняли крестьян Василия Новикова, Герасима Кашинцева, Дмитрия Скрылева, Ивана Шкрябина и Ерофея Маневского.

Мещанина Ивана Кропухинского, крестьян Якова Орлова, Никиту Анисимова, Дмитрия Шестакова, Алексея Губкина, Петра Осинкина, Зиновия Севостьянова, мещан отца и сына Брызгаловых судили за побег из арестантского помещения при волостном правлении и за насилие над стражами. Брызгаловых вместе с крестьянином Терентием Труновым судили еще и за ограбление церкви и церковной ризницы. Григорий Некрасов попался в третий раз на краже, крестьянин Константин Кондаков попал на скамью подсудимых за грабеж, соединенный с насилием и за то, что угрожал ограбленному. Крестьяне Василий Голдин, Илья Баландин, Андрей Синицын, Дмитрий Поротов, Иван Поспеловский обвинялись в причинении кому-либо с умыслом тяжких, подвещающих жизнь его опасности, побоев или иных истязаний, или мучений. Крестьянин Василий Суегин за нанесения тяжких увечий или произведение неизгладимых на лице обезображений без обдуманного заранее намерения, в запальчивости и раздражении, а также за нанесение ран или иного повреждения, без обдуманного заранее намерения в запальчивости и раздражении. По этой же статье обвиняли крестьянина Осипа Останина.

Несколько дел было связано, как определялось Уложением о наказаниях того времени, с нанесением ран или иных повреждений без обдуманного заранее намерения в запальчивости и раздражении, а вот крестьянина Федор Дементьев обвиняли уже не в нанесении ран, а в убийстве без обдуманного заранее намерения в запальчивости и раздражении. Скорее всего эти раны и повреждения без обдуманного заранее намерения и даже убийства совершались в состоянии алкогольного опьянения. Крестьян Ивана Софьина и Павла Ключихина судили за убийства с обдуманным заранее намерением и умыслом.

Убийства на почве ревности были редки. Об одном таком случае «Вологодский листок» зимой тринадцатого года писал: «В ночь на 30 января, крестьянин Ильинско-Подомской волости, деревни Фоминской, П.А. Захаров, 25 лет, на почве ревности задушил свою жену Феодосью Степанову, накинув ей на шею веревку, а затем повесил ее на перекладине в сеннике, где, по словам Захарова, он нашел ее с неизвестным ему мужчиной, скрывшимся за темнотой ночи, в интимных отношениях. Дело передано по подсудности».

Всех этих преступников, находящихся под следствием и отбывающих сроки тюремных заключений, нужно было где-то содержать. На весь Сольвычегодский уезд и город Сольвычегодск в начале двадцатого века была всего одна тюрьма, в которой могло содержаться не более пятидесяти заключенных. Этого помещения хватало, но при той огромной территории, которую занимал уезд в то время, доставить человека к месту заключения было не так-то просто. То есть просто, но медленно, поскольку добирались арестанты в городскую тюрьму пешком, в сопровождении десятского или сотского, а поскольку в дороге приходилось порой проводить не один и не два дня, то возникали довольно курьезные ситуации. В письме, направленном в Сольвычегодскую земскую управу в сентябре 1900 года, говорится об устройстве еще одной тюрьмы в глубине уезда,

по возможности ближе к отдаленным населенным пунктам уезда и в местности с большей плотностью населения потому, что «...» жителя Гавриловской волости, приговоренного земским начальником к аресту на два или три дня, ныне приходится, для отбывания этого наказания, посылать верст за двести или за триста в город Сольвычегодск, а так как это расстояние нельзя пройти менее, чем за пять дней, то весь срок, назначенный по приговору, осужденный вынужден бывает провести на пути следования к месту заключения в сопровождении сотского или десятского. Между тем, по закону, время, проведенное на пути следования к месту заключения должно быть засчитано в срок ареста, назначенного по приговору суда, вследствие чего на практике, в силу изъясненных обстоятельств, часто возникают значительные затруднения, например: как поступать с арестованным, которому срок ареста, назначенного по приговору, окончился на половине дороги с местожительства до г. Сольвычегодска – следует ли в таком случае довести его до места заключения, или же отпустить с половины пути на свободу? Если довести до места заключения, т.е. до Сольвычегодского арестного дома, то арестованный пробудет под присмотром или, что то же самое, под стражей, лишних два-три дня, что незаконно, а если отпустить его с половины дороги, то опять вопрос: кто должен это сделать, можно ли возложить сию обязанность на сопровождающего арестанта сотского или десятского?»

Восемь копеек в сутки

Нужно сказать, что Сольвычегодская тюрьма не была тем местом, из которого невозможно было убежать. Побег отсюда не были чем-то исключительным. Сольвычегодское уездное полицейское управление время от времени публиковало в губернских ведомостях объявления о розыске беглецов. Арестанты бежали и по одному, и группами.

Больше всего, однако, было объявлений о розыске ссыльных, с завидной регулярностью скрывавшихся из-под гласного и негласного надзора полиции. Недели не проходило, чтобы в губернских ведомостях Сольвычегодское уездное полицейское управление или Сольвычегодский уездный исправник не сообщали о розысках пропавших ссыльных⁷³. К концу первого десятилетия прошлого века Сольвычегодск и уезд превратились в место ссылки огромного количества крестьян, мещан, почетных граждан, студентов и даже дворян из самых различных губерний Российской империи⁷⁴. Некоторые приезжали в ссылку целыми семьями, и местные власти не знали, куда их расселил. В 1909 году Сольвычегодский уездный исправник Василий Цивилев писал начальнику Вологодского губернского жандармского управления: «Город Сольвычегодск – городок маленький, населенность его до 1600 жителей обоого пола, квартир ограниченное количество, а ссыльных одних более 300 человек, в числе их семейных 52 человека и детей у них 87 человек, последствием чего не представляется никакой возможности воспретить им совместное жительство группами, живут не более 10–12 человек, а не 20. В таких квартирах есть семейные, что же касается наблюдения за таковыми квартирами, то таковое есть и имеется более бдительное. В таких квартирах против других чаще производятся обыски, особенно которые навлекают на себя малейшие в чем-либо подозрения. Воспретить жительство группами невозможно при отсутствии квартир; и вынужденным даже нашел разрешить ссыльным квартировать по селениям вблизи города ввиду полного отсутствия квартир, затем не могу умолчать и о том, что, если какой-либо ссыльный дает повод подозревать его в чем-либо неблаговидном, такого ссыльного тотчас высылаю в уезд в волость, а там уже за ним учреждается более строгий надзор чрез урядника и сторонних при посредстве урядника»⁷⁵.

К политическим ссыльным власти предписывали относиться более строго, и на них накладывался целый ряд ограничений. В Сольвычегодске им запрещалось выходить навстречу прибывающим этапам ссыльных, гулять и охотиться группами, даже небольшими, гулять в вечернее время по набережной Вычегды, останавливаться на улице при встрече друг с другом, посещать пароходную пристань, особенно во время прихода парохода, кататься по Вычегде на лодке, гулять после полуночи, выходить за черту города, провожать ссыльных, отбывших срок ссылки. Запрещалось кататься на коньках на катке, ходить с деревянными палками, читать, хранить газеты и книги, брать заработки, посещать спектакли, за нарушение чего установлен штраф в сумме стои-

мости входной платы за спектакль, иметь квартиры у чиновников, учителей, в домах, где имеются торгово-ремесленные предприятия, и хоронить коллективно умерших товарищей.

Катались ли политические ссыльные на коньках и ходили ли они с деревянными палками, мы доподлинно не знаем, но книги и газеты, в том числе и те, которые издавались нелегально⁷⁶, они читали, за черту города выходили и не только останавливались при встрече друг с другом, но и общались между собой так активно, что устраивали собрания, на которых спорили до хрипоты, выясняя отношения между большевиками, меньшевиками, эсерами, анархистами, социалистами-революционерами и националистами. Мало того, еще и самовольно уходили на железнодорожную станцию Котлас на заработки, поскольку в Сольвычегодске и уезде трудно было заработать. Прожить на мизерное пособие, которое полагалось ссыльным от правительства, было крайне сложно, если не невозможно. Уследить за всеми сольвычегодская полиция не могла, и потому вынужденно смотрела на отлучки сквозь пальцы. Впрочем, даже при том, что на многое полиция закрывала глаза, в сольвычегодской тюрьме за нарушение этих правил постоянно сидели то одни, то другие ссыльные, отбывая административный арест.

Вот что писал в связи со сложившейся ситуацией уездный исправник вологодскому губернатору: «Водворенные на жительство в г. Сольвычегодск административно-ссыльные из рабочего класса в последнее время начали усиленно самовольно группами выбывать на станцию Котлас, так как товарищи им пишут, что там по их словам можно найти заработки и тем поддержать свое существование, ссылаясь на то, что на получаемое ими в пособие восемь копеек в сутки⁷⁷ существовать невысказано, и в г. Сольвычегодске никаких работ положительно нет, что в действительности справедливо. Об изложенном доношу Вашему Превосходительству на распоряжение и прошу дать мне знать, как поступать мне: при этом докладываю, что силой задерживать помянутых ссыльных не представляется никакой возможности, потому что они выезжают скрытно и при том уследить за каждым ежеминутно – невысказано при таком количестве ссыльных, возвращать оттуда силою стражи будет бесцельно, да и вызовет скандал. Станция Котлас находится в пределах Устюгского уезда на границе Сольвычегодского уезда и в двадцати верстах от города Сольвычегодска. На предложение ссыльным обратиться к Вашему Превосходительству за разрешением отзываются, что времени много напрасного пройдет в ожидании разрешения, а теперь, пока есть работы, надо ими дорожить, и что они никуда не скроются и придут обратно».

Нужно сказать, что и те копейки, которые полагались ссыльным от правительства, выдавались крайне нерегулярно. В начале марта 1908 года двести человек ссыльных пришли к зданию уездного полицейского управления с требованием выдать им причитающиеся кормовые и одежные деньги. Цивилев в ответ на эти требования приказал избить просителей прикладами ружей, что и было немедленно исполнено. Как обычно бывает в таких случаях, исполнители вошли в раж и перестарались – ссыльные были не только избиты прикладами, но и получили штыковые ранения. В результате было избито до смерти несколько человек. Докладывая об этих событиях вологодскому губернатору, Цивилев писал: «<...> Видя, что толпа ссыльных увеличивается, я отдал приказание Полицейскому надзирателю предупредить собравшихся ссыльных, чтобы они разошлись по квартирам, но это требование ими не было исполнено. Тогда я предложил Помощнику Исправника разогнать толпу силою оружия. На предупреждение Помощника моего о том, чтобы ссыльные немедленно разошлись, в противном случае толпа будет разогнана силою оружия, вся толпа как один человек закричала, что расходиться никто не будет, что бы с ними ни делали, и что они ничего не боятся. После этого толпа ссыльных еще два раза была предупреждена Помощником, но так как ссыльные подчиняться сему требованию не захотели, то и было отдано приказание полицейской страже разогнать толпу силою оружия, которые дружно прикладами ружей моментально же разогнали толпу».

В скобках заметим, что начальство Василия Цивилева его рвение без внимания не оставило. Первого января десятого года высочайшим приказом по гражданскому ведомству ему дали орден Св. Станислава второй степени.

В микроскопических долях

Оставим ссыльных и обратимся к жизни обычных горожан и жителей уезда. В январе четвертого года началась «маленькая победоносная война» с Японией. В конце марта Сольвычегодское Чрезвычайное Земское Собрание ввиду военных событий на Дальнем Востоке постановило: ассигновать на усиление флота и в распоряжение Российского Общества Красного Креста по тысяче рублей. Вологодский уездный исправник собрал и передал в Вологодский дамский комитет восемь пар валенок, два полушубка, пять рукавиц, пять портянок, пару валенок, сорок аршин холста, четыре пары сапог, шесть полотенец, одну фуфайку и около восьмидесяти аршин кретона. Председателем Сольвычегодского Съезда были собраны одна овчина, два полотенца, один плавок, одна рубашка, одна пара кальсон, две пары валенок и один револьвер. Крестьяне Сольвычегодского уезда от города не отставали. Волостной сход Ильинско-Подомской волости пожертвовал пятьсот рублей на усиление военного флота, за что его императорское высочество государь наследник и великий князь Михаил Александрович соизволил выразить им искреннюю благодарность через Вологодские губернские ведомости. Император повелел «Искренно благодарить Сольвычегодское Городское Управление за выраженные по поводу событий на Дальнем Востоке верноподданнические чувства и пожертвования».

Сольвычегодский Дамский комитет, организованный в срочном порядке в начале февраля⁷⁸, передавал в Вологодский Дамский Комитет Красного Креста кальсоны, рубашки, портянки, наволочки, тюфяки, простыни, полотенца... Закупали для кисетов чай, сахар, табак, курительную бумагу, папиросы, мыло. Сольвычегодские чиновники и учителя Сольвычегодского городского училища стали отчислять по одному проценту от жалованья на усиление военного флота. Чины сольвычегодской полиции пожертвовали около восьми рублей на сооружение миноносца, а с младшего штатного контролера Быстрова удержали на эти цели двадцать шесть копеек. В конце августа губернские ведомости стали регулярно публиковать списки нижних чинов Вологодской губернии, убитых, умерших и раненых в войну с Японией. В этих списках конечно же были и сольвычегодцы – убитые, раненые и пропавшие без вести.

Из журналов очередной сессии 1908 года Сольвычегодского уездного земского собрания. Прошение крестьянского сына Метлинской волости деревни Емышева Николая Александрова Пантелеева в Сольвычегодское уездное земское собрание через земскую управу. «В настоящем году я окончил курс учения в Сольвычегодском городском 4-х классном училище, но вновь желаю продолжить учение в Тотемской учительской семинарии, но на это не имею средств; так как хозяйство наше крестьянское бедное, нет ни отца, ни матери, один брат без ноги, которой лишился в русско-японскую войну, второй брат на военной службе, еще два брата малолетние, а сам же я хром на левую ногу. А потому покорнейше прошу земскую управу благоволить предложить предстоящему земскому собранию не найдет ли оно возможным дать мне стипендию для продолжения учения в учительской семинарии. 1908 года 21 Августа. Николай Пантелеев».

Кончилась война с Японией – начались революционные беспорядки пятого и шестого годов. Во многих волостях Сольвычегодского уезда открыто и публично стали уничтожать портреты царского семейства. В ноябре учащиеся Сольвычегодского городского училища прошли по улицам города под красным флагом и лозунгами «Да здравствует свобода!» и «Долой самодержавие!». В середине декабря пятого года в Семеновской волости в уничтожении царских портретов принимали участие волостной старшина и волостной писарь. Чисто в таких акциях принимали участие сельские учителя. В феврале сельская учительница распространяла среди крестьян Сольвычегодского уезда запрещенную брошюру социалистов-революционеров «Хитрая механика. Правдивый рассказ откуда и куда идут мужичьи денежки». В середине октября шестого года крестьяне Пучужского общества Афанасьевской волости Сольвычегодского уезда составили приговор о захвате земли у частных владельцев и о разделе ее поровну между собой. Приговор этот начали приводить в исполнение немедленно. Власти, понятное дело, такие действия пресекли, и часть крестьян была посажена в тюрьму, а часть отдана под особый надзор полиции.

В 1908 году наконец решилась судьба многострадальной богадельни и капитала, подаренных городу купцом Ждановым еще в 1784 году. Возможности построить или купить дом для богадель-

ни на ту маленькую сумму, которая осталась от продажи старого и пришедшего в совершенную негодность дома с землей, в котором жили призреваемые, не было никакой. Собрание городских уполномоченных г. Сольвычегодска, состоявшееся 9 августа 1907 года, возбудило ходатайство о разрешении соединить капитал Алексея Космича Жданова с капиталом тайного советника Ивана Степановича Хамина, имени которого в г. Сольвычегодске уже существовала богадельня. Решено было на эти общие средства и содержать тринадцать человек призреваемых на капитал Хамина и четверых призреваемых на капитал Жданова, присвоив при этом четырем кроватям наименование Алексея Космича Жданова. Это ходатайство губернатором было представлено на усмотрение министра внутренних дел, и со стороны министерства не встречено препятствий к удовлетворению этого ходатайства.

Сведений о повседневной обывательской жизни города Сольвычегодска тех времен в печати сохранилось очень мало, и потому процитируем их почти полностью, с минимальными купюрами. В конце лета и осенью одиннадцатого года в «Вологодском листке» были напечатаны несколько заметок сольвычегодских корреспондентов, из которых можно составить общую картину культурной жизни города и уезда.

«По до сих пор еще остается открытым вопрос, будет ли в Сольвычегодской прогимназии пятый и следующие классы, или ей суждено остаться при четырех только классах. Все зависит от учебного округа. Как будет решен этот вопрос там. Для г. Сольвычегодска, конечно, очень важным было бы иметь у себя шестиклассную прогимназию и даже полную гимназию. На пятый класс земство средства отпускает.

Развлечения в г. Сольвычегодске. В нынешнее лето сольвычегодцам в этом отношении, можно сказать повезло. Смотрели на бег известного бегуна, “человека сокола”. В местной чайной общества трезвости давались вечерние магические сеансы – “волшебный кабинет” или “таинственная пещера чудес Бен Али Бея”. Но такого шарлатанства г. Сольвычегодск, кажется, еще никогда не видел несмотря на то, что такие места, как он, часто посещаются в летнее время всякого рода предприимчивыми развлекателями захолустных жителей. Были спектакли, был концерт, об этом в другой раз.

Тихими шагами, медленно и в микроскопических долях, но все же культура проникает и в такие заброшенные уголки, как Сольвычегодск. Благами технического прогресса цивилизованный мир пользуется и давно, и в огромных размерах. А глухие места России лишь за последнее время стали приобретать крупички этих благ. Вот и наш город надумал обогатиться приобретением четырех фонарей керосинокалильного освещения; одни из них уже действует и ярко освещает вокруг себя дорогу проходим. Конечно, четырех фонарей для города слишком мало, но сольвычегодцы и этим гордятся, надеясь, что в будущем им удастся поставить их больше. Фонари заводятся – один на средства городского управления, два – на счет земства и один поставил купец Х.

Развлечения. Каждую неделю у нас ставится спектакль, или дается концерт, а то еще что-либо. Проезжих развлекателей в этом году хоть отбавляй. Но среди них слишком мало лиц, игру и исполнения которых можно смотреть и слушать с удовольствием для себя. В этом отношении нужно отметить концерт артистов Петербургских театров Т. Дарьяни и А. Нинобарро при участии пианистки О. Е. Полевицкой. Нежное сопрано и умелое владение голосом г-жи Дарьяни и мягкий баритон с хорошим исполнением г. Нинобарро сольвычегодцам доставили хорошее удовольствие. Подбор номеров был очень недурен. Особенно хороши ария из оперы “Севильский цирюльник” музыка Россини (Дарьяни), “Христос Воскрес” романс, муз. Рахманинова (Нинобарро) и ноктюрн “Крики чайки” дуэт, муз. Гроздского (Дарьяни и Нинобарро). В последние дни второй спектакль ставит “Северное передвижное товарищество русских драматических артистов”, при участии артиста С.-Петербургского театра ужасов А.А. Яковлева. Это товарищество в нынешнее лето давало не раз в Сольвычегодске спектакли, но переменный состав артистов дает неровную игру. Одни вещи были исполнены не совсем плохо, но про другие не приходится говорить. Игра г. Яковлева недурна, но гг. Бор-Раменский и другие, или новички, или просто неудачники на театральной сцене.

Жизнь Сольвычегодска за последнее время идет тихо и спокойно. На дворе осень. Давно идущие дожди окончательно уничтожили летнюю погоду. Мрачно, сыро и неприветливо на улице, скучно и дома. Но обыватели, лишь вечер настанет, сидят себе дома. Так много было развлечений летом; теперь все приутихло, замолкло кругом.

Любительский театральный кружок лишь подумывает давать спектакли, но их нет теперь. Нет жизни и в клубе – там идет ремонт помещения. Скучная картинка. Лето быстро пролетело. А как коротко оно здесь: июнь, июль, вот и все; май и август – их нельзя относить к лету, это переходные месяцы, они и холодные, и дождливые. Некоторое оживление на улице за последние дни внесло прибытие запасных. Бойче заторговала казенка, лавки пивные поживились и в ресторане шумнее стало. Кстати сказать, к чести Сольвычегодска, в обыкновенное время эти учреждения, в особенности пивные лавки и ресторан, оживляются лишь в воскресные дни, да в большие праздники, а в будни они мирно отдыхают. В это время их покой нарушит разве завсегдагай, да случайно забредший прохожий, или просто человек, захотевший вдруг выпить “пару пива” с приятелем. <...> Оглянешься кругом, везде все мирно и тихо. На улицах больше бродит коров и лошадей, чем людей. Общественные интересы узки и ограничены лишь скромными заботами о ведении повседневных общественных дел, расширить и углубить которые сольвычегодцы, по-видимому, не в силах. Но область общественных интересов мы сейчас оставим, об этом после; в этой заметке отметим еще одно нововведение в нашем городе, оно не общественное, а частное. <...> У нас явилось и электричество, но только не у города, а у купца Х. Х-ов устроил у себя электрическую станцию и ярко осветил свой дом и внутри, и снаружи. Хотелось иметь у себя кое-кому и другому электрическое освещение, да дорого заводить свою станцию, а от станции г. Х. поживиться электричеством не придется, там его лишь только для себя. Что стоило бы г. Х. завести больших размеров динамо-машину и тогда имели бы у себя электрическое освещение и другие.

После долгого летнего перерыва, 26 сентября любителями сценического искусства дан был первый спектакль. Шла пьеса Потапенко “Чужие”. Спектакль организован был с благотворительной целью – на усиление средств по устройству детского садика в Сольвычегодске. Спектакль прошел дружно и оживленно, привлек много публики и дал удовлетворительный сбор. Сольвычегодцам редко приходится видеть на своей крошечной сцене, в чайной общества трезвости, а еще реже вполне хорошее исполнение. Оставляя недочеты отдельных лиц, про исполнение пьесы можно сказать, что оно прошло хорошо и общее впечатление от игры осталось приятное. Цель спектакля вполне симпатичная. Детский садик для Сольвычегодска очень желателен и усиление средств на его устройство дело прекрасное. В скором времени предполагается несколько спектаклей этого же кружка в пользу женской прогимназии, на усиление средств народных развлечений и т.д. 21 октября в с. Метлино, в версте от Сольвычегодска, происходило торжество открытия памятника императору Александру Второму. После литургии в соборе, из города в село направился крестный ход в сопровождении всего городского духовенства во главе с архимандритом, настоятелем Введенского монастыря. После молебствия и водосвятия у памятника присутствующие чины уездной администрации и гости направились в волостное правление, где им предложен был чай. Торжество прошло довольно скромно, без речей. Памятник представляет скромный вид – небольшой каменный пьедестал с бронзовым бюстом. Постановка его обществу стоит около трехсот рублей. Место для памятника выбрано неудачно. Он поставлен в проходе между зданиями – волостного правления и квартирой писаря – и поэтому теряет свой вид, он почти незаметен. Инициатива в постановке памятника принадлежит крестьянам Метлинской волости.

Много и давно говорилось о том, как бы Сольвычегодскому кружку любителей драматического искусства поставить спектакль для народа. Разговоры остались бесплодными. 23 октября кружок под распоряжением Н.А. Лаврова дал народный спектакль. Шла пьеса в трех действиях Куликова “Ворона в павлиньих перьях”. Сама по себе веселая, пьеса проведена была любителями недурно. Спектакль шел днем, по удешевленным билетам – пять копеек за вход, и в праздничный день. Все это сделало его общедоступным и привлекло полный зал зрителей. Преимущественно посетителями явился простой народ.

В Сольвычегодске народные развлечения почти отсутствуют. Нет народных чтений, не показывается туманных картин. Простой народ очень и очень редко получает здесь разумное развлечение. Поэтому весьма желательно, чтобы кружок любителей и впредь не забывал бы про народные развлечения».

В том же одиннадцатом году через северные уезды Вологодской губернии проехал губернатор. Заехал он и в Сольвычегодск. Поездка его была связана с наделением бывших государственных крестьян землей. Освободили крестьян полвека назад, землей они пользовались, но... юридически ей не владели, то есть не являлись ни общественными, ни личными ее собственниками и не имели никаких документов на право земельной собственности. За пятьдесят лет этот вопрос поднимали не раз, собирали совещания, принимали резолюции, но так ничего и не решили. В Сольвычегодске губернатор совещался с членами землеустроительной комиссии, земскими начальниками уезда, лесничими, заведующими уделами и... снова ничего не решили. Пришли, конечно, к выводу о необходимости наделения бывших государственных крестьян Сольвычегодского уезда землей, в форме закрепления ее в их личную собственность, но не наделили. Присутствовавший на совещании чиновник земского отдела министерства внутренних дел стоял на том, что «разрешение этого вопроса в данное время является не вполне своевременным ввиду недостаточного обследования его на местах». Через шесть лет этот вопрос решится самими крестьянами, и не на совещаниях, а пока...

Одиннадцатого октября Сольвычегодское уездное собрание открылось речью председателя, в которой он предложил почтить память трагически погибшего председателя совета министров П.А. Столыпина вставанием. Отслужили по предложению председателя в здании земской управы панихиду, послали по телеграфу вдвое покойного соболезнование и решили отправить триста рублей на постройку памятника Столыпину в Киеве. После этого стали обсуждать самые различные вопросы – открыли должности четырех фельдшеров в уезде, вторую должность провизора при городской больнице, еще одного аптекарского ученика. На втором заседании решили просить у правительства второго агронома в уезд, принятия на счет казны половины расходов на открытие сельскохозяйственной школы, а другую половину оплатить за счет земства...

Корреспондент «Вологодского листка», присутствовавший на всех заседаниях этой сессии уездного собрания, писал: «На заседаниях все вопросы рассматривались очень скоро. При обсуждении один вопрос мчался за другим. Все подготовлено и решено было заранее управою. В большинстве случаев вопросы решались по ее заключениям и выходило, что как будто бы собрание было создано лишь санкционировать постановления земской управы, а не для самостоятельного решения вопросов земского хозяйства. Серьезных прений нет: слышатся лишь отдельные замечания председателя или влиятельных гласных, перекидываются парой-другой слов, и только разговор становится оживленнее, когда дело доходит до более или менее крупных ассигнований. В таких случаях вмешиваются в разговор более молчаливые гласные – крестьяне. За деньги они держатся крепко. Это часто ведет к нежелательным явлениям., сокращаются такие ассигнования, которые имеют крупное культурное значение. Но что поделаешь, когда им еще не все понятно, они мало подготовлены к общественной самодеятельности. Общее впечатление собрание оставляет все-таки невыгодное для сольвычегодских земцев. Наблюдается слаборазвитая общественная самодеятельность, узость интересов и отсутствие энергичных общественных деятелей с широким кругозором и сильной речью. Хозяйство больше вертится вокруг малых дел. От этого цели и задачи истинного социального прогресса ступшеваются и скорее наблюдается стремление к мелкому шаблону, который хорошо характеризуется словами: полегонечку, да помаленечку».

Несколько слов о промышленности города и уезда в последние семнадцать лет существования Российской империи. Если в одном предложении, то ее как не было – так она и не появилось. Если в нескольких, то ярмарки... нечего и говорить о ярмарках, которые едва сводили концы с концами. «Вологодский листок» в двенадцатом году писал о том, что они имеют убогий вид, а Введенская ярмарка в Сольвычегодске торгует лишь одной сайдой. Кроме того, бездорожье приводит к тому, что уездным крестьянам на ярмарки можно добраться лишь с большим трудом.

Практически отсутствовала даже кустарная промышленность. Крестьяне, как и сто, и двести лет назад, выживали за счет охоты, рыбной ловли, смолокурения и рубки леса. Только смолокурение смогло немного встать на ноги потому, что правительство предоставило крестьянам-смолокурам право на бесплатное пользование льями, корнями и прочими материалами для нужд смолокурения. К началу девятого года в уезде работало тридцать два смолокурных завода. Основную часть доходов, составлявших три четверти всего бюджета, сольвычегодские власти получали из сборов с недвижимых имуществ и преимущественно с земель и лесов.

С ремеслами и ремесленниками дело обстояло ничуть не лучше, чем с промышленностью, если судить по заметке в «Вологодском листке» начала апреля тринадцатого года.

«Как ни мал Сольвычегодск, а в нем и для такого захолустного города творится что-то странное. Возьмите вы любое ремесло и везде, кроме жалкого прозябания, вы ничего не увидите. У нас есть до десятка сапожников и, тем не менее, вы, если вам понадобится обувь, вынуждены будете купить какое-нибудь гнилье в лавке. У нас есть лудильщики, слесаря и – некому отдать вылудить самовар, чтобы его не прожгли в нескольких местах, некому починить самый простой замок. Есть портные и некому сшить мало-мальски сносный костюм. Есть у нас немало и столяров, существует даже ремесленная школа, а достать самый простой табурет из сухого дерева, табурет, который не развалился бы после двух-трех дней употребления, – такого табурета вам в Сольвычегодске ни за что не достать. Дома строят отвратительно. В холодное время в них только на печке и спасение. Но и печи, едва успели их сложить местные мастера, разваливаются и дымят. Даже печные трубы вычистить – и то вы не найдете исправного трубочиста.

И так – везде и во всем. Но если вы отсюда сделаете вывод, что Сольвычегодск нуждается в умных и добросовестных ремесленниках, то вы жестоко ошибетесь. Хорошему, добросовестному мастеру у нас делать нечего и если бы такой появился, то, наверное, погибли бы с голоду. Хороший материал стоит денег, хорошая работа – времени. А нам надо, чтобы все стоило грош, да и то, по возможности, в кредит. При таких заказчиках и трезвому мастеру немудрено запить горькую: “чтобы этих одних подлостей ихних мои глазонки не видели...”. <...> Получается какой-то заколдованный круг. Ремесленники гибнут от безработицы, заказчик стонет – нет хороших мастеров».

Автор этих заметок, подписавший их «Old Tramp», рисует даже не серой, а черной краской жизнь Сольвычегодска в первой половине десятых годов прошлого века: «Пройдитесь по набережной Вычегды. Когда-то там почти сплошь по всему берегу тянулась березовая аллея, но теперь от этой аллеи остался незначительный клочок, который с каждым годом редет и, вероятно, лет через десять совсем исчезнет. А ведь это во всем городе единственное место для отдыха и прогулки. Пошевелил ли обыватель хоть пальцем, чтобы оградить это место отдыха от разрушения? Конечно нет: “за гулянье ведь денег не платят”.

А “город”, так тот даже и поспешил и последние беседки скрыть: “баловство одно, а городу каждый грош пригодится”. Недели две, поди, томили управу этим “баловством”. А чем кончалась всякая попытка беспокойных людей насадить новые деревья, развести новый сад? Если молодые саженцы не выдерживали местные хулиганы, то их ломал скот. И все потому, что обывателю жалко заплатить рубль-два пастуху и он обращает весь город в выгон. “Чего там еще, а два рубля – не шенки”. И это продлевается не изголодавшимся мещанином, а особой, а особой, получающей чуть не четыре тысячи в год жалованья.

Но не одни бульвары страдают от скота. Коровы, лошади табунами врываются во дворы, в огороды. И чуть вы немного не досмотрели, труды всего лета у вас пропадут в какие-нибудь полчаса. Все стравят. Не говоря уже о том, что попасть на рога к корове, хотя бы и аристократического происхождения, или получить удар копытом в лоб – удовольствие не из больших. А и такие случаи бывали. Так что детей даже и небезопасно пускать на улицу. И все это, повторяю, происходит только потому, что жаль заплатить пастуху рубль-два пастуху, жаль купить несколько лишних пудов сена...

Вот старинный собор... Но что это за движение вы видите около него? Вы, может быть, думаете, что это скопление богомольцев? Нет, это грузчики товаров. Под собором устроен... склад то-

варов. “Доход!” Даже в храме не постеснялись с грошом влезть. А в то же время сторожа этого собора с кучей детишек принуждены ютиться, без преувеличения, – в выгребной яме. “Экономия!”

У города очень много земли. Есть лес, торфяники, соленые источники. А он год от года беднеет и разоряется. И не мудрено. Чтобы умело вести городское хозяйство, необходимы знания, ум и энергия. Но все это... “дорого стоит”. А потому город систематически выбирает в городские старосты старичков инвалидов. “Недорого, да и экономии наблюдают...”. И, действительно, наблюдают... Так, что не будь у нас почва песчаная, город утонул бы в грязи: даже у городского дома до сих пор не удосужились мостки устроить. Если не особое счастье, город давно бы весь выгорел. Пять-шесть веселых пейзажей из окрестных деревень – вот и вся пожарная команда. Да и тех трудно найти на месте. То они к себе страдовать поехали, то они к кому-нибудь кладь перевозят, а то так и просто “без задних ног лежат”. Зато – “цена подходящая”.

Да. Куда бы вы ни пошли, о чем бы вы ни заговорили, – одна и та же песня: грош, грош и грош. Пусть из-за этого гроша пропадут тысячи. Что за дело?! “Прежде всего – экономия”. О просветительных учреждениях, о трудовой помощи обнищавшему населению и говорить не приходится. О таких “дорогих затеях” у нас и слыхом не слыхать и видом не видать. Мы все представляем из себя не жителей одного города, то есть нечто – худо ли, хорошо ли – сплоченное общими интересами, а каких-то, в своем роде, “отдельных посетителей” жизни. И даже в таких вещах, где задеты исключительно наши материальные интересы и где, казалось бы, и самое место для проявления наших наклонностей к “экономике жизни”, – мы и тут ухитряемся в слепой погоне за грошом все исковеркать и изломать».

Еще одна заметка другого автора, напечатанная в «Вологодском листке» осенью того же года, о сольвычегодской земской публичной библиотеке. Еще один штрих к коллективному портрету городских властей, и тоже черного цвета.

«Сольвычегодская земская публичная библиотека за последнее время приобрела неузнаваемо жалкий вид. Болезнь, истощающая ее организм, имеет тенденцию и дальше осложняться. Поэтому своевременно обратить на нее внимание общества. Библиотека содержится земством. И не так давно было время, когда сольвычегодское земство обращало на содержание библиотеки должное внимание, заботясь своевременно о приобретении новых книг, в то же время разнообразя их содержание. Но когда-то богатая библиотека ныне превратилась в хранилище нескольких сот книжек, частью уже устаревших и разрозненных томов. Выписка новых книг почти окончательно прекращена. А между тем, спрос на книгу как в самом Сольвычегодске, так и в уезде сильно возрос. Подобное явление управа обходит, не желая с ним считаться. При библиотеке имеется читальня. Прежде в ней можно было найти почти все большие столичные газеты и журналы. Теперь же вместо читального зала остался всего один маленький столик с тремя газетами: “Свет”, “Биржевые Ведомости” и “Русское Слово”. И библиотека, и читальня ютятся всего в одной небольшой комнате, тогда как прежде они имели в том же здании управы две просторные комнаты, отдельно для библиотеки и для читального зала. Ни в библиотеке, ни в читальне нет периодических изданий не только северного края, но и собственной Вологодской губернии. Прежде они были. Зато теперь земская управа выиграла: она меньше тратит денег на такую затею как библиотека. За последние три-четыре года бюджет библиотеки хронически чахнет и чахнет. Быть может, это обстоятельство и радуется чье-либо сердце, но духовные запросы сольвычегодцев от этого терпят очень и очень много. Библиотека в таком виде оставаться не может. Приближается время земского собрания и гласным от города необходимо энергичнее и определеннее поднять вопрос о пополнении библиотеки новыми изданиями и расширить читальный зал, отделив его опять от библиотеки, в то же время его нужно снабдить и большим числом периодических изданий и особенно следует приобрести издания своего края и губернии»⁷⁹.

Примечания

⁵³Сукманник – двубортная верхняя демисезонная одежда из толстой шерстяной дмотканины, застёгивающаяся на крючки. Название связано с тканью, из которой он изготавливался – понитчины. Это толстая ткань из льняных и шерстяных нитей или сукна домашнего приготовления. Одним из видов верхней одежды для холодного времени года в XIX веке в России являлся пониток, или сукманник.

⁵⁴Два типичных случая смерти от пьянства в Сольвычегодском уезде, о которых писали губернские ведомости в 1875 году: «22 декабря крестьянин деревни Ристухинской Иван Парухин 65 лет, бывши на празднике в Вилегодском Спасском приходе, напился пьян до того, что женою своею был привезен домой в бесчувственном состоянии и вскоре помер. 18 декабря крестьянин деревни Слудки-Павшинской Михайло Федяев 39 лет умер в питейном доме, содержимом крестьянином Александровым, от излишнего употребления вина».

Вот не очень типичный и в некотором роде курьезный случай, связанный с пьянством: в сентябре 1863 года смотритель сольвычегодской тюрьмы коллежский регистратор Варяжский за нетрезвое поведение и самовольную отлучку с места службы был уволен от занимаемой им должности.

⁵⁵Не было в городе никаких дворянских и купеческих клубов, общественных собраний и дамских обществ. В Устюге был благородно-купеческий клуб, в Устьсысольске общественное собрание, в Грязовце дворянский клуб, в Вологде дамское семейное собрание и даже благородное семейное собрание, а в Сольвычегодске... Собирались, конечно, в питейном доме рядового Григорьева пропустить рюмку Строгановки или Сольвычегодской горькой и закусить свежепросольной семгой или нельмой после службы и по выходным. Даже могли подраться, если выпивали лишнего, но кабак – он и есть кабак. Так, чтобы культурно, с буфетом, усатым буфетчиком, бильярдом, курительной комнатой, преферансом по полкопейки в вист, накрахмаленными скатертями на столах и со свежими губернскими ведомостями... – нет, этого и в заводе не было.

⁵⁶Новое училище открыли в ноябре 1870 года в селе Черевково, Черевковской волости Сольвычегодского уезда. В губернских ведомостях была напечатана заметка преподавателя вновь открытого училища Фалина об этом событии, которую мы и приводим с небольшими сокращениями.

«27 ноября 1870 года останется незабвенным для жителей Черевковской волости. В этот день по распоряжению Начальства С.-Петербургского учебного округа г. Инспектором народных училищ Вологодской губернии нарочно прибывшем в Черевково, открыто в Черевковской волости первое образцовое одноклассное училище, первое не только в Черевковской волости, но и во всей Вологодской губернии.

Накануне означенного дня г. Инспектор народных училищ заявил волостному правлению о предстоящем открытии училища и просил известить о том всех родителей, желающих отдать своих детей в училище. В день открытия все мальчики, пожелавшие поступить в училище, в числе 60 человек прибыли в здание училища и отсюда в сопровождении учителя отправились в церковь для слушания Божественной литургии. После литургии и освящении священником Прокопием Чуриным училищных икон <...> духовенство крестным ходом отправилось в здание училища. Здесь, в присутствии прибывших нарочно из Сольвычегодска мирового посредника и председателя земской управы, местного станového пристава, волостных начальников и довольно значительного числа крестьян и крестьянок, (обе классные комнаты были наполнены прибывшими, которых было бы еще гораздо более, если бы не отвлекла крестьян Красноборская ярмарка, важная для всего уезда), собравшихся на этот знаменательный для Черевковской волости праздник, совершенно было молебствие с водоосвящением и провозглашением многолетий. По окончании молебствия и по окроплении здания Св. водою законоучитель, священник Аполлоний Замараев сказал речь, заключающую в себе пожелания успехов детям в новом училище. Затем была сказана речь г. Инспектором народных училищ, в которой он, поздравив жителей с дарованным им благом, выяснил обязанности, падающие на общество, преподавателей и детей с открытием этого первого образцового одноклассного училища. За речью г. Инспектора сказано было несколько слов г. председателем земской управы Семеном Ивановичем Климовым об участии Сольвычегодского земства в поддержании училища

открытием при оном классе ремесел и готовности поддерживать училище на будущее время. Затем некоторыми детьми пролет был, заученный накануне при помощи г. Инспектора училищ, народный гимн “Боже Царя Храни”, а мировой посредник Василий Иванович Савваитов в очень выразительных словах высказал крестьянам благодарность за их готовность иметь у себя хорошо устроенное училище и выразил надежду, судя по первоначальной, более, чем удовлетворительной обстановке, на счастливую будущность училища. После всего этого г. Инспектор, объявив училище открытым, сообщил о желании учителя обучать в праздничные дни и неграмотных взрослых крестьян. Затем духовенство, в сопровождении всех присутствующих, прежним порядком отправилось в церковь; из церкви дети снова возвратились, и там местным станovým приставом Иваном Васильевичем Назарьевым было предложено им угощение.

В заключение всего в ознаменование открытия училища местный крестьянин Иван Артемьевич Пирогов пожертвовал в пользу училища шесть стульев, два стола, комод для хранения книг и отдал в распоряжение училища на три года бесплатно квартиру в нижнем этаже его дома, состоящую из пяти комнат, кухни и сеней. Кроме того, прибывшие из Сольвычегодска чиновники и местные крестьяне пожертвовали 32 рубля на учреждение библиотеки для бесплатного чтения крестьян в воскресные дни. До открытия же училища поступили следующие пожертвования: а) От Преосвященнейшего Палладия Епископа Вологодского и Устюжского икона Спасителя и б) от крестьян Черевковской волости 15 руб. 69 коп. на переделку дома под училище и на первоначальное обустройство его.

В заключение нельзя выразить надежды на счастливую будущность училища; речательством этому служит то, что довольно значительное число детей пожелало учиться в нем и что училище имеет достаточный запас учебных книг и пособий. Несмотря на недавнее открытие училища, в библиотеке его числится весьма полезных книг до 150 разного наименования и находятся следующие учебные пособия: картины из Св. истории ветхого и нового завета Шрейбера, картины из Св. истории с текстом, составленным Золотовым, картины Семенова: зима и лето, картины для наглядности Шрейбера и изданные Московским Комитетом грамотности: глобус, компас, магнит, весы, складной аршин, термометр и многие другие предметы для наглядного обучения. В будущем предполагается снабдить училище образцами мехов, кож и прочим».

⁵⁷Есть статистические данные, которые на первый взгляд не несут никакой полезной информации нынешнему читателю, но хочется их привести, потому что и они не будут лишними штрихами в картине сольвычегодской жизни того времени. В 1873 году по данным губернского статистического комитета в Сольвычегодске не родилось ни одного незаконнорожденного православного ребенка. Таких уездных городов в губернии было всего четыре – заштатный город Красноборск, принадлежащий Сольвычегодскому уезду, заштатный Лальск, входивший в Великоустюжский уезд, и уездный Яренск. Во всех остальных уездных городах Вологодской губернии незаконнорожденные были. Правда, если вспомнить случаи, когда новорожденных их матери убивали... Тем не менее, в Сольвычегодском уезде в 1873 году родилось 93 незаконнорожденных мальчика и 68 незаконнорожденных девочки. Можно, конечно, высчитать процент от общего количества новорожденных по уездным городам и уездам, а по этим данным нарисовать график, но мы этого делать не станем.

Еще один пример статистических данных, которых ни к промышленности, ни к торговле не отнесешь – количество писем, которые написали жители Сольвычегодска в первой половине шестидесяти годов позапрошлого века, количество полученных ими писем и отношение количества отправленных писем к числу городских жителей. В Памятной книжке Вологодской губернии на 1864 год перед таблицей с этими данными написано: «Количество корреспонденции также служит отчасти признаком как степени просвещения жителей, так и объема их сношений». Итак, в 1864 году жители города Сольвычегодска отправили 3302 письма и получили 3599. На каждого жителя города приходилось 2,4 письма отправленного и 2,7 письма полученного. По этому показателю Сольвычегодск занимал пятое место в губернии, уступая Верховажью, Кадникову, Вологде и Грязовцу. Середина списка, если учесть, что всех мест, включая Вологду, одиннадцать. Если же судить по полученным письмам, то здесь Сольвычегодск на четвертом месте после Вологды, Верховажья и Кадникова. С 1860 года по 1864 год включительно количество отправленных писем увеличилось на

15%, а количество полученных на 50%.

⁵⁸В женском училище Хамина в 1881 году обучалось 38 девочек в возрасте от 7 до 15 лет, из них дочерей потомственных дворян две, личных дворян и чиновников семь, священнослужителей восемь, почетных граждан и купцов три, мещан и цеховых пятнадцать, крестьян шесть. Все православные.

⁵⁹Проценты с эти капиталов, согласно воле жертвователей, раздавались в виде пособий бедным мещанам Сольвычегодска с капитала, пожертвованного Чирковым на праздники Святой Пасхи и Рождества Богородицы, а последнего на день тезоименитства жертвователя купца Хамина 24 июня и Рождества Христова, а также пополнялись из процентов с последнего повинности за бедных мещан.

⁶⁰В 1890 году Сольвычегодск принял капитал в тысячу рублей, пожертвованный по духовному завещанию мещанкой Михайловой для выдачи процентов с этого капитала бедным горожанам.

⁶¹Видимо, мещанская девица Левзинова была настойчивым просителем – как следует из протоколов заседаний Сольвычегодской городской думы, в середине декабря 1883 года ей отказали в выдаче пособия, а в феврале следующего это пособие все же назначили.

⁶²Деньги на содержание городской кладбищенской церкви пожертвовал граф Строганов, за что Городская Дума поблагодарила его специальным постановлением.

⁶³Трудно удержаться, чтобы не процитировать, пусть и в примечаниях, еще два прошения об отprawке учиться. Первое – от крестьянского сына Березонаволоцкой волости Александра Колотова. «Окончив полный курс учения в Вешкурском начальном народном училище в мае месяце 1884 г., а потом в Сольвычегодском городском двухклассном училище в настоящем 1888 г., я желал бы еще продолжить учение, но не имею средств, так как отец мой помер 12 лет и оставил нас двух братьев и сестру малолетними на попечение матери, которая воспитывала нас своими трудами и дала мне возможность окончить курс учения в Сольвычегодском городском двухклассном училище, но более воспитывать не имеет возможности. В виду сего покорнейше прошу Земское Собрание отправить меня в будущем 1889 г. для обучения в Тотемскую учительскую Семинарию стипендиатом от сольвычегодского земства, а по окончании курса в семинарии, я обязываюсь прослужить положенный срок учителем в Сольвычегодском уезде. Препровождаю в Земское Собрание свидетельство об окончании курса Вешкурского начального училища, аттестат Сольвычегодского Городского двухклассного училища и три похвальных листа, выданные мне во время учения от училищного начальства».

Второе – от крестьянского мальчика Алексеивской волости деревни Мануиловской Василия Копылова. «В настоящее время достигши я четырнадцатилетнего возраста и в обучении Закона Божия кончил курс в двух школах, а именно: в местном земском Алексеивском и двухклассном Песчанском за свой счет. Ныне желая достигнуть к более знанию Закона Божия и другим нравственным наукам, намерен поступить в Тотемскую Семинарию, но для содержания себя средств не имею и приобрести не могу. А потому Сольвычегодской Земской Управе честь имею заявить и покорнейше прошу предложить имеющему быть Земскому Собранию о разрешении мне положенного законом месячного денежного вознаграждения на содержание меня к обучению и познанию Закона Божия и других наук при Тотемской Семинарии в течении четырехгодичного времени по казенному содержанию, по случаю неимения своих средств и о последующих результатах меня не оставить без объявления. Октября 16 дня 1888 г. Подлинное подписал крестьянский мальчик Василий Иванов Копылов».

Третье – от унтер-офицерской вдовы Февронии Засолоцкой, которое тоже прошение, хотя и совершенно по другому поводу, но без него картина тогдашней сольвычегодской жизни будет неполной. «Муж мой отставной унтер-офицер Степан Григорьев Засолоцкий, с мая месяца 1878 г. по май месяца сего 1888 г., т.е. ровно десять лет состоял от земства сторожем при земском пороховом складе в г. Сольвычегодске, в течении этого времени не подвергался со стороны членов Земской Управы ни выговорам и ни штрафам, одним словом исполнял свою обязанность исправно, что могут подтвердить и настоящий состав членов Управы, 8-го же мая сего года муж мой волею Божией умер, оставив меня с несовершеннолетним сыном без всяких средств к пропитанию. Такое бедственное мое положение и заставляет меня прибегнуть к Земскому Собранию с всепокорнейшей просьбой,

не найдет ли оно возможным за десятилетнюю безукоризненную службу мужа моего назначить мне какое-либо единовременное пособие приняв во внимание и мою бедность в преклонных уже летах, на что и осмеливаюсь питать надежду. Октября 26 дня 1888 г. Подлинное подписал неграмотной Февронии Засолоцкой, сын ее Александр Засолоцкий».

И еще одно «Покорнейшее прошение» от крестьянина Гавриловской волости деревни Вахтинской Семена Миронова Заборского, которое, хотя и не имеет отношения к образованию, но имеет отношение и к тогдашней медицине, и к жизни крестьян Сольвычегодского уезда, и к способам добычи пропитания, а, точнее сказать, выживания, в тех суровых северных краях в конце девятнадцатого века. «В 1885 г. при перевозке хлеба, заготовленного земством для нашей местности по случаю неурожая такового, я волостным правлением командирован был в числе прочих возчиком для передвигания хлеба натурою из с. Черевкова и Пучуги и во время пути пришибло меня возом и размяло мне правую ногу так сильно, что по прибытии в больницу гг. доктора вынуждены были отнять мне ногу, почему я в настоящее время по случаю отнятия моей ноги, лишен возможности производить крестьянские работы, а в особенности ходить по лесу для добычи рябца, тетери, белки и проч., а в нашей местности, как известно всем и каждому, что единственно только от лесных промыслов и уплачиваются государственные подати, семейство же я имею: жену, двух сыновей, из коих старший 10, а младший 6 лет, и дочь 13 лет, которые также не в силах производить тяжелой полевой работы. А потому нахожу себя вынужденным обратиться к Земскому Собранию и покорнейше прошу не найдет ли оно возможность из каких-либо источников дать мне хотя наималейшее денежное пособие для поддержания малолетнего моего семейства, так как в нашей бедной местности я не в состоянии пропитывать своего семейства, а далее куда-либо в Подвинские волости я без ноги идти не могу, в справедливости моей просьбы представляю удостоверение местного волостного правления. Сентября 20 дня 1888 г. Подлинное подписано за неграмотного Семена Заборского крестьянином Василием Леготиным».

⁶⁴К фельдшерам и повивальным бабкам у сольвычегодских уездных врачей к концу века накопился целый ворох претензий. Вот что сообщали губернские ведомости о заседаниях врачебного совета при Сольвычегодском Уездном земстве в августе 1900 года: «Одно из постановлений врачебного совета заслуживает особенного внимания. Врачебный совет постановил ходатайствовать пред уездным земским собранием о постепенной замене фельдшеров и повивальных бабок фельдшерницами-акушерками. В настоящее время в каждой волости Сольвычегодского уезда имеются фельдшер с окладом в 360 р. в год и повивальная бабка с жалованьем в 180 р. в год. Врачебный совет находит, что фельдшера стоят обыкновенно гораздо ниже фельдшерниц, и по своим специальным познаниям, и по своим нравственным качествам. Опыт других земств доказал, что фельдшерницы добросовестнее относятся к исполнению своих обязанностей, чем фельдшера, и что среди последних очень трудно найти трезвых людей. Повивальные бабки по мнению врачебного совета совершенно невежественны и не пользуются доверием населения, так что у одной из них за год было всего 6 рожениц; таким образом, в этом пункте каждые роды обходятся земству в 26 рублей. Фельдшерница-акушерка, по мнению врачебного совета, легко может одна справиться с теперешними обязанностями фельдшера и повивальной бабки, причем, благодаря ее добросовестности, дело врачебной помощи населению выиграет. В распоряжение фельдшерниц предполагается предоставить необходимые медикаменты и приемные покои с 3–5 кроватями для постоянных больных. Так как фельдшерницам предположено назначить жалованья по 600 р. в год, то на первый год предположено во избежание чрезмерного увеличения бюджета ходатайствовать пока только о замене фельдшеров и повивальных бабок фельдшерницами-акушерками в 4 пунктах».

⁶⁵По данным губернской статистики за десятилетие с 1867 по 1877 год наибольшее количество незаконных рождений приходилось на город Вологду, Верховажский посад и уезды Устьсыольский, Сольвычегодский и Яренский. В г. Сольвычегодске среднее число незаконнорожденных в год 4,1. В % от общего числа рожденных 11,3. В Красноборске 0,4, что составляет 1,7%. По уезду среднее число незаконнорожденных в год 174,3 или 4,1%. Правда, непонятно как губернские статистики учитывали тех незаконнорожденных младенцев, которых душили, топили и закапывали их матери сразу после родов.

⁶⁶В 1875 году в городе Сольвычегодске на 1228 человек выписывалось 60 изданий или одно на 21 человек. Сольвычегодск по числу выписываемых изданий занимал среди уездных городов Вологодской губернии второе место, уступая только Вельску.

⁶⁷Городская дума по такому случаю ассигновала из городских денег пятьдесят рублей «на угощение в день Священного Коронования Их Императорских Величеств, Сольвычегодских местной воинской и полицейских команд, на улучшение в течение трех дней пищи содержащимся в местном тюремном замке арестантам, на иллюминацию городских общественных домов и сада и на раздачу учащимся в Сольвычегодских уездном и женском училищах альбомов по случаю означенного торжества».

⁶⁸Это «лишь» потому, что в соседних с Сольвычегодским уездах, наблюдались еще и эпидемии scarlatины, сыпного и брюшного тифов.

⁶⁹Детрит в медицине XIX века – это тонко измельчённое вещество телячьих и коровьих оспин, смешанное в определённой пропорции с глицерином. Детрит использовали как сырьё для вакцины против оспы. Простейший способ приготовления состоял в соскабливании оспенных пустул у телят и растирании с глицерином. В 1871 году Императорское Вольное экономическое общество в России устроило первый телятник для получения детрита.

⁷⁰Немного скучной статистики как постскрипtum рассказа о последней четверти девятнадцатого века в истории Сольвычегодска и уезда. Посмотрим на динамику изменения цен на некоторые продукты питания и на некоторые виды работ за последнюю четверть девятнадцатого века в Сольвычегодском уезде.

По ведомости о справочных ценах на провиант и фураж Вологодской губернии за декабрь месяца 1875 г. в Сольвычегодском уезде девятипудовый куль ржаной муки без рогожи стоил 8 руб. 15 коп., пуд сена 20 коп., пуд соленого мяса 1 руб. 85 коп., пуд свежего мяса 2 руб., пуд топленого сливочного масла 6 руб. 95 коп., пуд гороха 1 руб. 55 коп., плата за день работы одному человеку 30 коп., одному человеку к лошады 65 коп.

По ведомости о справочных ценах на провиант и фураж Вологодской губернии за декабрь месяца 1900 г. в Сольвычегодском уезде: девятипудовый куль ржаной муки без рогожи стоил 7 руб. 50 коп., пуд сена 18 коп., пуд соленого мяса 2 руб. 33 коп., пуд свежего мяса 2 руб. 58 коп., пуд топленого сливочного масла 8 руб. 94 коп., пуд гороха 1 руб. 64 коп., плата за день работы одному человеку 33 коп., одному человеку с лошады 65 коп.

Таким образом за 25 лет ржаная мука подешевела на 8%, сено подешевело на 10%, соленое мясо подорожало на 20,6%, мясо свежее подорожало на 22,5%, масло сливочное топленое подорожало на 22,3%, горох подорожал на 5,5%. Средняя скорость инфляции, если рассчитать ее на три продукта – мясо соленое, свежее и масло сливочное топленое – 0,87% в год*. При этом за четверть века оплата за день работы одному человеку без лошади выросла на три копейки или на 9%, а с лошады осталась такой же.

Для справки: городской голова в 1876 году получал 400 руб. в год, гласные городской думы по 200 руб. в год, а секретарь 300 руб. Зарплата уездного врача составляла 1800 руб. Врач, заведовавший городской земской больницей, получал 400 руб., фельдшеры и акушерки получали по 300 руб., повивальные бабки по 60 руб. В 1900 году фельдшеры получали по 360 руб. в год, а повивальные бабки по 180 руб.

Учитель в 1877 году получал 200 руб. в год, а в 1884 году учитель в Сольвычегодском уезде получал уже 276 руб. в год. Жалованье эконома городской богадельни им. Хаминова составляло в 1889 году 120 руб. Трое призреваемых, содержащиеся на частных квартирах за счет выплат из богаделенного капитала купца Жданова, получали на свое содержание по 27 руб. в год.

*Сравнивать скорость инфляции на эти три продукта со скоростью инфляции в последней четверти двадцатого века или со скоростью инфляции в первой четверти двадцать первого не имеет ровно никакого смысла. Той скорости инфляции, тех цен на мясо и масло и даже на горох с сеном уже не вернуть, а потому «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностью: были».

⁷¹Государственная винная лавка для продажи казённой хлебной водки, продажа которой в Российском государстве до 1917 г. составляла монополию государства.

⁷²Для сравнения приведем цифры потребления водки в двух уездных городах соседней Олонечской губернии – Вытегре и Олонце. По данным Вестника Олонечского губернского земства за девятьсот седьмой год в Вытегорском уезде приходилось по 25 литров на одного жителя уезда. В этом же году в Вытегре каждый житель выпивал в год 20, 3 литра водки. В Олонце на одного жителя города приходилось 38,5 литров водки в год. Куда им до Сольвычегодска...

⁷³Из многих десятков объявлений о розыске скрывшихся из-под полицейского надзора ссыльных и об их поимке процитируем два. Первое было напечатано в Вологодских губернских ведомостях 10 июля 1909 года: «Сольвычегодский Уездный Исправник разыскивает скрывшегося от гласного надзора полиции из места водворения г. Сольвычегодска, административно-ссыльного крестьянина Тифлисской губернии и уезда, села Тидивили Иосифа Виссарионова Джугашвили. Приметы его: 29 лет, роста выше среднего, лицо в оспенных пятнах, продолговатое, глаза карие, волосы, брови и усы черные, нос, рот и подбородок обыкновенные, особых примет нет», а второе 19 ноября 1910 года: Сольвычегодский Уездный Исправник объявляет, что находившийся в самовольной отлучке гласно-поднадзорный Иосиф Виссарионов Джугашвили, 29 сего октября этапным порядком прибыл в гор. Сольвычегодск, почему розыск его подлежит прекращению».

Между этими двумя датами уместился побег Иосифа Виссарионова Джугашвили из сольвычегодской ссылки. Сталин, который тогда был еще Кобой, а Сталиным стал только через четыре года, приехал в Сольвычегодск 27 февраля 1909 года, и поселился он в доме Григорова на Крестовоздвиженской улице. Теперь это улица Ленина, но все тридцатые, сороковые и начало пятидесятых она конечно же называлась улицей Сталина.

Уже весной того же года благодаря энергичной организаторской деятельности Кобы была создана большевистская ячейка. Летом, после большого весеннего разлива реки и соленого озера в черте города, политические ссыльные на лодках, украшенных красными флагами, катались по озеру и пели революционные песни. На берегу в это время переминалась с ноги на ногу беспомощная сольвычегодская полиция, а уездный исправник бегал, ругался последними словами и требовал прекратить пение.

Сталин недолго пробыл в Сольвычегодске. Собственно, как только он туда прибыл – так сразу и начал готовиться к побегу. Помогала ему в этом колония ссыльных большевиков. Кроме того, служащие земства собрали семьдесят рублей. Накануне побега Сталин в местном клубе выиграл в карты еще столько же. За городом, в одной из деревень, у сельской учительницы был приготовлен сарафан, и будущий лучший друг физкультурников, переодевшись в женское платье как какой-нибудь Керенский восемь лет спустя, перебрался в лодке на другой берег Вычегды и бежал.

23 марта 1910 года его арестовали в Баку, и во второй раз Сталин прибыл в Сольвычегодск по этапу 29 октября 1910 года. Поселился он сначала в том же доме Григорова, но поскольку хозяин в скором времени продал дом и уехал, Сталин в январе 1911 года переселился в дом к Марии Прокопьевне Кузаковой, с которой в полиции взяли письменное обязательство сообщать куда следует всякий раз, когда ее постоялец будет отсутствовать дома более трех часов. По воспоминаниям сольвычегодцев Коба ежедневно посещал публичную и частную городские библиотеки, пользовался богословской литературой местного священника, часто сидел в чайной, бывал в местном клубе, где время от времени ставились спектакли. Все это время не прекращались собрания большевистской ячейки, в которых «кавказский Ленин», как его некоторые называли, принимал самое активное участие, и... подготовка к новому побегу. Власти об этом знали. В предписании начальника Вологодского жандармского управления полковника Штольценбурга сольвычегодскому исправнику Цивилеву от 16 февраля 1911 года говорится: «По имеющимся во вверенном мне управлении негласным сведениям* политический ссыльный в г. Сольвычегодске Иосиф Виссарионов Джугашвили намерен бежать из ссылки. Сообщая о вышеизложенном, прошу усилить наблюдение за Джугашвили и принять меры к воспрепятствованию ему побега из-под надзора полиции».

31 декабря 1910 года Сталин пишет письмо Ленину в Париж: «Мне остается шесть месяцев. По окончании срока я весь к услугам. Если нужда в работниках в самом деле острая, то я могу сняться немедленно». Видимо, острой нужды не было, и Сталин прожил в Сольвычегодске до окончания срока, то есть до июня 1911 года.

В тридцать третьем году местные власти решили создать в доме Марии Кузаковой музей политической ссылки и настойчиво предложили Кузаковой продать дом. Мария Прокопьевна соглашалась продать дом только при том условии, что ей предоставят равноценное жилье. Сошлись на том, что она сдаст в аренду переднюю часть дома, где жили политические ссыльные, в том числе и Сталин. В течение года власти понемногу выкупали у нее части дома вместе со всем имуществом. В конце концов Кузаковой подыскали подходящее жилье, и в тридцать четвертом году весь дом стал музеем, а она, хотя и не хотела продавать его, переехала в квартиру в Сольвычегодске, а через три года уехала в Ленинград, к сыну. Власти в тридцать седьмом году выкупили для музея и дом Григорова, стоявший на той же улице напротив дома Кузаковой. Дом Кузаковой получил название дома Сталина и весь музейный комплекс стал называться Сольвычегодским музеем революции.

Через девять лет после смерти отца народов, в 1962 году, музей стал называться Сольвычегодским музеем-памятником политической ссылки, а еще через год вошел в состав Сольвычегодского историко-художественного музея. Заодно и четырехметровый памятник Сталину, стоявший во дворе дома, убрали и закопали где-то в лесу. Между прочим, убрали и закопали совсем не сразу, потому что никак не могли найти в Сольвычегодске людей, которые соглашались бы это сделать. С трудом нашли мальчишек старших классов, которые повалили памятник, расколовшийся при этом на три части. Обломки спрятали в сарае и через две недели, ночью, вывезли на грузовике эти обломки в лес. Улицу Сталина, как рассказывают старожилы, переименовали в улицу Ленина тоже ночью.

В 2006 году через газеты «Советская Россия» Сольвычегодский историко-художественный музей объявил сбор средств на восстановление музея Сталина в Сольвычегодске и на капитальный ремонт дома Григорова. Денег собрали так мало**, что удалось на эту сумму в двадцать три тысячи рублей восстановить один пролет забора и мостки возле дома Кузаковой. Дом Григорова так и стоит без ремонта.

В экспозиции музея личных вещей Иосифа Виссарионовича Джугашвили нет, и потому верующим сталинистам, которые, как правило, преклонного возраста, приложиться не к чему. Впрочем, как рассказывал мне экскурсовод сольвычегодского краеведческого музея, некоторые старики и старушки просто гладят стены, а потом в книге отзывов пишут: «Я рад, что сбылась моя заветная мечта – побывать в доме-музее И.В. Сталина, перед именем которого я преклоняюсь»***.

Историю Константина Степановича Кузакова, который 1995 году рассказал газете «Аргументы и факты» о том, что, скорее всего, является внебрачным сыном Сталина, мы здесь рассказывать и комментировать не будем, поскольку ни к истории города Сольвычегодска, ни к истории его уезда она не имеет ровно никакого отношения.

И еще. В декабре 1910 года в Сольвычегодск в качестве ссыльного приезжает двадцатилетний Вячеслав Молотов, тогда еще Скрябин. Активной политической деятельностью Молотов в Сольвычегодске не занимался и старался вести себя осторожно, поскольку хотел, чтобы власти разрешили ему сдать экстерном экзамены при Вологодском реальном училище. Вологодский губернатор Хвостов ему такое разрешение дал, и в конце марта того же года Вячеслав Скрябин получил от уездного исправника Цивилева проходное свидетельство с предписанием ехать в Вологду «безостановочно прямым путем по железной дороге». После сдачи экзаменов Молотов остался в Вологде под надуманным предлогом сдачи еще одного экзамена по латинскому языку. В Сольвычегодск он так и не вернулся до конца ссылки в 1911 году. Со Сталиным Молотов впервые встретится через год в редакции газеты «Правда».

*Конечно, у властей были свои осведомители среди ссыльных. Последние, однако, с разоблаченными осведомителями воспитательных разговоров не вели. Как только стало известно, что один из ссыльных является полицейским агентом, его немедленно утопили в Вычегде.

**Оно и неудивительно, поскольку посылали по большей части пенсионеры, отрывая от своих очень скромных пенсий.

***В годы Великой Отечественной войны и сразу после нее любительским хором при сольвычегодском Доме культуры руководила Зоя Синецкая. Хор этот выступал в эвакогоспиталях перед выздоравливающими военными. Однажды Синецкая услышала песню-сказ местной сказательницы Прасковьи Степановны Губиной о реке Вычегде. Собственно, это была песня не столько о реке,

сколько о Сталине, которого Вычегда поила водой во время Сольвычегодской ссылки. В сольвычегодском музее политической ссылки хранится красиво оформленный рукописный альбом с былинами о лучшем друге советских физкультурников. Там и о том, как Сталин идет этапом в сольвычегодскую ссылку, и о том, как бежит оттуда, и о том, как пишет письмо Ленину в Париж. Всю главу о письме из экономии места мы приводить не станем, но от цитирования отдельных строф не удержимся.

По лугам по тем широкиим,
 Серед лесов дремучих
 Пробегает река Вычегда,
 Река Вычегда могучая.
 На пустынном ее берегу
 На высоком, на обрывистом
 Разудалый стоял молодец,
 Млад Иосиф свет Виссарионович <...>
 Он смотрел и думал думушку,
 Думу крепкую заветную.
 И своей заветной думою
 Поделиться хотел с Лениным.
 Кто снесет поклон мой к Ленину
 О моей расскажет думушке?
 Ой ты, реченька студеная
 Ты студеная извилиста! <...>
 Ты снеси поклон, ты кланяйся
 Другу верну свету Ленину
 Про житье ему скажи мое
 В ссылке дальние на севере.
 У меня ли добра молодца
 Крылья связаны, закреплены
 Все пути мне здесь заказаны,
 Все дорожки заколочены <...>

Вернемся к Зое Синицкой, которая переложила эти песни-сказы на музыку, а хор, которым она руководила, их разучил и в сорок пятом году на фестивале художественной самодеятельности в Архангельске занял с этим репертуаром одно из призовых мест. Прасковья Степановна Губина получила денежную премию и ценный подарок, а Зоя Синицкая шелковое платье. На этом история не закончилась. С сорок пятого года песню «Река Вычегда» в исполнении Северного русского народного хора исполняли по всесоюзному радио вплоть до самой смерти отца народов. Потом не исполняли и старались забыть, что исполняли, потом прошло шестьдесят шесть лет, и 14 декабря 2019 года на праздновании 85-летия музея политической ссылки, а заодно и 140-летия со дня рождения Сталина, фольклорный ансамбль «Сольвычегодские приплывухи» эту песню исполнил. Перед тем как исполнить, сотрудники музея долго и безуспешно искали по всем архивам ноты и в конце концов нашли их в сборнике «Колхозные песни» пятидесятого года, изданном в серии «Библиотека художественной самодеятельности».

⁷⁴Губерний, уроженцы которых подавались в бега из ссылки в Сольвычегодск и уезд, было пятьдесят с лишним – от Варшавской до Тобольской*. Чаще всего, если судить по объявлениям о розыске, скрывались из-под надзора полиции крестьяне Харьковской губернии. За харьковскими крестьянами шли тамбовские, а за тамбовскими все остальные. Убежавшие крестьяне в девяти из десяти случаев отправлялись домой, где их уже ждала полиция, чтобы отправить в Сольвычегодск по этапу. В объявлениях о поимке беглецов в таких случаях писали: «задержан в месте родины». Некоторые, очень непоседливые ссыльные, снова убежали и... снова в родную деревню, откуда их полиция отправляла по этапу в Сольвычегодск и еще дальше в уезд. Так могло повторять до трех,

четырёх и даже пяти раз. Небольшая, десятая часть ссыльных, могла походить, походить и... добровольно вернуться обратно в место своей ссылки. Чаще всего добровольно возвращались зимой, когда бродить по этим диким северным местам было просто опасно для жизни. Особая статья – политические ссыльные, которые и к побегам готовились тщательнее, и следы умели замечать, и в некоторых случаях ухитрялись уехать за границу. Поиски и возвращение беглецов занимали немного времени – от нескольких недель до нескольких месяцев, но были случаи, когда скрывшиеся от полицейского надзора крестьяне годами жили в родной деревне или в соседней, не попадаясь властям.

*Обычному читателю поименный список губерний ни к чему, а буквоед краевед без них не обойдется, а потому здесь, в примечаниях к примечаниям, мы его приведем: Харьковская, Воронежская, Московская, Нижегородская, Вологодская, Калужская, Могилевская, Херсонская, Тамбовская, Воронежская, Минская, Курская, Витебская, Орловская, Курская, Минская, С.-Петербургская, Киевская, Каменец-Подольская, Ковенская, Рязанская, Смоленская, Полтавская, Казанская, Гродненская, Новгородская, Варшавская, Кутаисская, Костромская, Екатеринославская, Тифлисская, Волынская, Люблинская, Псковская, Владимирская, Терская, Петроковская, Олонекская, Архангельская, Бессарабская, Тобольская, Курляндская, Могилевская, Бессарабская, Ярославская, Лифляндская, Подольская, Тверская и Подольская, области Дагестанская, Терская, Акмолинская и Область Войска Донского.

⁷⁵Сольвычегодское уездное полицейское управление не справлялось со своими обязанностями настолько, что в июле двенадцатого года из-под гласного надзора полиции Сольвычегодска смогла скрыться целая семья австро-венгерского подданного Георгия Рада с восемью детьми, младшим из которых было всего шесть и пять лет, а самому маленькому – два года.

⁷⁶Начальник Вологодского губернского жандармского управления писал Устюжскому уездному исправнику в феврале 1909 г. «Совершенно секретно. По полученным, безусловно достоверным, негласным сведениям, в гор. Сольвычегодск, на имя некоторых политических ссыльных, высылаются из Парижа нелегальная газета “Пролетарий”. В виду изложенного, прошу иметь тщательное наблюдение за поступающими на имя ссыльных посылками и бандерольной корреспонденцией и, в случае обнаружения указанной газеты, таковую отбирать и немедленно сообщать мне с препровождением конфискованных номеров и подробными сведениями о лицах, коим корреспонденция была адресована».

⁷⁷По таблице на продовольствие арестантов сольвычегодской городской тюрьмы в 1907 году суточная норма составляла восемь копеек. Поскольку цены на продовольствие в Сольвычегодске росли не переставая, губернским правлением по соглашению с вологодской казенной палатой, эту сумму в том же году увеличили на копейку, потом еще на одну, а в пятнадцатом году еще на одну.

На повышение цен и невозможность прожить на те деньги, которые они получают, жаловались и те, кто арестантов охранял. В журналах Сольвычегодского уездного земского собрания за 1908 год можно прочесть заявление смотрителя Сольвычегодского земского арестного дома Малетина с просьбой о повышении жалованья: «По случаю сильно вздорожавших съестных припасов первой необходимости, а равно поднятия цен на все предметы, а потому и жизнь становится при получении 16 руб. 66 коп. в месяц за вычетом еще в пенсионную кассу 1 руб. содержание весьма затруднительной при моей ответственной должности, которая требует постоянного надзора за арестованными лицами, в особенности в настоящее время, арестованные бывают постоянно и большинство из них ссыльно-поднадзорные, за которыми нужно следить и следить держа ухо востро, в настоящем году перебывало под арестом с 1 января по 1 октября 81 человек разного рода и племени, да еще к тому же г. Сольвычегодский уездный исправник посылал в арестный дом для ночлега и дневки пересыльных арестантов, как это было а именно: 22 мая 27 чел., 5 июня 8 чел., и 12 сентября 31 чел. Эти последние как побывают и по уходе их непременно нужно мыть и мыть не только полы, даже и стены, а о ретирадах как загажены и говорить не буду, мыть же нужно нанимать, ибо чистоту требуют ревизирующие лица, а потому и осмеливаюсь покорнейше просить земскую управу не найдет ли она возможным доложить нынешнему земскому собранию об увеличении мне содержания хотя бы до 240 руб. в год, и если этого невозможно, то хотя бы нельзя одновременно сколько будет благоугодно г.г. земским гласным за мою шестилетнюю службу, начавшуюся с 15 апреля 1903 года.

Не лишним считаю доложить, что во всех уездах, даже в Яренском, смотрителя арестных домов получают далеко более содержания. Г. Сольвычегодск октября 3 дня 1908 г. Смотритель Ф. Малетин».

Земская управа в своем заключении писала, что смотритель арестного дома в г. Сольвычегодске до 1908 года получал содержание в в размере 180 руб. Уездное земское собрание очередной сессии 1907 года увеличило размер получаемого смотрителем содержания до 200 руб в год, и потому управа не просит прибавить жалованье Малетину, а имеет честь представить на благоусмотрение земского собрания. Не отказали прямо, но и...

⁷⁸Сольвычегодский Дамский Комитет был серьезной организацией. При открытии в него вступили 54 дамы. Ежемесячный членский взнос мог быть любого размера, но не менее двадцати копеек. Пожертвования поступали деньгами, материалами и вещами. Для увеличения средств Комитета было дано два любительских спектакля. Для пошива белья и вещей для больных и раненых солдат Комитетом была открыта мастерская в помещении Общественного Собрания, предоставленного Комитету безвозмездно. В этой мастерской ежедневно, кроме суббот и праздничных дней, работали члены Комитета с участием и под непосредственным руководством и наблюдением председательницы и ее помощницы. Кроме того, некоторые из членов комитета брали работу на дом. Конечно же бесплатно. Вся материальная и денежная отчетность регулярно проверялась ревизионной комиссией.

⁷⁹В то время как в Сольвычегодске морили голодом публичную библиотеку, пили горькую и сетовали на то... и на это тоже, в соседнем Великом Устюге культурная жизнь была ключом. В Вологодском листке под заголовком «Война Белой и Алой розы» была описана война не на жизнь, а на смерть двух местных электротеатров в погоне за публикой. «В этом междоусобии принимает живейшее участие и публика; кажется, весь город разделился на две стороны – любителей того или другого электротеатра. Рассказывают, что даже писались и декламировались самодельные стишки (до которых такие любители коллежские регистраторы и писцы из сиротских судов), посвященные конкурирующим театрам. Ближайшими результатами кинематографической войны являются необыкновенно длинные программы, чуть ли не из пяти отделений, очень доступные цены и афиши, написанные столь вдохновенным языком, что сердце и кошелек раскрываются сами собою. Попробуйте-ка устоять против “Сатаны”, “Жрицы сладострастия” из “Золотой серии Нордиск” или, тем более, против “Двух миллионов (в скобках на афише прибавлено для точности и большей убедительности цифрами: 2 000 0000) наслаждений”, которые за плату от пятиалтынного до полтинника, обязуется причинить нам один из конкурентов. В общем, оба театра работают хорошо, устюжанам на утешение и синематографщикам на пользу. Что касается до содержания идущих в театрах картин и их исполнения, устюжские синематографы приближаются к вологодским и вообще не отличаются от прочих своих собратьев».

Окончание следует

Григорий БЕНЕВИЧ

ОКСФОРД
Отрывки из книги мемуаров¹

Часть 1. Практическая Триадология²

Через 14 лет после своего 9-месячного пребывания на деревне Бычье на русском Севере³, я осенью 1994 г. оказался в Бычьебродске (как на русский переводится Oxford). И тоже пробыл там 9 месяцев.

Не буду долго распространяться о том состоянии, в каком я приехал и находился в первое время в Оксфорде. Приведу лишь одно небольшое стихотворение того времени. Из него все ясно:

...нет такой точки,

с которой можно было бы на жизнь
взглянуть спокойно: на болезни дочки,
на дерзость сына, на отчаянье жены,
на собственное безобразье,
на то, что, неоформленное, в прах
все возвратится бездыханный...
разве
что Бог с людьми оставит нас в стихах.

Итак, опуская пока все личное, перехожу сразу к общезначимому. Как известно, Оксфорд славится своей системой тьюторства, при которой студент или даже такой «приглашенный товарищ» (*visiting fellow*), каким был я, закрепляется за каким-то профессором. Раз в неделю он с ним встречается, не помню, в течение часа или двух академических часов. Профессор дает своему подопечному задание со списком литературы – все это нужно прочесть, написать эссе, принести и зачитать профессору, а потом с ним обсудить. Ну, так вот, надо ж было так случиться, что мне, тогда пылкому православному неопиту, дали в тьюторы католического священника из монастыря *Greyfriars* (капуцина, францисканца), который был, как потом выяснилось, к тому же еще и американским харизматом! Полный такой, очень эмоциональный дядька, тогдашний настоятель (он был им с 1993 по 2004 г.) этого монастыря Томас Вайненди (*Thomas Weinandy*). Некогда монастырь *Greyfriars* был славен именами Александра Хальского, Роджера Бэкона, Дунса Скота, Уильяма Оккама, а теперь вот братию возглавил приехавший из Штатов Томас Вайненди... Не знаю, случайно или нет, но уже с 2008 г. монастырь перестал быть частью Университета, в учебном процессе уже не участвует. Мой тьютор был в этом плане его почти лебединой песней.

Томас Вайненди считался спецом по триадологии. Написал на этот счет книгу, которую и предложил мне в качестве главного учебного пособия. Ну, еще мы с ним пытались читать (по-ан-

¹ Продолжение. Начало см.: «Звезда», № 4 за 2026 г. и «Волга», № 1-2 за 2026 г.

² Учение о Троице.

³ См. о нем: «Звезда», № 4 за 2026 г.

глийски) Августина и Фому – как раз по этой части. Но, читая его книгу, я откровенно не мог согласиться с ее главным тезисом (о нем ниже), и поначалу говорил ему, что я его не понимаю, и безуспешно просил объяснить. Сказать, что я с этим тезисом просто не согласен, что он представляется мне сущей ересью, я поначалу стеснялся – только что приехал, никто и ничто, и сразу спорить... Но особо скрывать свое отношение ко всему тоже не старался. В общем, так я отходил к нему целый семестр, к обоюдному взаимному неудовольствию, пока не уговорил владыку Каллиста (Уэра) стать моим тьютором на следующий семестр.

Итак, в чем же специфика учения Вайненди? В двух словах – он отождествлял Ипостаси в Троице с актами или действиями. Например, если Сын Божий рождается от Отца, то Его ипостась это не Ипостась Сына, а Рождение – то самое, что в православном богословии называется ипостасной особенностью.

Что вся эта теория Вайненди (об ипостасях как «актах») означала на практике, я наблюдал один раз воочию. Как-то раз я был назван на встречу профессора со студентами, а на самом деле – на «радение», которое устраивал Томас со своими студентами. Они в натуре, прочитав кусочек из Евангелия, вызывали Св. Дух по подобию харизматов-протестантов (пятидесятников?). Атмосфера была очень взвинченная, и возбуждение не шуточное. Снисходил ли на них Св. Дух, не знаю, но лицо полноватого Вайненди наливалось краской как после пива и хорошей бани. По окончании всего этого радения участники преспокойно очень по буржуазному чинно отправлялись пить кофе со всякими вкусоностями. Эх, подумал я (живший в Оксфорде в режиме изрядной экономии), кабы можно было б эти печенки, да без радений... но этот вариант никто не предлагал.

Фокус во всей этой истории в том, что хотя подобные радения были вроде как необязательны, и я, конечно, больше на них не ходил (потеряв все шансы получить протекцию Вайненди на продолжение учебы в Оксфорде), но я-то был заезжим «приглашенным товарищем» (без каких-либо обязательств), а что прикажете делать студенту-аспиранту-докторанту, который от этого Вайненди зависит – и в плане оценок, и в плане академического продвижения... Судя по числу участников радения, многим из студентов-докторантов приходилось волей-неволей во всем этом участвовать (вот те и либеральнейший в мире универ!). Ну, или они в самом деле испытывали прилив несказанной благодати... Я же и в тот единственный раз сидел на этом радении и чувствовал себя как в аду. Только вот про себя молиться пытался, чтоб не совсем худо стало... На кофе и печенках, впрочем, потом все как рукой сняло...

При этом, сколько помню, Вайненди выдвигал всю эту свою теорию в качестве некоей широкой экуменической платформы, полагая – на основании одной фразы из «Слова 29» Григория Богослова, что и каппадокийцы, по крайней мере один из них, придерживались того же самого понимания ипостаси; договорившись так с православными, он планировал дальше договориться и с мусульманами – трех Ипостасей-то нет. Но для меня это все выглядело сущей ересью¹, особенно учитывая знакомство с мистическими практиками Вайненди.

Часть 2. Общеаги, учеба и прочее

После, возможно, слишком богословской предыдущей части, можно немного поговорить и о бытовой стороне моей жизни в Оксфорде, да и про учебу помянуть. Первый семестр и самое начало второго я жил – по своей великой экономности (если не сказать – жмотству) – в маленькой комнатухе без окна на нулевом этаже рядом с кухней в одной многолюдной общеаге на Banbury Road, минутах в 35–40 быстрым пёхом до главных зданий университета и библиотеки (Bodleian Library), которая и была моим основным местом здесь-бытия.

¹ Тогдашние «непонятки» с Вайненди подвигли меня позднее углубиться в эту тематику. См. подробнее в Г. Беневиц. Св. Евлогий Александрийский, прп. Максим Исповедник, свт. Софроний Иерусалимский. Polemika с тритеизмом. Антология восточно-христианской богословской мысли. Т.2. СПб., 2009. С. 71–88 (<https://predanie.ru/book/139659-antologiya-vostochnohristianskoy-bogoslovskoy-mysli-2/#/toc10>).

Общага была веселая – тон в ней задавали латиноамериканцы. Они постоянно находились в некоем возбуждении. Потом на каком-то общем застолье я попробовал, точнее, пригубил, их пищу, и подумал, что причина их постоянной активности – помимо природного темперамента – необыкновенно острая еда, которую они потребляли в незначительных количествах (я ее есть даже голодным не мог). Ну, так вот, они постоянно гонялись друг за другом, находились в каких-то путаных личных отношениях. Одним словом, были по своему поведению веселыми и безобидными, но уж очень шумными детьми. А поскольку комната моя находилась рядом с кухней, то я эту беготню, хохот и веселую возню их постоянно слышал. Это было, конечно, для меня дополнительным поводом не засиживаться дома, а спешить поскорее в библиотеку и по другим делам.

На занятия – лекции и семинары – я ходил мало. Во-первых, не так уж много было интересных мне тем. Во-вторых, со слуха я далеко не так легко понимал весьма сложный зачастую в интеллектуальном отношении оксфордский английский. Так, на лекции Суинберна – своего куратора – я поначалу ходил прилежно, неудобно было манкировать, но уж больно заковыристые интеллектуальные конструкции он сооружал. Да и сам этот способ мышления – с такой степенью рассудочности – мне был не мил. Хотя в Британии и вообще в англосаксонском мире, как я понимаю, развитие именно этих способностей почитается особенно важным. Не случайно, как с гордостью сказал мне тот же Суинберн, хотя выпускники теологического факультета Оксфорда потом редко работают по специальности, они очень высоко ценятся на рынке труда. Люди с таким развитым интеллектом прекрасно работают в банках и в бизнесе, и их охотно берут в лучшие коммерческие фирмы. Я же от лекций такого рода постепенно начал косить.

Обалдел я, конечно, сразу от оксфордских библиотек. И тут на меня буквально напала книжная лихорадка – т.е. все это хотелось если не прочесть, то как-то отскерить, увести, сохранить... Только то, что ксерокс был не бесплатным, удержало меня от полного безумия в этом плане. Забегая вперед скажу, что почти ничего от отскеренного мне не пригодилось – другой контекст жизни в России по-другому расставил и приоритеты; то, что казалось таким интересным в Оксфорде, в России как-то не особо захватывало.

В целом же чтение мое в библиотеках (помимо того, что я читал по заданию тьюторов) было бессистемным и лихорадочным, потому что собственной темы исследований и ярко обозначенного интереса у меня еще не было. Из позитивного (послужившего мне в дальнейшем) оксфордского чтения упомяну, прежде всего, монографии о Максиме Исповеднике – Ларса Тунберга и Пола Блоуверса. Я и взял-то с собой в Оксфорд из всех книг, помимо Библии и молитвослова, лишь двухтомник Максима в переводе А.И. Сидорова. Максим уже один раз спас меня в Питере во время одного страшного искушения¹. И к этому времени он все больше становился для меня важнейшим чтением.

Но вернемся к общаге. В отличие от безобидных, разве что слишком шумных, латиноамериканцев и других симпатичных насельников общаги, был там один квартирант, на которого я просто не мог смотреть. Весь его вид и поведение были мне невыносимы, хотя он ничего такого плохого не делал. С этой эмоцией, страстью нужно было что-то делать. Так получился у меня двенадцатистрофник «Общежитие», начинающийся строчкой «Немец кушает морковку...». Не буду его здесь приводить, благо в «Волге» он уже был в 2022 г. в № 3-4 опубликован².

Это стихотворение стало первым из посвященных ставшей сквозной для меня теме – отношения к «другим», теме, пришедшей ко мне из философии Левинаса, но разворачиваемой мною по-своему, в контексте (хочется надеяться) православной традиции. Австрийца же этого, которого я прежде физически не мог видеть, т.е. на него смотреть, так было это невыносимо, после этого стихотворения я встречал уже каждый раз с радостью (честно). Поэзия оказалась, так сказать, духовной практикой, фиксирующей страсть, противостоящей ей и исцеляющей от нее (на это понадобилось целых 12 стрф).

¹ См. в предыдущих мемуарах: «Волга», № 1-2, 2026 г.

² См. <https://magazines.gorky.media/volga/2022/3/drugie-4.html>

Между тем, пройдя этот квест – жизни в паршивой комнатке в не очень-то хорошей, и при этом дорогой, общаге, я получил возможность переселиться в общежитие, лучше сказать, гостевой дом, совсем другого класса, где как раз освободилась хорошая комната на втором – в их системе первым – этаже. Это был знаменитый The House of St Gregory & St Macrina (Дом св. Григория и св. Макрины), основанный в 1959 г. еще Николаем Зерновым, преподававшим тогда восточно-православные исследования в Оксфордском университете. Дом был задуман Зерновым как экуменический центр христиан Востока и Запада с целью содействия более глубокому взаимопониманию между этими двумя традициями. Он же, вместе с женой Милицей Зерновой, был до этого, еще в 1928 г., основателем Общества мученика Албана и преп. Сергия Радонежского (Fellowship of Saint Alban and Saint Sergius) (их икона до сих пор на почетном месте у меня).

В доме св. Григория Нисского и его старшей сестры и героини его диалога с ней, св. Макрины, жило обычно 18 гостей, и попасть в их число было не так просто. Я же оказался там так. Анн Шукман (славистка, семiotик и видный деятель англиканской церкви), хорошая знакомая моей начальницы, ректора ВРФШ, Н. Печерской (далее Н.П.), работавшая в Оксфорде, порекомендовала меня знаменитому Дональду Алчину (Donald Allchin), англиканскому священнику и богослову, директору Центра св. Феосевии (диаконисса, еще один член каппадокийского «кружка») (St Theosevia Centre for Christian Spirituality in Oxford), я имел с ним собеседование, и после этого он порекомендовал меня хозяевам дома Григория и Макрины. Дональда Алчина особенно расположило ко мне то, что я – это было сущей правдой – на досуге занимался переводами английских поэтов-метафизиков (в то время – особенно Джорджа Херберта, том которого я купил в Оксфорде у букиниста)¹. А он как раз был одним из специалистов по их поэзии, и вообще в англиканской *spirituality* (духовности) делал большой акцент на поэзии. Так что нам было о чем поговорить. Он, кстати, посоветовал мне послать свои переводы Николаю Лосскому, который этой темой тоже занимался (диссер написал), что я и сделал (Лосский, между прочим, указал мне на одну ошибку в понимании оригинала, за что ему особая благодарность).

Как бы то ни было, после всех этих переговоров я переместился из первой, бывшей для меня тяжелым испытанием, общаги в прекрасный гостевой дом, где я за практически те же деньги мог жить-поживать в отличной комнате, совсем недалеко от Университета. На отоплении в этом новом доме не экономили, общество было приятное. Никаких шумных соседей не было, а во дворе – ровно между домами Григория и Макрины – находилась православная церковь (греческая, Вселенского патриархата – Св. Троицы и, одновременно, в Сурожской епархии митрополита Антония (Блума) – Благовещения), в которой я и прежде уже стал регулярным прихожанином, а теперь и вовсе, что называется, сам Бог велел бывать там как можно чаще. В соседнем доме – св. Макрины – в это время жил делавший тогда докторскую молодой иеромонах Иларион (Алфеев) (пару слов ниже скажу и о нем). Владыка Каллист (Уэр), богослужения которого я уже не раз посещал, равно как и некоторые его лекции, согласился стать на следующий семестр моим тьютором вместо харизмата-капуцина Вайнэнди. Жизнь налаживалась и становилась более интересной...

Часть 3. Люди и встречи

В Оксфорде у меня было несколько замечательных знакомств и встреч. Я вообще-то не слишком коммуникабельный, так что сам без особой нужды с известными людьми (а в Оксфорде их, понятное дело, много) знакомиться не стремился. Но с некоторыми из них меня свели обстоятельства, и об этих людях и общении с ними я хотел бы хотя бы кратко рассказать. Будучи эгоцентриком, я, конечно, не особо умел разглядеть другого человека, и что-то важное мог легко упустить или неправильно понять. Но расскажу как есть – о своих тогдашних впечатлениях, с некоторой перспективой на то, что я узнал или понял о том или ином человеке позднее.

¹ Кажется, они были в 1984 г. опубликованы в самиздатском журнале переводов «Предлог».

За. Ричард Суинберн

Первым в ряду этих замечательных людей, конечно, следует упомянуть моего непосредственного куратора, на тот момент декана теологического факультета, Ричарда Суинберна (Richard Swinburne).

Я уже упоминал в предыдущей части мемуаров¹, что человеком он был с весьма интересной судьбой, в которой, в молодости, было факультативное изучение русского языка. В нем он настолько преуспел, что во время Холодной войны, когда служил в армии, сидел на перехвате переговоров советских военных (кажется, он служил в Германии, может быть в Западном Берлине или где-то ближе к границе с Восточной). Факт тот, что позднее, когда он стал одним из главных лиц в программе привнесения в Россию христианской философии (как он ее понимал), он все пытался сам делать доклады на русском. Не знаю, как сейчас (а Суинберн, несмотря на очень преклонный возраст, еще жив и продолжает активничать, надеюсь, дистанционно, в России), но тогда с этим были большие проблемы, т.е. русский его был не особо вразумителен. Впрочем, я полагаю, что и мой английский, когда я пытался сказать нечто более или менее сложносочиненное, был не многим лучше.

Как человек Суинберн вызывал у меня несомненное уважение. Он был не только благороден и сдержан, но и достаточно открыт. Снобизма с его стороны я никакого не заметил. Но определенная твердость в нем как декане и моем кураторе, несомненно, была. Так, в частности, когда я попросил его уделить из имевшихся в его распоряжении средств мне деньги на поездку домой на Рождество (это была не прихоть, мне было необходимо повидать почти не подававшую сигналов жену), то Суинберн не поддался на мои упрасивания. Я совершенно не в обиде за это на него, ибо сделал он это тактично и аргументированно – каждый должен нести бремя своих страстей сам. Волнуешься за жену и детей – раскошешься и слетай к ним. Это не было сказано так жестко, но смысл был именно такой. Что ж, я последовал его совету: на Новый год и Рождество съездил ненадолго домой. Увы, ничем не помог, ничего не понял. Но хоть как-то свои волнения успокоил.

Но речь сейчас не обо мне, а о Суинберне. Я не стану даже и пытаться охарактеризовать его как философа – для этого нужно было бы хотя как-то его философию изучить. Мне же она представилась сразу как нечто достаточно чуждое по самому стилю его мысли, опирающейся в разговоре о Боге исключительно на свой разум, мысливший к тому же в каких-то юридических категориях (традиция Ансельма?). Будучи тогда православным неопитом, я был уверен, что так – без опоры на Предание и святых отцов (как говаривали у нас, «от ветра главы своея») – богословствовать нельзя. Каково же было мое удивление, когда, приехав в Оксфорд в 1997 г. на конференцию по преп. Максиму, я узнал, что Суинберн перешел из англиканства (конечно, он был *«high anglican»*, «высокоцерковный англиканин») в православие, а владыка Калист (Уэр) был его, так сказать, крестным отцом. При этом, как я заметил на конференции христианских философов в 1997 г., что проходила в Питере (о ней еще будет случай поговорить), стиль мышления Суинберна абсолютно не изменился.

Помню, что еще в мой первый визит в Оксфорд он говорил мне, что англиканство отходит от христианской традиции, собираясь ввести женское священство. Чувствовалось, что его это больше всего удручало. Что до самой его роли, как он ее понимал – мы свободно обсуждали с ним это, – то он считал себя одним из чуть ли не последних апологетов христианской веры. Я его спрашивал, не стесняясь – зачем все это, то, что он пишет. На что он отвечал, что в британском обществе, особенно среди профессуры, так много атеистов, что необходимо кому-то отстаивать с помощью рациональных аргументов такие простые вещи, как веру, доказывать бытие Божие и т.д. Мне же, приехавшему из страны, где атеизм обанкротился как бы сам собою (что называется, на практике), казалось спорить с атеизмом – делом бессмысленным. Сейчас я смотрю на все эти вещи иначе (и серьезный атеизм – не бессмысленен, и диалог с ним нужен). Но речь не обо мне.

¹ См.: «Волга», № 1-2, 2026 г.

Суинберн приглашал меня и на заседания своего философского кружка (кроме него там были, надо полагать, его единомышленники и докторанты), где у камина с бокалом вина велись утонченные интеллектуальные разговоры о Боге. Такой идиосинкразии, как радения Вайнэнди, эти заседания у меня не вызывали, но и не могу сказать, чтоб они меня сильно привлекли. Несмотря на камин, в помещениях Оксфордских колледжей всегда стоял жуткий дубак, для самих англичан привычный, а для меня (приехавшего из нищей страны, где никогда не экономят на отоплении) совсем не комфортный. А засушенные интеллектуальные разговоры о Боге ко всей этой атмосфере тепла не добавляли. Так что я, пару раз приняв участие в таких заседаниях, далее ими манкировал. Впрочем, это, к его чести, никак не сказалось на моих отношениях со Суинберном. Он с уважением относился к тому факту, что мне интересно нечто иное, нежели то, чем занимается он. И когда под конец моего пребывания в Оксфорде встал вопрос о моем продолжении учебы в Университете, он, без всяких обид на отсутствие у меня интереса к его предмету и методу, готов был всячески поддерживать меня. Но вопрос этот отпал само собой по другой причине (о чем в свое время расскажу).

Как бы то ни было, о Суинберне у меня остались теплые воспоминания, и я с удовольствием позднее встречался с ним – и в Оксфорде в марте 1997 г, и в Питере в мае того же года. Когда же я узнал, что он перешел в православие – на самом деле скандал, если подумать: декан теологического факультета Оксфорда переходит в какое-то маргинальное для Британии православие! – я его еще больше зауважал, несмотря на то, что понимание православия у нас с ним, очевидно, мягко говоря, разное (например, он не считал для себя важным учитывать паламизм¹, да и все православное богословие после 7 Вселенского собора). В любом случае поступок этот нетривиальный. И сам Суинберн, я полагаю, где-то, в определенном смысле, человек героический – какой-то исчезающий тип, последний из могокан.

Зв. Владыка Каллист (Уэр)

Есть множество людей, которые знали вл. Каллиста много дольше и лучше, чем я. Поэтому писать о нем, ни как о лекторе, ни как о церковном писателе, ни как о епископе и пастыре я не буду. Не стану я судить и о его вкладе в патристику, равно как и о нем в качестве популяризатора православия. Я знал его главным образом как тьютора в течение одного учебного семестра в Оксфорде. И в этом качестве он был тем, кто мне был нужен на тот момент моей жизни. За один семестр мы прошли интенсивный курс патристики от Апостольских отцов и Мученических актов до V века. Кажется, мы дошли до Иоанна Кассиана. По крайней мере, я помню, что писал эссе, доказывая, что христология последнего никак не криптонесторианская (как считалось на Западе), а вполне православная.

Наши занятия были полезны для меня. Нельзя сказать, чтобы он чему-то меня учил, даже как-то меня особенно поправлял. Само его присутствие заставляло меня формулировать свои мысли, выстраивать свою аргументацию как можно более ясно и убедительно. Должно быть *clear* (ясно), никаких темнот и «гениальничанья», к которому я привык в той среде, в которой вырос в Питере – и во «второй культуре», и в среде философов ВРФС. В присутствии владыки Каллиста всего этого допускать было нельзя. Может, такая аскеза мысли и подрезает ей крылья (не все ведь, тем паче в вещах запредельных можно со всюю ясностью разъяснить), но это очень важная и хорошая дисциплина, пройти которую мне было на тот момент необходимо. Я уж не говорю о том, что и этот самый пропедевтический курс патристики, но не школярски (описательно), а заостряя каждый раз какую-то проблему, тоже совсем не лишне было пройти, прежде чем дерзать хоть что-то понять аж в Максиме Исповеднике!

Итак, я приходил раз в неделю к владыке домой (занятия проходили у него дома, в заваленном книгами рабочем кабинете), читал ему свое эссе. Он иногда немного подремывал в своем

¹ Учение Григория Паламы и исихастов в целом.

удобном высоком кресле, но на самом деле достаточно внимательно слушал и живо реагировал на заинтересовавшие его места. Это было довольно часто, и создавалось ощущение (или мне это только казалось?), что ему было заниматься со мной интересно. Когда пришло время уезжать, убедившись, что шансов продолжить учебу в Оксфорде у меня нету, и не получив после этих 9 месяцев, проведенных там, никакой бумажки, никакого диплома, я попросил владыку написать мне хотя бы какую-то рекомендацию-характеристику – вдруг пригодится. И он с удовольствием тут же такую рекомендацию, весьма краткую, но слишком лестную для меня, написал – на осмущенной хорошей бумаге. Увы, она потерялась, но я помню, что там было написано, что я *very smart*. Это вызвало много хохота у моих домашних, особенно у сыновей: папа съездил в Оксфорд и привез оттуда справку, что он очень умный. Я-то прекрасно знал по-настоящему умных людей, поэтому на этот счет не особо обольщался. Но бумажка такая мной получена была. Впрочем, она никогда мне не пригодилась, а потом и вовсе потерялась.

Когда, уже по моему возвращении из Оксфорда, владыка Каллист приехал с группой паломников в Питер и отправился на Коневец, я, будучи чем-то занят, попросил вместо себя сопровождать его Олю. И он сделал нечто полезное – сказал и ей, что у меня мозги пригодные для того дела, каким я занимался с ним в Оксфорде. Так что мне нужно продолжать, а ей (получается) как-то в этом мне способствовать. Вот такой у нас вышел – без всякой с моей стороны просьбы – разговор.

Зс. Иеромонах Иларион (Алфеев)

Приехав в Оксфорд, я вскоре узнал, что здесь находится иеромонах из России, который занимается патристикой. Не помню, слышал ли я о нем в России, может быть и нет. В любом случае, мне захотелось с ним познакомиться, и как-то эта встреча устроилась. Не помню теперь уже, как и где именно. Когда я пришел, там был не только о. Иларион, но и, как я потом узнал, внучатый племянник архимандрита Софрония (Сахарова), диакон Николай Сахаров. Он тогда учился по бакалаврской программе на теологическом факультете Оксфордского университета, монашеский постриг еще не принял, хотя уже состоял в братии монастыря в Эссексе, основанного о. Софронием. Надо сказать, что они оба (особенно о. Иларион, Николай был помягче) встретили меня прохладно и несколько настороженно. Это и вообще характерно для русских людей за границей – относиться друг к другу настороженно, с некоторым подозрением, а тут были, как я потом понял, и более веские причины.

Мое имя о. Иларион уже знал, и не с лучшей стороны. Дело в том, что в Вестнике РСХД, № 161, 1991 г. была опубликована моя совершенно хулиганская с точки зрения любого патрулога, да и просто культурного церковного человека, маленькая, всего 6 страниц, статья: «Экономика в православном понимании, согласно св. Симеону Новому Богослову». Даже не буду объяснять, чем была плоха эта статья. Никита Струве не должен был ее принимать, а я пытаюсь публиковать. Но в любом случае о. Иларион, сам занимавшийся, причем серьезно, в это время св. Симеоном (именно по нему он завершил работу в Оксфорде) не мог быть не шокирован этой моей совершенно дилетантской статьёй.

Так что с таким бэкграундом, оказавшись в Оксфорде, я для него выглядел, скорее всего, как некий самозванец. В самом деле, ну какие занятия патристикой без знания классических языков, без хотя бы элементарного представления о текстологии, критических изданиях, об истории перевода на русский того же св. Симеона. Не говоря уже о полном отсутствии у меня церковного образования. Ничего из этого нет и в помине в моей статье. Вместо этого, какая-то необязательная, с претензией на умничанье, болтовня... Так очевидно выглядела в глазах о. Илариона моя единственная работа, которую он знал, и которая несомненно возмутила его. И вот, ее автор, получивший какими-то правдами-неправдами грант на пребывание в Оксфорде, перед ним – собственной персоной.

Надо отдать ему еще должное – он был достаточно сдержан и, не особо распространяясь, просто сказал, что статья ему не понравилась. Ну, а я не стал спорить. Но и разговора особенного

у нас не вышло. Просто он кратко рассказал, чем он тут занимается, и что читает Исаака Сирина с Себастианом Брокром по-сирийски.

Все это произошло еще в первом семестре, когда я и без того чувствовал себя в Оксфорде не в своей тарелке – имел множество поводов стыдиться своей необразованности. А еще постоянное волнение о доме... По сравнению с о. Иларионом, как будто уже стяжавшим бесстрашие – так он был сдержан и спокоен, так одновременно целеустремлен и успешен, я лишний раз почувствовал свое безобразие и никчемность. Ну, как же – приехал в Оксфорд абсолютно не готовый к серьезной учебе, оставил больную жену с тремя детьми... И сам ничего не достигнешь, и их в таком состоянии и положении оставил... Да еще этот первый тьютор-харизматик Вайнэнди, занятия с которым только выматывали меня. Вот какие мысли в то время меня одолевали, и встреча с о. Иларионом лишь подлила масла в огонь моих внутренних терзаний.

Потом все понемногу улеглось, смысл моего пребывания в Оксфорде, не без помощи владыки Каллиста, как-то постепенно обрелся. Ну да, я не могу заниматься патристикой по-настоящему, как ученый. Но я могу делать то, что могу и должен делать на своем месте – с тем объемом знаний и способностей, какие у меня есть.

Как бы то ни было, говорить нам с о. Иларионом было особо не о чем, и мы долго, живя недалеко друг от друга, не встречались. Ну, разве что я видел его в церкви, во время службы. Но я стоял среди мирян, а он был среди священников. Но все же мы, конечно, приветствовали друг друга при встрече, да и в целом после моего переезда в дом свв. Григория и Макария, что соответствовало по оксфордским стандартам некоему повышению статуса, он как-то стал, что ли, приветливее ко мне. А может, мне это показалось. В любом случае скажу, что наличие такого целеустремленного и собранного соседа было своего рода стимулом для меня. Сам же о. Иларион вызывал несомненное уважение. Несколько удивляла разве что некая незримая стена, возникавшая между ним и тобой, когда доводилось с ним мельком общаться. Но я относил это к его особому монашескому устройению.

Было и еще у меня несколько встреч с о. Иларионом, но уже ближе к моему отъезду. Под конец же он на прощанье даже позвал меня выпить вместе пива на лужайке около дома св. Макария, где он жил. Я к тому времени уже осмелел настолько, что дал ему почитать несколько своих стихотворений, и под пиво он даже выразил свое одобрение. Я же лишний раз засвидетельствовал почтение его учености. На этой позитивной ноте мы и расстались.

В следующий раз мы встретились с ним случайно в Москве недалеко от известного книжного магазина на Лубянке. Это было вскоре после Оксфорда (в тот же год осень?). Помню, что он был совершенно другим, я даже удивился, каким-то несчастным и потерянным. Как я понял с его слов, никому в России его ученость нужна не была, работы он толком найти не мог... Ну, а потом его взял под свое крыло м. Кирилл (Гундяев), а дальнейшее всем известно.

Лишь один раз мы случайно встретились с ним в СПбДА (это было где-то в начале нулевых). Я там был в библиотеке, а когда выходил из нее и шел по коридору, увидел, что в актовом зале закончилось какое-то совещание, которое он то ли проводил, то ли в нем участвовал. Я было по старой памяти подошел к нему. Он не сделал вид, что меня не знает, но отреагировал отстраненно и сухо – не столько отвечая мне, сколько обращаясь к окружавшим его, помянув, конечно Оксфорд. Меня же неприятно поразило даже не это, но само его окружение.

Тем не менее, завершая этот краткий рассказ о встречах с о. Иларионом, я хотел бы сказать, что то первое впечатление глубоко сидит в моей памяти. Наверное, я очень наивен, но втайне надеюсь, что, пройдя сейчас то, что ему выпало – хуже ведь было бы, если б все осталось как есть, – он вернется к чему-то в себе изначальному, тому, ради чего он и посвятил себя Христу. По крайней мере, я искренне желаю ему этого.

3d. **Анн Шукман**

Анн Шукман (Ann Shukman) – хорошая знакомая не моя, а Н. Печерской. Я с Анн встречался и был впечатлен ее энергией и харизмой всего несколько раз в Оксфорде, но она сыграла важную

роль в жизни и моей, и ВРФШ. Надеюсь, что рано или поздно Н.П. напишет свои мемуары, а я упомяну о том, что знаю (отчасти от той же Н.П.) и что касалось меня.

Анн Шукман – известный в Британии славист и семиотик. Многих серьезных в этой сфере ученых в России знала, со многими дружила, многим помогала. Всячески способствовала распространению лучшего из российской гуманитарной науки на Западе. Например, она перевела в 1986 г. известную статью В.М. Живова 1982 г. о Максиме Исповеднике (в ее переводе: “The Mystagogia of Maximus the Confessor and the Development of the Byzantine Theory of the Image”) (кстати, наряду с работами А.И. Сидорова и даже раньше их – один из важных текстов, некогда пробудивший во мне, и не только во мне, интерес к Максиму). Дружила она и с С.С. Аверинцевым. Так что, когда в 1992 вышел первый том Трудов ВРФШ, то она устроила так, что он попал в руки к нему. Я тогда был главным редактором ВРФШ и числился редактором-составителем Трудов; в этом качестве меня отравили в командировку в Москву – вручить Труды Аверинцеву лично в руки. Так я первый и последний раз повстречался с ним. На лекциях его, некогда очень модных, я, конечно, побывал (но там атмосфера была специфическая), лично же познакомился впервые. Ну, никакого особого общения у нас не было – он же еще Труды не читал. Но потом, как я узнал, он очень хорошо о них отзывался и писал Н.П., что это огромное начинание для России.

Анн, по словам Н.П., высоко оценила работы А. Чернякова и помогла ему выйти на филологов-коллег на Западе. В целом она поддерживала, как могла, Н.П. и ВРФШ, и ее преподавателей. Как она помогла мне переместиться из первой оксфордской общаги в приличное место, я уже упоминал. Позднее, когда я написал книгу о материи Марии (Скобцовой), и долгое время не было средств на ее издание, Анн Шукман, из своего кармана оплатила издание книги, которая ей сильно понравилась (это было уже в 2003 г.). Так что я не мог не упомянуть ее в своих мемуарах.

Но самое главное, ради чего я хотел о ней рассказать, не это. В идейной борьбе британских интеллектуалов-христиан Анн находилась в противоположном лагере по отношению к Ричарду Суинберну (что не мешало Н.П., да и мне общаться и с нею, и с ним). Если Суинберн не в последнюю очередь из-за появления в англиканской церкви женского священства перешел в православие, то Анн была в первых рядах борцов за женское священство и сама получила рукоположение из первых, в 1994 г. (т.е. когда мы с ней встречались в Оксфорде, она уже была в сане; помню, для меня в общении с ней это вызвало некоторую сложность – непонятно, как к ней обращаться). Долго она, впрочем, в этом статусе не задержалась – убедилась, что это не для нее. О дальнейшей ее жизни я доподлинно ничего не знаю, но Н.П. сообщила, что виделась с ней на конференции по Мандельштаму, которую Анн и Библиотека иностранной литературы в Москве (с Екатериной Гениевой во главе) проводили в Шотландии¹.

3е. Члены Оксфордского прихода

Особо близких отношений почти ни с кем из членов Оксфордского православного прихода у меня не сложилось. Из клира мне был симпатичнее всего владыка Василий (Осборн) (Basil Osborne). Первый раз я увидел, так сказать, епископа МП с человеческим лицом (как показало будущее, не выдержавшего это сочетание епископа и человека²). Более откровенные разговоры у нас с ним были позднее, когда я приезжал на конференцию в 1997 г., а он потом приезжал в Питер на курсы русского языка в СПбДА. Но это отдельная история. Факт тот, что он духовно

¹ От нее же, уже сейчас, я узнал, что Анн была племянницей знаменитого византолога и медиевиста сэра Стивена Рансимана, от которого ей по наследству достался замок XV века (национальное достояние). Из последних, известных Н.П. ее научных работ – перевод на английский «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», вышедший под редакцией владыки Каллиста (Уэра) (2019 г.). Вот такой человек английской христианской культуры. В 2024 г., т.е. совсем недавно, она выпустила книгу о своем деде, лорде Вальтере Рансимане и его безуспешной попытке по заданию Чемберлена в 1938 г. предотвратить аннексию Судет и вторжение Гитлера в Чехословакию (т.н. миссия Рансимана). Ничего себе семейка!

² См. подробнее о нем в Википедии.

поддержал и ободрил меня в трудный период моей жизни в Оксфорде. Впервые по-английски я исповедовался ему.

Из старшего поколения, первой эмиграции, точнее их детей, меня (впрочем, не только меня) душевно, а иногда и чем-нибудь вкусным утешала замечательная Ирина Павловна Живкович, дочь религиозного философа Павла Фидлера. Ее жизнь сложилась трагически (не буду вдаваться в детали), но она, вместо того чтоб заикнуться на своей беде, открывала свое сердце православным студентам, приехавшим в Оксфорд, которые часто нуждались в поддержке. С Ириной Павловной мы очень подружились. Во время конференции по Максиму 1997 г. я останавливался у нее, а она, когда решилась на путешествие в Россию, останавливалась у нас с Олей, я ее, между прочим, познакомил в нашем (тогда уже странствовавшем) приходе за трапезой с Екатериной Ильиничной Вошининой (урожденная княжна Путятина), и они быстро нашли общий язык и душевно пообщались. Когда в 1997 г. в Питере состоялась конференция христианских философов, я эпиграфом для своего доклада взял цитату из сочинения отца Ирины Павловны, Павла Фидлера, прочитанного, когда я гостил у нее в Оксфорде.

Был там, в приходе еще один милый человек, Н. – тоже потомок первых эмигрантов, но моложе, чем Ирина Павловна. Он был несколько нестандартным членом прихода, так как на тот момент оказался безработным и немного выпивал. Но при этом он сохранял удивительное для его положения достоинство, имел добрую душу и открытое сердце, и мы с ним – вполне по-русски – много говорили о судьбе России и подобного рода вещах. Так что нашелся у меня в Оксфорде и товарищ по интеллигентским разговорам, которыми, впрочем, ни я, ни он не злоупотребляли. В ответственный момент я взял его «на дело», о чем еще расскажу, и он не подкачал. На прощанье же он решил шикануть и сводил меня, как я ни отнекивался, в китайский ресторан!

Из греков меня (ближе к концу моей стажировки) взялся опекать спец по византийской музыке и организатор паломничеств и всяческих православных мероприятий, австралийский грек, переселившийся в Британию, Д.К. Как потом выяснилось, он был видным деятелем «Синдесмоса», Всемирного братства православной молодежи (чуть ли не его председателем), и, возможно, с самого начала имел на меня виды в плане привлечения к его деятельности по моем возвращении в Питер. Как бы то ни было, именно Д.К., узнав о моем горячем желании посетить монастырь о. Софрония в Эссексе, взял меня туда, когда сам с семьей навещал монастырь на Пасху, что позволило мне там некоторое время пожить (об этом расскажу отдельно). Наши взаимовыгодные (нет, ну, не только, но и просто добрые человеческие) отношения продлились потом еще некоторое время. Они несколько омрачились позднее ексклезиологическими расхождениями, но об этом тоже рассказывать еще рано. В любом случае, Д.К. и его милая семья – первая и последняя греческая, в которой я побывал в гостях в своей жизни, были добры ко мне в Оксфорде, и, приехав однажды в Питер (организовывать очередное паломничество), Д.К. остановился у нас с Олей в конце 90-х. Боюсь, наше убогое жилище – далеко не самое худшее из того, что бывает в Питере – несколько шокировало его (особенно выбежавший невесть откуда прусак; у нас внизу был детский сад с пищеблоком, и от тараканов не было спасения), но виду он не подал. Сам он в Оксфорде жил в прекрасном доме, которым искренне и немного по-детски гордился. А еще он подарил мне на прощанье в Оксфорде Септуагинту. Ну, в общем, Д.К. – симпатичный человек и самый высокопоставленный во «вселенском православии», с которым мне довелось соприкасаться. Он же был и единственной сохранившейся у меня на долгие годы связью (по электронной почте) с Оксфордом. Так что известия о выходявших у меня статьях и книгах я с благодарностью посылал своему тьютору, владыке Каллисту, через Д.К. Он с владыкой дружил и часто ездил вместе с ним в паломничества, привлекая других британских паломников на владыку как на лучшего «гида» – знатока православия и рассказчика.

В целом же оксфордский православный приход, при том что там служили замечательные епископы (Каллист (Уэр) и Василий (Осборн)), интеллигентные и просвещенные клирики, был отличный (особенно греческий) хор, не стал для меня за учебный год таким же родным, как приход на Каменном острове, который я по-прежнему считал лучшим местом на земле – хотите верьте,

хотите нет. В Питере у нас была общая травма в прошлом (советские годы) и общая надежда как-то во Христе излечиться от нее. Все, за редким исключением, были неопитами – со своим наивным горением... А в Оксфорде – всё было трезвее, но и разобщеннее, индивидуалистичнее, как это и в целом характерно на Западе даже для православных (тем паче, что многие здесь были недолго). Но опыт пребывания в интернациональной православной среде (не только среди своих), был, конечно, полезен и интересен.

Часть 4. О жизни созерцательной

Ранняя весна 1995 г. была временем перехода, так сказать, к «созерцательности» в моем пребывании в Оксфорде. Позади были осень и зима с их борьбой со страстями, повывлежими из меня по приезде. Но еще не произошли те бурные события, которыми был отмечен мой последний период жизни в Оксфорде (о чем речь впереди). Между тем и другим была ранняя весна. Вести из дома стали приходить более человеческие, и я почти спокойно мог предаваться чтению книг на ставшие для меня (с подачи владыки Каллиста) все более и более интересными темы. Не без оглядки на Россию и семью, конечно, о которых я никогда не забывал.

В один из таких моментов домой была послана «Открытка» – стихок не без толики горечи и самоиронии. Связаны они, я полагаю, были с некоторой искусственностью всей этой созерцательной передышки в моей жизни. Вот, я сижу в библиотеке, в зале рукописей, где и писать-то можно только карандашами, и то не чернильными, чтоб чего не попортить, сижу тут, читаю про совесть и обожение, имея к тому и к другому, если честно, слабое отношение. Но зато читаю умную книгу, диссертацию про все это, автор которой тоже пишет не о себе, не о своем опыте, а о жившем почти две тысячи лет назад Клименте Александрийском!

Чувствуется «ино-странность» в отношении всего, среди чего находится и о чем говорит лирический герой – совести, обожения, висящих на стенах портретов великих людей и епископов страны, в которой он оказался, расцветающей за окном весенней природы, этих цветочков, названий которых он толком не знает, ну и конечно, праздных и любопытных вездесущих японских туристов... Но начинается стихотворение с Дворжака – моего любимого, первого открывшего для меня музыку как таковую, композитора. Его Девятая симфония «Из Нового света», – единственная пластинка классической музыки, хранившаяся в моем детстве-юности у нас дома. Это ее я тогда в Оксфорде сразу узнал. Но и она, эта моя любимая музыка, где-то за окном – в театре (Sheldonian Theatre), в который я не попаду (даже мысли потратиться на такое в голову не приходило).

Одним словом, в этом маленьком и простеньком стихике много чего о лирическом герое можно узнать... Главное же то, что в таком чтении, пусть даже самых замечательных и интересных книг на самые глубокие и важные темы, реальности того, о чем в них идет речь, приобщения к ней, не слишком-то много. Уж больно опосредованно это «созерцание» чужих созерцаний чужих созерцаний. Нестойкое и безобидное, легко стирающееся ластиком, как любой – нечернильный – карандаш.

Для сравнения можно вспомнить другое стихотворение (двенадцатистрофник), тоже написанное в библиотеке, но уже в конце весны, 17 мая 1995 г., «Водосвятие»¹. Здесь уже о чтении патристики написано не так отстраненно (ино-странно), как в стихотворении начала весны «Открытка», а как об умном делании, задействующем даже тело, то есть вовлекающем и увлекающем всецело. Понятие «умное делание», конечно употреблено не в узком исихастском смысле, но расширительно, имея в виду известное положение Паламы о вовлеченности тела в умную молитву.

Не стану подробно разбирать это стихотворение. Важно, что в нем отвергается самодостаточность как природы, так и культуры. И то, и другое, освобожденное от претензий на абсолютность,

¹ Оно было опубликовано в «Волге», № 3, 2013 г. <https://magazines.gorky.media/volga/2013/3/net-takoj-tochki-8230-i-dr-stihi.html>

может и должно быть освящено и посвящено Богу (что символизирует опрыскивание святой водой).

«Нету ничего вне текста», –
Мыслить силится культура.
«Нету ничего вне леса», –
Отвечает лесий хмурый.

Чур меня! На обе сказки
Ваши брызнуть бы водою,
Той, что в Церкви христианской
Называется святою

Так созерцаемые, природа и культура отражаются друг в друге в слове, что отчасти и происходит в стихотворении. В это время (как раз, когда писался этот текст) я читал в Бодлианской библиотеке монографию Пола Блоуверса о «Вопросоответах к Фалассию» преп. Максима, и как-то по-своему усвоил эту книгу.

Как бы то ни было, судя по «Водосвятию», сравнивая его с «Открыткой», какой-то путь в «жизни созерцательной» за весну 1995 г. я, видимо, проделал. На этом пути, однако, произошло несколько важных (взаимосвязанных) событий, нарушивших относительно мирное течение моей учебы. Пришло время рассказать и о них.

Часть 5. Кестонский институт и новый челлендж

В ту же весну, но ближе к Пасхе, то есть где-то к концу Великого поста, произошел ряд событий, внесших совершенно новую струю в мою размеренную созерцательную жизнь в Оксфорде. Но все по порядку. Началось все с неожиданной подработки. Уже не помню кто, но кажется кто-то из прихода, видя мою весьма экономную жизнь (будешь тут экономить, когда дома столько ртов!), предложил мне подработку, которая на поверку оказалось синекурой, да еще и довольно интересной. Речь шла о разборе архива Кестонского института. Кто не знает – это такой отчасти исследовательский, отчасти правозащитный, а отчасти, не исключено, и разведывательный центр, занимавшийся изучением религии в СССР и вносящий посильный вклад в борьбу с коммунистической идеологией и советским режимом, поддерживавший диссидентов, особенно церковных и христианских, и занимавшийся мониторингом всяких (не существовавших, согласно официальным заявлениям) гонений на религию. Основан он был в 1969 г. каноником Майклом Бурдо и продолжал существовать под его же руководством и после развала СССР, изучая те же самые процессы и занимаясь примерно тем же на постсоветском пространстве, но прежде всего в РФ.

Я обо всем этом знал, но довольно смутно. К диссидентам относился с уважением, но сам им никогда не был (хотя одно время, в 1989 г., – я совсем забыл об этом рассказать! – у нас дома скрывался несколько дней от КГБ Ростислав Евдокимов, друг наших друзей). Из диссидентов-христиан я знал Владимира Пореша и Вячеслава Долинина и относился, конечно, к ним с уважением. Во Франции встречался с Зоей Световой... Так что определенное представление у меня о христианах диссидентах и правозащитниках было. Теперь же документы их деятельности мне предстояло в свободное время разбирать. Работа совсем не тяжелая и по-своему интересная, хотя в целом архив Кестона по этой части был довольно хаотичен. Следовало оставить наиболее ценное и как-то это упорядочить. Не помню уже, как долго я там так подрабатывал в свободное время, кажется, не так долго, пару недель или что-то в этом роде. Все было интересно и удобно – Кестонский институт находился в двух шагах от домов свв. Григория и Макарины, где я жил. К

тому же я познакомился с несколькими симпатичными людьми – сотрудниками этого института, имена которых уже не помню. Ну, и кое-что (не золотые горы) заработал.

Несколько раз я недолго общался и с самим Майклом Бурдо. В отличие от рядовых сотрудников, он производил впечатление старого и матерого волка. Очень скоро он спросил меня, что я собираюсь делать дальше, т.е. не планирую ли я продолжить учебу в Оксфорде. Я ответил, что я, конечно, был бы не против, но у меня большая семья, и мне нужна хорошая стипендия, чтобы я мог здесь жить вместе с семьей на время учебы. Так-то меня Суинберн, как он сказал, готов был взять в магистратуру, а после в случае успешной защиты и в докторантуру. Майкл отнесся к этому позитивно, сказал, что готов в этом помочь, и было понятно, что он из тех людей, которые могут это сделать. Он даже вписал меня предварительно в какую стипендиальную программу, а я начал было, согласовав это с владыкой Каллистом, набрасывать проект магистерской работы под названием «Учение о любви к врагам в православной христианской традиции» (тема появилась, конечно, под влиянием книги «Старец Силуан», но и преп. Максима, у которого она тоже занимает важное место).

Но еще через некоторое время у нас с Майклом Бурдо вышел разговор, где он затронул политические темы. В частности, он заявил, что по его прогнозам (а шла Первая Чеченская война¹) Россия скоро развалится на части ровно так же, как развалился СССР. Сказав это, он посмотрел на меня испытующе, как бы ожидая мою реакцию. Она – не помню уже, в чем именно это выразилось, была негативная. Т.е. я усомнился и в верности этого прогноза, и как-то выдал – выражением что ли лица, или какой-то фразой, что мне это совсем не нравится, т.е. такая перспектива. У него же его прогноз явно следовал (подумал я) из его *wishful thinking*². Мою реакцию он – опытный «волк» – тоже понял. И больше разговоры о стипендии на продолжение учебы в Оксфорде у нас не возникали.

Но на этом приключения, связанные с Кестоном, не прекратились. В один прекрасный день, не помню уже через кого, но кажется это был кто-то из сотрудников того же института, мне поступило приглашение из одной местной еврейской организации, которая скромно называлась Oxford University L'Chaim Society. На словах было передано, что они узнали, что я из России, что я еврейского происхождения, и что я православный христианин, и им бы хотелось, чтобы я выступил у них на тему «Антисемитизм в Русской Православной Церкви».

Я поинтересовался у сотрудников Кестона, что это за организация, куда меня приглашают? Они ответили, что она весьма уважаемая, вторая по численности студенческая организация в Оксфорде (более 5000 человек, не все из них евреи), что организовал ее талантливый раввин Shmuley Boteach (Шмулей Ботох?), которого с миссией в Оксфорд послал в 1989 г. сам Любавический ребе Менахем Мендель Шнеерсон (т.е. это те самые хасиды-хабадники, к которым я случайно – если в таких вещах бывают случайности – попал в гости перед самым своим крещением³). Организация же, которую создал Shmuley Boteach, это самое «Общество Лехаим», совсем не заурядная еврейская студенческая организация. Достаточно заглянуть на их страничку в Википедии, чтобы в этом убедиться. Там одних премьер-министров и президентов выступало человек шесть, не говоря о всяких других выдающихся политических деятелях, ученых и т.д. Из России там до меня выступал, кажется, только Михаил Горбачев (впрочем, уже не будучи президентом, в 1993 г.). Но главным было для меня не это, а то, почему и кто и с какой темой меня позвал. Это был вызов (челлендж – английское слово, уже вошедшее в русский), и я не мог на него не отозваться.

Наконец, среди несколько оторванных от жизни академических занятий появилось нечто реально (чуть не сказал, кровно) меня затрагивающее. А найдя в Бодлианской библиотеке сочине-

¹ Помню, как все внутри переворачивалось, когда я видел тогда по английскому ТВ репортажи с места событий о разрушениях и гибели людей; впечатление многократно усиливалось контрастом с окружающей меня мирной и рафинированно-цивилизованной жизнью.

² Когда выдают желаемое за действительное.

³ См. об этом в мемуарах: «Звезда», № 4. 2026 г.

ния того самого рабби Шмулея Ботоха (бывшего, кстати, одним из ведущих раввинов США), от имени которого, собственно, и пришло приглашение, я понял, что имею дело с интеллектуалом, и вызов от этого стал еще интересней.

Часть 6. Поход в «Лехаим» и поездка в Лидс

К походу в «Лехаим» я отнесся серьезно. Не только потому, что тема эта была по всей моей предыстории и каким-то ключевым в ней моментам экзистенциально важной, но и потому, что дело происходило в Оксфорде, и требовался по возможности достойный интеллектуальный и культурный уровень. Так что я, прежде чем что-либо писать, для начала погрузился в релевантную литературу. Кое-что важное я нашел в самом Кестонском институте. Первый же факт мне и самому показался примечательным. В статье Vladimir Borzenko «Anti-Semitism and Orthodoxy in Russian today (a sociologist's view)»¹, которая только готовилась к печати в журнале, издававшемся Кестонским институтом, Religion, State and Society, vol. 23 N 1, 1995, я прочел следующее: «Общий уровень антисемитизма в России ниже среднего по сравнению с развитыми европейскими странами». И далее: «Практически в каждой категории и практически по каждому вопросу среди православных подгрупп было меньше проявлений антисемитизма, чем среди атеистов. Не более 10 процентов всего населения России можно назвать антисемитами».

Если кто подумал, по этой цитате, что я в своем докладе антисемитизм в РПЦ пытался замазать или замолчать, то это не так, я старался осветить эту тему с разных сторон, и живописал и распространение антисемитских брошюр по храмам, и «Протоколов Сионских мудрецов», и прочей подобного рода литературы, и вместе с тем обратил внимание на то, что (парадоксальным образом) число людей еврейского происхождения, пришедших в последние годы (речь о начале 90-х) в РПЦ, весьма значительное. Одним словом, все факты были по возможности объективно в докладе представлены.

Но факты фактами, а главное было выработать к заданной мне теме правильное отношение. Тут ориентиром стали слова А.И. Солженицына из «Архипелага», которые я взял в качестве эпиграфа к своему выступлению: «Если бы все было так просто! Если бы злые люди где-то творили свои злодеяния, то потребовалось только отделить их от всех остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, проходит через сердце каждого человека. А кто же захочет разрушать частицу своего собственного сердца?».

Ну вот, начав так рассказ об этой истории, я понял, что пересказывать здесь свой доклад я, пожалуй, не стану. Дам только ссылку на пространную статью, написанную позднее по-русски на основе этого доклада². Здесь же я хотел бы упомянуть лишь несколько самых общих вещей. Во-первых, нужно сказать, как этот доклад писался. Каждый его кусок я отправлял в Принстон Аркадию Шуфрину (далее А.Ш.) через то, что тогда было аналогом нынешней электронной почты. Т.е. связь у нас была мгновенной. А.Ш. (из-за временного лага ему приходилось выходить на связь по ночам, к тому же из библиотеки, где только и был компьютер с такой связью) присланное критиковал, дополнял, что-то мы обсуждали, и получался конечный результат. То есть впервые за долгие годы мы опять тесно сотрудничали, что всегда для меня – большая радость. Тема и ситуация челленджа, зажегшая меня, увлекла и его (хотя за конечный текст, все же, отвечаю я один).

Кроме этого надо сказать, что готовясь к докладу, я впервые окунулся в то, что называется на Западе «Теологией после Аушвица» (или «Теологией после катастрофы»), и критически остановился на некоторых существенных ее богословских положениях, которые, исходя из святоотеческой традиции (на ней я старался стоять), никак не могут быть приняты (в частности, я довольно подробно разбираю релевантные документы Второго Ватикана и, с другой стороны, соответствующие работы Юргена Мольтманна, как образчик протестантской теологии). К тому же я на всю

¹ «Антисемитизм и православие в России сегодня (взгляд социолога)».

² <https://www.academia.edu/125005424/>

обсуждаемую проблематику предложил взглянуть в более широкой исторической перспективе, в которой учитывается не только Катастрофа и Аушвиц, но и трагедия русской истории XX в., то, что собирательно называется «ГУЛАГ», но на самом деле я начал с Русской революции. Именно в разговоре об этом мне была важна цитата из Солженицына, которую я вынес в эпиграф. Кто понял, тот понял. Наконец, я вступал в своем докладе в прямой спор с пригласившим меня рабби Шмулеем Ботохом, в частности, относительно того, что же является причиной антисемитизма. Пересказывать здесь все эти положения своего доклада я не буду.

Лучше расскажу о самом походе в «Лехаим». Предполагая, что будет «драчка», я заручился поддержкой двух свидетелей. Одним был мой товарищ из оксфордского православного прихода (я писал о нем выше), Н. – благородный и мужественный человек (с ним я тоже обсуждал доклад, и он помог мне с английским). Другим был симпатичный мне сотрудник Кестонского института, при котором, как я надеялся, до насилия все же не дойдет. В назначенное время мы явились в «Лехаим», вход в который был обустроен как настоящая крепость. Пройдя несколько бронированных дверей, мы попали внутрь. Сразу мой взгляд упал на фото Горбачева, который выступал тут до меня. Говорил, очевидно, нечто приятное лехаимцам, так как, судя по фото, ему устроили самый теплый прием.

А вот мне готовился, как я вскоре убедился, прием совсем иного рода. В своем вступительном слове рабби Шмулей уже перешел в наступление (собственно, этого я и ждал, и к этому готовился). Главный его тезис был прост: вот пришел человек, который предал веру отцов, стал членом церкви, всегда гнавшей и убивавшей евреев, пронизанной антисемитизмом. Мы, конечно, готовы послушать его, как он это попытается оправдать, но, до чего же доходят некоторые евреи! Возможно, я и несколько упрощаю его вступительное слово (за давностью лет я могу какие-то детали не помнить), но суть была примерно такова.

Как бы то ни было, Оксфорд есть Оксфорд, и слово мне дали, минут 7–10 я говорил беспрепятственно, а потом рабби Ш. начал меня останавливать, перебивать, нечто выкрикивать, выходить из себя... (Что именно его вывело из себя, я, честно говоря, уже не помню). Кто-то из других лехаимцев его поддерживал, но я, взывая к академическому этикету и к своим двум свидетелям, особенно к представителю Кестона, все же продолжал говорить. И если не до самого конца написанного доклада, то до самой главной его части дело довести смог. Атмосфера была предельно накаленной. И, если б не мои свидетели, вполне могло б дойти до рукоприкладства, не преувеличиваю. Но как бы то ни было, доклад в целом состоялся, а главное, был написан.

А.Ш. позднее послал его некоторым своим православным друзьям в США, и этот доклад в оригинале с чуть-чуть подправленным английским хотели опубликовать в одном православном издательстве, аффилированном с Бостонским монастырем. Его представители даже, когда приезжали в Питер по своим делам, нашли меня, и я немного с ними пообщался. В качестве условия публикации они поставили принадлежность к их юрисдикции (ну, или тем, кто в общении с ними). Не знаю, чем кончилось дело, т.е. напечатали они ее или нет, брошюру я живьем никогда в руках не держал, однако в Сети они ее разместили¹.

Как бы то ни было, слух о моем выступлении, как и о содержании моего доклада, быстро распространился, и меня сразу пригласили на какую-то представительную конференцию по русской мысли в Лидс. Ее устраивал Jonathan Sutton (Джонатан Саттон) (ныне маститый профессор, специалист по русской религиозной философии, где «еврейский вопрос» занимает важное место, почему Джонатан моим докладом, в частности, и заинтересовался, он тоже писал на эту тему). Заодно в Лидсе мне дали выступить перед студентами местного Университета (там я прочел две первые части своего выступления в «Лехаим» — никто не перебивал). На конференции же я познакомился не только с Джонатаном Саттоном, но и с несколькими интересными людьми

¹ <https://www.lulu.com/shop/gregory-benevitch/the-jewish-question-in-the-russian-orthodox-church/paperback/product-22014504.html>

ми, из которых самым выдающимся был Рован Вильямс (Rowan Williams), тогдашний епископ Монмутский, а в будущем Кентерберийский – первый среди равных епископов Британии, лорд и все такое. Но интересно в нем было для меня не это, а то, что он прекрасно знает русский (и еще 11 языков), начитан в русской литературе и (лучше меня) в русской религиозной философии, а кроме того, как говорят, сам я не читал, является хорошим религиозным поэтом. Одним словом, это был блестящий человек, с которым я счел для себя за честь немного пообщаться. Доклад его тоже, помнится, был интересен.

Но больше всего в Лидсе меня впечатлили квакеры. Вот бы с кем я хотел бы посидеть и помолчать. Особенно после всех этих бурных событий.

Часть 7. Завершение

Под занавес моего пребывания в Оксфорде и Британии в целом произошло еще несколько важных для меня событий. Во-первых, меня свозили в монастырь, основанный архим. Софронием (Сахаровым) в Эссексе, и я провел в нем дней 10 (это был первый православный монастырь, к жизни которого мне довелось хоть немного приобщиться). Там было несколько незабываемых встреч и бесед, и, в первую очередь, с ближайшим сотрудником о. Софрония, архим. Симеоном, с которым я впервые познакомился во Франции. О духе этого монастыря и жизни в нем я ничего не буду писать – многие там были и написали об этом, а кто не был, тому не расскажешь, не объяснишь. Скажу лишь одно, что на протяжении всей жизни мне с тех пор время от времени снится – в последнее время снится все реже и реже – сон, что я после какого-то долгого и сложного пути прихожу в некий монастырь, и это именно монастырь о. Софрония.

Помню, Ольга Берггольц рассказывает в своей мемуарной прозе о такого рода сквозном – повторяющемся всю жизнь – сне, как она подходит к храму в Угличе, рядом с которым она жила в детстве. У меня, как и у нее, этот сон обычно не особо-то со счастливым концом, но какую-то духовную тоску он, очевидно, отражает.

Там же, в монастыре в Эссексе, я впервые услышал имя матери Марии (Скобцовой), что ее, сделанная под конец жизни, грандиозная (более 5 метров) вышивка «Житие царя Давида» хранится в монастыре. Тогда это имя для меня еще ничего не говорило (фильм с Касаткиной не смотрел или не запал в душу – слишком советский), но вскоре (уже вернувшись в Питер) я узнал о ней подробнее: прочел книгу о. Сергия Гаккеля, вышедшую в России в 1993 г. А мой последний приезд в монастырь в 1998 г., когда я уже начал изучать жизнь и творчество м. Марии, был специально приурочен к фотографированию этой вышивки, о которой я со временем написал отдельное эссе (может, и не во всем удачное).

С братьями и сестрами там у меня тоже были замечательные разговоры и встречи, о чем не буду распространяться, тем более что заряд, полученный тогда в монастыре и подпитанный вторым визитом в 1998 г., я в конечном счете потерял. Да и мой церковный опыт в России разошелся с некоторыми важными для архим. Софрония духовными установками, что было и остается для меня одной из незаживающих ран.

Запомнились в Эссексе мне многочисленные кролики на полях – бич монастырского урожая. Но в целом, хозяйство было вполне налаженное. Братья и сестры, зачастую с докторскими степенями (а некоторые и не с одной), прекрасно управлялись с полевыми работами.

Кроме этой поездки в монастырь, я поучаствовал в Британии еще и в ежегодном съезде мирян и духовенства Суражской епархии. Не помню, как все это формально называлось и где происходило, но именно на этом мероприятии я впервые увидел митр. Антония (Блума). Что сказать... Все уже давно сказано, я и тут ничего не прибавлю. Кто бы мог тогда подумать, что это «православие с человеческим лицом» разгромит тот самый о. Иларион (Алфеев), с которым мы мирно тогда же, на этом съезде, прогуливались и беседовали, и он, помнится, еще поразил меня либеральностью своей экклесиологии (сильно либеральней, чем была даже тогда у меня)...

У о. Софрония (Сахарова) с м. Антонием (Блумом), кстати были, кто не знает, совсем не простые отношения... Но это все из области высшей математики, а я тогда не прошел и начальной школы церковной жизни, и мне до всего этого было как до Луны...

Как бы то ни было, время моего пребывания в Оксфорде подошло к концу. Осталось только попрощаться. Что я и сделал в одном стихотворении. Посвящается это стихотворение, двенадцатистрофник, моему другу, А.Ш., который все это время дистанционно, из Принстона, очень подерживал меня, как более опытный, уже давно живший на Западе и варившийся в академической среде. Ну, а остальное понятно из стихотворения, в котором как раз и отражены (в игровом и несколько остраненном виде) все три периода моей жизни в Оксфорде – и первый мучительный, и второй – созерцательный, и третий, о котором я писал в последних двух главках этих мемуаров. Стихотворение предварялось эпиграфом о заступничестве Богородицы перед Ее Сыном: «да избавит град сей и вся грады и страны христианские невредимы от всех навет вражних, и спасет души наши, яко милосерд» (тропарь, глас 4-й). А дальше, как бы упреждая возможность будущей тоски по Оксфорду, я прибегаю к довольно неожиданным для меня (далекого от спорта), но оправданным английской почвой спортивным ассоциациям.

Владимирская

А.Ш.

После буду ли я плакать
По тебе, мой бедный Оксфорд,
Бывший местом моей краткой
Встречи с родиною бокса

И других спортивных игр:
Лаун тенниса,.. футбола –
Встречи с родиною мира
Игрового,
островного?

...
Буду вспоминать, наверно,
Как я начинал работу,
Будучи прижат к барьеру,
Уходя от апперкота,

Как, не удержав дыханье,
Чуть не получил нокаут,
Проиграв соревнованье,
Если бы не спас тайм аут,

Гонг и правильное слово
Тренера и секунданта,
Что для ада игрового
Дан нам как Вергилий – Данту.

...
Буду вспоминать как в сете
Следующем их подачи
Стал я принимать, в просвете
Видя как летает мячик,

Как по игровой лужайке,
Что они стригут веками,

Ударяется он, дальше
Чтобы быть отбитым нами

С той же грацией, с которой
Подаются из-за сетки
Нам мячи, но очень скоро
Мне наскучили ракетки.

...

Вспомню я и то, как... Впрочем,
Этого я не забуду,
Как, не зная дня и ночи,
Матч вели мы самый трудный,

Где переиграть по счету,
Пропустив хоть гол в ворота,
То же самое, что черту
Подыграть в его заботах

Выиграть не дать всухую
Нам,
возможностью гола
Обольстив, чтоб атакуя,
Вышли мы из-под покрова

Той, что избавляет город
Всякий от наветов вражьих,
Тот же Оксфорд, о котором
Некому поплакать даже.

3 июня (21 мая) 1995 г. Праздник Владимирской иконы Б.М.

ПОСЛЕ ОКСФОРДА

Часть 1. Лядчино

Вернувшись из Британии, я первый месяц провел вместе с Олей и детьми у тещи и тестя в деревне Лядчино Окуловского района Новгородской области. Об этой деревне я еще ничего не писал, но хотя бы пару слов сказать нужно. В то время как мои родители осваивали садоводство на Мшинской¹, Олины – купили (совсем недорого) прекрасный старый сруб и большой участок в Лядчино. У них была своя машина, Жигули, и это делало их более мобильными, позволяло купить дом вдали от Питера и вообще железной дороги – на своей машине, даже со всем скарбом и детьми они доезжали туда часа за 3,5-4, что было не так уж тяжело. Деревня в это время – в середине 90-х – была еще в сносном состоянии. Поля не пустовали, что-то на них росло. Коровы тоже у местных селян были, да и сами крестьяне еще не окончательно спились и/или разъехались – не все дома были проданы городским. Потом, в течение лет 10-15, прямо на наших глазах (я-то туда не часто, да и не надолго ездил, а жена и дети, пока они росли – каждое лето подолгу там

¹ См. об этом в мемуарах в «Звезде», № 4, 2026 г.

проводили), деревня пришла в запустенье и перестала существовать как сельскохозяйственная единица¹. Теща и тесть в конце концов свой тамошний дом тоже кому-то из знакомых подарили (не было сил уже о нем заботиться, да и внуки все разъехались).

Сделав краткий исторический экскурс, скажу лишь, что это был такой специфический опыт – оказаться после Оксфорда с его цивилизацией: колледжами и библиотеками – в этой еще живой пока, но уже дышавшей на ладан русской деревне. Помню, самым сильным впечатлением было то, как на «Казанскую», т.е. 8 (21) июля, хотя это был рабочий день, в поле не оказалось ни человека – все местные (вряд ли особо верующие), соблюдая обычай, что работать в «Казанскую» – грех, пили по домам горькую, в честь праздника.

А коровы-то встречались и в Оксфорде (по уставу ряда колледжей профессора, а может, и студенты должны получать парное молоко, потому коровы там пасутся на заливных лугах прямо рядом с одним из старинных колледжей). Да, кстати о молоке. Не знаю, как сейчас, но, когда я 30 лет назад был в Оксфорде, там по утрам около почти каждого дома (из тех, что один дом на одну семью) с раннего утра молочник оставлял определенное число бутылок с молоком, и они так и стояли, пока хозяева их не забирали. Не похоже было, чтоб кто-то опасался, что бутылки эти украдут.

Но зато в Англии уже давно повыверили свой лес, и за грибами, да за ягодами, да и просто побродить по лесу – чему мы предавались в Лядчино – в Британии уже не сходить. Теперь, впрочем, и в Лядчино всего этого, говорят, нету... Но и университеты с библиотеками от этой вырубки не появились...

Часть 2. «Казанская» и учеба у леса

Я тогда, на «Казанскую», в Лядчино тоже по-своему отметил этот праздник – написал стихотворение, очередной 12-строфник (эта форма прочно вошла в мою новую поэтику). В нем отчасти отражается состояние духа, в котором я пребывал (ну, или старался пребывать), оказавшись после Оксфорда в России, а подсудно и то, как я воспринял ее после этого возвращения. Читал я тогда, в деревне, одну хорошую книжку, которая упоминается в первой строфе стихотворения:

В письмах игумена Никона –
Последнего времени праведника –
Смерть сравнивается с выходом
Из тюрьмы или лагеря.

Не буду здесь приводить весь этот двенадцати-строфник, он вошел в недавно вышедший сборник «Дважды двенадцать»². Приведу лишь еще две строфы:

¹ Все леса Окуловского района постепенно прибрал к рукам (взял в аренду на 50 лет, сняв статус заповедника) «заведующий» окуловскими сельскими лесами (как он себя сам величал в подвластных ему местных СМИ), директор ООО «Рассвет». Заполучив право на вырубку леса, он стал нанимать местных и пришлых мужиков на эту самую вырубку леса, которая производилась самым варварским способом – не жалели ни подлеска, ни почвы. Это стало прекрасным способом для него быстро обогатиться, а для мужиков быстро и достаточно прилично зарабатывать. Такие легко достававшиеся деньги тут же пропивались, мужики спивались, сельский труд был заброшен, обычными для мужиков на земле делами – возделывать землю, растить скот и т.д. уже никто заниматься не хотел, и очень скоро все это было заброшено, а поля заросли бурьяном. Впрочем, на лето в Лядчино купившие там дома люди из Питера, а может, и еще откуда, приезжают... Но обширные участки бесхозной необработанной и заросшей бурьяном и негодным мелколесьем земли стоят без смысла и дела, ожидая то ли большой беды, чтоб стать снова востребованными, когда, не дай Бог, людям придется бежать из городов, или, опять же, не дай Бог, нашествия иноплеменных, чтоб отдаться новому хозяину.

² Г. Беневиц. Дважды двенадцать. Стихи с контекстами. М., СПб.: Руграм/Пальмира, 2025.

Да, коли жизнь не оскорбительна
 Для нас, и не стерпим в ней скорби мы,
 Иль смерть нам не будет спасительна,
 Иль так и умрем ей покорными.

Существенны составляющие
 Здесь обе – не только терпение,
 Но так же и то, что пока еще
 Мы здесь, эта жизнь – оскорбление.

Трудно мне было, одним словом, по приезде в Россию. Говоря попросту, я снова испытал цивилизационный шок, но на этот раз уже от своего земного отечества, увиденного после опыта другой, более, так сказать, культурной и разумно устроенной цивилизации, да еще в ее квинтэссенции, Оксфорде. Даже 9 месяцев, да и то с коротким перерывом на Рождественские каникулы, когда я летал в Россию, хватило, чтобы глаз и душа привыкли к иной «картинке» на улице, к другим лицам, к другому, наконец, образу жизни. Теперь нужно было учиться заново жить в России.

Была и другая проблема. Почти девять месяцев я жил без семьи, без жены и детей. Теперь нужно было по-новому привыкать и к этому – мирянскому и брачному образу жизни, особенно контрастировавшему с монашеским, к которому я отчасти приобщился под занавес своего пребывания в Британии, прожив в монастыре в Эссексе; да и моя жизнь в Оксфорде была – хотя бы во внешнем смысле – ближе к монашеской, чем к мирянской. Теперь, после такого опыта, требовалось не просто вернуться к старому, но и найти ему какое-то новое оправдание. Что я и сделал в одном из стихотворений, написанных там же, в Лядчино, благо окружавшая природа – тогда еще не вырубленный лес – дал подсказку. В этом тексте монашеский образ жизни сравнивается с вечнозелеными деревьями – соснами и елями, а мирянский – с деревьями, меняющими одежду по сезону, согласно годичному кругу. Как будто бы разница огромная, но суть сосен и елей не в постоянстве наряда, а точно такая же, как и у прочих деревьев – в росте и «общей победе над смертью и тлением». Стихотворение получилось несколько дидактичное, но хотя бы какую-то установку задать себе было нужно. Тем более что вскоре, по возвращении в Питер, этот цивилизационный шок (контраст в Британией и особенно с Оксфордом) только усилился. В деревне-то он сглаживался пребыванием на природе, еще более или менее не погубленной, да в гостях у тещи и тестя. В городе же приходилось возвращаться к самостоятельной взрослой жизни.

Но и просто ходить по улицам, ездить в транспорте, видеть другие человеческие лица (а в Оксфорде ведь даже и для Британии лица исключительные), видеть это все вокруг, когда глаз привык к совсем другой картинке, если честно, было очень тяжело, даже не тяжело, а, пользуясь словом из стихотворения «Казанская», «оскорбительно». И тут, чтобы вынести это «оскорбление», не впасть в депрессию и не положить все силы на то, чтоб поскорее бежать из России куда глаза глядят, приходилось прибегать к тому единственному, к чему я немного навыв в монастыре в Эссексе – молитве. Чуть не год после Оксфорда я не мог без молитвы (не уверен, что это правильное ее употребление) ходить по улицам своего родного и любимого города, бывшего в середине 90-х в состоянии какого-то жуткого запустения и поруганности. Даже не только по сравнению с Оксфордом, но и по сравнению с ним же самим, каким он был еще не так давно, лет 5–7 назад. Или просто я на него смотрел другими глазами?..

Часть 3. Золотой век и апокалипсис

И хотел бы обойти эту историю – про свою большую статью под названием «Золотой век и апокалипсис (опыт христианской историософии)», да исследовательская совесть – где предмет исследования: история моих исканий и заблуждений – не позволяет все это «замять для ясности». Статья была опубликована в 1996 г. в Третьем томе Трудов ВРФШ (С. 55–94), составляла его Н.П. Я к тому времени уже перестал быть главным редактором ВРФШ, и, в частности, Трудов и перешел на ставку преподавателя. Так вот, хотя статья была опубликована только в 1996 г. и в

очень странном для своего названия контексте – весь сборник Трудов назывался «Православное богословие и благотворительность (диакония)», но написана она (кроме краткого предисловия, обосновывающего ее наличие в этом сборнике) была раньше. Как значится в ее конце: в 1993 – августе 1995 г. Очевидно, такой точностью в указании дат написания я хотел нечто подчеркнуть, и теперь, не без труда, догадываюсь, что именно.

Но все по порядку. В 1993 г. мне в руки случайно попала книга американских футурологов Дж. Нэбита и П. Эбурдин «Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции: год 2000» (М.: Республика, 1992). Написана она была в 1990, еще до распада СССР, но уже в разгар новой эпохи гласности и разоружения. Вопрос в книге ставился примерно так: перед человечеством стоит выбор – либо золотой век, который несет ему западное потребительское общество со своими ценностями, спонсором производства и идейными установками, либо ядерный апокалипсис. И, судя по тенденциям последнего времени (происходящему в СССР), человечество склонилось к первому варианту – выбрало золотой век. «Богатство – великий миротворец». «Мы обладаем средствами и возможностями построить сейчас у себя утопическое общество». Вот такими идеями и тезисами было наполнено это сочинение, не только предсказание о будущем, но и – идеологическая программа для всего человечества.

Так моему сознанию, только что повидавшему закат коммунистической утопии в СССР, открылась перспектива новой, предлагаемой нам утопии, в которой и моя страна, как это было видно из текста той же книги, должна принять участие – войти вместе со всеми, и прежде всего со странами Запада, в новый, «золотой век» человечества. Альтернатива же этому одна – ядерный апокалипсис.

Вот, в качестве реакции на эту, новую утопию, и была написана моя статья «Золотой век и апокалипсис», из самого названия которой видно, что я каким-то хитрым способом альтернативу, обозначенную американскими футурологами, пытаюсь преодолеть. Статья писалась долго, начата была еще до поездки в Оксфорд, потом я продолжал работу над ней там, а закончил уже, вернувшись в Питер, в августе 1995 г. При этом замахнулся я, ни больше ни меньше, как на осмысление мировой истории, исторического пути и «смыслов-логосов» истории ключевых стран и народов Древнего, Нового и Новейшего мира, включая, конечно, США и Россию.

Пересказывать сейчас эту свою работу здесь я не буду. Потому что мне, с одной стороны неловко за мой дилетантизм, а с другой – жалко огульно отказываться от всего, что в этой статье написано и усмотрено. Да и по существу, что-то важное, несмотря на фактические ошибки и промахи, в статье ухвачено – в том, что касается смыслов европейской истории (если вообще можно говорить о них), и в том, что относится к США и России.

Тем не менее, по своим окончательным выводам и прогнозам (хотя они и не слишком конкретны, и, скорее, не прогнозы, а надежды; ох уж это *wishful thinking*) статью вполне можно считать провальной. Теперь, 30 лет спустя, об этом можно сказать со всюю определенностью, поскольку она не прошла проверку временем. Взять хотя бы тот факт, что я – глядя на состояние России того времени, когда статья писалась, надеялся, что моя страна уже не бросит снова вызова США и всему Западу, так что и мир снова окажется на грани ядерной катастрофы.

Нет, разумеется, я не сомневался, что православный народ в России в массе своей идеологию «золотого века», с которой пришел к нам Запад, не примет. Но мне казалось, что и Россия, и РПЦ МП (горячим адептом которой я тогда был) не примет (как бы это ни было трудно) и антизападную идеологию, не станет больше противостоять Западу в военно-политическом отношении. Но при этом Церковь, точнее сами православные христиане, не принимая идеологию «мира сего» (в которой богатство – главный миротворец), не откажутся от самого идеала всеобщего мира (в Духе Святом), идеала, как я пытаюсь показать, ссылаясь, в частности, на преп. Силуана, глубоко православного. Но то, что звучит органично у «чистого как голубь» Силуана, у меня было искусственно и вымученно.

Наконец, придется сказать и о том, как моя личная так сказать церковная практика посмеялась над моими же декларациями и теоретическими выводами. В статье «Золотой век и апокалипсис» я противопоставил неверный, как мне казалось тогда, взгляд на Революцию и Советскую

власть Зарубежной Церкви, верному взгляду – РПЦ МП. И что же? Не прошло и полугода, как в результате того, что наш приход на Каменном острове был разогнан новым митрополитом Петербургским Владимиром (Котляровым) (об этом – в других частях мемуаров), нам пришлось искать прибежище ни где-нибудь, а в Зарубежной Церкви, куда перешел наш настоятель. А вслед за ним и большая часть общины, в том числе и я...

Сколько еще раз со мной будет происходить такое: только продекларируешь какие-то принципы и теоретические тезисы, да еще публично, как жизнь – всегда очень болезненно – опровергнет их.

Часть 4. Опять ВРФШ

С возвращением из Оксфорда Н.П., которая во многом и способствовала моему туда попаданию, не без оснований ждала от меня соответствующей отдачи. Для начала мне предложили сделать какой-нибудь умный доклад – чтобы на нем показать, с каким багажом и уровнем я вернулся (заодно это как-то должно было послужить рекламе Школы). Первые годы, когда в Школу буквально ломились, подошли к концу. Наступили более тяжелые времена, за студентов уже приходилось бороться, конкурируя с другими частными, да и государственными учебными заведениями, где тоже начало появляться что-то религиозно-философское. Так что Н.П. уже была озабочена и этим. Отказываться от предложения выступить с докладом было неудобно. Но вот, с чем, собственно, выступать? Не зачитывать же на этом образцово-показательном докладе одно из своих патристических эссе, которые я писал владыке Каллисту. Прочитанный в Оксфорде и Лидсе доклад об евреях и Православной Церкви (мое главное на тот момент достижение) для этого тоже не годился.

Тут, кажется, в переписке с А.Ш., всплыло имя Филона Александрийского. И хотя исследование по Филону (без «вторичной литературы» я теперь ничем всерьез заниматься не мог) в Публичке и БАНе было крайне мало (что-то все же было), но зато в библиотеке классической гимназии (кажется, я туда попал впервые) оказалось прекрасное многотомное издание Филона серии Loeb Classical Library с параллельным английским и греческим текстом, в которое я с увлечением и погрузился. Так, уже почитав экзегезу Максима Исповедника и исследования о ней в Оксфорде, я впервые соприкоснулся с истоком александрийской богословской и экзегетической школы, и был по-настоящему потрясен. Конечно, за тот месяц, что мне дали на подготовку к докладу, я не мог ничего по-настоящему адекватное предмету изучить и понять, но свое восхищение Филоном – тем, что можно так, по-философски, читать Писание, я, полагаю, мне в этом выступлении передать удалось. Если не философам, для которых мой доклад был, вероятно, слишком простоват и логически не выверен, то студентам и пришедшим со стороны слушателям, а главное – Н.П. В конце концов, ради сопряжения веры и разума и была создана Школа.

Тем не менее, после этого доклада мне самому стало ясно, что всерьез на научном уровне (о котором я теперь имел кое-какое представление) я с моими знаниями и навыками при отсутствии свободного доступа к вторичной литературе (в наших библиотеках было, в лучшем случае старье), как это делал, например, А.Ш. в Принстоне (он уже писал свой блестящий диссер по Клименту Александрийскому), я заниматься ни патристикой, ни тем же Филоном, в Питере не смогу. Время для всего этого для меня не пришло, и за единственным исключением, когда я написал доклад для Оксфордской конференции по преп. Максиму, проходившей в марте 1997 г., я всерьез к патристике не обращался, что не помешало мне начать ее преподавать.

Такова была тогда, так сказать, производственная необходимость. Кто-то должен был этим в ВРФШ заниматься, и, имея в руках с десятком эссе по тому интенсивному курсу патристики, который я прошел с владыкой Каллистом, я начал – не шибко углубляя эти же самые эссе (для этого не было достаточно материалов), все это бедным студентам преподавать. Не Бог весть какой уровень (я помнил лекции В. Лурье., и понимал, что я сильно уступаю ему, читавшему отцов в подлиннике, да и вторично на всех языках), но чем богаты, тем наши студенты были вынуждены и довольствоваться. Единственно, что я пытался, по крайней мере, давать все это не начетнически, а как-то проблемно, как меня и научили в Оксфорде, но долго еще мне приходилось компенсировать

ровать (борясь с неуверенностью) отсутствие реальных знаний всяческой православной риторикой. Впрочем, еще через три года, в 1999 г. (я уже немного наострился), когда В. Лурье, преподававший патристику в Институте Богословия и Философии (ИБИФе), ушел оттуда, я заступил на его место и там. Помимо патристики я в ВРФШ начал читать где-то в 1996-1997 гг. и историю Церкви I-XV вв. (так что и этот предмет, неотделимый от истории Римской империи и Византии, пришлось тоже осваивать).

Как бы то ни было, с начала 1996 г. я был переведен в ВРФШ с должности главного редактора на должность преподавателя. Но на этом «капитализация» моего пребывания в Оксфорде не закончилась. Самому мне бы, конечно, ничего такого в голову не пришло, но Н.П., после моего рассказа о выступлении в обществе «Лехаим» в Оксфорде и потом в университете в Лидсе с докладом на тему богословия после Освенцима и ГУЛАГа, не без влияния и связей Исидора Геймовича Левина¹, решила, очевидно, «капитализировать» и эту тематику, найдя спонсоров на две большие международные конференции (с изданием их материалов) (сначала, в январе 1997 г., а потом – в январе 1998 г.), в которых я принимал участие (на первой частично повторив свой доклад, сделанный в Оксфорде). Но это отдельные истории, которые требуют особого рассказа, когда мемуары дойдут до этого времени.

Суммируя все сказанное, а именно, что наука мне была не по зубам, а в преподавании и прочих своих выступлениях с «православных позиций» я компенсировал недостающие знания риторикой, надо мной нависла реальная опасность (во многом в эти годы и реализовавшаяся) статья тем, что можно было бы назвать «профессиональным православным» (по аналогии с недавно услышанным мною понятием «профессиональный еврей»). А учитывая, что моя жизнь (по моим понятиям) была далека от тех идеалов, которые я вольно или невольно проповедовал, когда проносил соответствующие речи (с учетом некоторых семейных событий, о которых я здесь умолчу, где я оказался, мягко говоря, не на высоте), все это создавало во мне перманентный духовный кризис. Но никто и не обещал, что будет легко, и приходилось как-то со всем этим жить, что без храма и нашего прихода было бы, наверное, невозможно.

Да, вот, еще стишки иногда помогали.

Из неправоты

...из неправоты
своей сугубой
нам произвести
лишь удастся
тот эффект особый,
который называется стихом;

...из неправоты:
перед людьми, пред Богом...
из дарованного нам
права быть неправыми пред ними –
людьми и Богом, –
права быть собой.

06.12.95

Получалось нечто противоположное мандельштамовскому определению поэзии как «сознания своей правоты». А может, и не противоположное, смотря как трактовать...²

¹ См. о нем в Википедии.

² Через много лет тема неправоты отозвалась у меня неожиданным образом в еще одном маленьком стихотворении: «живя с одряхлевшей десницей, / с сознанием неправоты, / поймешь, что и перекреститься / мог Божией милостью ты» (2026).

Александр МАРКОВ

....РАДИКАЛЬНАЯ ФИЛОЛОГИЯ
СЕРГЕЯ ЗАВЬЯЛОВА И ГОРАЦИЙ¹

**Квинт Гораций Флакк. Оды и эподы /
Перевод и комментарии Сергея Завьялова.
– Jaromír Hladík press, 2026. – 200 с.**

Сергей Завьялов – фигура, реализующая редкий в современной культуре тип синтеза: поэт-филолог как политический мыслитель, переводчик-исследователь как диссидент-канона, антиковед как диагност современности. Его двадцатипятилетний диалог с Квинтом Горацием Флакком – не просто еще один эпизод в богатой истории русских горациан, от Ломоносова до минус-перевода Дашевского. Это сознательный, методичный и радикальный проект деконструкции самого института «классики». Завьяловский Гораций – Гораций, помещенный в *камеру-люциду* неомарксистской критики, осветленный вспышками постколониальной теории и проявленный в растворе травматического опыта позднесоветского и постсоветского субъекта. Это поэт, чьи отточенные строфы предстают не какими-то очередными эманациями «золотой середины» и гармонии, а сейсмическими записями имперского насилия – текстами, пронизанными трещинами идеологического компромисса. В этом палимпсесте славословиями читается отчет о бегстве отчаяния.

Завьяловский подход кристаллизовался в интервале между ленинградским самиздатом 1980-х и эмигрантским существованием 2000-х. Его отправная точка – цикл «Paraphrases Horatii. Carmina praeusta frigore» (1998).

¹ В основу рецензии положено выступление на презентации книги в Литинституте (Москва, 18 декабря 2025 г.)

Название-программа: «Стихи, опалённые холодом» (или: «отмороженные»). Холод – ключевая категория, полисемантическая и разрушительная. Это не элегический «хлад» элегий, не классицистическая сдержанность, а физиологический, исторический и экзистенциальный холод. Холод филолога, работающего с окаменелыми текстами, и холод жителя северной империи (Петербург, Хельсинки, Винтертур), знающего о вымораживающих смыслах исторических катастроф.

В «Парафразах» Завьялов применяет тактику партизанского цитирования и интерполяции. Латинские строки («*Quis desiderio sit pudor aut modus / tam cari capitis?..*») врываются в русский текст как снаряды, взрывая его ткань. Перевод прерывается, обрывается авторскими ремарками из другой временной и смысловой вселенной: «Начало шестидесятих годов: / победы / москвичи-стиляги / 21-е волги». Этот жест – не просто модернизация, а столкновение хронотопов: августовский Рим встречается с оттепельной Москвой, оба – как периоды неустойчивой стабилизации после насилия, как эпохи сделки интеллектуалов с режимом. Кульминация этого метода – уничтожающая ирония в парафразе оды I, 22. Знаменитый гимн непорочности («*Integer vitae scelerisque purus*») разрешается в горькое: «Дальше можно не продолжать». Завьялов выявляет абсурдность этого идеального образа в мире, «где все отморожено». Его работа с Горацием изначально строится не на пьетете, а на подозрении, допросе, судебном процессе. Римский поэт – одновременно свидетель, обвинитель и подсудимый в деле о соучастии искусства в преступлениях власти.

В зрелых переводах, частично опубликованных в 2020-х годах в «Poetica» и «Новом мире», а теперь представших в единой книге, Завьялов отказывается от игры с парафразой в пользу тотального, но глубоко рефлексивного перевода. Он выбирает свободный стих, организованный не метрически, а визуально и

синтаксически – жесткой графической сегментацией, переносами, разрывами строк. Это не λογαζαδου Γασπαροβα, служащие эхом античной просодии, и не романсовая мелодика Φετα. Это – стих-документ, стих-протокол, где каждая единица текста несет семантическую и идеологическую нагрузку.

Возьмем для анализа ключевой фрагмент из «Римских од» (III, 1) в переводе Завьялова:

Цари вселяют страх / в толпы людей;
сами же цари во власти / победителя Гигантов:

Юпитер / повелевает вселенной
мановеньем брови.

Здесь под видом изощренной строфики демонтируется вся риторическая плавность оды. Вместо нее – рубленные, афористичные констатации, выстроенные по принципу иерархической лестницы насилия: толпы боятся царей, цари – Юпитера. Глаголы («вселяют страх», «во власти», «повелевает») лишены какого-либо оттенка сакральности: это голая механика господства. Особенно показателен финал: «мановеньем брови». Уже не божественное провидение, но жест абсолютного, почти брезгливого авторитаризма. В классических переводах царит метафизическая вертикаль восхождения статуйным порядком. У Завьялова – политическая технология.

Десакрализация пронизывает весь цикл. В оде III, 5, о позоре пленных легионеров, Завьялов акцентирует не столько моральный урок, сколько этническую и классовую подоплеку римской армии:

Апулийцы и марсы / отрезались в парфянском плену
от священных щитов, / от своего гражданства, своих имен...
...хоть все так же неколебимо
выселись Рим / и изваянье Юпитера.

Комментарий Завьялова здесь красноречив: «Гораций был по происхождению апулийцем. Марсы... активно участвовали в

Союзнической войне (91 – 88 гг. до н. э.) за равноправие италийцев». Таким образом, солдаты, предавшие «священные щиты», – это не абстрактные «римляне», а представители покоренных народов Апеннин, насильственно мобилизованные в имперскую машину. Их позор – позор колонизированных, вынужденных умирать за чуждую им метрополию. Завьялов последовательно раскалывает монолит «римскости», показывая его как конструктор.

Это подводит нас к центральному тезису завьяловской интерпретации: Гораций как постколониальный писатель до постколониализма. Завьялов настойчиво напоминает нам, что Гораций – не римлянин по крови. Он – апулиец из Ветузии, города, который был латинской колонией на землях самнитов и «единственной латинской колонией, вставшей на сторону италийцев во время Союзнической войны». В комментарии к оде IV, 9 он пишет: «Патриотизм Горация был именно апулийским... Высказывается предположение... что его отец (или дед)... был участником восстания... и после поражения был продан в рабство». Такое биографическое обстоятельство перестает быть курьезом и становится ключом к поэтике. Гораций у Завьялова – поэт-ассимилянт, чей успех куплен ценой отказа от родного языка (оскского? или, что вероятнее, мессапского/япигского?), от исторической памяти своего народа. Его знаменитая «умеренность» и лояльность режиму Августа предстают не философским выбором, а стратегией выживания вчерашнего раба или сына раба, получившего в дар от режима сабинскую виллу. Стихи о сельском уединении (как ода II, 18) читаются тогда как документ о предоставленном заповеднике, где отпущенный на свободу коллаборационист отыгрывает роль «простого землевладельца», а вовсе не как зеркало будущих идиллий.

Завьялов доводит эту логику до предела в переводах дифирамбических од Августу. В оде IV, 15 перечисление покоренных народов – вовсе не школьный риторический топос:

...и геты, / и серы, / и персы – нарушители
клять,
и обитатели / берегов Танаиса.

В его комментарии каждое имя раскрывается как отчет о военной кампании, границах, ресурсах. «Серы» – это китайцы империи Хань, с которыми Рим вел дипломатию; «обитатели берегов Танаиса (современный Дон) – сарматы и, возможно, гелоны (по одной из гипотез предки современной мордвы)». Поэзия становится интерфейсом имперской геополитики. Завьялов показывает, как эстетическое славословие («под свист флейт, настроенных на лидийский лад») служит оберткой для проекта тотального доминирования.

Второй фундаментальный пласт завьяловского прочтения – последовательный исторический материализм в анализе текста. Он настаивает на том, что нельзя понять горацанскую оду, не зная, что такое рабский труд на вилле, кто обеспечивал издание книг, как работала клиентская система. Его комментарии – мини-исследования социально-экономического контекста. Описывая «Римские оды», он прямо называет их «дьявольским контрактом, заключенным с режимом в обмен на социальный статус и бытовое благополучие». В оде III, 24 о презрении к золоту Завьялов видит циничную составляющую пропаганды: «в 17 г. Август направляется в северо-западную Испанию с целью установить контроль над золотыми рудниками». Поэтический призыв «пусть будет он стоек / в презрении к золоту» звучит, таким образом, как идеологическое прикрытие для очередной колониальной экспедиции, а не стоическая мудрость, о которой обычно говорят комментаторы.

Материалистическая оптика позволяет Завьялову провести дерзкие параллели. Во вступлении к «Римским одам» он пишет: «В русской поэзии можно найти им лишь одну параллель – так называемую “Оду Сталину” Мандельштама... На что только ни шли творцы образа поэта-героя...: и меняли “будить разум и жизнь” на “губить разум и жизнь”, и

упрягивали эти шедевры в самый дальний угол». Сравнение горацанских панегириков Августу с мандельштамовским панегириком Сталину – рискованный, но методологически безупречный ход. Он выявляет универсальную механику отношений поэта и властителя: вынужденное славословие как плату за жизнь, двусмысленность текста, становящегося одновременно и знаком покорности, и (возможно) тайным шифром сопротивления, и вечным клеймом на репутации автора. Подобран ли шифр к свободе духа? Будем размышлять вместе с чтением этой книги.

Содержательным открытиям Завьялова соответствует новаторская поэтика формы. Его переводческий стиль можно определить как поэтику катастрофы. Она реализуется через несколько взаимосвязанных приемов. Это прежде всего графический гипербат. Насильственный разрыв синтаксической единицы, перенос смысла через визуальный разрыв дополнительными пробелами (их мы обозначаем при цитировании косой чертой) строки в обновленной строфике.

Только вера / делает тебя повелителем,
только в ней – / начало и завершенье,
а отступничество / приводит к краху
истерзанную Гесперию.

Паузы, создаваемые разрывами, – это не дыхательные цезуры, как в классицизирующих воспроизведениях античной строфики, но семантические провалы, пропасти, в которые рушится логика имперского мифа. Как и в том давнем уже опыте «Парафраз» внедрение в текст слов, выбивающихся из «античного» регистра («таверны ночной огни», «хмель пропадает», «авто») – не оживляющая модернизация, а способ стереть временную дистанцию, показать, что механизмы власти, страха, наслаждения – идентичны. Но главное, горацанское «я» у Завьялова теряет целостность. В «Парафразах» оно расщеплено на голос переводчика, голос комментатора, голос современника. В переводах оно часто растворяется в безличных конструкциях, в констатациях

(«Доблестный юноша / пусть без ропота переносит...»). Это субъект, лишенный иллюзий. Субъект после опыта, который сделал невозможной классическую лирическую самость.

Разрушая стилистическую монолитность, Завьялов обнажает монолитность власти, которая в разные эпохи использует сходные риторические стратегии для легитимации себя. Императивный лад оды («Доблестный юноша / пусть без ропота переносит...») встречается с документальной констатацией («видел оружие, / брошенное выжившими»), а та, в свою очередь, – с почти прокурорской иронией комментария. Высокое не низводится, а демистифицируется, низкое не возвышается, а обретает статус исторического свидетельства. В результате рождается уникальный гибридный язык – язык критической филологии как поэзии и поэзии как критического жеста. Это язык, на котором можно одновременно цитировать Горация и говорить о золотых рудниках Испании, воспроизводить гимн Юпитеру и упоминать рычащую современность, потому что все эти элементы – звенья одной цепи, связывающей поэта, государство, экономику и насилие в единый узнаваемый и трагический узел.

В этих переводах происходит постоянное столкновение высокого и низкого, сакрального и профанного, имперского и бытового. В оде I, 13 (в «Парафразах») физиология страсти у Горация («*fervens difficili bile tumet jecur*») сталкивается с «буржуазной арией» из «Кармен»: «*Carmen, il est temps encore...*». Высокая античная эмоция мгновенно переводится в регистр оперного клише, обнажая условность и того, и другого. Чтобы оценить радикализм Завьялова, необходимо поместить его в контекст русской рецепции Горация. Начиная с Ломоносова, Гораций в России был поэтом государственного строительства и лирического самосознания. Его переводили как моралиста, певца частной жизни, мастера формы. Даже в XX веке, у глубоких и трагических переводчиков, Гораций оставался, прежде всего, поэтом экзистенциального выбора и гармонии с миром.

Завьялов с этим каноном рвет решительно. Его вступительные тексты полны полемики с «гимназическим и университетским Горацием», символизировавшим «Мудрость и Красоту». Он пишет: «Идеологи абсолютных и конституционных монархий, патриоты заморских и континентальных империй заставляли гимназистов заучивать их строфы наизусть... но никто не оказался в силах вырваться из представлений об “универсальности” буржуазных порядков... которые вменялись в долг поэту». Для Завьялова такой «универсальный» Гораций – идеологический фантом капиталистического якобы созерцательного индивидуализма, созданный для легитимации различных форм господства. Его собственная работа – акт филологического иконоборчества, обратная перспектива вместо прямой буржуазной. Он возвращает Горация в историю, в плоть и кровь социальных конфликтов, экономических отношений, колониальных войн. Он делает его современником не в том смысле, что его мотивы вечны – а в том, что структуры власти, которые он обслуживал и в которых был зажат до последнего вздоха, узнаваемы во все последующие века.

В конечном счете проект Сергея Завьялова – *политико-теологическое исследование* о месте поэта в империи. Его Гораций – фигура трагического когнитивного диссонанса. С одной стороны – безупречный формальный мастер, создатель языка европейской лирики. С другой – «отпущенник режима», чей голос неизбежно становится частью аппарата легитимации.

Завьялов не дает простого осуждения. Его метод сложнее: сочувствующая критика, *критическая эмпатия*. Он показывает цену, которую платит Гораций за свой успех: внутреннюю раздвоенность, проступающую в самых прославленных строфах. Ода III, 30 («*Exegi monumentum...*») в этом свете читается не как триумф, а как отчаянная попытка самотерапии, утверждение вечности памятника в ответ на осознание собственной несвободы и компромиссов.

Сергей Завьялов совершил с Горацием операцию, аналогичную той, которую Вальтер

Беньямин проделал с историческим материализмом: он *вырвал поэта из континуума истории* буржуазного канона, чтобы вставить его в «настоящее время» (*Jetztzeit*) как соучастника и жертву имперского проекта. Его переводы – это форма интеллектуального активизма, доказывающая, что в эпоху новых идеологических войн филология не может оставаться нейтральной. Работа с классиком превращается в этический и политический поступок, требующий выбора стороны: продолжать ли лакировать августовский памятник или начать скрупулезную работу по разминированию канона. Завьялов выбирает второе. Его Гораций – не утешитель, а обвинительное заключение и зеркало, в котором с ужасом и узнаванием может увидеть себя любая культура, выстроенная на насилии, неравенстве и вынужденном молчании художников. Это трудная, неудобная и абсолютно необходимая книга.

Евгения ЛИБЕРМАН

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОДНЯТЫЕ С ПОЛА

Андрей Сен-Сеньков. Стихотворения, прочитанные руками. – М.: РОЕТИСА, 2025. – 44 с.

Что чувствует свинья, мечтавшая посмотреть на небо и столкнувшаяся с его подстрочником на лезвии ножа? А крыса, попавшая под пристальный взгляд мальчика и засветившаяся, «как серебряные волосы женщин с портрета Рембрандта»? Как смотрят пирожки с подноса, чем живёт в игольном ушке верблюд? На вопросы о малых и незаметных сих отвечает в книге, вышедшей в 2025 году, Андрей Сен-Сеньков.

Герои Сен-Сенькова – незамечаемые, тихие неудачники, чувствующие свою ненужность, неуместность, неактуальность: «гиппокамп крошечный спутник нептуна / самый некрасивый спутник солнечной системы /

лошадка с рыбьим хвостом / не умеющая ни бегать ни плавать», «концентрированная серость». Каждый по-своему поэт: у каждого свой характер, стиль письма, шаг. Если бы небоскреб сочинял стихи, он бы боролся с тучами апатии слабо, вяло, примеряя позицию жертвы, забыв о прежнем имени-призвании – тучерез: вот где громогласность поэтики, вот где смелость и нажим. Бог – перформансист: на его кружке написано имя [вставить своё], в неё он никогда ничего не наливает, хранит до Страшного суда как сувенир. Крыса – декадентка, она не живет в реальности, скорее, длится в чужих воспоминаниях, смотря на неидеальность мира «с нескрываемым презрением». Вино осторожно щупает незнакомое пространство, оглядываясь и пытаясь предугадать, не опасно ли сделать следующий вдох.

Тема смерти, утраты в произведениях Андрея Сен-Сенькова развёртывается тихо, без лишнего трагического пафоса. Никто не запретит простой русской женщине иметь имя Беатриче, потому что она уже ушла, осталась «подснежником». Гибель может таить всё что угодно («однажды меня чуть не убила музыка»), а исчезновение человека равноценно оборвавшейся мелодии. Раиса Кудашева приобретает характеристики героини собственной песни и становится для героя «бабой Раей», а кладбище – музыкой. «Смотри не замерзай», – говорит ей лирический субъект, и надежда на наступление весны и долгожданную встречу витает в воздухе. Смерть сопровождается признаками, отзвуками жизни, всполохами неутихательной яркости, как вспышки фотоаппаратов, и так постулируется невозможность её победы над человеческим духом и искусством.

Названия стихотворений редко состоят из одного слова, зачастую это 3-6 – целая развернутая мысль: «на смерть любого человека, пусть он и снимал всю жизнь только на мобильный телефон», «проездной слегка помялся в кармане», «летом всегда тесно», «год крысы становится годами крысы». Это обусловлено лаконичностью текстов, схожей ритмической и графической организацией, побуждающей к выходу за пределы стихотво-

рения и оформлению его заглавия таким образом, чтобы читатель достраивал авторское высказывание. Часто это фотографические или кинодокументации, в которых едва уловима перекличка с названиями текстов Шамшада Абдуллаева (ср. «Беседа двух старых друзей на окраине города», «Три старых анашиста вспоминают двух самоубийц»). С некоторыми текстами нам предлагается выполнить определенное действие, чтобы раскрыть их полноту и дать им реальный вес: «Стихотворение, на которое капнули вином», «Стихотворение, поднятое с пола». Наконец, название книги побуждает задействовать другие рецепторы, другие органы чувств, «читать руками», что, впрочем, удается благодаря тому, что сборник напечатан ещё и в брайлевском формате, а предисловие и послесловие к нему писали слепоглухие люди. Этот факт особенно ценен в контексте восприятия актуальной поэзии теми, кто с ней никак не связан и никогда, возможно, не читал произведения современной литературы. Если и этот рубеж был преодолен, то любые барьеры разрушимы; стало быть, Андрей Сен-Сеньков говорит с нами на понятном, человеческом языке – языке светлой большой любви и флёра лёгкой грусти.

Алексей МОШКОВ

МАРТИН ИДЕН НЕ УМИРАЕТ, ИЛИ НОВЫЙ РОМАНТИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ

Павел Селуков. Пограничник: роман. – М.: АСТ, Ред. Е. Шубиной, 2025. – 384 с.

В своём первом романе «Отъявленные благодетели» Павел Селуков вывел на сцену «человека метамодерна» (видимо, опираясь на понятие осцилляции – колебаний (по Люку Тёрнеру) как основополагающей характеристики «нового человека», вмещающего в себя разнонаправленные векторы и тенденции). Он же, «человек метамодерна», а по сути сам автор (тут Селуков следует в русле «лимоновской

традиции» автобиографического дискурса), становится героем и нового (второго) романа – «Пограничник», за названием которого скрывается сленговое обозначение больных пограничным расстройством личности (а до этого протагонисту ставили биполярное расстройство): как сказал лечащий психиатр Павла (да, имена автора и героя идентичны), «людей, страдающих пограничным расстройством, называют “пограничниками”, красиво, да?» И не только красиво. В этом определении одновременно заключается и ключ ко всему «метамодернизму» Селукова, ибо тут надо понимать, что никакого метамодернизма не существует в природе (это уже общее место: основные положения как бы «нового мировоззрения», включая и его критику постмодерна, давно уже признаны несостоятельными – и с философской, и с социологической, и даже с культурологической точек зрения).

И Селуков – явно не тот автор, которому – прежде всего с философской точки зрения – было бы по плечу реанимировать эту провальную попытку снести с пьедестала постмодерн (в «Пограничнике» он признаётся: «...коекак осилил Бодрийяра. Понял мало», – но Бодрийяр даже не считается «тёмным» автором, это не Деррида, не Левинас позднего периода и проч.; поэтому и подзаголовок к его «Благодетелям» – экзистенциальный боевик – выглядит неуместным, ибо никакого отношения к экзистенциализму не имеет). Впрочем, в этом тоже ощущается влияние Лимонова (герой его «Палача» – философ, хотя, кроме данного самопровозглашения, на это больше ничто не указывает), которого писатель упоминает в своём втором романе: стремление к самолюбванию, но в случае Селукова, по крайней мере, без кокетства.

Но вернёмся к «Пограничнику». По сути, это роман воспитания. Селуков описывает весь жизненный путь героя – чуть ли не с рождения. И что здесь стоит отметить, так это даже не событийную перенасыщенность, но попытку слить едва ли совместимые сюжетные

линии. С одной стороны, Селуков подробно останавливается на – как это принято говорить – «неблагополучном детстве» протагониста. В школе он учится в самом «слабом» классе, иерархические отношения в котором выстраиваются по образцу «блатной культуры» (а его занятия спортом – сначала карате кёкусинкай, потом дзюдо и, в качестве финального аккорда, бокс – и природный талант позволяют ему занять в этой иерархии лидерскую позицию; хотя эта мешанина из спортивных единоборств и не может не насторожить: даже техника нанесения ударов руками в кёкусинкай и боксе принципиально отлична, не говоря уже про борьбу, так что возникает такое впечатление, что герою, по существу, всё равно, чем заниматься, или – и того хуже – автор просто перечисляет те виды единоборств, которые ему по тем или иным причинам, что называется, запали в душу). Соответственно, отсюда логично вытекает переход в бандитский мир.

Но, с другой стороны, и параллельно с этим, намечается и другая линия: в подростковом возрасте герой влюбляется в примерную одноклассницу Машу. И тут важен даже не сам факт этой влюблённости, но то, как это произошло: «Вдруг весь мир ушёл в туман, только это лицо было в фокусе, в какомто фотоувеличении. В голове пронеслось про ангелов, мама читала мне про ангелов, в Библии есть про ангелов, бабушка купила. Ангела звали Маша. <...> Стал как пьяный. <...> Я надолго застыл перед Машей. Я открыл для себя любовь, будто до меня её никто не открывал. Сначала её глаза смеялись, потом стали серьёзными, даже какимито воинственными. В классе посмеивались, но негромко, всем было интересно: а что происходит? <...>

– Как тебя зовут?

– Маша.

– А меня Паша. Ты самая красивая девчонка, которую я видел.

Класс заржал ошутимо».

Да, в глаза не может не броситься контраст между героем и его реакцией на Машу (в силу

не только его картины мира, в которую не вписывается подобное отношение к девушке, но и возраста, тоже не предполагающего романтических порывов). Пашу, кстати, после этого случая – и с лёгкой руки его подруги Лены – станут называть не иначе как Ромео. Причём это прозвище будет с ним аж целое десятилетие – десятилетие его одержимости одноклассницей. Но именно с этого момента начинается и интеллектуальный рост протагониста. По совету уже вышеупомянутой Лены он берётся за чтение литературы (в том числе и классической), чтобы соответствовать своей избраннице. Но это не помогает. Однако чтение наш герой уже не бросает (что, опятьтаки, плохо вяжется со всей его остальной жизнью).

И тут надо отметить ещё один момент, связанный с его одержимостью Машей: воздержание. Он хранит ей физическую верность несколько лет, как самый настоящий рыцарь. Что, впрочем, заканчивается не очень хорошо: сексуальным помешательством на стриптизёрше Вере (видимо, как бы подтверждая максимум – в духе Уэльбека – что любовь, как и вера, без дел – секса – мертва). И Паша с головой окунается в чистую телесность, но вот в случае с Верой это требует больших (для бедного Паши) денег. Так он приходит к вымогательству, чтобы соответствовать уже новой подруге. Но слегка переходит грань и оказывается на крючке у криминала. И что в этой ситуации больше всего удивляет, так это то, как он перед этим криминалом быстро ломается: достаточно одного серьёзного разговора, и тот самый Паша – который с медицинскими спицами в руке (изза травмы) шёл биться с хорошо подготовленным и опасным соперником изза девушки из их тусовки, которая в этот момент его просто использовала, – точно по мановению волшебной палочки превращается в податливую глину. Лоха, каких ещё совсем недавно он сам окучивал пачками, разводя на деньги. А после – такой же необоснованный перескок на религиозную тему: по существу, ни с того ни с сего – ну разве что Библию прочитал – Павел становится рьяным христианином-протестан-

том (если быть точным, то пятидесятником, хотя надо сказать, данная конфессия представлена в книге несколько в «неклассическом» изводе). Потом – пристрастие к различным заприщённым (и не только: многодневные запои становятся частью повседневности героя) в России веществу, начало писательства, слава, борьба с зависимостью. И всё это на фоне полного отхода от дел криминальных, практически духовная трансформация. Короче – странность за странностью, неувязка за неувязкой, точно Селуков элементарно не понимает, как «сшить» разрозненные сюжетные линии в один романный нарратив.

Нет, тут, конечно, можно возразить, что эти «перепады», часто внутренние даже не мотивированные, – они как раз и отражают логику психической болезни. Возможно. Если брать жизнь реальную, в ней взаимосвязи видны не всегда, хотя и всегда наличествуют. Более того: в жизни реальной произойти, конечно, может много чего. Но мы-то говорим не о том, что произошло или могло произойти в реальности, но о том, что происходит в романе, а последний, как известно, живёт по своим законам. И по этим внутренним законам (формулу Чехова никто не отменял) каждое действие должно быть обосновано, каждая деталь – мотивирована. В художественном произведении (если это не является условием описываемого мира или крайне специфического стиля автора) ничего не происходит просто так. На то оно и художественное произведение, литература. Что, кстати, подчёркивается и самим автором: он же называет «Пограничника» романом, а не автофикшеном (в этом случае, думается, обвинений в нереалистичности описываемого Селуков бы не избежал). И, следовательно, повествование должно строиться исходя из её, литературы (ну или той или иной её традиции), логики и свода правил. И в этом плане «Пограничник» нельзя назвать удачей. Если выражаться мягко.

Но при этом – и это совершенно точно нельзя упускать из внимания – Селуков очень

хорошо чувствует дух времени. И его герой, которого он пытался в жажде интеллектуализма определить как «человека метамодерна», – это именно тот, к которому формула «герой нашего времени» подходит на все сто процентов. Его влюблённость/одержимость Машей (вкупе с шестилетним целибатом), его стремление покорить её, изменившись внутренне (то есть за счёт чтения литературы), даже его прозвище (Ромео), а также готовность идти в бой за друзей – всё это маркеры романтического героя, но не в старом значении, когда под оным подразумевался нравственно безупречный персонаж, но – в новом, когда эта самая нравственная безупречность, но только уже с приставкой «не» становится новым канонem; когда при сохранении романтического ореола само содержание и мотивация действий персонажа меняется – относительно прежнего романтического героя – на противоположную (что очень хорошо прослеживается на материале художественных фильмов и сериалов – начиная от «Джокера» и заканчивая «Мотелем Бейтсов» и «Ты»). И вот в этом плане Селуков попадает точно в цель, усиливая образ ещё и писательством, что сразу же отсылает к бессмертному «Мартину Идену» (да, как и Руфь, когда Павел становится известным писателем, Маша приходит к нему, и, как и Иден, он убеждается в её полной «пустышности», мещанстве, отсутствии своего содержания, но это не приводит ни к самоубийству, ни к творческому кризису).

По сути, его герой – это новый Мартин Иден, но с такими червями, что ещё лет десять-пятнадцать назад его следовало бы охарактеризовать как сугубо отрицательного персонажа. Но время изменилось, и Селуков точно схватил эту перемену (пусть и не вытянув её в плане формы), создав/описав нового романтического героя («Любовь к аду освободила нас от десяти заповедей») – нового Мартина Идена. Тем самым, вместо невразумительного метамодерна – не через философскую рефлексию, а сугубо через искусство – дав точное определение текущему времени (в рамках по-

стмодерна, разумеется), которое можно назвать не иначе как новый романтизм. Пусть без присущей старому идеальности, с огромными червоточинами, патологиями, но всётаки романтизм. В общем, «какова твоя жертва, таков орაკул», как сказал поэт.

Андрей ПЕРМЯКОВ

ГОВОРИТЬ ПРОЗОЙ

Алексей Голицын. Небесные оркестранты Поволжья. – Саратов: Музыка и быт, 2025. – 240 с.

Лет пятнадцать назад ужасно модным было сопоставление понятий: «книга как текст» и «книга как объект». Ознакомившись с текстом «Небесных оркестрантов», стал разглядывать томик-объект. На предмет благодарности составителям, понятное дело. Конечно, знал, что Алексей уже не с нами. И тут оказалось, что книгу он сделал сам. Выхода не дождался, но компоновать успел.

Разумеется, те, кто помогал с изданием, те, кого Алексей поблагодарил в кратком предисловии, заслуживают самых добрых слов. Тем более заслуживают их авторы тёплого и очень личного предисловия: Антуан Касс, Ольга Брынза, Ольга Шиндина. Но книгу писатель составил лично. Почему это важно – сейчас попробуем сказать подробней.

В помянутом уже предисловии перечислены грани талантов, коими был одарён Алексей Голицын: краевед, литератор, журналист, архивист, градозащитник, коллекционер, фотограф, лектор, экскурсовод, исследователь... Всего не упомянешь. Я знал его как очень интересного поэта.

А книга даёт ярчайшее представление о прозаике. Именно так: в большей даже степени о прозаике, нежели о краеведе. Впрочем, одно другому не противоречит. Дополняет, скорее. Причём на нескольких уровнях. Именно поэтому столь важной оказалась композиция сборника, определённая, повторим, самим его

создателем.

Первым делом повествователь очерчивает границы мира. Есть родное: Саратов, любимая река, топос дома. А вне его, сразу, едва не за порогом – чужое. Не враждебное, а непонятное. Или совсем никакое: «*После часовой переправы из Камышина через Волгу сразу начинается степь. Понемногу исчезает всё...*». Отсюда почти автоматически следует многократно зафиксированное в самых разных мировых культурах отождествление чужой (пусть и близкой) земли с местом упокоения, а путешественника – со временно умершим¹: «*Теперь мне в общих чертах понятно, куда улетают души степных орлов и неудачливых путешественников. Примерно за 350 километров от Саратова, в левобережную степь, в сторону солнечного Казахстана*».

Внесаратовские разделы книги Голицына в своей этнографической и краеведческой части то ли подтверждают некоторые исследовательские стереотипы, то ли пародируют их. К примеру, и ехидные студенты-практиканты, и солидные люди, интересующиеся жизнью близлежащих народов, посмеиваются над стандартной последовательностью изложения в научной, а паче того – в научно-популярной литературе об этносах и субэтнических группах: свадьба – религиозные обряды прошлого и настоящего – похороны. Отдельно – кухня. Однако первая же глава «Небесных оркестрантов» называется «Свадьбы и похороны казачьей станицы». Именно про это собеседники рассказывали автору, прибывшему с экспедицией «Гагаринский плавучий университет» в не слишком далёкое от Саратова поселение. Рассказывали не как исследователю или журналисту, а почти по дружбе. Мол, у нас вот так. Очевидно, темы действительно представляются важными для большинства.

Слова местных жителей записаны и воспроизведены честнейшим образом, но описание окрестностей явно выходит за академические пределы: «*Утром мы пошли к Булукте*.

¹ Например: Т.Б. Щепанская. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX веков. М.: Индрик, 2003. – 528 с.

“Озеро мелкое, берега заболочены, дно илистое”, пишут в справочнике. В общем, верно, но можно и так: “Марсианская соль, проплешины суккулентов, копыта сайгаков”». Обратим внимание на это «можно и так». Тоже ведь не личный взгляд, а опять вариант отыгрывания чужого тропа: чрезмерно экзальтированного описания малопривычных пейзажей восторженными путешественниками.

Прямая речь также не лишена ноток удивления, но звучит аккуратней. И главное – рефлексивней: «*Экзотически красиво. Весной степь ярко-желтая, ярко-зеленая и ярко-синяя. Летом все выгорает, а осенью снова покрывается красками: темно-желтыми, серыми и коричневыми. Весенние тюльпаны не падают, а стоят до снега одеревеневшие. В коричневой траве лежат синие цветы. И все покрыто фильтром “нуар” из бесплатных фотоприложений*». Конечно: фотографом Голицын был замечательным, предисловие нас не обманывает. Однако подчёркиваемая бесплатность приложений для визуальной обработки степного зрелища – приём не краеведа и не фотографа, а прозаика. Элемент характеристики рассказчика. Сходной же цели служит следующий пассаж: «*Птенец молча пугал меня раскрытым клювом и оказался чрезвычайно крупным, размером со старый компьютер или новый пылесос*». Отличное погружение в хронопот: взгляд безусловно городского жителя; обитателя совершенно конкретной эпохи. Синдбад-мореход не смог бы сравнить детёныша птицы Рух с пылесосом или даже с промышленным компрессором.

Но как та эпоха сформировалась, почему население эпохи стало таким, каким оно стало, – так об этом вся книга. Особенно в части обращения ко временам почти былинным: «– *Мама говорила, что раньше работали только летом, сена много было. А зимой в карты играли, семечки грызли. Пришло время – раскулачивать стали даже тех, у кого два бычка. А потом, при Хрущеве, коров приравняли к козам, и можно было держать только что-то одно*». Коров приравнивать к козам – это не к штыку перо приравнивать. Тут надлежит обресть

действительно высокий градус абсурдизации бытия.

Абсурдизация эта вполне тотальна и повсеместна. Просто угнездившись внутри неё, перестаёшь оную замечать. Могу ошибаться, но, скорее всего, для этого и вынесен в начало повествования рассказ о волжско-заволжской экспедиции. Ибо когда живёшь дома, многого внутри этого самого дома не видишь. Особенно – привычно-шокирующего. Кстати, в нашем случае термин «дом» имеет вполне конкретное значение. Путешественник и краевед Алексей Голицын прожил всю жизнь (увы, но приходится говорить именно так, в прошедшем времени совершенного вида) буквально в одном подъезде. Зато на разных этажах и в разных квартирах. И, публикуя очерки, составившие затем эту книгу, долго не мог придумать, чего бы рассказать о своём обиталище интересного: «*Да, еще в пятом подъезде однажды умер милиционер. Отравился, выпив немного стеклоочистителя, купленного в фирменном вино-водочном магазине. Но такое в недавние годы случалось настолько часто, что событием уже и не считалось. Разве что милиционеры травились гораздо реже простых граждан*». А далее будто пелена спадает. Уж не знаю, связан момент остранения с выездом за Волгу или с каким-либо иным внешним событием, только вдруг жизнь подъезда оказывается удивительной. Там есть зашифрованное послание, точно из приключений Шерлока Холмса. Есть труп, скрываемый в хрущёвской квартире на протяжении четырёх лет. Натуральная такая мумия старушки. Вернее, мумия и символ разом: бабушку эту, умершую вполне своей смертью, прятал дедушка. В смысле, муж. Запах скрывал ароматом цитрусовых, скупаемых им в замечательных количествах. Разоблачила дедулю приезжая дама: запах тления очень сложно скрыть. Но соседи ничего, привыкли за годы. Внимания не обращали. Много тайн скрывают хрущёвские домики.

Отметим, раз к слову пришлось, важный момент: готовя к печати очерки, Голицын довольно разнообразно их компоновал, возможно, вносил некие мелкие исправления. Но

собственного взгляда на взаимное расположение вещей, людей и объектов во времени не корректировал. Вот он пишет о безумном от жары лете 2010 года. Там у здоровых-то людей головушка страдала, а уж персонам бурного нрава приходилось совсем грустно. Приходит такой активист-затейник в редакцию, приносит гнилое яблоко. Мол, проступила на том фрукте арабская надпись. На дворе пекло, событий нет – тут и началось. Обратились аж к муфтию и депутатам. О происшествии Алексей Голицын вспомнил через шесть лет, в 2016-м. Сочинил очерк, посетовав, дескать, сколь спокойными и добрыми были времена: никаких политических тревожений, никаких военных событий, и даже в экономике всё было относительно мирно. Книга, напомним, собрана в 2025 году, когда жизнь сделалась ещё много бодрее, нежели девятью годами ранее.

Но, всё-таки, «абсурдизация бытия» – слишком общий и неточный термин. Очень уж много у этой самой абсурдизации причин. Прежде всего, все мы выпали из времени. Знаете ведь один из любимых кинокомедийных приёмов: взять и поместить человека в иное пространство иного времени. Зрителям смешно, а персонажу так себе. Ну, вот мы и оказываемся раз за разом такими персонажами. Сами подгоняем время и сами же из него выпадаем. Практически с рождения: *«Из роддома меня принесли в квартиру на пятом этаже. Но коляску таскать было тяжело, и спустя год мы переехали в точно такую же однокомнатную на второй этаж. Хотя к тому времени коляска была уже не нужна».*

Хуже бывает лишь когда время нас догоняет. В книге Голицына есть невероятно смешная история в духе Зощенко. То есть смешных историй в духе Зощенко здесь несколько, но эта блистает даже на их фоне, и Михаил Михайлович не зря упомянут в её названии. Собрался жениться обитатель небольшого посёлка. Мол, мама старая, ей тяжело, нужна помощница. Нашёл девушку чуть старше себя. Ухаживал. Почти неделю. Сговорились, выдал немножко приданного. «Кладки» по-местному. Проставился перед роднёй и кумами. Подали заявле-

ние, а невеста выпрыгнула замуж за другого. Заявление потерпевшего Киселёва при некотором умении можно подделать: документы от малограмотных людей бывают интересными, но разнообразие их ограничено. Скорее, удивляет фантазмагорически низкий уровень образования местных юристов-заседателей. Вот их документ, сочетающий властность и слабое владение родным языком уже не подделаешь. Решение этих самых юристов не удовлетворило ни одну из сторон, и пошла писать губерния. Достучались аж до областных прокуроров. Тема, опять-таки, из разряда вечных. Развязка отличается: *«На следующий год и Пригов, и начальник КПК Яковлев были арестованы за антисоветскую деятельность, расстреляны и закопаны вообще без всяких обрядов. Впрочем, к приведенным делам это никак не относится».* Когда в финале судебной трагикомедии гибнут прокуроры, пусть и не в результате собственно процесса – ход получается нетривиальным.

То есть и стиль изложения, и композиция отдельных рассказов, и общее устройство книги, безусловно, свидетельствуют о её принадлежности к жанру прозы. Конечно, это не отменяет сказанного в предисловии утверждения: *«Голицын был краеведом в каноническом и незамутненном варианте»;* скорее, дополняет его, как мы уже сказали. Да, можно было б прибавить определение: «документальная проза». Но важны оттенки. Всё-таки, любые прилагательные ограничивают авторский подход, делая его излишне нацеленным. А прямолинейность зачастую вредит писателю. Даже столь точному, каким был Алексей Голицын.

Вот повествует он о жизни саратовской артистически-художественной богемы. Жизнь эта век назад, как, впрочем, и в иные времена, протекала нескучно. В декабре 1931 года актёры и друзья их основали «Общество божественного разврата». Серьёзное: с уставами, взносами, протоколами заседаний. Протоколы затем сильно облегчили работу компетентных органов. Разврат также присутствовал. Художники не отставали. Впрочем, подмноже-

ства артистов и мастеров кисти пересекались. Жизненные модусы тоже: *«В узких кругах Иванов был известен тем, что совмещал работу живописца с успешными комедийными ролями в спектаклях очень популярного когда-то в городе самодеятельного театра при гарнизонном Доме офицеров. А ещё тем, что некогда в пьяной драке ему откусил ухо саратовский живописец Николай Климашин (говорили, что родственник известного графика, саратовского уроженца Виктора Климашина). Иванову пришлось отрастить волосы и зачёсывать на правое, если не ошибаюсь, ухо длинную прядь».*

Весёлое бытование не мешало стукачеству. Доносы пописывали красиво и с удовольствием: *«Тем не менее, письменный акт товарищества художников имеет непосредственное отношение к истории политических репрессий в нашей стране. Хотя бы потому что показывает, чем на самом деле были озабочены творческие организации, конкурировавшие друг с другом за звание самой бдительной конторы. И кто в реальности был виноват в поголовном стукачестве: верхи или низы».* Конечно, легендарное довлатовское высказывание о писателях четырёх миллионов доносов вспоминается само собой, без всяких интеллектуальных усилий. И вообще Довлатов явно повлияд на «Небесных оркестрантов»: не стилистически манера у Голицына абсолютно своя, а в плане восприятия ситуации. Но, всё ж верхи и низы не противостояли взаимно в те годы, а демонстрировали порой прямо-таки трогательное единодушие. Да, порой власть, как структура относительно компактная, реагировала быстрее и успевала исправить ошибки масс – применим такую мягчайшую формулировку: *«Разумеется, местные власти, понявшие новый закон, как отмашку к безнаказанным репрессиям, начали усиленно проводить его в жизнь. На практике это означало, что во время второго голода в Поволжье крестьянин мог быть “изъят” за горсть зерна, унесенную с колхозного поля. К маю 1933 года государство очнулось и разослало секретную инструкцию партийным и прочим органам...».* Но сколько на одну исправленную глупость приходилось непоправимых?

Раз уж вспомнили Довлатова, обратим внимание на общий для него и Голицына приём: самораскрытие на грани самооговора. Особенно в описаниях цинизма журналистской профессии: *«Я уже собрался звонить милиционерам с надеждой на очередного утопленника...»*, например. Вряд ли автор всерьёз о себе. Скорее, прозаик Алексей Голицын пишет о протагонисте Алексее Голицыне.

По мере приближения к девяностым-нулевым Довлатова потихоньку сменяет Пелевин. Опять-таки, не интонационно-стилистически, а ситуационно: *«Менеджер Володя раньше был гитаристом, художник Раиль – водителем трактора, а дизайнером числился я – недоучившийся студент романо-германского отделения. Никто из нас не имел ни малейшего отношения к миру рекламы, но мы успешно соревновались в неведении с нашими клиентами».* Удивительное было время. Деньги в стране отсутствовали, но при этом сами шли в руки не слишком тонким ручейком. Носители тех рук поражали: *«Клиенты нашей рекламной конторы были похожи, как бычки на пути к мясокомбинату. Этакие Васи из Балашова, удачно поделившие прибыль от ворованного цветмета».*

Зато и расставались Васи с пришедшими дуром материальным средствами легко, без зтей: *«Еще, помню, спрашивал некоего риелтора: – Какой журнал будем делать, цветной или черно-белый?»*

– Да, – исчерпывающе отвечал он».

Малоразличимые клиенты самодеятельной рекламной конторы – один из крайне редких случаев обобщения в читаемой нами книге. Если по-школьному выделить основную мысль собранных под этой обложкой текстов, то мыслью этой, будет, пожалуй, взаимовлияние людей и времени. Вернее – общего для всех времени и каждый-раз-отдельного человека. Смотрите: рождается ещё во вполне царской России мальчик. Называют его Пашей. Учитя, растёт, становится комсомольцем, коммунистом, директором педагогического училища. Затем по велению партии и зову чего-то уходит на работу по организации колхозов. Засим продолжает карьеру педагога-организатора.

Делается аж начальником горно. Вступает в конфликт с областным начальством, пишет жалобы, проигрывает борьбу, самостоятельно уезжает в Сибирь. Через год туда же, но уже не своей волей, едут бывшие руководители Павла. Он возвращается, а через год, будучи довольно взрослым, идёт добровольцем на Финскую войну. Далее – другая война, плен, концентрационный лагерь, фильтрационный лагерь, демобилизация, возобновление карьеры, звание профессора, должность декана, исполнение обязанностей ректора, пенсия, почёт и уважение.

Несколькими годами позже, но в тех же краях рождается другой мальчик, тоже одарённый явной тягой к слову и филологическими способностями. Получает имя Валентин. Отец его, чекист, гибнет во время Антоновского восстания. Мальчик пишет стихи, оканчивает школу, поступает учиться на юриста. Уходит добровольцем на Финскую войну, оказывается на Великой войне. Получает ранение, орден, долго лечится в госпиталях, долго остаётся на службе по завершении боевых действий, становится заместителем командира дивизии. Демобилизация, блестящее окончание учёбы, диплом юриста, три года карьеры – и уход в слесаря, в сварщики, в андерграунд.

Так по-разному сложились сходно начинавшиеся биографии учёного Павла Андреевича Бугаенко и поэта Валентина Акимовича Ярыгина. Не фундаментально противоположные, но совершенно разные методы взаимодействия с обстоятельствами места и времени. Истории этих двух жизней, как и многих других, изложены в книге без пафоса и назидания. Это тоже приём. Псевдобесстрастное несколько академичное изложение в большинстве случаев действует надёжнее плакатно-лозунговых методов. В нестареющей (и, увы, долго ещё обречённой быть актуальной) книге Александра Зиновьева «Зияющие высоты» сказано: «Говорить – моё призвание. Продукт моей деятельности – мысли, обработанные в слова. А приведут они к каким-то последствиям или нет, меня не интересует». Излагал такое, как мы помним, персонаж Болтун. Болтуном он не

был, а формулировал мысли яснее многих прочих. И к последствиям они вполне приводили.

Конечно, Голицын использовал и прямые характеристики своих героев. Но изредка, кратко и очень точно: «Судя по документам тех лет, Бугаенко удавалось делать карьеру даже за колючей проволокой», например. И ещё один момент, сближающий подход с довлатовским: уважение к проигравшим. Особенно к тем, кто не смог пережить поражения. Даже если от принятых ими в отношении себя решений страдает общество. Вот доктор-феминистка решила, что оперировать её должна непременно женская бригада во главе с подругой. Исход оказался фатальным. И не только для больной: «Успокоив родных, 13 января 1928 года Зинаида Искова-Василёва ввела себе токсическую дозу морфина.

Т.е. практически одновременно врачебное сообщество Саратова понесло сразу две ощутимые потери. Но и это еще не все. В декабре 1927 года, когда Алмазова уговаривала подругу на операцию, произошла еще одна трагедия. Покончил с собой доктор И.И. Энеидов, заведующий глазным отделением больницы РУЖД. Он тоже впрыснул себе морфий, и это также было следствием неудачной врачебной практики». Снова повторим: безэмоциональное изложение воздействует сильнее.

Сильнее же этой силы оказывается, пожалуй, только приём контраста. Как мы видели, о событиях и людях родного города Голицын пишет сдержано, зачастую, казалось бы, лишь комментируя документы. Понятно: это очень специфическое комментирование. Примерно в духе Джона Дос Пассоса. Или, как писал два десятилетия назад Алексей Александров про поэта Казимилова: «...ясно, что речь идёт не о “тексте в тексте”, а скорее о “тексте над текстом” или даже о “тексте вместо текста”»¹. Ярчайший саратовский тип Борис Казимиров в книге Голицына также представлен.

Теперь вернёмся к началу, к выходу в заволжскую степь. Здесь автор позволяет себе замечательные вольности, совершенно не кра-

¹ Альманах «Василиск». № 4, 2007.

еведческие. Сразу в нескольких отношениях: «Астраханскую степь, которую мы застали в июне 2017 года, нельзя выразить средствами русского языка. Сине-голубое море перетекало в желто-зеленые заливы, и для адекватного описания этого бескрайнего эдема нужны, вероятно, вопли гунна, которые, как известно, кириллическими средствами не передаются». Практически по Витгенштейну: «Границы моего языка есть границы моего мира». И языковая игра в духе того же Витгенштейна присутствует вполне.

С исторической наукой Голицын, шагающий степью, тоже куда менее скрупулёзен и аккуратен, нежели в границах родного города: «Сначала перевозкой соли занимались жители Центральной России, однако потом их полностью вытеснили чумаки с Украины. В отличие от великороссов, им был привычен полувоенный быт, они легко противостояли кочевникам-киргизам и, наконец, им разрешалось носить оружие. Рекрутировав на транспортировку соли малороссов, государство решило массу проблем на южном направлении. Соляные тракты фактически служили границей, по которой с мая по сентябрь курсировали мобильные вооруженные отряды украинцев. А зимой коням в степи есть было нечего. И набеги степных кочевников постепенно ушли в область преданий». Конечно, тут не альтернативная история в чистом виде, но всё-таки гипотеза об устройении засечной черты, как главного фактора победы над кочевниками, куда более убедительна и общепринята.

Впрочем, это частность. История-то вот она: под ногами. Или чуть глубже: «Запах у эль-

тонской воды был ужасен. Я отвлекался тем, что, может, тут какой-нибудь сероводород залегает, поэтому из-под земли так оглушительно воняет. Постирал майку, зажав нос, вымыл голову. Хотел почистить зубы, но, к счастью, забыл щетку в машине. С наслаждением вылил на себя последние литры серой жидкости. Заглянул в колодезь и увидел, что вся поверхность воды покрыта дохлыми сусликами». Как зарождались во степях эпидемии чумы, выкашивавшие затем половину Евразии? Примерно так и зарождались. От воды с погибшими там заражёнными грызунами. Практически – модельный эксперимент на себе.

Совсем мы отделились от Саратова и краеведческой тематики. И хорошо. Собственно, тем и хотели резюмировать: художественная проза и локальная история проживали в своём сосуществовании разные этапы – от полной нерасторжимости на этапах зарождения отечественного краеведения¹ до расхождения по разным углам. Повторялись циклы сближения-удаления не раз и не два. Теперь, когда изучение малых родин на явном подъёме, а проза не то чтоб совсем в упадке, но подле оно, взаимодействие может стать даже более тесным, нежели бывало. И книга Голицына – явное тому подтверждение. Будем надеяться, не последняя книга. Да, Алексея нет, но материалы-то остались. А о любви к нему и благодарности мы уже сказали в самом начале. Хорошо, если получится достойно издать многое.

¹ Хотя бы В.А. Слепцов. Владимирка и Клязьма. Дорожные заметки, 1861.

Контакты:

Анна Сафронова (*гл. редактор, проза*): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (*зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru

Олег Рогов (*архивные публикации, критика*): rgv@mail.ru

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 9 июня 2026 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.